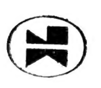
Чтоб вовек едины были

Овруч
Чернобыль
Уж
Коростень
Тетерев
Десна
ЧЕРНИГОВ
Сосница
Батурин
Конотоп
Остер
Козелец
НЕЖИН
Носовка
Ичня
КИЕВ
Радомышль
ПРИЛУКИ
Гадяч
Борисполь
Березань
Лохвица
Васильков
Триполье
ПЕРЕЯСЛАВ
МИРГОРОД
Сквира
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
КАНЕВ
КРОПИВНАЯ
Богуслав
Погребище
ЧЕРКАССЫ
Балаклея
Стеблов
КОРСУНЬ
Боровица
Субботов
Крылов
КАЛЬНИК
Иванзород
УМАНЬ
ЧИГИРИН
Днепр

ЗАПОРОЗКОГО КОША



ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
В РОМАНАХ,
ПОВЕСТЯХ,
ДОКУМЕНТАХ

ВЕК XVII

Чтоб вовек едины были

Н. В. Гоголь

ТАРАС БУЛЬБА

Повесть

Р. И. Иванычук

МАЛЬВЫ

Роман

СТРАНА КАЗАКОВ

Воспоминания современников и документы

Москва
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1987

ББК 84(2) + 63.3(2)46
Ч-80

Составление, предисловие, комментарии
доктора исторических наук
Я. Д. ИСАЕВИЧА

Рецензент
член-корреспондент АН УССР, доктор
исторических наук, профессор
Ф. П. ШЕВЧЕНКО

Оформление Библиотеки
Ю. БОЯРСКОГО

Иллюстрации
Сергея ХАРЛАМОВА

Ч $\frac{4702010000-110}{078(02)-87}$ 145—87

ПРЕДИСЛОВИЕ

Щедра и разнообразна природа Украины: степное приволье и высокие Карпаты, благодатные нивы Поднепровья и дремучие леса Полесья, могучий Днепр и очаровательные малые речушки, пруды, озера. Издревле заселяли эти края люди трудолюбивые и свободолюбивые, умевшие вести борозду в поле, а когда нужно — и мастерски владеть саблей.

Но нелегкой была историческая судьба украинского народа, тернистым стал его путь к воссоединению с братскими русским и белорусским народами. На протяжении столетий земли Украины находились под властью иноземных государств, народным низам приходилось терпеть двойное угнетение — социальное и национально-религиозное. Еще в XIV веке, воспользовавшись ослаблением Галицко-Волынского княжества в ходе изнурительной борьбы с Золотой Ордой, Польша захватила Прикарпатье. С 1569 года под гнетом польских феодалов оказались и почти все остальные украинские земли — Волынь, Подолия, Поднепровье. Закарпатье в то время находилось под властью венгерских феодалов, Буковина входила в Молдавское княжество, наконец, в причерноморских степях хозяйничала хищная Крымская орда.

Заслугой украинских крестьян, результатом их упорного труда стало хозяйственное освоение огромной территории, постепенное превращение диких степей и лесных чащ в плодородные поля. Однако не сами крестьяне пользовались плодами своего трудолюбия, а узурпировавшие над ними власть дворяне, которых в Польше называли шляхтичами либо шляхтой.

Польское феодальное государство после 1569 года считалось шляхетской республикой — Речью Посполитой, состоявшей из двух частей — Короны (Королевства польского) и Великого княжества Литовского. Формально полнота власти принадлежала сейму — своеобразному шляхетскому парламенту, имевшему право избирать короля. На самом же деле в стране хозяйничали

магнаты, крупнейшие феодалы, владевшие десятками тысяч крепостных. На Украине огромные латифундии принадлежали польским магнатам Конецпольским, Потоцким, Калиновским, украинским магнатам Острожским, Вишневецким и другим.

Начиная с середины XVI века наблюдалось резкое усиление эксплуатации крестьян. Рост городов вел к повышению спроса на хлеб и другие продукты питания. Дополнительные возможности сбыта сельскохозяйственных товаров возникали и по мере активизации торговых связей с Центральной и Западной Европой, где зарождались крупные центры капиталистического производства. Поставляя туда хлеб, скот, лес и изделия из него, помещики получали деньги для покупки ремесленных изделий, предметов роскоши. Поэтому расширение внутреннего и внешнего рынков побуждало феодалов основывать фольварки — крупные хозяйства, использовавшие труд крепостных.

Распространение фольварков, в свою очередь, вело к увеличению барщины, усилению крепостного права. На западе Украины уже в конце XVI — начале XVII века было немало сел, где норма барщинных работ составляла пять-шесть дней с полного или даже половинного крестьянского надела. Барщина достигла таких размеров, что после работы на панском поле у крестьян не оставалось сил и времени для возделывания своих личных участков. Феодалы имели полное право не только избивать своих крестьян, продавать их или менять, но даже убивать; владелец имения был для своих подданных (крепостных) единственным судьей, неподконтрольным никаким другим властям. Помещики оказывали покровительство корчмарям, помогали им спаивать людей, поскольку отчисления от продажи спиртных напитков составляли одну из главных статей доходов феодалов. Особенно тяжелым становилось положение крестьян в селах, сдававшихся в аренду: арендатор стремился за срок действия договора нажиться как можно больше, не заботясь о последствиях и разоряя крестьянские хозяйства до крайнего предела.

Крепостной гнет сопровождался национально-религиозным притеснением коренного населения. Король и крупные феодалы предоставляли всяческие привилегии пришельцам-католикам и тем, кто, предавая обычаи предков, принимал католическую веру. В таких условиях приверженность к «старой вере», борьба против католицизма являлись выражением воли украинского народа сохранить свою самобытность, богатые традиции отечественной культуры. Как непосредственная угроза была воспринята им насаждавшаяся, начиная с 1596 года, церковная уния. Согласившимся с нею разрешали сохранить церковно-славянский язык богослужения и некоторые традиционные обряды. Однако, по существу, это была не уния (объединение), а полное подчинение

униатов (греко-католиков) римскому папе. Главной целью введения унии являлось духовное порабощение украинского и белорусского народов, разрыв их связей с братской Россией.

Чтобы удержать людей в повиновении, власть имущие оскорбляли их человеческое достоинство, унижали веру и родной язык, стремились вытравить из сознания память о предках, гордость за свою страну и народ. И пришло такое время, когда иноземным захватчикам уже казалось: никакого особого украинского народа нет, остались только верные подданные «его милости короля». Но так только казалось: на фоне якобы всеобщей покорности подспудно накапливались силы протеста, решимость не сдаваться. Даже тех, кто поначалу не осознавал своего униженного положения, охватывал глухой гнев, сдерживаемый до поры до времени.

Только до поры! С конца XVI века Украину сотрясают одно за другим крупные восстания. Отличительная их черта — участие наряду с крестьянами казачьих отрядов. К тому времени окончательно сформировалось и обрело силу украинское казачество. Главной базой его стало Среднее Поднепровье, особенно Запорожье — земли ниже днепровских порогов. Казаками называли здесь вольных поселенцев, защитников порубежья от ордынских набегов. Большую часть их составляли бывшие крестьяне, уходившие из своих насиженных мест в поисках более достойной и свободной жизни. Сами условия приграничного быта превращали их в отважных и умелых воинов. «Можно с уверенностью сказать, — писал о казаках турецкий хронист Наима, — что не найти на земле людей более смелых, которые бы столь мало заботились о своей жизни и столь мало боялись бы смерти». С середины XVI века организационным центром украинского казачества стала Запорожская Сечь — «христианская казацкая республика», по словам К. Маркса (Архив Маркса и Энгельса. М., 1946, т. VIII, с. 154). Все казаки имели здесь право участвовать в радах (советах), на которых решались важные вопросы, избиралась старшина. Однако настоящего равенства на Сечи, конечно же, не было и не могло быть: зажиточным казакам почти всегда удавалось разными способами — обманом, демагогическими обещаниями, подкупом — обеспечить за собой большинство ключевых должностей.

Еще большим, чем на Сечи, было неравенство среди казаков «городовых», которые в мирное время вели хозяйство в своих усадьбах по хуторам, селам, городкам Поднепровья и Побужья. Из их числа польское правительство решило создать формирование казаков, состоящих на государственной службе. Их записывали в специальные списки — реестр, поэтому таких казаков именовали «реестровыми». В среде рядовых казаков бур-

лили противоречия, вызревало недовольство действиями той части старшины, которая верой и правдой служила польским феодалам. Как показали дальнейшие события, и среди реестровой старшины было немало людей, остававшихся лояльными Польше не по убеждению, а лишь потому, что они не видели в ту пору иного выхода.

Уже первое крупное восстание, вспыхнувшее в 1591 году, началось совместным выступлением крестьян и реестровых казаков во главе с их гетманом Криштофом Косинским. К ним вскоре примкнуло и «низовое» запорожское казачество. В 1593 году Косинский погиб, но на следующий год вспыхнуло гораздо более мощное восстание, которое возглавил Северин Наливайко — родной брат украинского писателя и ученого-книжника Демьяна Наливайко. Пламя борьбы охватило значительную часть Украины, перекинулось в соседнюю Белоруссию. Новый размах антифеодальное и освободительное движение обрело во второй четверти XVII века. Наиболее крупными были крестьянско-казацкие восстания 1630 года (во главе с Тарасом Федоровичем, которого Т. Шевченко воспел в поэме «Тарасова ночь»), 1637 года (им руководили Павлюк, Карпо Скидан, Дмитро Гуня) и 1638 года (под предводительством Якова Острянина, Скидана и Гуни).

Не прекращали казаки и борьбы с турецко-татарской агрессией, причем от обороны все чаще переходили к наступлению, совершая отчаянно смелые морские походы на своих суденышках-чайках. Еще в 1604 году запорожские казаки овладели турецкой крепостью Варна, которую считали неприступной, спустя десять лет дважды разгромили Синоп и Трапезунд на малоазиатском побережье, в 1615 году прорвались почти к самому султанскому дворцу в Константинополе, через год освободили множество людей на невольничьем рынке в Кафе. Особенное впечатление произвело на современников мужество казаков во главе с гетманом Петром Конашевичем Сагайдачным в Хотинской битве 1621 года: именно благодаря их участию объединенное польско-казацкое войско одолело и заставило отступить турецко-татарскую армию во главе с султаном Османом II.

В ходе общей борьбы против турецко-татарской агрессии крепло боевое содружество украинских казаков с русскими казаками — донскими. Донцы и запорожцы нередко ходили в совместные походы. Укреплялись также непосредственные связи запорожского казачества с Русским государством.

Именно к России обращали свои взоры и деятели украинской культуры. Русско-украинско-белорусские культурные взаимосвязи помогали отстаивать наследие отечественной культуры, бороться против ополячивания и обращения украинцев и белору-

сов в католическую веру. Этой же цели служила деятельность ведущих украинских школ — Острожского коллегиума, Львовской и Луцкой братских школ, впоследствии Киево-Могилянской академии. Огромное значение имела для Украины деятельность русского первопечатника Ивана Федорова. При помощи своих украинских друзей — ремесленников, писателей, переводчиков — он основал типографии во Львове и Остроге, выпустил первый в Восточной Европе печатный учебник — львовский Букварь 1574 года. Дело Федорова было продолжено — появились типографии Львовского братства, Острожского коллегиума, Киево-Печерской лавры, где печатались произведения украинских писателей, учебники. Больших, по тем временам, тиражей достигли буквари: до 5—6 тысяч экземпляров. Напечатанные на Украине книги распространялись также в России, Болгарии, Сербии, Молдавии и других странах. Руководили школами и типографиями самые выдающиеся деятели украинской культуры той эпохи — писатели и ученые Памво Берында, Елисей Плетенецкий, Захария Копыстенский и другие. Они понимали, что без народного просвещения, без книг на родном языке невозможно сопротивление духовному порабощению. Деятельность школ, типографий, развитие украинской литературы — все это способствовало формированию идеологии освободительного движения, готовило для него благодатную почву.

И вот настал 1648 год — год начала Освободительной войны украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого. Дворянские летописцы и историки чуть ли не главной причиной войны считали желание Хмельницкого отомстить за нанесенные ему лично обиды и оскорбления. Не стоит доказывать, что все было совершенно иначе: восстание вспыхнуло как результат всеобщего недовольства режимом угнетения и произвола. Личные обиды, о которых сохранились сведения в летописях и документах, — только иллюстрация того бесправия и беззакония, от которого страдал народ, в первую очередь трудовые низы общества, то есть его огромное большинство. Последнее десятилетие накануне войны, которое шляхтичи считали периодом «золотого спокойствия», стало временем особенного усиления феодального и национально-религиозного угнетения. Попиралась даже видимость законности, практически необузданным стал произвол магнатов, арендаторов, старостинской администрации.

В таких условиях обострились до предела общественные противоречия. Крестьяне и кровно связанные с ними рядовые казаки стремились к уничтожению ненавистных крепостнических порядков, главной опорой которых было польское магнатско-шляхетское государство. Мелкие украинские шляхтичи и часть

казацкой старшины были возмущены национально-религиозным неравноправием, желали уничтожить или хотя бы ограничить засилье польских феодалов и сотрудничавших с ними ополяченных украинских магнатов. Сам Богдан Хмельницкий принадлежал к той части старшины, которая осознала, что борьба против Речи Посполитой не сможет быть успешной без опоры на крестьян, а значит, без облегчения их участи. Общее стремление сокрушить господство польских феодалов и их украинских пособников определило возможность и необходимость сплочения всех сил, недовольных господством Речи Посполитой. Крестьяне и казаки, городские ремесленники и торговцы, большинство украинских мелких феодалов поддержали Богдана Хмельницкого именно как руководителя всенародной борьбы против владычества феодальной Польши, за воссоединение Украины с Россией. Этим и объясняется огромный авторитет Хмельницкого. Недаром русский посол Унковский подчеркивал, что жители Украины «во всем полагаются на гетмана», поддерживают его как «оборонителя и от проклятой веры свободителя».

В исторических хрониках и мемуарах современников сохранились лишь скупые сведения о первом периоде жизни Богдана (Зиновия) Хмельницкого. Его отец Михаил был мелким украинским шляхтичем, мать казачкой. Родился будущий гетман около 1595 года, вероятнее всего в Чигирине (некоторые историки считают местом его рождения Переяслав либо Олесский замок близ Львова). Мальчик получил хорошее образование. Впоследствии он свободно владел латинским языком, тогда еще остававшимся международным языком науки и дипломатии. В 1620 году Богдан Хмельницкий в составе реестрового казацкого войска воевал с турками под Цецорой. Попав в плен, два года томился в тяжкой неволе в Стамбуле. Освободившись, ходил в походы против турок и татар, принимал участие в крестьянско-казацких восстаниях Тараса Федоровича, Павлюка и Острянина. В 1637 году Хмельницкий занимал должность войскового писаря реестрового казачества, позже стал чигиринским сотником, вел хозяйство на своем хуторе в селе Суботове близ Чигирина.

В конце 1647 года Богдан Хмельницкий во главе небольшого отряда своих единомышленников прибыл в окрестности Запорожской Сечи: в самой Сечи стоял тогда польский гарнизон. В лагерь Хмельницкого на острове Томаковке стали стекаться казаки, крестьяне, горожане. 24 января 1648 года повстанцы освободили Сечь: польские солдаты бежали, а реестровые казаки перешли на сторону Хмельницкого. Этот день и стал началом всенародного восстания на Украине. Казачество через несколько дней избрало Богдана Хмельницкого гетманом войска Запорожского. Из Сечи в разные концы Украины были направлены по-

сланцы с гетманскими универсалами — своеобразными манифестами, содержавшими призыв повсеместно подниматься на борьбу за освобождение Украины от власти польских магнатов и шляхты. Гетман сразу же обратился за помощью к донским казакам, которые впоследствии принимали участие во всех крупнейших сражениях Освободительной войны.

В то же время, чтобы обезопасить тылы, Хмельницкий был вынужден пойти на переговоры с крымским ханом Ислам-Гиреем и добился от него обещания оказать поддержку Украине в начинавшейся войне с Речью Посполитой. Послы запорожского войска объясняли позднее русскому правительству, что другого выхода не было: «Та дружба учинилась поневоле, как де наступили на них поляки, и в то время никто им... помочи не учинил, и они де по нужде призвали себе в помочь крымского хана с ордою». Впрочем, хан занял выжидательную позицию и первоначально послал к Хмельницкому небольшой и плохо вооруженный отряд перекопского наместника Тугай-бея. Лишь после первых больших успехов украинского крестьянско-казацкого войска к повстанцам присоединились более многочисленные подкрепления.

В Поднепровье стояло тогда польское войско во главе с его главнокомандующим — великим коронным гетманом Миколаем Потоцким. Там же находился и его заместитель — польный гетман Марцин Калиновский. Рассчитывая с ходу разгромить повстанцев, Потоцкий разделил свою армию на три части. Главные силы он продвинул в район Корсуня, а к Кодакской крепости близ Сечи направил два отряда: один — сухопутным путем, другой — лодками по Днепру. Богдан Хмельницкий принял единственно правильное решение: не допустить объединения войск противника. Взяв имевшуюся в Сечи артиллерию, гетман направился навстречу первому отряду, которым командовали сын гетмана Стефан Потоцкий и комиссар реестровых казаков Яцек Шемберк. Противники встретились у реки Желтые Воды. Здесь польское войско заняло оборону, соорудив укрепленный лагерь между двумя рукавами реки. Тем временем реестровые казаки, двигавшиеся на лодках, перебили наемных солдат Речи Посполитой и присоединились к восставшим. Когда весть об этом дошла до реестровых казаков в лагере Шемберка, многие из них тоже стали на сторону восставших. 5 мая начался решающий штурм, вынужденное отходить шляхетское войско на следующий же день было настигнуто и наголову разбито в урочище Княжьи Байраки (в верховьях Днепровской Каменки). В плену очутились оба командира — Стефан Потоцкий (вскоре умер от ран) и Шемберк.

Узнав о плачевном для него исходе первого сражения, коронный гетман Потоцкий решил отступить из-под Корсуни. Од-

нако на его пути — в урочище Гороховая Дубрава — казаки заблаговременно устроили засаду: преградили валами и рвами узкую дорогу, соорудили укрепления для пехоты, установили в ближнем лесу пушки. После пушечного обстрела шляхетская артиллерия была подавлена, и Хмельницкий ввел в бой свою пехоту и конницу. Жестокое сражение окончилось полным разгромом польской армии; многие солдаты погибли, другие спаслись бегством. В плен было взято 8,5 тысячи человек, в том числе оба гетмана — Потоцкий и Калиновский.

Если у Желтых Вод был уничтожен лишь авангард коронного войска, то в следующей крупной битве, под Корсунем, было сметено все коронное войско Речи Посполитой — опора ее владычества на захваченных украинских землях. Это событие произвело ошеломляющее впечатление на современников. Случившееся казалось невероятным: кичливых шляхтичей, считавших себя самым храбрым войском в Европе, разгромили те, кого они еще вчера унижали и оскорбляли.

Победы у Желтых Вод и под Корсунем стали сигналом для массовых восстаний в сельских округах и городах. С молниеносной быстротой пламя борьбы против социального и национального гнета охватило почти всю Украину, значительную часть Белоруссии. Крестьяне и городская беднота, рядовые казаки действовали совместно, громя замки и помещичьи имения, объединяя разрозненные отряды в сотни и полки. Целые села «показачились»: все взрослые мужчины вливались в крестьянско-казацкое войско.

Оценивая сложившуюся тогда на Украине обстановку, киевский воевода Криштоф Тышкевич писал в своем донесении варшавскому сейму 30 июля 1648 года: «Теперь каждый крестьянин — наш враг, каждый город, каждое селение мы должны считать вражеским отрядом». Вчерашние бессловесные подданные превращались в бесстрашных и самоотверженных рыцарей.

Из своей среды народ выдвинул талантливых военачальников — полковников Максима Кривоноса, Ивана Богуна, Данилу Нечая, Ивана Золотаренко и других. Народным любимцем был Кривонос, разгромивший в ряде кровопролитных битв шляхетские отряды Иеремии Вишневецкого, одного из самых жестоких и коварных магнатов Украины. Между казацкими полководцами иногда возникали разногласия, но в решающие моменты все они признавали непререкаемый авторитет Богдана Хмельницкого. В отличие от большинства современных ему полководцев гетман не считал главной целью осаду замков, которые иронически называл «курятниками», и поэтому нередко оставлял осажденные крепости в тылу, а сам настойчиво искал встречи в поле с ос-

новыми силами противника. «Надо бить голову, а с хвостом дело пойдет легче», — так объяснял он свою тактику.

Мастерство Хмельницкого-полководца в полную силу проявилось в битве под Пилявцами. Речь Посполита направила против украинского крестьянско-казацкого войска огромную по тем временам армию: 8 тысяч наемных солдат, 32 тысячи шляхетских ополченцев, много тысяч вооруженных панских слуг. Поскольку оба польских гетмана оставались в плену, были назначены командующие из числа крупнейших магнатов Польши — князь Доминик Заславский, коронный подчаший Миколай Остророг, коронный хорунжий Александр Конецпольский. Первый из них был уже пожилым человеком; второй славился ученостью, но отнюдь не воинским талантом; третий был известен своей неуравновешенностью, склонностью к опрометчивым действиям. Крылатой стала приписываемая Хмельницкому характеристика этих трех польских полководцев: «перына, латына, дытына».

Соорудив укрепленный лагерь на южном берегу реки Иквы (Пилявки), Хмельницкий хорошо продуманным маневром вынудил противника разбить свой лагерь в менее выгодном месте на противоположном берегу. Навязав затем врагу изнурительные бои за плотину, соединявшую оба лагеря, гетман выбрал удачный момент для одновременного наступления главных сил и зашедшего в тыл полякам отряда Кривоноса. В шляхетском стане началась паника, отступление превратилось в беспорядочное бегство. В руки победителей попал огромный обоз — до 100 тысяч телег, нагруженных оружием, одеждой, предметами роскоши. «Пилявецкий позор», «Самое постыдное в истории Речи Посполитой поражение», — так впоследствии оценили шляхетские историки эту битву.

Новая блестящая победа окрылила народ по всей Украине, волна восстаний докатилась до самых западных ее окраин. В Прикарпатье центрами освободительного движения стали Дрогобыч, Калуш, Отыния. В частности, в окрестностях Отынии сформировался 15-тысячный отряд, атаманом которого был избран крестьянин Семен Высочан, ставший вскоре полковником, а его помощником («начальником штаба», по выражению одного из источников) — мелкий шляхтич Лесь Березовский. В Карпатах, вблизи Ужоцкого перевала и западнее, действовали народные мстители-опрышки. Множество крестьян и горожан из западноукраинских земель влились в крестьянско-казацкое войско.

В октябре 1648 года армия Богдана Хмельницкого расположилась возле самого Львова. После того как полк Кривоноса стремительным штурмом овладел Высоким замком — возвышавшейся над городом неприступной крепостью, все львовские укрепления оказались под контролем войск Хмельницкого. Гар-

низон был вынужден выполнить требования гетмана, и руководимая им армия двинулась дальше — к крепости Замостье, заслонявшей путь на Варшаву. Поздней осенью были освобождены почти все украинские земли, захваченные в свое время Речью Посполитой, в том числе Западная Волынь, Холмщина, Галичина. В галицких городах Рогатине, Теребовле, Калуше, Долине, Городке, Яворове и других стали действовать «украинские магистраты» — местные органы самоуправления по подобию тех, что уже ранее были учреждены на востоке Украины.

Однако в конце 1648 года Хмельницкий счел необходимым отступить на восток и подписать с Польшей перемирие. Это было необходимо для мобилизации материальных и людских ресурсов, чтобы закрепить достигнутые успехи. Вскоре после заключения перемирия гетман послал в Москву своего представителя полковника Силуяна Мужиловского. Русское правительство в связи со сложной внутренней обстановкой не смогло сразу решить вопрос о политическом воссоединении Украины с Россией, но в то же время начало оказывать ей всестороннюю помощь — дипломатическую, военную, экономическую. Из России на Украину везли хлеб, порох, другие нужные товары, а многие донские казаки вливались в запорожские полки. Эта своевременная поддержка дала Хмельницкому возможность уделить больше внимания организации нового административного аппарата в центре и на местах. Главным органом власти являлась рада (совет) старшин, в исключительных случаях созывались общие рады казачества. Войсковой писарь возглавлял гетманскую канцелярию, принимал участие в налаживании международных сношений. Генеральный подскарбий ведал финансовыми делами. Помощниками гетмана в военных делах считались генеральный обозный и генеральные есаулы. На местах вместо прежней польско-шляхетской власти была создана новая администрация, которую возглавляли полковники, сотники, городовые атаманы. Аппарат власти, созданный под руководством Хмельницкого, являлся орудием классового господства казацкой старшины, украинских шляхтичей и городской верхушки. Иначе и быть не могло: государство в тех конкретных исторических условиях могло существовать только на основе феодального строя. Однако феодально-крепостническая система была ослаблена. Значительная часть помещичьих земель перешла к крестьянам, многие из которых влились в казачье сословие. Новый государственный аппарат — и это важно подчеркнуть — служил интересам борьбы против шляхетской Польши.

Военные успехи крестьянско-казацкой армии способствовали росту международного авторитета созданной на Украине администрации. В гетманскую резиденцию Чигирин стали прибы-

вать дипломатические представители из разных стран. Хмельницкий искал союзников прежде всего среди государств, выступавших против возглавляемой империей и папством «католической лиги», на которую ориентировались наиболее воинственные клерикально-магнатские круги Польши. Соответственно и противники лиги искали дружбы с Хмельницким. Правитель Англии Кромвель приветствовал украинского гетмана как «императора всех казаков», именовал его «грозой и истребителем аристократии Польши», «искоренителем католицизма». Весьма высоко оценивали военно-организаторские и дипломатические способности гетмана Украины даже многие из его врагов — польских феодалов. Впрочем, среди поляков у Богдана Хмельницкого было и много искренних друзей. Возглавляя борьбу против владычества Польши на украинских землях, гетман дружественно относился к польскому народу, стремился помочь полякам освободиться от засилья магнатов. В самой Польше в те годы усилились антикрепостнические выступления крестьян. Многие их участники солидаризировались с освободительной борьбой украинского народа, поскольку осознавали общность классовых интересов украинских и польских крепостных. Хорошо зная об этом, Хмельницкий рассчитывал и на помощь польской бедноты. «Если дуки и князья будут брыкаться за Вислой, найду их и там!.. Поможет мне в этом вся чернь по Люблин и Краков», — говорил он. Освободительная война украинского и белорусского народов оказала также большое влияние на подъем антифеодальных движений в Молдавии, Венгрии и других странах.

Создание на всей освобожденной территории Украины полковой и сотенной администрации, успешное формирование других звеньев государственного аппарата помогло Хмельницкому к весне 1649 года собрать значительное войско, хорошо наладить его снабжение оружием и другими припасами.

В июле того же года в городе Збараже гетман с войском окружил значительную часть шляхетской армии во главе с князем Иеремией Вишневецким. Узнав, что на помощь осажденным двинулся король Ян Казимир III с другой частью армии, Хмельницкий оставил у стен Збаража заслон, а сам с главными своими силами стремительно ринулся навстречу. Королевская армия, атакованная на переправе через Стрыпу у Зборова, была бы неминуемо разгромлена, если бы временный союзник казаков, крымский хан Ислам-Гирей, не пошел на сговор с королем и не принудил Хмельницкого вступить в переговоры с поляками.

В такой ситуации не было возможности полностью воспользоваться плодами военных успехов, и это привело к подписанию 8 августа 1649 года Зборовского договора между польским пра-

вительством и гетманской администрацией. Польша вынуждена была признать значительную часть Украины — Киевское, Черниговское, Брацлавское воеводства — казацкой территорией, куда не допускались шляхетские войска. Все административные должности на этих землях могли занимать только украинские шляхтичи православного вероисповедания. Казацкий реестр устанавливался в 40 тысяч. Провозглашалось, что не вошедшие в реестр «показачившиеся» крестьяне должны возвратиться к своим господам, однако Хмельницкий не брал на себя обязательства гарантировать панам их власть над крепостными. Большим дипломатическим успехом Хмельницкого следует признать сам факт, что королю и его правительству пришлось вступить в договорные отношения с гетманом. Это, по сути, был акт международного значения, закрепивший результаты первого этапа Освободительной войны.

Современники расценивали Зборовский трактат как крупную неудачу Польши. Познанский воевода, известный польский публицист К. Опалиньский писал: «Бог покарал нас за угнетение крестьян сначала поражением и пленением гетманов, затем постыдным бегством и, наконец, позорным миром». В то же время договор вызвал недовольство и среди народных масс Украины, опасавшихся восстановления шляхетского гнета. Попытки магнатов и шляхты возвратиться в свои имения встретили вооруженное сопротивление крестьян и казаков, в ряде мест вспыхнули восстания и против старшинской администрации.

В последующие годы внутреннее и международное положение Украины продолжало оставаться сложным. В 1650 году Хмельницкому пришлось предпринять поход против господаря Молдавии Василия Лупула, чтобы обезопасить юго-западные границы Украины. В начале 1651 года польское войско вторглось в Брацлавское воеводство. В бою у города Красное погиб один из самых любимых народом полководцев Данило Нечай. Однако вскоре крестьянско-казацким отрядам Ивана Богуна удалось разбить шляхетскую группировку, наступавшую в районе Винницы.

В середине июня того же года под Берестечком на Волыни сосредоточилась 150-тысячная польская армия под командованием короля Яна Казимира. Ей противостояли 100-тысячная крестьянско-казацкая армия и 50-тысячное войско крымского хана Ислам-Гирея. Сражение было жестоким и кровопролитным. Первые два дня оказались успешными для украинцев, но на третий день поляки обрушили все свои силы на левый фланг, где стояли татары. На них же сосредоточила огонь вся шляхетская артиллерия. Орда бежала с поля боя. Когда же Хмельницкий направился в стан Ислам-Гирея, чтобы уговорить его продолжать сопротивление, хан захватил гетмана в плен и отпустил лишь че-

рез две недели. Ордынцы ушли в Крым, грабя по пути население, уводя с собой огромный полон.

Оставшийся без гетмана крестьянско-казацкий лагерь с трех сторон был окружен шляхетским войском, с четвертой к нему примыкали река и непроходимое болото. С несравненным мужеством осажденные оборонялись десять дней и ночей. В конце концов Богуну, взявшему на себя командование, удалось вывести из окружения основные казацкие силы через сооруженную под покровом ночи переправу. Неувядаемую славу стяжал отряд, прикрывавший отступление. Шляхтич-очевидец писал о нем: «Одна казацкая дружина числом в 200 или 300 человек, засев на островке, оказывала нашим столь решительный и мужественный отпор, что, хотя гетман Потоцкий обещал им даровать жизнь, они не приняли предложения и, высыпав в знак своего решения деньги из кошельков в воду, стали так сильно обороняться, что пехота была вынуждена наступать на них всей массой, и хотя расчленила их и разогнала, они тем не менее отступали на болото, не желая сдаваться, и там поодиночке каждого из них приходилось убивать. А один из них, захватив лодку, на глазах короля и всего войска дал пример некрестьянского мужества, обороняясь на этом челне при помощи косы несколько часов».

Поражение под Берестечком было единственной за всю войну крупной военной неудачей Хмельницкого. Для будущего развития событий наиболее важным было то обстоятельство, что в крайне неблагоприятных условиях соратники гетмана сумели сохранить ядро армии. Это позволило в течение ближайших месяцев восстановить боеспособность крестьянско-казацкого войска и остановить наступление шляхты на Украину. Уже в следующем, 1652 году полки Хмельницкого разгромили войско М. Калиновского (выкупленный из плена, он стал к тому времени великим коронным гетманом) в битве под Батогом. В сражении погибли сам Калиновский, командир немецких наемных солдат Пшемский, многие другие военачальники Речи Посполитой. Современники сравнивали тактику Хмельницкого в Батогском сражении с тактикой Ганнибала под Каннами.

Осенью 1653 года войско польского короля Яна Казимира снова было окружено армиями Хмельницкого и Ислам-Гирея. И в который раз лишь сговор хана с королем спас шляхетское воинство от неминуемого разгрома.

В течение шести лет кровопролитной войны с Речью Посполитой крестьянско-казацкая армия ценой неимоверного напряжения сил выиграла немало сражений, однако в одиночку не могла добиться окончательной победы. Усложнилось и международное положение Украины, особенно после замирения крым-

ского хана с Польшей и укрепления сторонников Речи Посполитой на престолах Молдавского и Валашского княжеств. Единственным спасением для Украины могло быть воссоединение с Россией, объединение сил украинского и русского народов.

Выражая всеобщую волю, Хмельницкий и его ближайшие соратники неоднократно ставили перед русским правительством вопрос о воссоединении. Уже в феврале 1651 года Земский собор в Москве решил начать войну с Польшей и воссоединить Украину с Россией, однако в то время русская армия не была еще готова к военным действиям, и поэтому постановление собора не вступило в силу. 1 октября 1653 года в Грановитой палате Московского Кремля вновь собрался Земский собор (кстати, последний в истории Российского государства). Присутствовали не только «бояре и думные люди», но и «стольники, и стряпчие, и дворяне московские, и дьяки, и жильцы, и дворяне ж и дети боярские из городов, и головы стрелецкие, и гости, и гостиные и суконные сотни, и черных сотен и дворцовых слобод тяглые люди, и стрельцы». Все они «приговорили», чтобы царю «гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами и з землями принять».

После решения Земского собора на Украину отправилось полномочное русское посольство во главе с ближним боярином Бутурлиным. От русско-украинской границы и до Переяслава послов повсюду встречали торжественно, с колокольным звоном. 8 января 1654 года собралась знаменитая рада в Переславе — одном из древнейших и самых крупных городов Поднепровья. По запорожскому обычаю в круг выстроились все присутствующие — казаки, горожане, крестьяне окрестных сел. В центре стали гетман, генеральная старшина, полковники. Хмельницкий в своей яркой речи подчеркнул, что лишь воссоединение с Россией может спасти Украину от порабощения шляхетской Польшей и от турецко-татарской агрессии. Рада единодушно высказалась за воссоединение: «чтоб есми во веки вси едино были!»

Решение о воссоединении явилось актом огромного исторического значения. Даже несмотря на реакционную политику царизма, русских и украинских феодалов, воссоединение сыграло большую прогрессивную роль для дальнейшего экономического, политического и культурного развития Украины и самой России. Оно способствовало подъему их производительных сил, укрепило единение братских народов, создало предпосылки для более успешной совместной борьбы народных масс против угнетателей. Воссоединенная с Россией левобережная часть Украины стала центром притяжения для населения правобережных и западных украинских земель, еще долго остававшегося под гнетом польских феодалов.

Воссоединение Украины с Россией имело также крупные внешнеполитические последствия, коренным образом изменив соотношение сил между Россией и Речью Посполитой. Российское государство становилось самой могущественной державой в Восточной Европе, уверенно выходило на арену мировой политики.

История освободительной борьбы украинского народа привлекала внимание многих писателей. Ее героика — одна из главных тем творчества великого поэта Украины Тараса Шевченко. В русской литературе наиболее выдающееся произведение о жизни и борьбе украинского народа — повесть Гоголя «Тарас Бульба».

По меткому определению Белинского, это произведение Гоголя «есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа». Гоголь глубоко изучал источники по истории Украины. Из числа известных писателю публикаций особенно активно в «Тарасе Бульбе» использованы «Описание Украины» французского военного строителя и картографа Г. Левассера де Боплана, «История о козаках запорожских» князя Семена Мышецкого, анонимная «История русов» (современники приписывали ее авторство украинскому писателю и церковному деятелю XVIII века Георгию Конисскому), наконец, обобщающий труд по истории Украины современного Гоголю историка Дмитрия Бантыш-Каменского. Еще большее значение, чем письменным документам и летописям, писатель придавал фольклору — думам украинских сказителей-кобзарей, народным песням и легендам. Их Гоголь слышал с самого раннего детства, уже в юношеском возрасте стал собирать украинские песни, о которых писал: «Это народный источник, живая, яркая, исполненная красок истина, обнаруживающая всю жизнь народа». Наряду с фольклором писатель изучал быт современной ему украинской деревни и ее обычаи, улавливая в них отзвуки старины, продолжение древних традиций. Все это и помогло создать подлинно народные характеры. Полностью соответствуют фольклорным представлениям о воинской доблести и чувстве долга колоритные образы запорожцев — участников осады Дубно, и в первую очередь казака-рыцаря Остапа. Но наиболее удался автору собирательный образ казацкого предводителя — убеленного сединами, решительного и бесстрашного полковника Тараса Бульбы.

В начале повести говорится, что Бульба «один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век». Это верно в том отношении, что именно к XV веку относится зарождение украинского казачества. Но большинство бытовых подробностей и описываемых боевых эпизодов позволяет отнести действие повести к периоду крестьянско-казацких восстаний конца XVI — начала XVII веков. Подобно тому как соби-

рательны образы казаков, художественно-обобщенными являются и описания военных действий. Здесь как бы слиты воедино эпизоды разных восстаний и походов. Однако больше всего к тому, что описано Гоголем, приближаются события крестьянско-казацкого восстания 1637 года во главе с Павлюком, — правда, происходили они на территории левобережной Украины, а писатель перенес действие на Правобережье. Отдаленными прототипами Тараса Бульбы и его сына Остапа можно считать участников этого восстания сотника Богдана Кизима и его сына Кизименко, которые попали в плен и были казнены шляхтой — посажены на кол в Киеве. В следующем, 1638 году с новой силой вспыхнуло восстание, возглавленное Остряниным (Остряницей) и Гуней. Именно эти фамилии называет и Гоголь во введении к заключительной главе повести, где описывается второй поход казаков — после казни Остапа. Отдельные эпизоды навеяны историческими данными более позднего времени, периода Освободительной войны середины XVII века. Так, осада Дубно напоминает осады городов и шляхетских крепостей (в большинстве завершившиеся их взятием) в 1648 году и отчасти в последующие годы. В словах Тараса Бульбы, с которыми обратился он перед смертью к своим боевым товарищам, частично использован текст речи Богдана Хмельницкого в том варианте, который приводится в «Истории русов» — памятнике украинской историографии XVIII века. Но в целом повесть отражает ситуацию, сложившуюся не в годы Освободительной войны, а в предшествующие десятилетия.

С исторической достоверностью деталей и эпизодов, верностью оценок деятелей и событий сочетаются элементы романтического преувеличения, умышленного сгущения красок, усиления контрастов. Приемы гиперболизации у Гоголя во многом идут от народной поэтики, проникнутой идеализацией положительных героев. Но эта идеализация весьма относительна, так как в большинстве случаев автор отнюдь не умалчивает слабостей и отрицательных сторон тех, кем он полностью восхищается. Называя Сечь «республикой», автор ведет повествование так, что видно расслоение в среде казаков, отсутствие равенства между массами и казацкой старшиной. Предательство Андрия в повести объяснено исключительно слабостью его характера, но писатель здесь осуждает не лично его, он показывает отрицательное отношение казачества к той части старшины, которая шла на службу к польским феодалам.

Важным мотивом повести является освещение истории дружбы русского и украинского народов. Сознание общности их происхождения от единого корня — древнерусской народности — способствовало тому, что под Русью часто понимали все три

восточнославянские страны — Россию, Белоруссию, Украину. Исходя из этого, Гоголь и Украину также называет Русской землей, а украинцев (которых в документах того времени часто именовали «русинами») — русскими. В то же время в соответствии с источниками писатель именует украинцев «казацким народом».

Было бы неправильным не замечать, что в «Тарасе Бульбе» нашли отражение и некоторые консервативные черты мировоззрения самого Гоголя, в частности разделявшаяся писателем вера его героев в грядущее пришествие «доброго царя». Но не в этом главный пафос произведения. Воспевая запорожскую вольницу, Гоголь осуждал крепостничество, угнетение, любое подавление человеческой личности. Наиболее яркие, проникновенные страницы посвящены героизму людей из народа, апофеозу народных представлений о честности, справедливости, долге. И хотя Гоголь был довольно далек от понимания социально-экономической подоплеки событий, он в художественно убедительных образах раскрыл освободительный характер борьбы народных масс Украины против польских феодалов, ее историческое значение.

История борьбы украинского народа с поработителями, против социального и национального угнетения волнует и многих наших современных писателей. Беспредметным было бы непосредственное сравнение и тем более противопоставление друг другу произведений, разных по стилю, замыслу, художественному уровню. Читателей привлекают в первую очередь те из них, где предпринимается попытка показать сложность жизненных противоречий через неповторимое разнообразие человеческих судеб, характеров. Именно так подходит к освещению исторического прошлого Роман Иванычук, известный украинский прозаик, лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко. Его книга «Мальвы» посвящена последним десятилетиям накануне Освободительной войны украинского народа и первому периоду этой войны. Место действия большинства глав — степи Крыма, Бахчисарай, Стамбул. Однако через образы казаков, крестьян, ремесленников, очутившихся в неволе, автор рассказывает о трагической судьбе всей Украины, о стойкости ее сынов — борцов против гнета шляхты, защитников родного края от набегов ордынцев и агрессии султанского войска. Вместе с тем убедительно показано, насколько пагубной была политика правителей Оттоманской Порты и Крымского ханства также и для их собственных соотечественников. Ненавязчиво, но последовательно проводится мысль о совпадении интересов эксплуатируемых масс разных стран и народов, общности целей их антифеодальной борьбы.

Кульминация сюжета романа «Мальвы» — его заключительные разделы, посвященные событиям у Зборова в 1649 году и под Берестечком в 1651 году. Это дни наиболее драматичных битв Освободительной войны, когда победа, казалось, была так близка. Но в обоих случаях польско-шляхетскую армию во главе с самим королем Яном Казимиром спасло предательство крымского хана Ислам-Гирея. Естественно напрашивается вопрос: не было ли ошибкой Богдана Хмельницкого заключение союза с таким коварным и вероломным соседом, как хан? Ответ на этот вопрос, данный историками на основании изучения документов и хроник, писатель воплотил в увлекательном сюжете романа, в его художественных образах. С перспективы предыдущего и последующего развития событий становится ясно, что гетман Хмельницкий союзом, пусть ненадежным, с крымским ханом обеспечил себе тылы, не допустил объединения ханства с польской шляхтой в первый период войны. Поэтому стремление оттянуть как можно дольше разрыв с Ислам-Гиреем свидетельствует о дипломатическом мастерстве и дальновидности Хмельницкого. Сосредоточив внимание на сложном вопросе о характере и целях союза гетмана с Крымским ханством, писатель смог воссоздать исторически правдивый образ Богдана Хмельницкого — мудрого политика, предводителя всенародной борьбы против гнета шляхетской Польши, за воссоединение Украины с Россией.

Наряду с историческими деятелями в романе выступают и герои вымышленные, художественно обобщенные. Образ девушки-казачки Мальвы во многом навеян историческими фактами о судьбе украинки Насти Лисовской, ставшей женой султана Сулеймана Великолепного и игравшей в свое время важную роль в политической жизни Османской империи. На примере судеб Мальвы, ее матери Марии, отчима Стратона, сеймена Селима, сумевшего найти путь возврата к соотечественникам, и его морального антипода Алима автор четко — но и без упрощений — ставит проблему личной ответственности человека за выбор жизненного пути. Однозначное и страстное осуждение трусости, предательства, жестокости служит разоблачению общества, устои которого покоились на насилии, эксплуатации, духовном порабощении народов.

Кроме художественных произведений, посвященных истории Украины, в этом томе печатаются и исторические источники — отрывки из летописей, мемуаров, архивных документов. Особенно интересны воспоминания, в которых очевидцы событий непосредственно и искренне рассказывали об увиденном и пережитом. Правда, в XVI—XVII веках люди, писавшие мемуары, чаще всего считали нужным описывать не то, с чем их современники встречались в повседневной жизни, а то, что считалось

малоизвестным, особенно же все, что казалось странным, экзотичным. Поэтому древнейшие воспоминания отечественных авторов посвящены их путешествиям в дальние страны, и наоборот, именно иностранцы составили самые подробные описания быта наших предков.

Когда речь идет об Украине первой половины XVII века, то, пожалуй, наиболее яркую ее характеристику оставил французский инженер Г. Левассер де Боплан, современник и свидетель крестьянско-казацких восстаний 30-х годов XVII века. Здесь находим сведения и о жестокой эксплуатации крепостных помещиками, и о роли крестьян в формировании казачества, и о героизме рядовых казаков, их стойкости в борьбе с поработителями родной земли. Книга Боплана вышла первым изданием на французском языке в 1651 году, но русский перевод появился только в 1832 году, и как раз Гоголь стал первым писателем, использовавшим в художественном произведении на историческую тему сведения Боплана о запорожских казаках. Впоследствии эта книга прямо или косвенно оказывала влияние на всех литераторов, писавших об Украине XVII века, знакомство с ней отразилось, в частности, и на романе Иваныча «Мальвы».

Если «Описание Украины» Левассера де Боплана является взглядом со стороны, то «Летопись Самовидца» — произведение украинского автора-современника, описывавшего ход Освободительной войны и события последующих десятилетий. Этот памятник стал первым в ряду так называемых казацких летописей второй половины XVII — первой половины XVIII века, отразивших общественные взгляды и политическое кредо левобережной казацкой старшины. Но именно потому, что автор часто смотрел на события глазами феодалов, он хорошо разглядел переплетение социальных и национальных антагонизмов в период Освободительной войны, рассказал не только о борьбе украинского народа с иноземными угнетателями, но и о выступлениях «черни» против эксплуататоров из собственной среды.

Внутреннее положение на Украине в годы этой войны, положительные сдвиги в экономике и культуре после освобождения страны из-под польско-шляхетского гнета освещены в путевых записках сирийца Павла Халебского (Алеппского). Это не только интересный исторический источник, но и выдающийся памятник арабской литературы середины XVII века. Однако, читая это произведение, следует иметь в виду специфику его жанра, отражение в нем традиционных для арабской литературы того времени приемов описания, а главное — отпечаток мировоззрения самого автора, представителя высшего духовенства. Религиозная окраска социальных конфликтов в его изложении засло-

няет их сущность, вероисповедные предрассудки ведут к субъективной оценке всех «иноверцев».

Завершающие том архивные документы рассказывают о важнейших сражениях 1648—1654 годов, о русско-украинских политических взаимоотношениях, которые привели к воссоединению Украины с Россией.

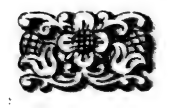
События, о которых идет речь в нашей книге, — дела давно минувших лет. Но благодарные потомки не забывают имена предводителей крестьянско-казацких восстаний, героев Освободительной войны. Места сражений отмечены мемориальными знаками. В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден Богдана Хмельницкого, которым награждены многие офицеры и генералы, войсковые части и соединения Советской Армии. Именем Хмельницкого названы город, многие улицы и площади, предприятия и колхозы. Память о героическом прошлом Отечества, чувство гордости за великое наследие предков — составная часть нашего советского патриотизма.

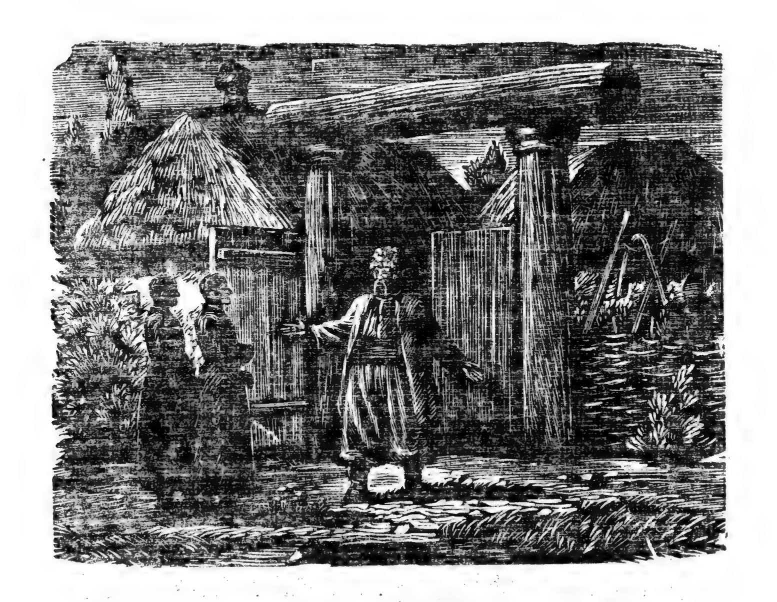
Я. Д. ИСАЕВИЧ

Н.В.Гоголь

ТАРАС БУЛЬБА

Повесть





I

— А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии? * — Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

— Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько, — продолжал он, поворачивая их, — какие же длинные на вас свитки! [1] Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А побеги который-нибудь из вас! я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшися в полы.

— Не смейся, не смейся, батьку! — сказал наконец старший из них.

---

[1] Верхняя одежда у южных россиян. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

— Смотри ты, какой пышный! А отчего ж бы не смеяться?

— Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу!

— Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька?.. — сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад.

— Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого.

— Как же хочешь ты со мною биться? разве на кулаки?

— Да уж на чем бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки! — говорил Тарас Бульба, засучив рукава, — посмотрю я, что за человек ты в кулаке!

И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

— Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума! — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. — Дети приехали домой, больше году их не видали, а он задумал невесть что: на кулаки биться!

— Да он славно бьется! — говорил Бульба, остановившись. — Ей-богу, хорошо! — продолжал он, немного оправляясь, — так, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся! — И отец с сыном стали целоваться. — Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил; никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство: что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил? — говорил он, обращаясь к младшему, — что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?

— Вот еще чего выдумал! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. — И придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя молодое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом), ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться!

— Э, да ты мазунчик, как я вижу! — говорил Бульба. — Не слушай, сынку, матери: она — баба, она ниче-

го не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь: вот ваша нежба! А видите вот эту саблю? вот ваша матерь! Это все дрянь, чем набивают головы ваши; и академия, и все те книжки, буквари, и философия — все это *ка зна що* *, я плевать на все это!.. — Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. — А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука так наука! Там вам школа; там только наберетесь разуму.

— И всего только одну неделю быть им дома? — говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха мать: — И погулять им, бедным, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них!

— Полно, полно выть, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, да ставь скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков; тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! Да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела как бешеная.

Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных монистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющихся более на Украйне бородатыми старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры, в виду обступившего народа; во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украйне за унию *. Все было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное

стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями, через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи * вокруг всей комнаты; огромный стол под образами в парадном углу; широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами, — все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время; приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не в обычае было позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо; и когда пришли двое из них и есаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час представил сыновей, говоря: «Вот, смотрите, какие молодцы! На Сечь их скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей и сказали им, что доброе дело делают и что нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сечь.

— Ну ж, паны-браты, садись всякий, где кому лучше, за стол. Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки! — так говорил Бульба. — Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били! Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю: Гораций, что ли?

«Вишь, какой батько! — подумал про себя старший сын, Остап, — все старый, собака, знает, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит * не давал вам и понюхать горелки, — продолжал Тарас. — А признайтесь, сынки,

крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что ни есть у козака? А может, так как вы сделались уже слишком разумные, так, может, и плетюганами пороли? Чай, не только по субботам, а доставалось и в середу и в четверги?

— Нечего, батько, вспоминать, что было, — отвечал хладнокровно Остап, — что было, то прошло!

— Пусть теперь попробует! — сказал Андрий. — Пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будет знать она, что за вещь козацкая сабля!

— Добре, сынку! ей-богу, добре! Да когда на то пошло, то и я с вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-богу, поеду! — И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. — Завтра же едем! Зачем откладывать! Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? На что эти горшки? — Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки.

Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, — и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах.

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле-мирный славянский дух и завелось козачество — широкая, разгульная замашка русской природы, — и когда все поречья, перевозы, при-

брежные пологие и удобные места усеялись козаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: «Кто их знает! у нас их раскидано по всему степу: что байрак, то козак» (что маленький пригорок, там уж и козак). Это было, точно, необыкновенное явленье русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся, наместо удельных князей, властителями сих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значенье козаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдаленною властью гетьманы, избранные из среды самих же козаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи *. Это не было строевое собранное войско, его бы никто не увидал; но в случае войны и общего движенья в восемь дней, не больше, всякий являлся на коне, во всем своем вооружении, получа один только червонец платы от короля, — и в две недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход — воин уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный козак. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал козак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский, — все это было ему по плечу. Кроме рейстровых козаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочекомонных *: стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй вы, пивники, броварники! * полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари,

гречкосеи, овцепасы, баболюбы! полно вам за плугом ходить да пачкать в земле свои желтые чеботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать козацкой славы!» И слова эти были как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность.

Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь козаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма *. Сам с своими козаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, именно: когда комиссары * не уважили в чем старшин * и стояли пред ними в шапках, когда поглумились над православием и не почтили предковского закона и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства.

Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!»; как представит их всем старым, закаленным в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних. Но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни и в амба-

ры, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать. Есаулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселе и в голове его еще бродил хмель, однако ж не забыл ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы и пришел усталый от своих забот.

— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор; все, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей.

Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом; она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственною грудью, она возрастила, взлелеяла их — и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас?» — говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, — и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуху. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки, она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в

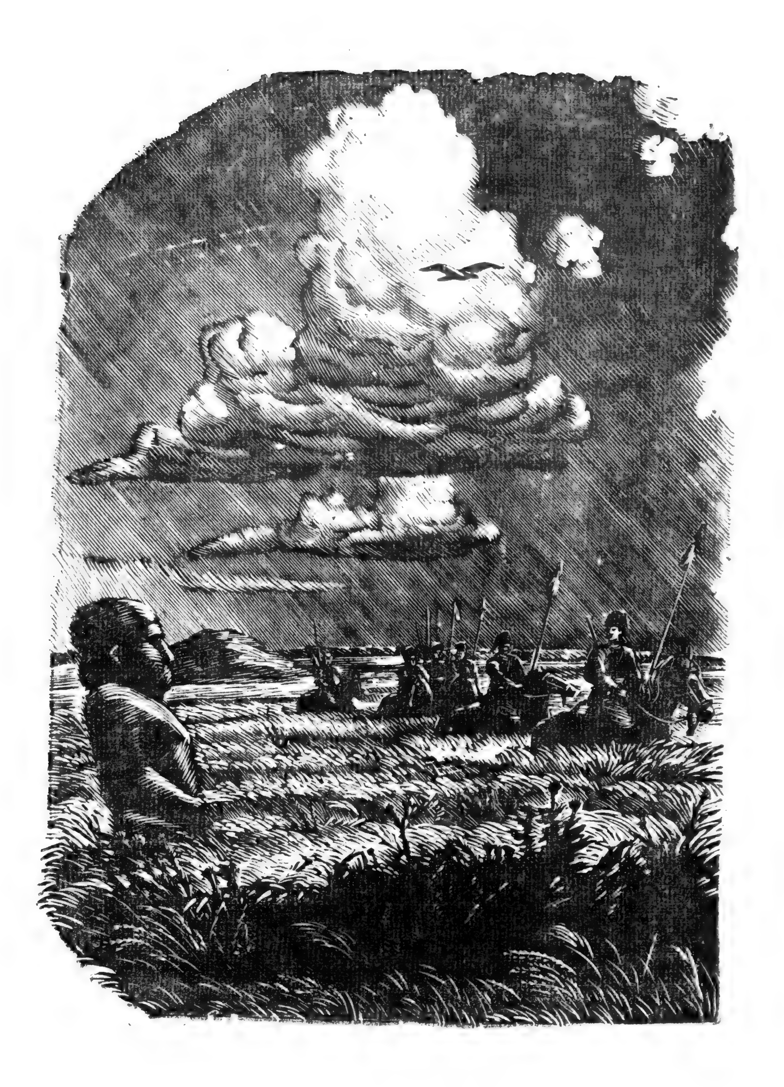
женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица; а за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю. Рыдая, глядела она им в очи, когда всемогущий сон начинал уже смыкать их, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд; может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка; красные полосы ясно сверкнули на небе.

Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А где ста́ра? (Так он по обыкновению называл жену свою.) Живее, стара, готовь нам есть: путь лежит великий!

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром; к очкуру прицеплены были длинные ремешки, с кистями и прочими побрякушками, для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, ка-



залось, похорошели и побелели; молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать как увидела их, и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

— Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! — произнес наконец Бульба. — Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба. — Моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую [1], — чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает.

Мать, слабая, как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит вас... божья матерь... Не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть весточку о себе... — Далее она не могла говорить.

— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба.

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и с отчаяньем в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всею легкостию дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какою-то помешанною, бесчувственною горячностию; ее опять увели.

Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, с своей стороны, был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад; хутор их как буд-

---

[1] Рыцарскую. *(Примеч. Н. В. Гоголя.)*

то ушел в землю; только видны были над землей две трубы скромного их домика, да вершины дерев, по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний луг еще стлался перед ними, — тот луг, по которому они могли припомнить всю историю своей жизни, от лет, когда катались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку, боязливо перелетавшую через него с помощью своих свежих, быстрых ног. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла. — Прощайте, и детство, и игры, и всё, и всё!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сечи из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не

заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни: эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости* решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Учившиеся им ни к чему не могли привязать своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей — все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, возбуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, — все это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул, долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки. Эти бурсаки составляли совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода, Адам Кисель*, несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы* по их приказанию пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим наконец сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они убегали на Запорожье, если умели найти дорогу и если не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то что начал с большим старанием учить логику и даже богословие, никак не избавлялся неумолимых розг. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда

отличавшую козаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае, не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере, никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был изобретательнее своего брата; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его; он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне и домы были выстроены с некоторою прихотливостию.

Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница с престрашными усами хлыснул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастию успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая толпою, в богатом убранстве, стояла за воротами, окружив игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостью, он пролез чрез частокол в сад, взлез на дерево, которое раскидывалось ветвями на самую крышу дома; с дерева перелез он на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнесть ни одного слова; но когда приметила, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости пошевелить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог пошевелить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку * с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупо-

стей с развязностию дитяти, которою отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся в это время у дверей стук испугал ее. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывесть его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он встретил ее еще раз в костеле: она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо прекрасной черноглазой полячки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего.

А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями.

— Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости. — Как будто какие-нибудь чернецы! Ну, разом все думки к нечистому! Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!

И козаки, принагнувшись к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только струя сжимаемой травы показывала след их быстрого бега.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным, теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у козаков, вмиг слетело; сердца их встрепенулись, как птицы.

Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по не-

измеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки *; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем... Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..

Наши путешественники останавливались только на несколько минут для обеда, причем ехавший с ними отряд из десяти козаков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи *, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась темно-зеленою; испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру *, и вся степь курилась благовонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрагивался до щек. Вся музыка, звучавшая днем, утихала и сменялась другою. Пестрые суслики выпалзывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенно-

го озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш *; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, стрекотанье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем воздухе и убаюкивало дремлющий слух. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина!.. И не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь.

Через три дня после этого они были уже недалеко от места, бывшего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело; они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и, наконец, обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый

порогами, брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по воле; где брошенные в средину его острова вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались широко по земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сечь, так часто переменявшая свое жилище *.

Куча народу бранилась на берегу с перевозчиками. Козаки оправили коней. Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, — и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками * сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки * с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой средине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него.

— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивши коня.

В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец как лев растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее по тесной улице, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявшими это предместие Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило Сечь, умевшую только гулять да палить из ружей.

Наконец они миновали предместие и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные уставлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые ре-

шительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» — отвечали запорожцы. Везде, по всему полю, живописными кучами пестрел народ. По смуглым лицам видно было, что все они были закалены в битвах, испробовали всяких невзгод. Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки; он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в средине которых отплясывал молодой запорожец, заломивши шапку чертом и вскинувши руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христианам!» И Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четверо старых выработывали довольно мелко ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и, вдруг опустившись, неслись вприсядку и били круто и крепко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танце. Чуприна развевалась по ветру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимний кожух был надет в рукава, и пот градом лил с него, как из ведра. «Да сними хоть кожух! — сказал наконец Тарас. — Видишь, как парит!» — «Не можно!» — кричал запорожец. «Отчего?» — «Не можно; у меня уж такой нрав: что скину, то пропью». А шапки уж давно не было на молодце, ни пояса на кафтане, ни шитого платка; все пошло куда следует. Толпа росла; к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движенья, как все отдирало танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет и который, по своим мощным изобретателям, назван козачком.

— Эх, если бы не конь! — вскрикнул Тарас, — пустился бы, право, пустился бы сам в танец!

А между тем в народе стали попадаться и степенные, уваженные по заслугам всею Сечью, седые, старые чубы, бывавшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!» — «Откуда бог несет тебя, Тарас?» — «Ты как сюда зашел, Долото?» — «Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думал ли я видеть тебя, Ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно; и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсышок?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были козаки!»

III

Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрий мало занимались военною школою. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время отдавалось гульбе — признаку широкого размета душевной воли. Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира

души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы и болтовня среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земле, часто так были смешны и дышали такою силою живого рассказа, что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом, — резкая черта, которою отличается доныне от других братьев своих южный россиянин. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабак, где мрачно-искажающим весельем забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, где играют в мяч, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь — и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному обычаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь выронить. Здесь были все бурсаки, не вытерпевшие академических лоз и не вынесшие из школы ни одной буквы; но вместе с ними здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика. Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках; тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Много было и таких, которые пришли на Сечь с тем, чтобы потом сказать, что они были на Сечи и уже закаленные рыцари. Но кого тут не было? Эта странная республика была именно потребностию того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов * во всякое время могли найти здесь работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже

в предместье Сечи не смела показываться ни одна женщина.

Остапу и Андрию казалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечь гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил: откуда эти люди, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, из которого только за час пред тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому *, который обыкновенно говорил:

— Здравствуй! Что, во Христа веруешь?

— Верую! — отвечал приходивший.

— И в троицу святую веруешь?

— Верую!

— И в церковь ходишь?

— Хожу!

— А ну, перекрестись!

Пришедший крестился.

— Ну, хорошо, — отвечал кошевой, — ступай же в который сам знаешь курень.

Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Сечь состояла из шестидесяти с лишком куреней, которые очень походили на отдельные, независимые республики, а еще более походили на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом. Никто ничем не заводился и не держал у себя. Все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название батька. У него были на руках деньги, платья, весь харч, саламата *, каша и даже топливо; ему отдавали деньги под сохран. Нередко происходила ссора у куреней с куренями. В таком случае дело тот же час доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, пока одни не пересиливали наконец и не брали верх, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Сечь, имевшая столько приманок для молодых людей.

Остап и Андрий кинулись со всею пылкостию юношей в это разгульное море и забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало их: разгульные обычаи Сечи и немногосложная управа и законы, которые казались им иногда даже слишком строгими среди такой своевольной республики. Если козак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему козачеству: его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которою всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть. Не платившего должника приковывали цепью к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него долг. Но более всего произвела впечатленья на Андрия страшная казнь, определенная за смертоубийство. Тут же, при нем, вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго потом все чудился ему страшный обряд казни и все представлялся этот заживо засыпанный человек вместе с ужасным гробом.

Скоро оба молодые козака стали на хорошем счету у козаков. Часто вместе с другими товарищами своего куреня, а иногда со всем куренем и с соседними куренями выступали они в степи для стрельбы несметного числа всех возможных степных птиц, оленей и коз или же выходили на озера, реки и протоки, отведенные по жребию каждому куреню, закидывать невода, сети и тащить богатые тони * на продовольствие всего куреня. Хотя и не было тут науки, на которой пробуется козак, но они стали уже заметны между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всем. Бойко и метко стреляли в цель, переплывали Днепр против течения — дело, за которое новичок принимался торжественно в козацкие круги.

Но старый Тарас готовил другую им деятельность. Ему не по душе была такая праздная жизнь — настоящего дела хотел он. Он все придумывал, как бы поднять Сечь на отважное предприятие, где бы можно было разгуляться как следует рыцарю.

Наконец в один день пришел к кошевому и сказал ему прямо:

— Что, кошевой, пора бы погулять запорожцам?

— Негде погулять, — отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув на сторону.

— Как негде? Можно пойти на Турещину или на Татарву.

— Не можно ни в Турещину, ни в Татарву, — отвечал кошевой, взявши опять хладнокровно в рот свою трубку.

— Как не можно?

— Так. Мы обещали султану мир.

— Да ведь он бусурмен: и бог и Святое писание велит бить бусурменов.

— Не имеем права. Если б не клялись еще нашею верою, то, может быть, и можно было бы; а теперь нет, не можно.

— Как не можно? Как же ты говоришь: не имеем права? Вот у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не был на войне, а ты говоришь — не имеем права; а ты говоришь — не нужно идти запорожцам.

— Ну, уж не следует так.

— Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем, на какого черта мы живем? растолкуй ты мне это. Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кошевые, растолкуй ты мне, на что мы живем?

Кошевой не дал ответа на этот запрос. Это был упрямый козак. Он немного помолчал и потом сказал:

— А войне все-таки не бывать.

— Так не бывать войне? — спросил опять Тарас.

— Нет.

— Так уж и думать об этом нечего?

— И думать об этом нечего.

«Постой же ты, чертов кулак! — сказал Бульба про себя, — ты у меня будешь знать!» И положил тут же отмстить кошевому.

Сговорившись с тем и другим, задал он всем попойку, и хмельные козаки, в числе нескольких человек, повалили прямо на площадь, где стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша *, они схватили по полену в руки и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий чело-

век с одним только глазом, несмотря, однако ж, на то, страшно заспанным.

— Кто смеет бить в литавры? — закричал он.

— Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят! — отвечали подгулявшие старшины.

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, — и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в кружок, и после третьего боя показались, наконец, старшины: кошевой с палицей в руке — знаком своего достоинства, судья с войсковою печатью, писарь с чернильницею и есаул с жезлом. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны козакам, которые гордо стояли, подпершись руками в бока.

— Что значит это собранье? Чего хотите, панове? — сказал кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

— Клади палицу! Клади, чертов сын, сей же час палицу! Не хотим тебя больше! — кричали из толпы козаки.

Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться; но курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими.

Кошевой хотел было говорить, но, зная, что разъярившаяся, своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палицу и скрылся в толпе.

— Прикажете, панове, и нам положить знаки достоинства? — сказали судья, писарь и есаул и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл.

— Нет, вы оставайтесь! — закричали из толпы, — нам нужно было только прогнать кошевого, потому что он баба, а нам нужно человека в кошевые.

— Кого же выберете теперь в кошевые? — сказали старшины.

— Кукубенка выбрать! — кричала часть.

— Не хотим Кукубенка! — кричала другая. — Рано ему, еще молоко на губах не обсохло!

— Шило пусть будет атаманом! — кричали одни. — Шила посадить в кошевые!

— В спину тебе шило! — кричала с бранью толпа. — Что он за козак, когда проворовался, собачий сын, как татарин? К черту в мешок пьяницу Шила!

— Бородатого, Бородатого посадим в кошевые!

— Не хотим Бородатого! К нечистой матери Бородатого!

— Кричите Кирдягу! — шепнул Тарас Бульба некоторым.

— Кирдягу! Кирдягу! — кричала толпа. — Бородатого! Бородатого! Кирдягу! Кирдягу! Шила! К черту с Шилом! Кирдягу!

Все кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участием своим в избрании.

— Кирдягу! Кирдягу! — раздавалось сильнее прочих. — Бородатого!

Дело принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовал.

— Ступайте за Кирдягою! — закричали.

Человек десяток козаков отделилось тут же из толпы; некоторые из них едва держались на ногах — до такой степени успели нагрузиться, — и отправились прямо к Кирдяге, объявить ему о его избрании.

Кирдяга, хотя престарелый, но умный козак, давно уже сидел в своем курене и как будто бы не ведал ни о чем происходившем.

— Что, панове, что вам нужно? — спросил он.

— Иди, тебя выбрали в кошевые!..

— Помилосердствуйте, панове! — сказал Кирдяга. — Где мне быть достойну такой чести! Где мне быть кошевым! Да у меня и разума не хватит к отправленью такой должности. Будто уже никого лучшего не нашлось в целом войске?

— Ступай же, говорят тебе! — кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и как он ни упирался ногами, но был, наконец, притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньем сзади кулаками, пинками и увещаньями. — Не пяться же, чертов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!

Таким образом введен был Кирдяга в козачий круг.

— Что, панове? — провозгласили во весь народ приведшие его. — Согласны ли вы, чтобы сей козак был у нас кошевым?

— Все согласны! — закричала толпа, и от крику долго гремело все поле.

Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз. Кирдяга отказался и в другой раз и потом уже, за третьим разом взял палицу. Ободрительный крик раздался по всей толпе, и вновь далеко загудело от козацкого крика все поле. Тогда выступило из средины народа четверо самых старых, седоусых и седочупринных козаков (слишком старых не было на Сечи, ибо никто из запорожцев не умирал своею смертью) и, взявши каждый в руки земли, которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову. Стекла с головы его мокрая земля, потекла по усам и по щекам и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоял не сдвинувшись и благодарил козаков за оказанную честь.

Таким образом кончилось шумное избрание, которому, неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба: этим он отомстил прежнему кошевому; к тому же и Кирдяга был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах, деля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тут же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотоле Остап и Андрий. Винные шинки были разбиты; мед, горелка и пиво забирались просто, без денег; шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги. И взошедший месяц долго еще видел толпы музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами*, круглыми балалайками, и церковных песельников, которых держали на Сечи для пенья в церкви и для восхваленья запорожских дел. Наконец хмель и утомленье стали одолевать крепкие головы. И видно было, как то там, то в другом месте падал на землю козак. Как товарищ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вместе с ним. Там гурьбою улегалась целая куча; там выбирал иной, как бы получше ему улечься, и лег прямо на деревянную колоду. Последний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессвязные речи; наконец и того подкосила хмельная сила, и тот повалился — и заснула вся Сечь.

IV

А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым кошевым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кошевой был умный и хитрый козак, знал вдоль и поперек запорожцев и сначала сказал: «Не можно клятвы преступить, никак не можно». А потом, помолчавши, прибавил: «Ничего, можно; клятвы мы не преступим, а так кое-что придумаем. Пусть только соберется народ, да не то чтобы по моему приказу, а просто своею охотою. Вы уж знаете, как это сделать. А мы с старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем».

Не прошло часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Нашлись вдруг и хмельные и неразумные козаки. Миллион козацких шапок высыпал вдруг на площадь. Поднялся говор: «Кто?.. Зачем?.. Из-за какого дела пробили сбор?» Никто не отвечал. Наконец в том и в другом углу стало раздаваться: «Вот пропадает даром козацкая сила: нет войны!.. Вот старшины забайбачились наповал, позаплыли жиром очи!.. Нет, видно, правды на свете!» Другие козаки слушали сначала, а потом и сами стали говорить: «А и вправду нет никакой правды на свете!» Старшины казались изумленными от таких речей. Наконец кошевой вышел вперед и сказал:

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать!

— Держи!

— Вот в рассуждении того теперь идет речь, панове добродийство, — да вы, может быть, и сами лучше это знаете, — что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет. Потом опять в рассуждении того пойдет речь, что есть много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, — и сами знаете, панове, — без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурмена?

«Он хорошо говорит», — подумал Бульба.

— Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир: сохрани бог! Я только так это говорю. Притом же у нас храм божий — грех сказать, что такое: вот сколько лет уже, как, по милости божией, стоит Сечь, а до сих пор не то уже чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства. Хотя бы серебряную ризу кто догадался им выковать!

Они только то и получили, что отказали в духовной иные козаки. Да и даяние их было бедное, потому что почти всё пропили еще при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурменами: мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему.

«Что ж он путает такое?» — сказал про себя Бульба.

— Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Рыцарская честь не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых, пусть немного пошарпают берега Натолии*. Как думаете, панове?

— Веди, веди всех! — закричала со всех сторон толпа. — За веру мы готовы положить головы!

Кошевой испугался; он ничуть не хотел подымать всего Запорожья: разорвать мир ему казалось в этом случае делом неправым.

— Позвольте, панове, еще одну речь держать!

— Довольно! — кричали запорожцы, — лучше не скажешь!

— Когда так, то пусть будет так. Я слуга вашей воли. Уж дело известное, и по Писанью известно, что глас народа — глас божий. Уж умнее того нельзя выдумать, что весь народ выдумал. Только вот что: вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы тем временем были бы наготове, и силы у нас были бы свежие, и никого б не побоялись. А во время отлучки и татарва может напасть: они, турецкие собаки, в глаза не кинутся и к хозяину на дом не посмеют прийти, а сзади укусят за пяты, да и больно укусят. Да если уж пошло на то, чтобы говорить правду, у нас и челнов нет столько в запасе, да и пороху не намолото в таком количестве, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад: я слуга вашей воли.

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться; пьяных, к счастью, было немного, и потому решились послушаться благоразумного совета.

В тот же час отправились несколько человек на противуположный берег Днепра, в войсковую скарбницу, где, в неприступных тайниках, под водою и в камышах, скрывалась войсковая казна и часть добытых у неприятеля оружий. Другие все бросились к челнам, осматривать их и снаряжать в дорогу. Вмиг толпою народа

наполнился берег. Несколько плотников явились с топорами в руках. Старые, загорелые, широкоплечие, дюженогие запорожцы, с проседью в усах и черноусые, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали челны с берега крепким канатом. Другие таскали готовые сухие бревна и всякие деревья. Там обшивали досками челн; там, переворотивши его вверх дном, конопатили и смолили; там увязывали к бокам других челнов, по козацкому обычаю, связки длинных камышей, чтобы не затопило челнов морскою волною; там, дальше по всему прибрежью, разложили костры и кипятили в медных казанах смолу на заливанье судов. Бывалые и старые поучали молодых. Стук и рабочий крик подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живой берег.

В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем толпа людей еще издали махала руками. Это были козаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд — у многих ничего не было, кроме рубашки и коротенькой трубки в зубах, — показывал, что они или только что избегнули какой-нибудь беды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на теле. Из среды их отделился и стал впереди приземистый, плечистый козак, человек лет пятидесяти. Он кричал и махал рукою сильнее всех, но за стуком и криками рабочих не было слышно его слов.

— А с чем приехали? — спросил кошевой, когда паром приворотил к берегу.

Все рабочие, остановив свои работы и подняв топоры и долота, смотрели в ожидании.

— С бедою! — кричал с парома приземистый козак.

— С какою?

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать?

— Говори!

— Или хотите, может быть, собрать раду?

— Говори, мы все тут.

Народ весь стеснился в одну кучу.

— А вы разве ничего не слыхали о том, что делается на гетьманщине? *

— А что? — произнес один из куренных атаманов.

— Э! что? Видно, вам татарин заткнул клейтухом уши, что вы ничего не слыхали.

— Говори же, что там делается?

— А то делается, что и родились и крестились, еще не видали такого.

— Да говори нам, что делается, собачий сын! — закричал один из толпы, как видно, потеряв терпение.

— Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь не наши.

— Как не наши?

— Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править.

— Что ты толкуешь?

— И если рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою на святой пасхе, то и святить пасхи нельзя.

— Врет он, паны-браты, не может быть того, чтобы нечистый жид клал значок на святой пасхе!

— Слушайте!.. еще не то расскажу: и ксендзы ездят теперь по всей Украйне в таратайках. Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что запрягают уже не коней, а просто православных христиан. Слушайте! еще не то расскажу: уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских риз. Вот какие дела водятся на Украйне, панове! А вы тут сидите на Запорожье да гуляете, да, видно, татарин такого задал вам страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей — ничего нет, и вы не слышите, что делается на свете.

— Стой, стой! — прервал кошевой, дотоле стоявший, потупив глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли грозную силу негодования. — Стой! и я скажу слово. А что ж вы, — так бы и этак поколотил черт вашего батька! — что ж вы делали сами? Разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию?

— Э, как попустили такому беззаконию! А попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов! да и — нечего греха таить — были тоже собаки и между нашими, уж приняли их веру.

— А гетьман ваш, а полковники что делали?

— Наделали полковники таких дел, что не приведи бог и нам никому.

— Как?

— А так, что уж теперь гетьман, зажаренный в медном быке *, лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам напоказ всему народу. Вот что наделали полковники!

Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчание, подобное тому, как бывает перед

свирепою бурею, а потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег.

— Как! чтобы жиды держали на аренде христианские церкви! чтобы ксендзы запрягали в оглобли православных христиан! Как! чтобы попустить такие мучения на Русской земле от проклятых недоверков! чтобы вот так поступали с полковниками и гетьманом! Да не будет же сего, не будет!

Такие слова перелетали по всем концам. Зашумели запорожцы и почуяли свои силы. Тут уже не было волнений легкомысленного народа: волновались всё характеры тяжелые и крепкие, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили в себе внутренний жар.

— Перевешать всю жидову! — раздалось из толпы. — Пусть же не шьют из поповских риз юбок своим жидовкам! Пусть же не ставят значков на святых пасхах! Перетопить их всех, поганцев, в Днепре!

Слова эти, произнесенные кем-то из толпы, пролетели молнией по всем головам, и толпа ринулась на предместье с желанием перерезать всех жидов.

Бедные сыны Израиля, растерявши всё присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок; но козаки везде их находили.

— Ясновельможные паны! — кричал один, высокий и длинный, как палка, жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом. — Ясновельможные паны! Слово только дайте нам сказать, одно слово! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!

— Ну, пусть скажут, — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого.

— Ясные паны! — произнес жид. — Таких панов еще никогда не видывано. Ей-богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете!.. — Голос его замирал и дрожал от страха. — Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши, те, что арендаторствуют на Украйне! Ей-богу, не наши! То совсем не жиды: то черт знает что! То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?

— Ей-богу, правда! — отвечали из толпы Шлема и Шмуль в изодранных яломках, оба белые, как глина.

— Мы никогда еще, — продолжал длинный жид, — не снюхивались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим: пусть им черт приснится! Мы с запорожцами как братья родные...

— Как? чтобы запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы. — Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове! Всех потопить, поганцев!

Эти слова были сигналом. Жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, выскочил из кафтана, за который было его ухватили, в одном пегом и узком камзоле, схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил:

— Великий господин, ясновельможный пан! я знал и брата вашего, покойного Дороша! Был воин на украшение всему рыцарству. Я ему восемьсот цехинов * дал, когда нужно было выкупиться из плена у турка.

— Ты знал брата? — спросил Тарас.

— Ей-богу, знал! Великодушный был пан.

— А как тебя зовут?

— Янкель.

— Хорошо, — сказал Тарас и потом, подумав, обратился к козакам и проговорил так: — Жида будет всегда время повесить, когда будет нужно, а на сегодня отдайте его мне. — Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли козаки его. — Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись; а вы, братцы, не выпускайте жида.

Сказавши это, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили вмиг берег и снарядку челнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход, и не суда да козацкие чайки * — понадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в поход, и старые и молодые; все, с совета всех старшин, куренных, кошевого и с воли всего запорожского войска, положили идти прямо на Польшу, отмстить за все зло и посрамленье веры и козацкой славы, набрать добычи с городов, зажечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу. Все тут же опоясывалось и вооружалось. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветре-

ных желаний вольного народа; это был неограниченный повелитель. Это был деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда кошевой раздавал повеления; раздавал он их тихо, не вскрикивая, не торопясь, но с расстановкою, как старый, глубоко опытный в деле козак, приводивший не в первый раз в исполненье разумно задуманные предприятия.

— Осмотритесь, все осмотритесь хорошенько! — так говорил он. — Исправьте возы и мазницы *, испробуйте оружье. Не забирайте много с собой одежды: по сорочке и по двое шаровар на козака да по горшку саламаты и толченого проса — больше чтоб и не было ни у кого! Про запас будет в возах все, что нужно. По паре коней чтоб было у каждого козака. Да пар двести взять волов, потому что на переправах и топких местах нужны будут волы. Да порядку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, есть между вас такие, что, чуть бог пошлет какую корысть, — пошли тот же час драть китайку * и дорогие оксамиты * себе на онучи. Бросьте такую чертову повадку, прочь кидайте всякие юбки, берите одно только оружье, коли попадется доброе, да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае. Да вот вам, панове, вперед говорю: если кто в походе напьется, то никакого нет на него суда. Как собаку, за шеяку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был, хоть бы наидоблестнейший козак изо всего войска. Как собака, будет он застрелен на месте и кинут безо всякого погребенья на поклев птицам, потому что пьяница в походе недостоин христианского погребенья. Молодые, слушайте во всем старых! Если цапнет пуля или царапнет саблей по голове или по чему-нибудь иному, не давайте большого уваженья такому делу. Размешайте заряд пороху в чарке сивухи, духом выпейте, и все пройдет — не будет и лихорадки; а на рану, если она не слишком велика, приложите просто земли, замесивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнет рана. Нуте же, за дело, за дело, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дело!

Так говорил кошевой, и, как только окончил он речь свою, все козаки принялись тот же час за дело. Вся Сечь отрезвилась, и нигде нельзя было сыскать ни одного пьяного, как будто бы их не было никогда между козаками... Те исправляли ободья колес и переменяли оси

в телегах; те сносили на возы мешки с провиантом, на другие валили оружие; те пригоняли коней и волов. Со всех сторон раздавались топот коней, пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, бычачье мычанье, скрып поворачиваемых возов, говор и яркий крик и понуканье — и скоро далеко-далеко вытянулся козачий табор по всему полю. И много досталось бы бежать тому, кто бы захотел пробежать от головы до хвоста его. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою; все целовали крест. Когда тронулся табор и потянулся из Сечи, все запорожцы обратили головы назад.

— Прощай, наша мать! — сказали они почти в одно слово, — пусть же тебя хранит бог от всякого несчастья!

Проезжая предместье, Тарас Бульба увидел, что жидóк его, Янкель, уже разбил какую-то ятку с навесом и продавал кремни, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. «Каков чертов жид!» — подумал про себя Тарас и, подъехав к нему на коне, сказал:

— Дурень, что ты здесь сидишь? Разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

Янкель в ответ на это подошел к нему поближе и, сделав знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственное, сказал:

— Пусть пан только молчит и никому не говорит: между козацкими возами есть один мой воз; я везу всякий нужный запас для козаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не продавал. Ей-богу, так; ей-богу, так.

Пожал плечами Тарас Бульба, подивившись бойкой жидовской натуре, и отъехал к табору.

V

Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха. Всюду пронеслись слухи: «Запорожцы!.. показались запорожцы!..» Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось и разбегалось, по обычаю этого нестройного, беспечного века, когда не воздвигали ни крепостей, ни замков, а как попало становил на время соломенное жилище свое человек. Он думал: «Не тратить же на избу работу и деньги, когда и без того будет

она снесена татарским набегом!» Все всполошилось: кто менял волов и плуг на коня и ружье и отправлялся в полки; кто прятался, угоняя скот и унося, что только можно было унесть. Попадались иногда по дороге и такие, которые вооруженною рукою встречали гостей, но больше было таких, которые бежали заранее. Все знали, что трудно иметь дело с буйной и бранной толпой, известной под именем запорожского войска, которое в наружном своевольном неустройстве своем заключало устройство, обдуманное для времени битвы. Конные ехали, не отягчая и не горяча коней, пешие шли трезво за возами, и весь табор подвигался только по ночам, отдыхая днем и выбирая для того пустыри, незаселенные места и леса, которых было тогда еще вдоволь. Засылаемы были вперед лазутчики и рассыльные узнавать и выведывать, где, что и как. И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг — и все тогда прощалось с жизнью. Пожары обхватывали деревни; скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу, — словом, крупною монетою отплачивали козаки прежние долги. Прелат одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов, чтобы сказать, что они не так ведут себя, как следует; что между запорожцами и правительством стоит согласие; что они нарушают свою обязанность к королю, а с тем вместе и всякое народное право.

— Скажи епископу от меня и от всех запорожцев, — сказал кошевой, — чтобы он ничего не боялся. Это козаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки.

И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, жидов, женщин вдруг омноголюдили те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон и городовое рушение *. Высылаемая временами правительством запоздалая помощь, состоявшая из небольших полков, или не могла найти их, или же робела, обращала тыл при первой встрече и улетала на лихих конях своих. Случалось, что многие военa-

чальники королевские, торжествовавшие дотоле в прежних битвах, решались, соединя свои силы, стать грудью против запорожцев. И тут-то более всего пробовали себя наши молодые козаки, чуждавшиеся грабительства, корысти и бессильного неприятеля, горевшие желанием показать себя перед старыми, померяться один на один с бойким и хвастливым ляхом, красовавшимся на горделивом коне, с летавшими по ветру откидными рукавами епанчи. Потешна была наука. Много уже они добыли себе конной сбруи, дорогих сабель и ружей. В один месяц возмужали и совершенно переродились только что оперившиеся птенцы и стали мужами. Черты лица их, в которых доселе видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из первых. Остапу, казалось, был на роду написан битвенный путь и трудное знанье вершить ратные дела. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни от какого случая, с хладнокровием, почти неестественным для двадцатидвухлетнего, он в один миг мог вымерять всю опасность и все положение дела, тут же мог найти средство, как уклониться от нее, но уклониться с тем, чтобы потом верней преодолеть ее. Уже испытанной уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепостью дышало его тело, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу льва.

— О! да этот будет со временем добрый полковник! — говорил старый Тарас. — Ей-ей, будет добрый полковник, да еще такой, что и батька за пояс заткнет!

Андрий весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчитывать, или измерять заранее свои и чужие силы. Бешеную негу и упоенье он видел в битве: что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах все мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном блеске, и наносит всем удары, и не слышит нанесенных. Не раз дивился отец также и Андрию, видя, как он, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях. Дивился старый Тарас и говорил:

— И это добрый — враг бы не взял его! — вояка! не Остап, а добрый, добрый также вояка!

Войско решилось идти прямо на город Дубно, где, носились слухи, было много казны и богатых обывателей. В полтора дня поход был сделан, и запорожцы показались перед городом. Жители решились защищаться до последних сил и крайности и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в домы. Высокий земляной вал окружал город; где вал был ниже, там высовывалась каменная стена, или дом, служивший батареей, или, наконец, дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал, но были встречены сильною картечью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучею на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное сопротивление; женщины тоже решились участвовать, — и на головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий вар и, наконец, мешки песку, слепившего им очи. Запорожцы не любили иметь дело с крепостями, вести осады была не их часть. Кошевой повелел отступить и сказал:

— Ничего, паны-братья, мы отступим. Но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из города! Пусть их все передохнут, собаки, с голоду!

Войско, отступив, облегло весь город и от нечего делать занялось опустошеньем окрестностей, выжигая окружные деревни, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутые серпом, где, как нарочно, колебались тучные колосья, плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору щедро всех земледельцев. С ужасом видели с города, как истреблялись средства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и на Сечи, куренями, курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город. Ночью зажигались костры. Кашевары варили в каждом курене кашу в огромных медных казанах. У горевших всю ночь огней стояла бессонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительною трезвостью, не сопряженною ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда води-

лось в войске, если не было трудных подвигов и движений. Молодым, и особенно сынам Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрий заметно скучал.

— Неразумная голова, — говорил ему Тарас. — Терпи, козак, — атаман будешь! Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, кто все вытерпит, и хоть ты ему что хочь, а он все-таки поставит на своем.

Но не сойтись пылкому юноше с старцем. Другая натура у обоих, и другими очами глядят они на то же дело.

А между тем подоспел Тарасов полк, приведенный Товкачем; с ним было еще два есаула, писарь и другие полковые чины; всех козаков набралось больше четырех тысяч. Было между ними немало и охочекомонных, которые сами поднялись, своею волею, без всякого призыва, как только услышали, в чем дело. Есаулы привезли сыновьям Тараса благословенье от старухи матери и каждому по кипарисному образу из Межигорского киевского монастыря *. Надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им и говорит это благословенье? Благословенье ли на победу над врагом и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой, на вечные песни бандуристам, или же?.. Но неизвестно будущее, и стоит оно пред человеком подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот. Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями, птицы, не распознавая в очи друг друга, голубка — не видя ястреба, ястреб — не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает он от своей погибели...

Остап уже занялся своим делом и давно отошел к куреням. Андрий же, сам не зная отчего, чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже козаки окончили свою вечерю, вечер давно потухнул; июльская чудная ночь обняла воздух; но он не отходил к куреням, не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую пред ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными по нем возами с висячими мазницами, облитыми дегтем, со всяким добром и провиантом, набранным у врага. Возле телег, под телегами и подале от телег — везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях: кто подмостив себе

под голову куль, кто шапку, кто употребивши просто бок своего товарища. Сабля, ружье-самопал, короткочубучная трубка с медными бляхами, железными провертками и огнивом были неотлучно при каждом козаке. Тяжелые волы лежали, подвернувши под себя ноги, большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями, раскиданными по отлогостям поля. Со всех сторон из травы уже стал подыматься густой храп спящего воинства, на который отзывались с поля звонкими ржаньями жеребцы, негодующие на свои спутанные ноги. А между тем что-то величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это были зарева вдали догоравших окрестностей. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу; в другом, встретив что-то горючее и вдруг вырвавшись вихрем, оно свистело и летело вверх, под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. Там обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах *, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим, лилово-огненным светом спелые гроздия слив или обращал в червонное золото там и там желтевшие груши, и тут же среди их чернело висевшее на стене здания или на древесном суку тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над огнем вились вдали птицы, казавшиеся кучею темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город, казалось, уснул. Шпицы, и кровли, и частокол, и стены его тихо вспыхивали отблесками отдаленных пожарищ. Андрий обошел козацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши саламаты и галушек во весь козацкий аппетит. Он подивился немного такой беспечности, подумавши: «Хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться». Наконец и сам подошел он к одному из возов, взлез на него и лег на спину, подложивши себе под голову сложенные назад руки; но не мог заснуть и долго глядел на небо. Оно все было открыто пред ним; чисто и прозрачно было в воздухе. Гущина звезд, составлявшая Млечный Путь, поясом переходившая по небу, вся была залита светом. Временами Андрий как будто позабывался, и какой-то легкий туман

дремоты заслонял на миг пред ним небо, и потом оно опять очищалось и вновь становилось видно.

В это время, показалось ему, мелькнул пред ним какой-то странный образ человеческого лица. Думая, что это было простое обаяние сна, которое сейчас же рассеется, он открыл больше глаза свои и увидел, что к нему, точно, наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотрело прямо ему в очи. Длинные и черные, как уголь, волосы, неприбранные, растрепанные, лезли из-под темного, наброшенного на голову покрывала. И странный блеск взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заставили бы скорее подумать, что это был призрак. Он схватился невольно рукой за пищаль и произнес почти судорожно:

— Кто ты? Коли дух нечистый, сгинь с глаз; коли живой человек, не в пору завел шутку, — убью с одного прицела!

В ответ на это привидение приставило палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал вглядываться в него внимательней. По длинным волосам, шее и полуобнаженной смуглой груди распознал он женщину. Но она была не здешняя уроженка. Все лицо было смугло, изнурено недугом; широкие скулы выступали сильно над опавшими под ними щеками; узкие очи подымались дугообразным разрезом кверху, и чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. Наконец он не вытерпел и спросил:

— Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или видел где-нибудь?

— Два года назад тому в Киеве.

— Два года назад... в Киеве... — повторил Андрий, стараясь перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней бурсацкой жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул во весь голос:

— Ты — татарка! служанка панночки, воеводиной дочки!..

— Чшш! — произнесла татарка, сложив с умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного вскрика, произведенного Андрием.

— Скажи, скажи, отчего, как ты здесь? — говорил Андрий, почти задыхаясь, шепотом, прерывавшимся

всякую минуту от внутреннего волнения. — Где панночка? жива ли еще она?

— Она тут, в городе.

— В городе? — произнес он, едва опять не вскрикнувши, и почувствовал, что вся кровь вдруг прихлынула к сердцу. — Отчего ж она в городе?

— Оттого, что сам старый пан в городе. Он уже полтора года как сидит воеводой в Дубне.

— Что ж, она замужем? Да говори же, какая ты странная! что она теперь?..

— Она другой день ничего не ела.

— Как?..

— Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба, все давно едят одну землю.

Андрий остолбенел.

— Панночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне: «Ступай скажи рыцарю: если он помнит меня, чтобы пришел ко мне; а не помнит — чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги. У него также есть старая мать, — чтоб ради ее дал хлеба!»

Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой груди козака.

— Но как же ты здесь? Как ты пришла?

— Подземным ходом.

— Разве есть подземный ход?

— Есть.

— Где?

— Ты не выдашь, рыцарь?

— Клянусь крестом святым!

— Спустясь в яр и перейдя проток, там, где тростник.

— И выходит в самый город?

— Прямо к городскому монастырю.

— Идем, идем сейчас!

— Но, ради Христа и святой Марии, кусок хлеба!

— Хорошо, будет. Стой здесь, возле воза, или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидит, все спят; я сейчас ворочусь.

И он отошел к возам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынешними козацкими биваками, суровой бранною жизнью, — все всплыло разом на

поверхность, потопивши, в свою очередь, настоящее. Опять вынырнула перед ним, как из темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темно-ореховые волосы, курчаво распавшиеся по грудям, и все упругие, в согласном сочетанье созданные члены девического стана. Нет, они не погасли, не исчезали в груди его, они посторонились только, чтобы дать на время простор другим могучим движеньям; но часто, часто смущался ими глубокий сон молодого козака, и часто, проснувшись, лежал он без сна на одре, не умея истолковать тому причины.

Он шел, а биение сердца становилось сильнее, сильнее при одной мысли, что увидит ее опять, и дрожали молодые колени. Пришедши к возам, он совершенно позабыл, зачем пришел: поднес руку ко лбу и долго тер его, стараясь припомнить, что ему нужно делать. Наконец вздрогнул, весь исполнился испуга: ему вдруг пришло на мысль, что она умирает от голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов себе под руку, но подумал тут же, не будет ли эта пища, годная для дюжего, неприхотливого запорожца, груба и неприлична ее нежному сложению. Тут вспомнил он, что вчера кошевой попрекал кашеваров за то, что сварили за один раз всю гречневую муку на саламату, тогда как бы ее стало на добрых три раза. В полной уверенности, что он найдет вдоволь саламаты в казанах, он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кашевару их куреня, спавшему у двух десятиведерных казанов, под которыми еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих сил, чтобы все это съесть, тем более что в их курене считалось меньше людей, чем в других. Он заглянул в казаны других куреней — нигде ничего. Поневоле пришла ему в голову поговорка: «Запорожцы как дети: коли мало — съедят, коли много — тоже ничего не оставят». Что делать? Был, однако же, где-то, кажется, на возу отцовского полка, мешок с белым хлебом, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на возу уже его не было: Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. Андрий схватил мешок одной рукой и дернул его вдруг так, что голова Остапа упала на землю, а он сам вскочил впросонках и, сидя с закрыты-

ми глазами, закричал что было мочи: «Держите, держите чертова ляха! да ловите коня, коня ловите!» — «Замолчи, я тебя убью!» — закричал в испуге Андрий, замахнувшись на него мешком. Но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрий робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из козаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова, точно, приподнялась в ближнем курене и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две, он наконец отправился с своею ношею. Татарка лежала, едва дыша.

— Вставай, идем! Все спят, не бойся! Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все?

Сказав это, он взвалил себе на спину мешки, стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки те хлеба, которые хотел было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев.

— Андрий! — сказал старый Бульба в то время, когда он проходил мимо его.

Сердце его замерло. Он остановился и, весь дрожа, тихо произнес:

— А что?

— С тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на все бока! Не доведут тебя бабы к добру! — Сказавши это, он оперся головою на локоть и стал пристально рассматривать закутанную в покрывало татарку.

Андрий стоял ни жив ни мертв, не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него, увидел, что уже старый Бульба спал, положив голову на ладонь.

Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татарку, она стояла пред ним, подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, помутившиеся, как у мертвеца. Он дернул за рукав ее, и оба пошли вместе, беспрестанно оглядываясь назад, и наконец опустились отлогостью в низменную лощину — почти яр, называемый в некоторых местах балками, — по дну которой лениво пресмыкался проток, поросший осокой и усеянный кочка-

ми. Опустясь в сию лощину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По крайней мере, когда Андрий оглянулся, то увидел, что позади его крутою стеной, более чем в рост человека, вознеслась покатость. На вершине ее покачивалось несколько стебельков полевого былья, и над ними поднималась в небе луна в виде косвенно обращенного серпа из яркого червонного золота. Сорвавшийся со степи ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. Но нигде не слышно было отдаленного петушьего крика: ни в городе, ни в разоренных окрестностях не оставалось давно ни одного петуха. По небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег, казавшийся выше бывшего у них назади и выступавший совершенным обрывом. Казалось, в этом месте был крепкий и надежный сам собою пункт городской крепости; по крайней мере, земляной вал был тут ниже и не выглядывал из-за него гарнизон. Но зато подальше подымалась толстая монастырская стена. Обрывистый берег весь оброс бурьяном, и по небольшой лощине между им и протоком рос высокий тростник, почти в вышину человека. На вершине обрыва видны были остатки плетня, обличавшие когда-то бывший город. Перед ним — широкие листы лопуха; из-за него торчала лебеда, дикий колючий бодяк и подсолнечник, подымавший выше всех их свою голову. Здесь татарка скинула с себя черевики и пошла босиком, подобрав осторожно свое платье, потому что место было топко и наполнено водою. Пробираясь меж тростником, остановились, они перед наваленным хворостом и фашинником. Отклонив хворост, нашли они род земляного свода — отверстие, мало чем большее отверстия, бывающего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая; вслед за нею Андрий, нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться с своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте.

VI

Андрий едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркой и таща на себе мешки хлеба.

— Скоро нам будет видно, — сказала проводница, — мы подходим к месту, где поставила я светильник.

И точно, темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, где, казалось, была часовня; по крайней мере, к стене был приставлен узенький столик в виде алтарного престола, и над ним виден был почти совершенно изгладившийся, полинявший образ католической мадонны. Небольшая серебряная лампадка, перед ним висевшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла с земли оставленный медный светильник на тонкой высокой ножке, с висевшими вокруг ее на цепочках щипцами, шпилькой для поправления огня и гасильником. Взявши его, она зажгла его огнем от лампады. Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильным огнем, то набрасываясь темною, как уголь, тенью, напоминали собою картины Жерардо della notte *. Свежее, кипящее здоровьем и юностью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность с изнуренным и бледным лицом его спутницы. Проход стал несколько шире, так что Андрию можно было пораспрямиться. Он с любопытством рассматривал сии земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры *. Так же как и в пещерах киевских, тут видны были углубления в стенах и стояли кое-где гробы; местами даже попадались просто человеческие кости, от сырости сделавшиеся мягкими и рассыпавшиеся в муку. Видно, и здесь также были святые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений. Сырость местами была очень сильна: под ногами их иногда была совершенная вода. Андрий должен был часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутнице, которой усталость возобновлялась беспрестанно. Небольшой кусок хлеба, проглоченный ею, произвел только боль в желудке, отвыкшем от пищи, и она оставалась часто без движения по нескольку минут на одном месте.

Наконец перед ними показалась маленькая железная дверь. «Ну, слава богу, мы пришли», — сказала слабым голосом татарка, приподняла руку, чтобы постучать, — и не имела сил. Андрий ударил вместо нее сильно в дверь; раздался гул, показавший, что за дверью был большой простор. Гул этот изменялся, встретив, как казалось, высокие своды. Через минуты две загремели ключи, и кто-то, казалось, сходил по лестнице. Наконец дверь отперлась; их встретил монах, стоявший на узенькой лестнице, с ключами и свечой в руках. Андрий невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в козаках, по-

ступавших с ними бесчеловечней, чем с жидами. Монах тоже несколько отступил назад, увидев запорожского козака, но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило. Он посветил им, запер за ними дверь, ввел их по лестнице вверх, и они очутились под высокими темными сводами монастырской церкви. У одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленях священник и тихо молился. Около него с обеих сторон стояли также на коленях два молодые клирошанина * в лиловых мантиях, с белыми кружевными шемизетками сверх их и с кадилами в руках. Он молился о ниспослании чуда: о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, об удалении искусителя, нашептывающего ропот и малодушный, робкий плач на земные несчастия. Несколько женщин, похожих на привидения, стояли на коленях, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинки стоявших перед ними стульев и темных деревянных лавок; несколько мужчин, прислонясь у колонн и пилястр, на которых возлегали боковые своды, печально стояли тоже на коленях. Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилося розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии; кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрий не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые рокоты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке.

В это время, почувствовал он, кто-то дернул его за полу кафтана. «Пора!» — сказала татарка. Они перешли через церковь, не замеченные никем, и вышли потом на площадь, бывшую перед нею. Заря уже давно румянилась на небе: все возвещало восхождение солнца. Площадь, имевшая квадратную фигуру, была совершенно пуста; посредине ее оставались еще деревянные столики, показывавшие, что здесь был еще неделю, может быть,

только назад рынок съестных припасов. Улица, которых тогда не мостили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругом небольшие каменные и глиняные, в один этаж, домы с видными в стенах деревянными сваями и столбами во всю их высоту, косвенно перекрещенные деревянными же брусьями, как вообще строили домы тогдашние обыватели, что можно видеть и поныне еще в некоторых местах Литвы и Польши. Все они были покрыты непомерно высокими крышами со множеством слуховых окон и отдушин. На одной стороне, почти близ церкви, выше других возносилось совершенно отличное от прочих здание, вероятно, городовой магистрат * или какое-нибудь правительственное место. Оно было в два этажа, и над ним вверху надстроен был в две арки бельведер, где стоял часовой; большой часовой циферблат вделан был в крышу. Площадь казалась мертвою, но Андрию почудилось какое-то слабое стенание. Рассматривая, он заметил на другой стороне ее группу из двух-трех человек, лежавших почти без всякого движения на земле. Он вперил глаза внимательней, чтобы рассмотреть, заснувшие ли это были или умершие, и в это время наткнулся на что-то, лежавшее у ног его. Это было мертвое тело женщины, по-видимому, жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя в искаженных, изможденных чертах ее нельзя было того видеть. На голове ее был красный шелковый платок; жемчуги или бусы в два ряда украшали ее наушники; две-три длинные, все в завитках, кудри выпадали из-под них на ее высохшую шею с натянувшимися жилами. Возле нее лежал ребенок, судорожно схвативший рукою за тощую грудь ее и скрутивший ее своими пальцами от невольной злости, не нашед в ней молока; он уже не плакал и не кричал, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что он еще не умер или, по крайней мере, еще только готовился испустить последнее дыханье. Они поворотили в улицы и были остановлены вдруг каким-то беснующимся, который, увидев у Андрия драгоценную ношу, кинулся на него, как тигр, вцепился в него, крича: «Хлеба!» Но сил не было у него, равных бешенству; Андрий оттолкнул его: он полетел на землю. Движимый состраданием, он швырнул ему один хлеб, на который тот бросился, подобно бешеной собаке, изгрыз, искусал его и тут же, на улице, в страшных судорогах испустил дух от долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждом шагу поражали их страшные жертвы

голода. Казалось, как будто, не вынося мучений в домах, многие нарочно выбежали на улицу: не ниспошлется ли в воздухе чего-нибудь, питающего силы. У ворот одного дома сидела старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла или просто позабылась: по крайней мере, она уже не слышала и не видела ничего и, опустив голову на грудь, сидела недвижимо на одном и том же месте. С крыши другого дома висело вниз на веревочной петле вытянувшееся, иссохшее тело. Бедняк не мог вынести до конца страданий голода и захотел лучше произвольным самоубийством ускорить конец свой.

При виде сих поражающих свидетельств голода Андрий не вытерпел не спросить татарку:

— Неужели они, однако ж, совсем не нашли, чем пробавить жизнь? Если человеку приходит последняя крайность, тогда, делать нечего, он должен питаться тем, чем дотоле брезгал; он может питаться теми тварями, которые запрещены законом, все может тогда пойти в снедь.

— Всё переели, — сказала татарка, — всю скотину. Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас в городе никогда не водилось никаких запасов, все привозилось из деревень.

— Но как же вы, умирая такою лютою смертью, всё еще думаете оборонить город?

— Да, может быть, воевода и сдал бы, но вчера утром полковник, который в Буджаках *, пустил в город ястреба с запиской, чтобы не отдавали города; что он идет на выручку с полком, да ожидает только другого полковника, чтоб идти обоим вместе. И теперь всякую минуту ждут их... Но вот мы пришли к дому.

Андрий уже издали видел дом, непохожий на другие и, как казалось, строенный каким-нибудь архитектором итальянским. Он был сложен из красивых тонких кирпичей в два этажа. Окна нижнего этажа были заключены в высоко выдавшиеся гранитные карнизы; верхний этаж состоял весь из небольших арок, образовавших галерею; между ними видны были решетки с гербами. На углах дома тоже были гербы. Наружная широкая лестница из крашеных кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лестницы сидело по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за стоявшие около них алебарды, а другою подпирали наклоненные свои головы и, казалось, таким образом,

более походили на изваяния, чем на живые существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему: они не обратили даже внимания на то, кто всходил по лестнице. На верху лестницы они нашли богато убранного, всего с ног до головы вооруженного воина, державшего в руке молитвенник. Он было возвел на них истомленные очи, но татарка сказала ему одно слово, и он опустил их вновь в открытые страницы своего молитвенника. Они вступили в первую комнату, довольно просторную, служившую приемною или просто переднею. Она была наполнена вся сидевшими в разных положениях у стен солдатами, слугами, псарями, виночерпиями и прочей дворней, необходимою для показания сана польского вельможи как военного, так и владельца собственных поместьев. Слышен был чад погаснувшей свечи. Две другие еще горели в двух огромных, почти в рост человека, подсвечниках, стоявших посередине, несмотря на то что уже давно в решетчатое широкое окно глядело утро. Андрий уже было хотел идти прямо в широкую дубовую дверь, украшенную гербом и множеством резных украшений, но татарка дернула его за рукав и указала маленькую дверь в боковой стене. Этою вышли они в коридор и потом в комнату, которую он начал внимательно рассматривать. Свет, проходивший сквозь щель ставня, тронул кое-что: малиновый занавес, позолоченный карниз и живопись на стене. Здесь татарка указала Андрию остаться, отворила дверь в другую комнату, из которой блеснул свет огня. Он услышал шепот и тихий голос, от которого все потряслось у него. Он видел сквозь растворившуюся дверь, как мелькнула быстро стройная женская фигура с длинною роскошною косою, упадавшею на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы он взошел. Он не помнил, как взошел и как затворилась за ним дверь. В комнате горели две свечи; лампада теплилась перед образом; под ним стоял высокий столик, по обычаю католическому, со ступеньками для преклонения коленей во время молитвы. Но не того искали глаза его. Он повернулся в другую сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась. И он остался также изумленным пред нею. Не такою воображал он ее видеть: это была не она, не та, которую он знал прежде; ничего не было в ней похожего на ту, но вдвое прекраснее и чудеснее

была она теперь, чем прежде. Тогда было в ней что-то неконченное, недовершенное, теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти. Та была прелестная, ветреная девушка; эта была красавица — женщина во всей развившейся красе своей. Полное чувство выражалося в ее поднятых глазах, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успели в них высохнуть и облекли их блистающею влагою, проходившею душу. Грудь, шея и плечи заключились в те прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ее, теперь обратились в густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длине руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, все до одной изменились черты ее. Напрасно силился он в них отыскать хотя одну из тех, которые носились в его памяти, — ни одной! Как ни велика была ее бледность, но она не помрачила чудесной красы ее; напротив, казалось, как будто придала ей что-то стремительное, неотразимо победоносное. И ощутил Андрий в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед нею. Она, казалось, также была поражена видом козака, представшего во всей красе и силе юношеского мужества, который, казалось, и в самой неподвижности своих членов уже обличал развязную вольность движений; ясною твердостью сверкал глаз его, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загорелые щеки блистали всею яркостью девственного огня, и, как шелк, лоснился молодой черный ус.

— Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь, — сказала она, и весь колебался серебряный звук ее голоса. — Один бог может возблагодарить тебя; не мне, слабой женщине...

Она потупила свои очи; прекрасными снежными полукружьями надвинулись на них веки, окраенные длинными, как стрелы, ресницами. Наклонилося все чудесное лицо ее, и тонкий румянец оттенил его снизу. Ничего не умел сказать на это Андрий. Он хотел бы выговорить все, что ни есть на душе, — выговорить его так же горячо, как оно было на душе, — и не мог. Почувствовал он что-то заградившее ему уста: звук отнялся у слова; почувствовал он, что не ему, воспитанному в бурсе и в бранной кочевой жизни, отвечать на такие речи, и вознегодовал на свою козацкую натуру.

В это время вошла в комнату татарка. Она уже успела нарезать ломтями принесенный рыцарем хлеб, несла его на золотом блюде и поставила перед своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлеб и возвела очи на Андрия — и много было в очах тех. Сей умиленный взор, выказавший изнеможенье и бессилье выразить обнявшие ее чувства, был более доступен Андрию, чем все речи. Его душе вдруг стало легко; казалось, все развязалось у него. Душевные движенья и чувства, которые дотоле как будто кто-то удерживал тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на воле и уже хотели излиться в неукротимые потоки слов, как вдруг красавица, оборотясь к татарке, беспокойно спросила:

— А мать? Ты отнесла ей?

— Она спит.

— А отцу?

— Отнесла. Он сказал, что придет сам благодарить рыцаря.

Она взяла хлеб и поднесла его ко рту. С неизъяснимым наслаждением глядел Андрий, как она ломала его блистающими пальцами своими и ела; и вдруг вспомнил о бесновавшемся от голода, который испустил дух в глазах его, проглотивши кусок хлеба. Он побледнел и, схватив ее за руку, закричал:

— Довольно! не ешь больше! Ты так долго не ела, тебе хлеб будет теперь ядовит.

И она опустила тут же свою руку, положила хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, смотрела ему в очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово... но не властны выразить ни резец, ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видится иной раз во взорах девы, нижé того умиленного чувства, которым объемлется глядящий в такие взоры девы.

— Царица! — вскрикнул Андрий, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков. — Что тебе нужно? чего ты хочешь? прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, — я побегу исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, — я сделаю, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко... но не в силах сказать того! У меня три хутора, половина табунов отцовских — мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она, — все мое. Такого ни у кого

нет теперь у козаков наших оружия, как у меня: за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово или хотя только шевельнешь своею тонкою черною бровью! Но знаю, что, может быть, несу глупые речи, и некстати, и нейдет все это сюда, что не мне, проведшему жизнь в бурсе и на Запорожье, говорить так, как в обычае говорить там, где бывают короли, князья и все что ни есть лучшего в вельможном рыцарстве. Вижу, что ты иное творенье бога, нежели все мы, и далеки пред тобою все другие боярские жены и дочери-девы. Мы не годимся быть твоими рабами, только небесные ангелы могут служить тебе.

С возрастающим изумлением, вся превратившись в слух, не проронив ни одного слова, слушала дева открытую сердечную речь, в которой, как в зеркале, отражалась молодая, полная сил душа. И каждое простое слово сей речи, выговоренное голосом, летевшим прямо с сердечного дна, было облечено в силу. И выдалось вперед все прекрасное лицо ее, отбросила она далеко назад досадные волосы, открыла уста и долго глядела с открытыми устами. Потом хотела что-то сказать и вдруг остановилась и вспомнила, что другим назначеньем ведется рыцарь, что отец, братья и вся отчизна его стоят позади его суровыми мстителями, что страшны облегшие город запорожцы, что лютой смерти обречены все они с своим городом... И глаза ее вдруг наполнились слезами; быстро она схватила платок, шитый шелками, набросила себе на лицо его, и он в минуту стал весь влажен; и долго сидела, забросив назад свою прекрасную голову, сжав белоснежными зубами свою прекрасную нижнюю губу, — как бы внезапно почувствовав какое укушение ядовитого гада, — и не снимая с лица платка, чтобы он не видел ее сокрушительной грусти.

— Скажи мне одно слово! — сказал Андрий и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от сего прикосновенья, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его.

Но она молчала, не отнимала платка от лица своего и оставалась неподвижна.

— Отчего же ты так печальна? Скажи мне, отчего ты так печальна?

Бросила прочь она от себя платок, отдернула налезавшие на очи длинные волосы косы своей и вся разли-

лася в жалостных речах, выговаривая их тихим-тихим голосом, подобно когда ветер, поднявшись прекрасным вечером, пробежит вдруг по густой чаще приводного тростника: зашелестят, зазвучат и понесутся вдруг уныв-но-тонкие звуки, и ловит их с непонятной грустью остановившийся путник, не чуя ни погасающего вечера, ни несущихся веселых песен народа, бредущего от полевых работ и жнив, ни отдаленного тарахтанья где-то проезжающей телеги.

— Не достойна ли я вечных сожалений? Не несчастна ли мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля пришлась на часть мне? Не лютый ли ты палач мой, моя свирепая судьба? Всех ты привела к ногам моим: лучших дворян изо всего шляхетства, богатейших панов, графов и иноземных баронов, и все что ни есть цвет нашего рыцарства. Всем им было вольно любить меня, и за великое благо всякий из них почел бы любовь мою. Стоило мне только махнуть рукой, и любой из них, красивейший, прекраснейший лицом и породою, стал бы моим супругом. И ни к одному из них не причаровала ты моего сердца, свирепая судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо лучших витязей земли нашей, к чуждому, к врагу нашему. За что же ты, пречистая божья матерь, за какие грехи, за какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня? В изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои; лучшие, дорогие блюда и сладкие вина были мне снедью. И на что все это было? к чему оно все было? К тому ли, чтобы, наконец, умереть лютою смертью, какой не умирает последний нищий в королевстве? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь; мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, для спасенья которых двадцать раз готова бы была отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобы перед концом своим мне довелось увидать и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он речами своими разодрал на части мое сердце, чтобы горькая моя участь была еще горше, чтобы еще жалче было мне моей молодой жизни, чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя — прости мое прегрешение, — святая божья матерь!

И когда затихла она, безнадежное, безнадежное чувство отразилось в лице ее; ноющею грустью заговорила

всякая черта его, и все, от печально поникшего лба и опустившихся очей до слез, застывших и засохнувших по тихо пламеневшим щекам ее, — все, казалось, говорило: «Нет счастья на лице сем!»

— Не слыхано на свете, не можно, не быть тому, — говорил Андрий, — чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы перед ней, как пред святыней, преклонилось все, что ни есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь! Не тебе умирать! Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь! Если же выйдет уже так и ничем — ни силой, ни молитвой, ни мужеством — нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе; и прежде я умру, умру перед тобой, у твоих прекрасных коленей, и разве уже мертвого меня разлучат с тобою.

— Не обманывай, рыцарь, и себя и меня, — говорила она, качая тихо прекрасной головой своей, — знаю, и, к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы — враги тебе.

— А что мне отец, товарищи и отчизна? — сказал Андрий, встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречная осокорь, стан свой. — Так если ж так, так вот что: нет у меня никого! Никого, никого! — повторил он тем же голосом и сопроводив его тем движеньем руки, с каким упругий, несокрушимый козак выражает решимость на дело, неслыханное и невозможное для другого. — Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из козаков вырвет ее оттуда! И все, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!

На миг остолбенев, как прекрасная статуя, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала, и с чудною женскою стремительностью, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею, обхватив его снегоподобными, чудными руками, и зарыдала. В это время раздались на улице неясные крики, сопровожденные трубным и литаврным звуком. Но он не слышал их. Он слышал только, как чудные

уста обдавали его благовонной теплотой своего дыханья, как слезы ее текли ручьями к нему на лицо и спустившиеся все с головы пахучие ее волосы опутали его всего своим темным и блистающим шелком.

В это время вбежала к ним с радостным криком татарка.

— Спасены, спасены! — кричала она, не помня себя. — Наши вошли в город, привезли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев.

Но не слышал никто из них, какие «наши» вошли в город, что привезли с собою и каких связали запорожцев. Полный не на земле вкушаемых чувств, Андрий поцеловал в сии благовонные уста, прильнувшие к щеке его, и небезответны были благовонные уста. Они отозвались тем же, и в сем обоюдно слиянном поцелуе ощутилось то, что один только раз в жизни дается чувствовать человеку.

И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви божьей! Украйне не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клок волос из своей чуприны и проклянет и день и час, в который породил на позор себе такого сына.

VII

Шум и движение происходили в запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного отчета, как случилось, что войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь Переяславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян мертвецки; стало быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана прежде, чем все могли узнать, в чем дело. Покамест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем, и когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал:

— Так вот что, панове-братове, случилось в эту ночь. Вот до чего довел хмель! Вот какое поруганье оказал нам неприятель! У вас, видно, уже такое заведение: коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуть-

ся, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите.

Козаки все стояли понурив головы, зная вину; один только незамайковский куренной атаман Кукубенко отозвался.

— Постой, батько! — сказал он. — Хоть оно и не в законе, чтобы сказать какое возражение, когда говорит кошевой перед лицом всего войска, да дело не так было, так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул все христианское войско. Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной, тяжкой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержанья не было: как же может статься, чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пят не унесут домой.

Речь куренного атамана понравилась козакам. Они приподняли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, примолвивши: «Добре сказал Кукубенко!» А Тарас Бульба, стоявший недалеко от кошевого, сказал:

— А что, кошевой, видно, Кукубенко правду сказал? Что ты скажешь на это?

— А что скажу? Скажу: блажен и отец, родивший такого сына! Еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но бóльшая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедою человека, ободрило бы его, придало бы духу ему, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде.

«Добре сказал и кошевой!» — отозвалось в рядах запорожцев. «Доброе слово!» — повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сизые голуби, и те кивнули головою и, моргнувши седым усом, тихо сказали: «Добре сказанное слово!»

— Слушайте же, панове! — продолжал кошевой. — Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные, немецкие мастера, — пусть ей враг прикинется! — и неприлично, и не козацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с боль-

шим запасом; телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный; стало быть, все съест духом, да и коням тоже сена... уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой... только про это еще бог знает; а ксендзы-то их горазды на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Дядькивский и Корсунский курень на засаду! Полковник Тарас с полком на засаду! Тытаревский и Тымошевский курень на запас, с правого бока обоза! Щербиновский и Стебликивский верхний — с левого боку! Да выбирайтесь из ряду, молодцы, которые позубастее на слово, задирать неприятеля! У ляха пустоголовая натура: брани не вытерпит; и, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Куренные атаманы, перегляди всякий курень свой: у кого недочет, пополни его останками Переяславского. Перегляди всё снова! Дать на опохмел всем по чарке и по хлебу на козака! Только, верно, всякий еще вчерашним сыт, ибо, некуда деть правды, понаедались все так, что дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да вот еще один наказ: если кто-нибудь, шинкарь, жид, продаст козаку хоть один кухоль * сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо, собаке, и повешу ногами вверх! За работу же, братцы! За работу!

Так распоряжал кошевой, и все поклонились ему в пояс и, не надевая шапок, отправились по своим возам и таборам и, когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали порох из мешков в пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрий: полонили ли его вместе с другими и связали сонного? Только нет, не таков Андрий, чтобы отдался живым в плен. Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени.

— Кому нужно меня? — сказал он, наконец очнувшись.

Перед ним стоял жид Янкель.

— Пан полковник, пан полковник! — говорил жид поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел

объявить дело не совсем пустое. — Я был в городе, пан полковник!

Тарас посмотрел на жида и подивился тому, что он уже успел побывать в городе.

— Какой же враг тебя занес туда?

— Я сейчас расскажу, — сказал Янкель. — Как только услышал я на заре шум и козаки стали стрелять, я ухватил кафтан и, не надевая его, побежал туда бегом; дорогою уже надел его в рукава, потому что хотел поскорей узнать, отчего шум, отчего козаки на самой заре стали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам в то время, когда последнее войско входило в город. Гляжу — впереди отряда пан хорунжий Галяндович. Он человек мне знакомый: еще с третьего года задолжал сто червонных. Я за ним, будто бы затем, чтобы выправить с него долг, и вошел вместе с ними в город.

— Как же ты: вошел в город, да еще и долг хотел выправить? — сказал Бульба. — И не велел он тебя тут же повесить, как собаку?

— А ей-богу, хотел повесить, — отвечал жид, — уже было его слуги совсем схватили меня и закинули веревку на шею, но я взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет, и пообещал еще дать взаймы, как только поможет мне собрать долги с других рыцарей; ибо у пана хорунжего — я все скажу пану — нет и одного червонного в кармане. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самого Шклова, а грошей у него так, как у козака, — ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жиды, не в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на сейме * оттого не был...

— Что ж ты делал в городе? Видел наших?

— Как же! Наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор...

— Пропади они, собаки! — вскрикнул, рассердившись, Тарас. — Что ты мне тычешь свое жидовское племя! Я тебя спрашиваю про наших запорожцев.

— Наших запорожцев не видал. А видал одного пана Андрия.

— Андрия видел? — вскрикнул Бульба. — Что ж ты, где видел его? в подвале? в яме? обесчещен? связан?

— Кто же бы смел связать пана Андрия? Теперь он такой важный рыцарь... Далибуг *, я не узнал! И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и зерцало * в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде

золото, и всё золото. Так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего под верх; два ста червонных стоит один конь.

Бульба остолбенел.

— Зачем же он надел чужое одеянье?

— Потому что лучше, потому и надел... И сам разъезжает, и другие разъезжают; и он учит, и его учат. Как наибогатейший польский пан!

— Кто ж его принудил?

— Я ж не говорю, чтобы его кто принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним?

— Кто перешел?

— А пан Андрий.

— Куда перешел?

— Перешел на их сторону, он уж теперь совсем ихний.

— Врешь, свиное ухо!

— Как же можно, чтобы я врал? Дурак я разве, чтобы врал? На свою бы голову я врал? Разве я не знаю, что жида повесят, как собаку, коли он соврет перед паном?

— Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру?

— Я же не говорю этого, чтобы он продавал что: я сказал только, что он перешел к ним.

— Врешь, чертов жид! Такого дела не было на христианской земле! Ты путаешь, собака!

— Пусть трава порастет на пороге моего дома, если я путаю! Пусть всякий наплюет на могилу отца, матери, свекора, и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, и отчего он перешел к ним.

— Отчего?

— У воеводы есть дочка-красавица. Святой боже, какая красавица!

Здесь жид постарался, как только мог, выразить в лице своем красоту, расставив руки, прищурив глаз и покрививши набок рот, как будто чего-нибудь отведавши.

— Ну, так что же из того?

— Он для нее и сделал все и перешел. Коли человек влюбится, то он все равно что подошва, которую, коли размочишь в воде, возьми согни — она и согнется.

Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика

власть слабой женщины, что многих сильных погубляла она, что податлива с этой стороны природа Андрия; и стоял он долго как вкопанный на одном и том же месте.

— Слушай, пан, я все расскажу пану, — говорил жид. — Как только услышал я шум и увидел, что проходят в городские ворота, я схватил на всякий случай с собой нитку жемчуга, потому что в городе есть красавицы и дворянки, а коли есть красавицы и дворянки, сказал я себе, то хоть им и есть нечего, а жемчуг все-таки купят. И как только хорунжего слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг и расспросил все у служанки-татарки. «Будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев. Пан Андрий обещал прогнать запорожцев».

— И ты не убил тут же на месте его, чертова сына? — вскрикнул Бульба.

— За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешел.

— И ты видел его в самое лицо?

— Ей-богу, в самое лицо! Такой славный вояка! Всех взрачней. Дай бог ему здоровья, меня тотчас узнал; и когда я подошел к нему, тотчас сказал...

— Что ж он сказал?

— Он сказал... прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал: «Янкель!» А я: «Пан Андрий!» — говорю. «Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец — теперь не отец мне, брат — не брат, товарищ — не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми. Со всеми буду биться!»

— Врешь, чертов Иуда! — закричал, вышед из себя, Тарас. — Врешь, собака! Ты и Христа распял, проклятый богом человек. Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то — тут же тебе и смерть! — И, сказавши это, Тарас выхватил свою саблю.

Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие, сухие икры. Долго еще бежал он без оглядки между козацким табором и потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался за ним, размыслив, что неразумно вымещать запальчивость на первом подвернувшемся.

Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрия, проходившего по табору с какой-то женщиною, и поник седою головою, а все еще не хотел верить, что-

бы могло случиться такое позорное дело и чтобы собственный сын его продал веру и душу.

Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще козаками. А запорожцы, и пешие и конные, выступали на три дороги к трем воротам. Один за другим валили курени: Уманский, Поповичевский, Каневский, Стебликивский, Незамайковский, Гургузив, Тытаревский, Тымошевский. Одного только Переяславского не было. Крепко курнули козаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный во вражьих руках, кто, и совсем не просыпаясь, сонный перешел в сырую землю, и сам атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства, очутился в ляшском стану.

В городе услышали козацкое движенье. Все высыпали на вал, и предстала пред козаков живая картина: польские витязи, один другого красивей, стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнца, оперенные белыми, как лебедь, перьями. На других были легкие шапочки, розовые и голубые, с перегнутыми набекрень верхами; кафтаны с откидными рукавами, шитые и золотом и просто выложенные шнурками; у тех сабли и ружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны, — и много было всяких других убранств. Напереди стоял спесиво, в красной шапке, убранной золотом, буджаковский полковник. Грузен был полковник, всех выше и толще, и широкий дорогой кафтан в силу облекал его. На другой стороне, почти к боковым воротам, стоял другой полковник, небольшой человек, весь высохший; но малые зоркие очи глядели живо из-под густо наросших бровей, и оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанья; видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял хорунжий, длинный-длинный, с густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка в краске на лице: любил пан крепкие меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что ни нашлось в дедовских за́мках. Немало было и всяких сенаторских нахлебников, которых брали с собою сенаторы на обеды для почета, которые крали со стола и из буфетов серебряные кубки и после сегодняшнего почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Много всяких было

там. Иной раз и выпить было не на что, а на войну все принарядились.

Козацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятях и ружейных оправах. Не любили козаки богато выряжаться на битвах; простые были на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и червонели черные червонноверхие бараньи их шапки.

Два козака выехало вперед из запорожских рядов. Один еще совсем молодой, другой постарее, оба зубастые на слова, на деле тоже не плохие козаки: Охрим Наш и Мыкыта Голокопытенко. Следом за ними выехал и Демид Попович, коренастый козак, уже давно маячивший на Сечи, бывший под Адрианополем и много натерпевшийся на веку своем: горел в огне и прибежал на Сечь с обсмаленною, почерневшею головою и выгоревшими усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец *, вырастил усы, густые и черные как смоль. И крепок был на едкое слово Попович.

— А, красные жупаны на всем войске, да хотел бы я знать, красная ли сила у войска?

— Вот я вас! — кричал сверху дюжий полковник, — всех перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видели, как перевязал я ваших? Выведите им на вал запорожцев!

И вывели на вал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был куренной атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства, — так, как схватили его хмельного. И потупил в землю голову атаман, стыдясь наготы своей перед своими же козаками и того, что попал в плен, как собака, сонный. В одну ночь поседела крепкая голова его.

— Не печалься, Хлиб! Выручим! — кричали ему снизу козаки.

— Не печалься, друзьяка! — отозвался куренной атаман Бородатый. — В том нет вины твоей, что схватили тебя нагого. Беда может быть со всяким человеком; но стыдно им, что выставили тебя на позор, не прикрывши прилично наготы твоей.

— Вы, видно, на сонных людей храброе войско! — говорил, поглядывая на вал, Голокопытенко.

— Вот, погодите, обрежем мы вам чубы! — кричали им сверху.

— А хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы! — говорил Попович, поворотившись перед ними на коне. И потом, поглядевши на своих, сказал: — А что ж?

Может быть, ляхи и правду говорят. Коли выведет их вон тот пузатый, им всем будет добрая защита.

— Отчего ж, ты думаешь, будет им добрая защита? — сказали козаки, зная, что Попович, верно, уже готовился что-нибудь отпустить.

— А оттого, что позади его упрячется все войско, и уж черта с два из-за его пуза достанешь которого-нибудь копьем!

Все засмеялись козаки. И долго многие из них еще покачивали головою, говоря: «Ну уж Попович! Уж коли кому закрутит слово, так только ну...» Да уж и не сказали козаки, что такое «ну».

— Отступайте, отступайте скорей от стен! — закричал кошевой. Ибо ляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой.

Едва только посторонились козаки, как грянули с валу картечью. На валу засуетились, показался сам седой воевода на коне. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехали ровным конным строем шитые гусары. За ними кольчужники, потом латники с копьями, потом все в медных шапках, потом ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один с своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал хорунжий; за ним опять ряды, и выехал дюжий полковник; а позади всего уже войска выехал последним низенький полковник.

— Не давать им, не давать им строиться и становиться в ряды! — кричал кошевой. — Разом напирайте на них все курени! Оставляйте прочие ворота! Тытаревский курень, нападай сбоку! Дядькивский курень, нападай с другого! Напирайте на тыл, Кукубенко и Палывода! Мешайте, мешайте и розните их!

И ударили со всех сторон козаки, сбили и смешали их, и сами смешались. Не дали даже и стрельбы произвести; пошло дело на мечи да на копья. Все сбились в кучу, и каждому привел случай показать себя. Демид Попович трех заколол простых и двух лучших шляхтичей сбил с коней, говоря: «Вот добрые кони! Таких коней я давно хотел достать!» И выгнал коней далеко в поле, крича стоявшим козакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней шляхтичей, одного убил, а другому накинул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, снявши с него саблю с дорогою рукоятью и отвязавши

от пояса целый черенок с червонцами. Кобита, добрый козак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске, и долго бились они. Сошлись уже в рукопашный. Одолел было уже козак и, сломивши, ударил вострым турецким ножом в грудь, но не уберегся сам. Тут же в висок хлопнула его горячая пуля. Свалил его знатнейший из панов, красивейший и древнего княжеского роду рыцарь. Как стройный тополь, носился он на буланом коне своем. И много уже показал боярской богатырской удали: двух запорожцев разрубил надвое; Федора Коржа, доброго козака, опрокинул вместе с конем, выстрелил по коню и козака достал из-за коня копьем; многим отнес головы и руки и повалил козака Кобиту, вогнавши ему пулю в висок.

— Вот с кем бы я хотел попробовать силы! — закричал незамайковский куренной атаман Кукубенко. Припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и стать ему в лицо; но не послушался конь: испуганный страшным криком, метнулся на сторону, и достал его ружейною пулею Кукубенко. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля, и свалился он с коня. Но и тут не поддался лях, все еще силился нанести врагу удар, но ослабела упавшая вместе с саблею рука. А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые побледневшие уста. Вышиб два сахарные зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь обшитый золотом желтый кафтан его. А Кукубенко уже кинул его и пробился с своими незамайковцами в другую кучу.

— Эх, оставил неприбранным такое дорогое убранство! — сказал уманский куренной Бородатый, отъехавши от своих к месту, где лежал убитый Кукубенком шляхтич. — Я семерых убил шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видел ни на ком.

И польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных каменьев, отвязал от пояса черенок с червонцами, снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девическою кудрею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышал Бородатый, как

налетел на него сзади красноносый хорунжий, уже раз сбитый им с седла и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он со всего плеча и ударил его саблей по нагнувшейся шее. Не к добру повела корысть козака: отскочила могучая голова, и упал обезглавленный труп, далеко вокруг оросивши землю. Понеслась к вышинам суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя, и вместе с тем дивуясь, что так рано вылетела из такого крепкого тела. Не успел хорунжий ухватить за чуб атаманскую голову, чтобы привязать ее к седлу, а уж был тут суровый мститель.

Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными крылами, вдруг останавливается распластанный на одном месте и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца-перепела, — так Тарасов сын, Остап, налетел вдруг на хорунжего и сразу накинул ему на шею веревку. Побагровело еще сильнее красное лицо хорунжего, когда затянула ему горло жестокая петля; схватился он было за пистолет, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрела, и даром полетела в поле пуля. Остап тут же, у его же седла, отвязал шелковый шнур, который возил с собою хорунжий для вязания пленных, и его же шнуром связал его по рукам и по ногам, прицепил конец веревки к седлу и поволок его через поле, сзывая громко всех козаков Уманского куреня, чтобы шли отдать последнюю честь атаману.

Как услышали уманцы, что куренного их атамана Бородатого нет уже в живых, бросили поле битвы и прибежали прибрать его тело; и тут же стали совещаться, кого выбрать в куренные. Наконец сказали:

— Да на что совещаться? Лучше не можно поставить в куренные, как Бульбенка Остапа. Он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у старого человека.

Остап, сняв шапку, всех поблагодарил козаков-товарищей за честь, не стал отговариваться ни молодостью, ни молодым разумом, зная, что время военное и не до того теперь, а тут же повел их прямо на кучу и уж показал им всем, что недаром выбрали его в атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дело слишком жарко, отступили и перебежали поле, чтоб собраться на другом конце его. А низенький полковник махнул на стоявшие отдельно, у самых ворот, четыре свежих сотни, и грянули оттуда картечью в козацкие кучи. Но мало кого достали: пули хватили по быкам козацким, дико глядев-

шим на битву. Взревели испуганные быки, поворотили на козацкие таборы, переломали возы и многих перетоптали. Но Тарас в это время, вырвавшись из засады с своим полком, с криком бросился навперейм *. Поворотило назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулось на ляшские полки, опрокинуло конницу, всех смяло и рассыпало.

— О, спасибо вам, волы! — кричали запорожцы, — служили всё походную службу, а теперь и военную сослужили! — И ударили с новыми силами на неприятеля.

Много тогда перебили врагов. Многие показали себя: Метелыця, Шило, оба Пысаренки, Вовтузенко, и немало было всяких других. Увидели ляхи, что плохо наконец приходит, выкинули хоругвь и закричали отворять городские ворота. Со скрыпом отворились обитые железом ворота и приняли толпившихся, как овец в овчарню, изнуренных и покрытых пылью всадников. Многие из запорожцев погнались было за ними, но Остап своих уманцев остановил, сказавши: «Подальше, подальше, паны-братья, от стен! Не годится близко подходить к ним». И правду сказал, потому что со стен грянули и посыпали всем чем ни попало, и многим досталось. В это время подъехал кошевой и похвалил Остапа, сказавши: «Вот и новый атаман, а ведет войско так, как бы и старый!» Оглянулся старый Бульба поглядеть, какой там новый атаман, и увидел, что впереди всех уманцев сидел на коне Остап, и шапка заломлена набекрень, и атаманская палица в руке. «Вишь ты какой!» — сказал он, глядя на него; и обрадовался старый, и стал благодарить всех уманцев за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь идти к таборам, а на городском валу вновь показались ляхи, уже с изорванными епанчами. Запеклася кровь на многих дорогих кафтанах, и пылью покрылися красивые медные шапки.

— Что, перевязали? — кричали им снизу запорожцы.

— Вот я вас! — кричал все так же сверху толстый полковник, показывая веревку.

И все еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины, и все, бывшие позадорнее, перекинулись с обеих сторон бойкими словами.

Наконец разошлись все. Кто расположился отдыхать, истомившись от боя; кто присыпал землей свои раны и драл на перевязки платки и дорогие одежды, снятые с убитого неприятеля. Другие же, которые были посве-

жее, стали прибирать тела и отдавать им последнюю почесть. Палашами и копьями копали могилы; шапками, полами выносили землю; сложили честно козацкие тела и засыпали их свежею землею, чтобы не досталось вóронам и хищным орлам выклевывать им очи. А ляшские тела, увязавши как попало десятками к хвостам диких коней, пустили их по всему полю и долго потом гнались за ними и хлестали их по бокам. Летели бешеные кони по бороздам, буграм, через рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахом ляшские трупы.

Потом сели кругами все курени вечерять и долго говорили о делах и подвигах, доставшихся в удел каждому, на вечный рассказ пришельцам и потомству. Долго не ложились они. А долее всех не ложился старый Тарас, все размышляя, что бы значило, что Андрия не было между вражьих воев. Посовестился ли Иуда выйти противу своих или обманул жид и попался он просто в неволю? Но тут же вспомнил он, что не в меру было наклончиво сердце Андрия на женские речи, почувствовал скорбь и заклялся сильно в душе против полячки, причаровавшей его сына. И выполнил бы он свою клятву: не поглядел бы на ее красоту, вытащил бы ее за густую, пышную косу, поволок бы ее за собою по всему полю, между всех козаков. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ее чудные груди и плечи, блеском равные нетающим снегам, покрывающим горные вершины; разнес бы по частям он ее пышное, прекрасное тело. Но не ведал Бульба того, что готовит бог человеку завтра, и стал позабываться сном, и наконец заснул.

А козаки все еще говорили промеж собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во все концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.

VIII

Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из Сечи пришла весть, что татары во время отлучки козаков ограбили в ней все, вырыли скарб, который втайне держали козаки под землею, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к Перекопу. Один только козак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук, заколол мирзу, отвязал у него мешок с цехинами и на татарском коне, в татарской одежде полтора дни и две ночи ухо-

дил от погони, загнал насмерть коня, пересел дорогою на другого, загнал и того, и уже на третьем приехал в запорожский табор, разведав на дороге, что запорожцы были под Дубном. Только и успел объявить он, что случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшиеся запорожцы, по казацкому обычаю, и пьяными отдались в плен, и как узнали татары место, где был зарыт войсковой скарб, — того ничего не сказал он. Сильно истомился козак, распух весь, лицо пожгло и опалило ему ветром; упал он тут же и заснул крепким сном.

В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту ж минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острове, и бог знает в каких местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот отчего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но совещаться, как ровные между собою.

— Давай совет прежде старшие! — закричали в толпе.

— Давай совет кошевой! — говорили другие.

И кошевой снял шапку, уж не так, как начальник, а как товарищ, благодарил всех козаков за честь и сказал:

— Много между нами есть старших и советом умнейших, но коли меня почтили, то мой совет: не терять, товарищи, времени и гнаться за татарином. Ибо вы сами знаете, что за человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его, так что и следов не найдешь. Так мой совет: идти. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое козаки; за веру, сколько было по силам, отмстили; корысти же с голодного города не много. Итак, мой совет — идти.

— Идти! — раздалось голосно в запорожских куренях.

Но Тарасу Бульбе не пришлись по душе такие слова, и навесил он еще ниже на очи свои хмурые, исчерна-белые брови, подобные кустам, выросшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней.

— Нет, не прав совет твой, кошевой! — сказал он. — Ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, вид-

но, чтоб мы не уважили первого, святого закона товарищества: оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них с живых содрали кожу или, исчетвертовав на части козацкое их тело, развозили бы их по городам и селам, как сделали они уже с гетьманом и лучшими русскими витязями на Украйне. Разве мало они поругались и без того над святынею? Что ж мы такое? спрашиваю я всех вас. Что ж за козак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий ни во что ставит козацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекнуть себя обидным словом, так не укорит же никто меня. Один остаюсь!

Поколебались все стоявшие запорожцы.

— А разве ты позабыл, бравый полковник, — сказал тогда кошевой, — что у татар в руках тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам, что хуже всякой лютой смерти? Позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая христианскою кровью?

Задумались все козаки и не знали, что сказать. Никому не хотелось из них заслужить обидную славу. Тогда вышел вперед всех старейший годами во всем запорожском войске Касьян Бовдюг. В чести был он от всех козаков; два раза уже был избираем кошевым и на войнах тоже был сильно добрый козак, но уже давно состарился и не бывал ни в каких походах; не любил тоже и советов давать никому, а любил старый вояка лежать на боку у козацких кругов, слушая рассказы про всякие бывалые случаи и козацкие походы. Никогда не вмешивался он в их речи, а все только слушал да прижимал пальцем золу в своей коротенькой трубке, которой не выпускал изо рта, и долго сидел он потом, прижмурив слегка очи; и не знали козаки, спал ли он или все еще слушал. Все походы оставался он дома, но сей раз разобрало старого. Махнул рукою по-козацки и сказал:

— А, не куды пошло! Пойду и я; может, в чем-нибудь буду пригоден козачеству!

Все козаки притихли, когда выступил он теперь перед собранием, ибо давно не слышали от него никакого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бовдюг.

— Пришла очередь и мне сказать слово, паны-братья! — так он начал. — Послушайте, дети, старого. Мудро сказал кошевой; и, как голова козацкого войска, обязанный приберегать его и пещись о войсковом скарбе,

мудрее ничего он не мог сказать! Вот что! Это пусть будет первая моя речь! А теперь послушайте, что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая речь: большую правду сказал и Тарас-полковник, — дай боже ему побольше веку и чтоб таких полковников было побольше на Украйне! Первый долг и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на веку, не слышал я, паны-братья, чтобы козак покинул где или продал как-нибудь своего товарища. И те и другие нам товарищи; меньше их или больше — все равно, все товарищи, все нам дороги. Так вот какая моя речь: те, которым милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, а которым милы полоненные ляхами и не хочется оставлять правого дела, пусть остаются. Кошевой по долгу пойдет с одной половиною за татарами, а другая половина выберет себе наказного атамана. А наказным атаманом *, коли хотите послушать белой головы, не пригоже быть никому другому, как только одному Тарасу Бульбе. Нет из нас никого, равного ему в доблести.

Так сказал Бовдюг и затих; и обрадовались все козаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки и закричали:

— Спасибо тебе, батько! Молчал, молчал, долго молчал, да вот наконец и сказал. Недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден козачеству: так и сделалось.

— Что, согласны вы на то? — спросил кошевой.

— Все согласны! — закричали козаки.

— Стало быть, раде конец?

— Конец раде! — кричали козаки.

— Слушайте ж теперь войскового приказа, дети! — сказал кошевой, выступил вперед и надел шапку, а все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокрытыми головами, утупив очи в землю, как бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старший.

— Теперь отделяйтесь, паны-братья! Кто хочет идти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи на левую! Куды бо́льшая часть куреня переходит, туды и атаман; коли меньшая часть переходит, приставай к другим куреням.

И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого куреня бо́льшая часть переходила, туда и куренной атаман переходил; которого малая часть,

та приставала к другим куреням; и вышло без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться: весь почти Незамайковский курень, бо́льшая половина Поповичевского куреня, весь Уманский курень, весь Каневский курень, бо́льшая половина Стебликивского куреня, бо́льшая половина Тымошевского куреня. Все остальные вызвались идти вдогон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых козаков. Между теми, которые решились идти вслед за татарами, был Череватый, добрый старый козак, Покотыполе, Лемиш, Прокопович Хома; Демид Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завзятого права козак — не мог долго высидеть на месте; с ляхами попробовал уже он дела, хотелось попробовать еще с татарами. Куренные были: Ностюган, Покрышка, Невылычкий; и много еще других славных и храбрых козаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татарином. Немало было также сильно и сильно добрых козаков между теми, которые захотели остаться: куренные Демытрович, Кукубенко, Вертыхвист, Балабан, Бульбенко Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих козаков: Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуска, Охрим Гуска, Мыкола Густый, Задорожний, Метелыця, Иван Закрутыгуба, Мосий Шило, Дёгтяренко, Сыдоренко, Пысаренко, потом другой Пысаренко, потом еще Пысаренко, и много было других добрых козаков. Все были хожалые, езжалые: ходили по анатольским берегам, по крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам * и днепровским островам; бывали в молдавской, волошской *, в турецкой земле; изъездили всё Черное море двухрульными козацкими челнами; нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие и превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстреляли пороху на своем веку. Не раз драли на онучи дорогие паволоки и оксамиты. Не раз череши у штанных очкуров набивали всё чистыми цехинами. А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, ставшего бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя. Всё спустили по-козацки, угощая весь мир и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни на есть на свете. Еще и теперь у редкого из них не было закопано добра — кружек, серебряных ковшей и запястьев под камышами на днепровских островах, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, в случае несчастья, удалось ему напасть врасплох на Сечь; но трудно было

бы татарину найти его, потому что и сам хозяин уже стал забывать, в котором месте закопал его. Такие-то были козаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам за верных товарищей и Христову веру! Старый козак Бовдюг захотел также остаться с ними, сказавши: «Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами, а тут есть место, где опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просил я у бога, чтобы если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войне за святое и христианское дело. Так оно и случилось. Славнейшей кончины уже не будет в другом месте для старого козака».

Когда отделились все и стали на две стороны в два ряда куренями, кошевой прошел промеж рядов и сказал:

— А что, панове-братове, довольны одна сторона другою?

— Все довольны, батько! — отвечали козаки.

— Ну, так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощанье, ибо, бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велит козацкая честь.

И все козаки, сколько их ни было, перецеловались между собою. Начали первые атаманы и, поведши рукою седые усы свои, поцеловались навкрест и потом взялись за руки и крепко держали руки. Хотел один другого спросить: «Что, пане-брате, увидимся или не увидимся?» — да и не спросили, замолчали, — и загадались * обе седые головы. А козаки все до одного прощались, зная, что много будет работы тем и другим; но не повершили, однако ж, тотчас разлучиться, а повершили дождаться темной ночной поры, чтобы не дать неприятелю увидеть убыль в козацком войске. Потом все отправились по куреням обедать.

После обеда все, которым предстояла дорога, легли отдыхать и спали крепко долгим сном, как будто чуя, что, может, последний сон доведется им вкусить на такой свободе. Спали до самого заходу солнечного; а как зашло солнце и немного стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед возы, а сами, пошапковавшись еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за возами. Конница чинно, без покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотела вслед за пешими, и скоро стало их не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь да скрып иного колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано за ночною темнотою.

Долго еще остававшиеся товарищи махали им издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своим местам, когда увидели при высветивших ясно звездах, что половины телег уже не было на месте, что многих, многих нет, невесело стало у всякого на сердце, и все задумались против воли, утупивши в землю гульливые свои головы.

Тарас видел, как смутны стали козацкие ряды и как уныние, неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкие головы, но молчал: он хотел дать время всему, чтобы пообыклись они и к унынью, наведенному прощаньем с товарищами, а между тем в тишине готовился разом и вдруг разбудить их всех, гикнувши по-козацки, чтобы вновь и с большею силою, чем прежде, воротилась бодрость каждому в душу, на что способна одна только славянская порода — широкая, могучая порода перед другими, что море перед мелководными реками. Коли время бурно, все превращается оно в рев и гром, бугря и подымая валы, как не поднять их бессильным рекам; коли же безветренно и тихо, яснее всех рек расстилает оно свою неоглядную склянную поверхность, вечную негу очей.

И повелел Тарас распаковать своим слугам один из возов, стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в козацком обозе; двойною крепкою шиною были обтянуты дебелые колеса его; грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими воловьими кожами и увязан туго засмоленными веревками. В возу были всё баклаги и бочонки старого доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребах. Взял он его про запас, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будет всем предстоять дело, достойное на передачу потомкам, то чтобы всякому, до единого, козаку досталось выпить заповедного вина, чтобы в великую минуту великое бы и чувство овладело человеком. Услышав полковничий приказ, слуги бросились к возам, палашами перерезывали крепкие веревки, снимали толстые воловьи кожи и попоны и стаскивали с воза баклаги и бочонки.

— А берите все, — сказал Бульба, — все, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковш, или черпак, которым поит коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обе горсти.

И козаки все, сколько ни было их, брали у кого был ковш, у кого черпак, которым поил коня, у кого рукави-

ца, у кого шапка, а кто подставлял и так обе горсти. Всем им слуги Тарасовы, расхаживая промеж рядами, наливали из баклаг и бочонков. Но не приказал Тарас пить, пока не даст знаку, чтобы выпить им всем разом. Видно было, что он хотел что-то сказать. Знал Тарас, что как ни сильно само по себе старое доброе вино и как ни способно оно укрепить дух человека, но если к нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крепче будет сила и вина и духа.

— Я угощаю вас, паны-братья, — так сказал Бульба, — не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом, как ни велика подобная честь, не в честь также прощанья с нашими товарищами: нет, в другое время прилично и то и другое; не такая теперь перед нами минута. Перед нами дела великого поту, великой козацкой доблести! Итак, выпьем, товарищи, разом выпьем поперед всего за святую православную веру: чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурменов, все бы сделались христианами! Да за одним уже разом выпьем и за Сечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один одного лучше, один одного краше. Да уж вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за веру, пане-братове, за веру!

— За веру! — загомонели все, стоявшие в ближних рядах, густыми голосами.

— За веру! — подхватили дальние; и все что ни было, и старое и молодое, выпило за веру.

— За Сичь! — сказал Тарас и высоко поднял над головою руку.

— За Сичь! — отдалося густо в передних рядах. — За Сичь! — сказали тихо старые, моргнувши седым усом; и, встрепенувшись, как молодые соколы, повторили молодые: — За Сичь!

И слышало далече поле, как поминали козаки свою Сичь.

— Теперь последний глоток, товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете!

И все козаки, до последнего в поле, выпили последний глоток в ковшах за славу и всех христиан, какие

ни есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам промеж всеми куренями:

— За всех христиан, какие ни есть на свете!

Уже пусто было в ковшах, а всё еще стояли козаки, поднявши руки. Хоть весело глядели очи их всех, просиявшие вином, но сильно загадались они. Не о корысти и военном прибытке теперь думали они, не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого оружья, шитых кафтанов и черкесских коней; но загадалися они — как орлы, севшие на вершинах обрывистых, высоких гор, с которых далеко видно расстилающееся беспредельно море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонам чуть видными тонкими поморьями, с прибрежными, как мошки, городами и склонившимися, как мелкая травка, лесами. Как орлы, озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами* и дорогами покрыто торчащими их белыми костями, щедро обмывшись козацкою их кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями. Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными книзу усами. Будут, налетев, орлы выдирать и выдергивать из них козацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге! Не погибнет ни одно великодушное дело, и не пропадет, как малая порошинка с ружейного дула, козацкая слава. Будет, будет бандурист с седою по грудь бородою, а может, еще полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещий духом, и скажет он про них свое густое, могучее слово. И пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что ни народится потом, заговорит о них. Ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву.

IX

В городе не узнал никто, что половина запорожцев выступила в погоню за татарами. С магистратской башни приметили только часовые, что потянулась часть во-

зов за лес; но подумали, что козаки готовились сделать засаду; то же думал и французский инженер. А между тем слова кошевого не прошли даром, и в городе оказался недостаток в съестных припасах. По обычаю прошедших веков, войска не разочли, сколько им было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков была тут же перебита козаками, а половина прогнана в город ни с чем. Жиды, однако же, воспользовались вылазкою и пронюхали всё: куда и зачем отправились запорожцы, и с какими военачальниками, и какие именно курени, и сколько их числом, и сколько было оставшихся на месте, и что они думают делать, — словом, чрез несколько уже минут в городе всё узнали. Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то по движенью и шуму в городе и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три таборы курени, обнесши их возами в виде крепостей *, — род битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы; двум куреням повелел забраться в засаду; убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, обломками копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда все было сделано как нужно, сказал речь козакам, не для того чтобы ободрить и освежить их, — знал, что и без того крепки они духом, — а просто самому хотелось высказать все, что было на сердце.

— Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь — и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим, а

как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, — видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а... — сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: — Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие басурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, — так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!

Так говорил атаман и, когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившеюся в козацких делах головою. Всех, кто ни стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю; слеза тихо накатывалася в старых очах; медленно отирали они ее рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодою жемчужною душою на вечную радость старцам родителям, родившим их.

А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны, окруженные несметными слугами. Толстый

полковник отдавал приказы. И стали наступать они тесно на козацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Как только увидели козаки, что подошли они на ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали*, и, не перерывая, всё палили они из пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь в беспрерывный гул; дымом затянуло все поле, а запорожцы всё палили, не переводя духу: задние только заряжали да передавали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего понять, как стреляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство, не видно было, как то одного, то другого не ставало в рядах; но чувствовали ляхи, что густо летели пули и жарко становилось дело; и когда попятились назад, чтобы посторониться от дыма и оглядеться, то многих недосчитались в рядах своих. А у козаков, может быть, другой-третий был убит на всю сотню. И всё продолжали палить козаки из пищалей, ни на минуту не давая промежутка. Сам иноземный инженер подивился такой, никогда им не виданной тактике, сказавши тут же, при всех: «Вот бравые молодцы-запорожцы! Вот как нужно биться и другим в других землях!» И дал совет поворотить тут же на табор пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунные пушки; дрогнула, далеко загудевши, земля, и вдвое больше затянуло дымом все поле. Почуяли запах пороха среди площадей и улиц в дальних и ближних городах. Но нацелившие взяли слишком высоко: раскаленные ядра выгнули слишком высокую дугу. Страшно завизжав по воздуху, перелетели они через головы всего табора и углубились далеко в землю, взорвав и взметнув высоко на воздух черную землю. Ухватил себя за волосы французский инженер при виде такого неискусства и сам принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями беспрерывно козаки.

Тарас видел еще издали, что беда будет всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнул зычно: «Выбирайтесь скорей из-за возов, и садись всякий на коня!» Но не поспели бы сделать то и другое козаки, если бы Остап не ударил в самую середину; выбил фитили у шести пушкарей, у четырех только не мог выбить: отогнали его назад ляхи. А тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль, чтобы вы-

палить из величайшей пушки, какой никто из козаков не видывал дотоле. Страшно глядела она широкою пастью, и тысяча смертей глядело оттуда. И как грянула она, а за нею следом три другие, четырекратно потрясши глухо-ответную землю, — много нанесли они горя! Не по одному козаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Не одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет, сердечная, выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого из них в очи, нет ли между их одного, милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного, милейшего всех.

Так, как будто и не бывало половины Незамайковского куреня! Как градом выбивает вдруг всю ниву, где, что полновесный червонец, красовался всякий колос, так их выбило и положило.

Как же вскинулись козаки! Как схватились все! Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины куреня его нет! Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину. В гневе иссек в капусту первого попавшегося, многих конников сбил с коней, доставши копьем и конника и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку. А уж там, видит, хлопочет уманский куренной атаман и Степан Гуска уже отбивает главную пушку. Оставил он тех козаков и поворотил с своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайковцы — так там и улица, где поворотились — так уж там и переулок! Так и видно, как редели ряды и снопами валились ляхи! А у самых возов Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальних возов Дёгтяренко, а за ним куренной атаман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дёгтяренко, да напал наконец на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях, пышной сбруей украшен и пятьдесят одних слуг привел с собою. Погнул он крепко Дёгтяренка, сбил его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричал: «Нет из вас, собак-козаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне!»

«А вот есть же!» — сказал и выступил вперед Мосий Шило. Сильный был он козак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Схватили их турки у самого Трапезонта и всех забрали невольниками на галеры, взяли их по рукам и ногам в железные цепи,

не давали по целым неделям пшена и поили противной морской водою. Все выносили и вытерпели бедные невольники, лишь бы не переменять православной веры. Не вытерпел атаман Мосий Шило, истоптал ногами святой закон, скверною чалмой обвил грешную голову, вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные невольники, ибо знали, что если свой продаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом. Так и сбылось. Всех посадил Мосий Шило в новые цепи по три в ряд, прикрутил им до самых белых костей жестокие веревки; всех перебил по шеям, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать и, позабыв закон свой, все перепились, он принес все шестьдесят четыре ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кандалы в море, а брали бы наместо того сабли да рубили турков. Много тогда набрали козаки добычи и воротились, со славою в отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосия Шила. Выбрали бы его в кошевые, да был совсем чудной козак. Иной раз повершал такое дело, какого мудрейшему не придумать, а в другой — просто дурь одолевала козака. Пропил он и прогулял все, всем задолжал на Сечи и, в прибавку к тому, прокрался, как уличный вор: ночью утащил из чужого куреня всю козацкую сбрую и заложил шинкарю. За такое позорное дело привязали его на базаре к столбу и положили возле дубину, чтобы всякий по мере сил своих отвесил ему по удару. Но не нашлось такого из всех запорожцев, кто бы поднял на него дубину, помня прежние его заслуги. Таков был козак Мосий Шило.

«Так есть же такие, которые бьют вас, собак!» — сказал он, кинувшись на него. И уж так-то рубились они! И наплечники и зерцала погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий лях железную рубашку, достав лезвеем самого тела: зачервонела козацкая рубашка. Но не поглядел на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся лях, а Шило принялся рубить и крестить оглушенного. Не добивай, козак, врага, а лучше поворотись назад! Не поворотился козак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом

в шею. Поворотился Шило и уж достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шило и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паны-братья, товарищи! Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» И зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась козацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал Задорожний с своими, ломил ряды куренной Вертыхвист и выступал Балабан.

— А что, паны? — сказал Тарас, перекликнувшись с куренными. — Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли козацкая сила? Не гнутся ли козаки?

— Есть еще, батько, порох в пороховницах. Не ослабела еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!

И наперли сильно козаки: совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть восемь малеванных знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к знаменам; но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь с своими незамайковцами в середину и напал прямо на толстопузого полковника. Не выдержал полковник и, поворотив коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то с бокового куреня, Степан Гуска пустился ему навперейми, с арканом в руке, всю пригнувши голову к лошадиной шее, и, улучивши время, с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. Но несдобровать и Гуске! Не успели оглянуться козаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на четыре копья. Только и успел сказать бедняк: «Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля!» И там же испустил дух свой.

Оглянулись козаки, а уж там, сбоку, козак Метелыця угощает ляхов, шеломя того и другого; а уж там, с другого, напирает с своими атаман Невылычкий; а у возов ворочает врага и бьется Закрутыгуба; а у дальних возов третий Пысаренко отогнал уже целую ватагу. А уж там, у других возов, схватились и бьются на самых возах.

— Что, паны? — перекликнулся атаман Тарас, проехавши впереди всех. — Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще козацкая сила? Не гнутся ли еще козаки?

— Есть еще, батько, порох в пороховницах; еще крепка козацкая сила; еще не гнутся козаки!

А уж упал с воза Бовдюг. Прямо под самое сердце пришлась ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться с светом. Дай бог и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца века Русская земля!» И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отшедшим старцам, как умеют биться на Русской земле и, еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру.

Балабан, куренной атаман, скоро после него грянулся также на землю. Три смертельные раны достались ему: от копья, от пули и от тяжелого палаша. А был один из доблестнейших козаков; много совершил он под своим атаманством морских походов, но славнее всех был поход к анатольским берегам. Много набрали они тогда цехинов, дорогой турецкой габы*, киндяков* и всяких убранств, но мыкнули горе на обратном пути: попались, сердечные, под турецкие ядра. Как хватило их с корабля — половина челнов закружилась и перевернулась, потопивши не одного в воду, но привязанные к бокам камыши спасли челны от потопления. Балабан отплыл на всех веслах, стал прямо к солнцу и чрез то сделался невиден турецкому кораблю. Всю ночь потом черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитые места; из козацких штанов нарезали парусов, понеслись и убежали от быстрейшего турецкого корабля. И мало того что прибыли безбедно на Сечу, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорского киевского монастыря и на Покров*, что на Запорожье, оклад из чистого серебра. И славили долго потом бандуристы удачливость козаков. Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал: «Сдается мне, паны-браты, умираю хорошею смертью: семерых изрубил, девятерых копьем исколол. Истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулею. Пусть же цветет вечно Русская земля!..» И отлетела его душа.

Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенка, уже семь человек только осталось изо всего Незамайковского куреня; уже

и те отбиваются через силу; уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели козаки: уже успело ему углубиться под сердце копье прежде, чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхватившим его козакам, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли в склянном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею; все разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай в жизни, чтобы если приведет бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человек... Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!» И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную * меня! — скажет ему Христос, — ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь». Всех опечалила смерть Кукубенка. Уже редели сильно козацкие ряды; многих, многих храбрых уже недосчитывались; но стояли и держались еще козаки.

— А что, паны? — перекликнулся Тарас с оставшимися куренями. — Есть ли еще порох в пороховницах? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила? Не погнулись ли козаки?

— Достанет еще, батько, пороху! Годятся еще сабли; не утомилась козацкая сила; не погнулись еще козаки!

И рванулись снова козаки так, как бы и потерь никаких не потерпели. Уже три только куренных атамана осталось в живых. Червонели уже всюду красные реки; высоко гатились мосты из козацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то пожива! А уж там подняли на копье Метелыцю. Уже голова другого Пысаренка, завертевшись, захлопала очами. Уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охрим Гуска. «Ну!» — сказал Тарас и махнул платком. Понял тот знак Остап и ударил сильно, вырвавшись из за-

сады, в конницу. Не выдержали сильного напору ляхи, а он их гнал и нагнал прямо на место, где были убиты в землю колья и обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони и лететь через их головы ляхи. А в это время корсунцы, стоявшие последние за возами, увидевши, что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все сбились и растерялись ляхи, и приободрились козаки. «Вот и наша победа!» — раздались со всех сторон запорожские голоса, затрубили в трубы и выкинули победную хоругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи. «Ну, нет, еще не совсем победа!» — сказал Тарас, глядя на городские ворота, и сказал он правду.

Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все, как один, бурые аргамаки. Впереди других понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий. А он между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрейший и молодший всех в стае. Атукнул на него опытный охотник — и он понесся, пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набок всем телом, взрывая снег и десять раз выпереживая самого зайца в жару своего бега. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собою дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал: «Как?.. Своих?.. Своих, чертов сын, своих бьешь?..» Но Андрий не различал, кто пред ним был, свои или другие какие; ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные, длинные кудри, и подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев.

«Эй, хлопьята! заманите мне только его к лесу, заманите мне только его!» — кричал Тарас. И вызвалось тот же час тридцать быстрейших козаков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо наперерез гусарам. Ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватил плашмя по спине Андрия, и в тот же час пустились бежать от них, сколько достало козацкой мочи. Как вскинулся

Андрий! Как забунтовала по всем жилкам молодая кровь! Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за козаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только двадцать человек успело поспевать за ним. А козаки летели во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрий и чуть было уже не настигнул Голокопытенка, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрий: пред ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен...

Так школьник, неосторожно задравши своего товарища и получивши за то от него удар линейкою по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный выскакивает из лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части, и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя: вмиг притихает бешеный порыв и упадает бессильная ярость. Подобно ему, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед собою одного только страшного отца.

— Ну, что ж теперь мы будем делать? — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.

Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.

— Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

Андрий был безответен.

— Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!

Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив ни мертв перед Тарасом.

— Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! — сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье.

Бледен как полотно был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил.

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобеди-

мого для жен очарованья, все еще выражало чудную красоту; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты.

— Чем бы не козак был? — сказал Тарас, — и станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал, пропал бесславно, как подлая собака!

— Батько, что ты сделал? Это ты убил его? — сказал подъехавший в это время Остап.

Тарас кивнул головою.

Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же:

— Предадим же, батько, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тела хищные птицы.

— Погребут его и без нас! — сказал Тарас, — будут у него плакальщики и утешницы!

И минуты две думал он, кинуть ли его на расхищенье волкам сыромахам или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко:

— Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила!..

Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко:

— Беда, атаман, новая валит еще сила!..

Не успел сказать Вовтузенко, Пысаренко бежит бегом, уже без коня:

— Где ты, батьку? Ищут тебя козаки. Уж убит куренной атаман Невылычкий, Задорожний убит, Черевиченко убит. Но стоят казаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи; хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом!

— На коня, Остап! — сказал Тарас и спешил, чтобы застать еще козаков, чтобы поглядеть еще на них и чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана.

Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон лес, и меж деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..» — кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал честить первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило

вдруг шестеро; но не в добрый час, видно, наскочило: с одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьем в ребро третьего; четвертый был поотважней, уклонился головой от пули, и попала в конскую грудь горячая пуля, — вздыбился бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собою всадника. «Добре, сынку!.. Добре, Остап!.. — кричал Тарас. — Вот я следом за тобою!..» А сам все отбивался от наступавших. Рубится и бьется Тарас, сыплет гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит все вперед на Остапа и видит, что уже вновь схватилось с Остапом мало не восьмеро разом. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..» Но уж одолевают Остапа; уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа. «Эх, Остап, Остап!.. — кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. — Эх, Остап, Остап!..» Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту. Все закружилось и перевернулось в глазах его. На миг смешанно сверкнули пред ним головы, копья, дым, блески огня, сучья с древесными листьями, мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся он, как подрубленный дуб, на землю. И туман покрыл его очи.

X

— Долго же я спал! — сказал Тарас, очнувшись, как после трудного хмельного сна, и стараясь распознать окружавшие его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались пред ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что пред ним сидел Товкач и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханию.

«Да, — подумал про себя Товкач, — заснул бы ты, может быть, и навеки!» Но ничего не сказал, погрозил пальцем и дал знак молчать.

— Да скажи же мне, где я теперь? — спросил опять Тарас, напрягая ум и стараясь припомнить бывшее.

— Молчи ж! — прикрикнул сурово на него товарищ. — Чего тебе еще хочется знать? Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уж две недели, как мы с тобою скачем, не переводя духу, и как ты в горячке и жару несешь и городишь чепуху. Вот в первый раз заснул спокойно. Молчи ж, если не хочешь нанести сам себе беду.

Но Тарас все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее.

— Да ведь меня же схватили и окружили было совсем ляхи? Мне ж не было никакой возможности выбиться из толпы?

— Молчи ж, говорят тебе, чертова детина! — закричал Товкач сердито, как нянька, выведенная из терпенья, кричит неугомонному повесе-ребенку. — Что пользы знать тебе, как выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали, — ну, и будет с тебя! Нам еще немало ночей скакать вместе. Ты думаешь, что пошел за простого козака? Нет, твою голову оценили в две тысячи червонных.

— А Остап? — вскрикнул вдруг Тарас, понатужился приподняться и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали в глазах его и что он теперь уже в ляшских руках.

И обняло горе старую голову. Сорвал и сдернул он все перевязки ран своих, бросил их далеко прочь, хотел громко что-то сказать — и вместо того понес чепуху; жар и бред вновь овладели им, и понеслись без толку и связи безумные речи.

А между тем верный товарищ стоял пред ним, бранясь и рассыпая без счету жестокие укорительные слова и упреки. Наконец схватил он его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, поправил все перевязки, увернул его в воловью кожу, увязал в лубки и, прикрепивши веревками к седлу, помчался вновь с ним в дорогу.

— Хоть неживого, да довезу тебя! Не попущу, чтобы ляхи поглумились над твоей козацкою породою, на куски рвали бы твое тело да бросали его в воду. Пусть же хоть и будет орел высмыкать из твоего лоба очи, да пусть же степовой наш орел, а не ляшский, не тот, что прилетает из польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя до Украйны!

Так говорил верный товарищ. Скакал без отдыху дни и ночи и привез его, бесчувственного, в самую Запорожскую Сечь. Там принялся он лечить его неутомимо травами и смачиваньями; нашел какую-то знающую жидовку, которая месяц поила его разными снадобьями, и наконец Тарасу стало лучше. Лекарства ли или своя железная сила взяла верх, только он через полтора месяца стал на ноги; раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, как глубоко когда-то

был ранен старый козак. Однако же заметно стал он пасмурен и печален. Три тяжелые морщины насунулись на лоб его и уже больше никогда не сходили с него. Оглянулся он теперь вокруг себя: все новое на Сечи, все перемерли старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство. И те, которые отправились с кошевым в угон за татарами, и тех уже не было давно: все положили головы, все сгибли — кто положив на самом бою честную голову, кто от безводья и бесхлебья среди крымских солончаков, кто в плену пропал, не вынесши позора; и самого прежнего кошевого уже давно не было на свете, и никого из старых товарищей; и уже давно поросла травою когда-то кипевшая козацкая сила. Слышал он только, что был пир, сильный, шумный пир: вся перебита вдребезги посуда; нигде не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги все дорогие кубки и сосуды, — и смутный стоит хозяин дома, думая: «Лучше б и не было того пира». Напрасно старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, седые бандуристы, проходя по два и по три, расславляли его козацкие подвиги. Сурово и равнодушно глядел он на все, и на неподвижном лице его выступала неугасимая горесть, и, тихо понурив голову, говорил он: «Сын мой! Остап мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее; видела чалмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровью полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах, но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Он уходил в луга

и степи, будто бы за охотою, но заряд его оставался невыстрелянным. И, положив ружье, полный тоски, садился он на морской берег. Долго сидел он там, понурив голову и все говоря: «Остап мой! Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилалось Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою.

И не выдержал наконец Тарас. «Что бы ни было, пойду разведать, что он: жив ли он? в могиле? или уже и в самой могиле нет его? Разведаю во что бы ни стало!» И через неделю уже очутился он в городе Умани, вооруженный, на коне, с копьем, саблей, дорожной баклагой у седла, походным горшком с саламотой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочим снарядом. Он прямо подъехал к нечистому, запачканному домишке, у которого небольшие окошки едва были видны, закопченные неизвестно чем; труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякого сору лежала пред самыми дверьми. Из окна выглядывала голова жидовки, в чепце с потемневшими жемчугами.

— Муж дома? — сказал Бульба, слезая с коня и привязывая повод к железному крючку, бывшему у самых дверей.

— Дома, — сказала жидовка и поспешила тот же час выйти с пшеницей в корчике * для коня и стопой пива для рыцаря.

— Где же твой жид?

— Он в другой светлице, молится, — проговорила жидовка, кланяясь и пожелав здоровья в то время, когда Бульба поднес к губам стопу.

— Оставайся здесь, накорми и напои моего коня, а я пойду поговорю с ним один. У меня до него дело.

Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. Тарас вошел в светлицу. Жид молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и обо-

ротился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Так и бросились жиду прежде всего в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он постыдился своей корысти и силился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.

— Слушай, Янкель! — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели. — Я спас твою жизнь, — тебя бы разорвали, как собаку, запорожцы; теперь твоя очередь, теперь сделай мне услугу!

Лицо жида несколько поморщилось.

— Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать?

— Не говори ничего. Вези меня в Варшаву.

— В Варшаву? Как в Варшаву? — сказал Янкель. Брови и плечи его поднялись вверх от изумления.

— Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово.

— Кому сказать слово?

— Ему, Остапу, сыну моему.

— Разве пан не слышал, что уже...

— Знаю, знаю все: за мою голову дают две тысячи червонных. Знают же они, дурни, цену ей! Я тебе пять тысяч дам. Вот тебе две тысячи сейчас, — Бульба высыпал из кожаного гамана две тысячи червонных, — а остальные — как ворочусь.

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы.

— Ай, славная монета! Ай, добрая монета! — говорил он, вертя один червонец в руках и пробуя на зубах. — Я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы, и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку, да и утонул там после таких славных червонцев.

— Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете; вы знаете все штуки; вот для чего я пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня!

— А пан думает, что так прямо взял кобылу, запряг, да и «эй, ну пошел, сивка!». Думает пан, что можно так, как есть, не спрятавши, везти пана?

— Ну, так прятай, прятай, как знаешь; в порожнюю бочку, что ли?

— Ай, ай! А пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка?

— Ну, так и пусть думает, что горелка.

— Как? Пусть думает, что горелка? — сказал жид и схватил себя обеими руками за пейсики и потом поднял кверху обе руки.

— Ну, что же ты так оторопел?

— А пан разве не знает, что бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал! Там всё лакомки, ласуны: шляхтич будет бежать верст пять за бочкой, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет порожнюю бочку; верно, тут есть что-нибудь. Схватить жида, связать жида, отобрать все деньги у жида, посадить в тюрьму жида!» Потому что все, что ни есть недоброго, все валится на жида; потому что жида всякий принимает за собаку; потому что думают, уж и не человек, коли жид.

— Ну, так положи меня в воз с рыбою!

— Не можно, пан; ей-богу, не можно. По всей Польше люди голодны теперь, как собаки: и рыбу раскрадут, и пана нащупают.

— Так вези меня хоть на черте, только вези!

— Слушай, слушай, пан! — сказал жид, посунувши обшлага рукавов своих и подходя к нему с растопыренными руками. — Вот что мы сделаем. Теперь строят везде крепости и замки; из Неметчины приехали французские инженеры, а потому по дорогам везут много кирпичу и камней. Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, коли будет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.

— Делай, как хочешь, только вези!

И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развевались из-под жидовского яломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади, длинный, как верста, поставленная на дороге.

XI

В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большею частию для своего собственного удовольствия, особливо если на возу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы, со множеством протянутых из окон жердей, увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху ощекатуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимою для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что только было у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид, с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под

кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он надеется доставить ему свидание.

Бульба вошел с тремя жидами в комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, — надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния; старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши.

— Слушайте, жиды! — сказал он, и в словах его было что-то восторженное. — Вы всё на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского; и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа! Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных, — я прибавляю еще двенадцать. Все, какие у меня есть, дорогие кубки и закопанное в земле золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь, с тем чтобы все, что ни добуду на войне, делить с вами пополам.

— О, не можно, любезный пан, не можно! — сказал со вздохом Янкель.

— Нет, не можно! — сказал другой жид.

Все три жида взглянули один на другого.

— А попробовать? — сказал третий, боязливо поглядывая на двух других, — может быть, бог даст.

Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать; он слышал только часто произносимое слово «Мардохай», и больше ничего.

— Слушай, пан! — сказал Янкель, — нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У-у! то такой мудрый, как Соломон; и когда он ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает. Сиди тут; вот ключ, и не впускай никого!

Жиды вышли на улицу.

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно

азартно; к ним присоединился скоро четвертый, наконец и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы; наконец в конце ее из-за одного дрянного дома показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтанья. «А, Мардохай, Мардохай!» — закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказывать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший на сторóже, должен был дать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился.

Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал: «Когда мы да бог захочем сделать, то уже будет так, как нужно».

Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие: верхняя губа у него была просто страшилище; толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только пятнадцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна.

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб; он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл

он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

— Что? удачно? — спросил он их с нетерпением дикого коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто бы страдал простудою.

— О, любезный пан! — сказал Янкель, — теперь совсем не можно! Ей-богу, не можно! Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет. Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете; но бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить.

Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева.

— А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются и один левентарь * обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья! Ой, вей мир! Что это за корыстный народ! И между нами таких нет: пятьдесят червонцев я дал каждому, а левентарю...

— Хорошо. Веди меня к нему! — произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу.

Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке для Бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтанье и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал; он сидел неподвижен и слегка бара-

банил пальцами по столу; он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля.

— Вставай, жид, и давай твою графскую одежду.

В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на темя маленькую темную шапочку, — и никто бы из самых близких к нему козаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкою в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная узкая башня, на верху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей: тут были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал:

— Это мы; слышите, паны? это мы.

— Ступайте! — говорил один из них, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов.

Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху.

— Кто идет? — закричало несколько голосов; и Тарас увидел порядочное количество гайдуков * в полном вооружении. — Нам никого не велено пускать.

— Это мы! — кричал Янкель. — Ей-богу, мы, ясные паны.

Но никто не хотел слушать. К счастию, в это время подошел какой-то толстяк, который по всем приметам казался начальником, потому что ругался сильнее всех.

— Пан, это ж мы, вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить.

— Пропустите, сто дьяблов чертовой матке! И больше никого не пускайте! Да саблей чтобы никто не скидал и не собачился на полу...

Продолжения красноречивого приказа уже не слышали наши путники.

— Это мы... это я... это свои! — говорил Янкель, встречаясь со всяким.

— А что, можно теперь? — спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался.

— Можно; только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой, — отвечал часовой.

— Ай, ай! — произнес тихо жид. — Это скверно, любезный пан!

— Веди! — произнес упрямо Тарас.

Жид повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему:

— Ваша ясновельможность! Ясновельможный пан!

— Ты, жид, это мне говоришь?

— Вам, ясновельможный пан!

— Гм... А я просто гайдук! — сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами.

— А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. Ай, ай, ай!.. — при этом жид покрутил головою и расставил пальцы. — Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник, совсем полковник! Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки!

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились.

— Что за народ военный! — продолжал жид. — Ох, вей мир, что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки... Так от них блестит, как от солнца; а цурки *, где только увидят военных... ай, ай!..

Жид опять покрутил головою.

Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание.

— Прошу пана оказать услугу! — произнес жид. — Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на козаков. Он еще сроду не видел, что это за народ козаки.

Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы: Московию и Украйну они почитали уже находящимися в Азии. И потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя.

— Я не знаю, ваша ясновельможность, — говорил он, — зачем вам хочется посмотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает.

— Врешь ты, чертов сын! — сказал Бульба. — Сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретическую веру не уважают!

— Эге-ге! — сказал гайдук. — А я знаю, приятель, ты кто: ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших.

Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастию, Янкель в ту же минуту успел подвернуться.

— Ясновельможный пан! как же можно, чтобы граф да был козак? А если бы он был козак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский?

— Рассказывай себе!.. — и гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть.

— Ваше королевское величество! молчите! молчите, ради бога! — закричал Янкель. — Молчите! Мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели: мы дадим вам два золотых червонца.

— Эге! Два червонца! Два червонца мне нипочем: я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил. Сто червонных давай, жид! — Тут гайдук закрутил верхние усы. — А как не дашь ста червонных, сейчас закричу!

— И на что бы так много! — горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой; но он счастлив был, что в его кошельке не было более и что гайдук далее ста не умел считать. — Пан, пан! уйдем скорее! Видите, какой тут нехороший народ! — сказал

Янкель, заметивши, что гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более.

— Что ж ты, чертов гайдук, — сказал Бульба, — деньги взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать.

— Ступайте, ступайте к дьяволу! а не то я сию минуту дам знать, и вас тут... Уносите ноги, говорю я вам, скорее!

— Пан! пан! пойдем! Ей-богу, пойдем! Цур им! Пусть им приснится такое, что плевать нужно, — кричал бедный Янкель.

Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.

— И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народ, что не может не браниться! Ох, вей мир, какое счастие посылает бог людям! Сто червонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно, а никто не даст ста червонных. О боже мой! боже милосердный!

Но неудача эта гораздо более имела влияния на Бульбу; она выражалась пожирающим пламенем в его глазах.

— Пойдем! — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись. — Пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить.

— Ой, пан! зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже.

— Пойдем! — упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали спросонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мученье!» — кричали из них многие с истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь; однако же простаивали иногда довольное время. Иной, и рот рази-

нув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но бо́льшая часть была таких, которые на весь мир и на все, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкою своею, Юзысею, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка Юзыся, — говорил он, — весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, — то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив; а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством. Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами, сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, как белый сахар, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп, в блестящем убранстве, с откидными назад рукавами, разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлою ручкою своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла наподхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своею головою, в

полинялом красном кунтуше * с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощью длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем: перегнувши набок нос и поднявши лапу, он с своей стороны рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут... ведут!.. козаки!..»

Они шли с открытыми головами, с длинными чубами; бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою горделивостию; их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями; они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко:

— Дай же, боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!

После этого он приблизился к эшафоту.

— Добре, сынку, добре! — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.

Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки, и... Не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Напрасно некоторые, немногие, бывшие исключениями из века, являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно король и многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение козацкой нации. Но власть короля и умных мнений была ничто перед беспорядком и дерзкой волею государственных магнатов, которые своею необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожною гордостью превратили сейм в сатиру на правление.

Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, — ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи, и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»

Но когда подвели его к последним смертным мукам — казалось, как будто стала подаваться его сила. И повел он очами вокруг себя: боже, всё неведомые, всё чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушений слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и биющей себя в белые груди; хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи:

— Батько! где ты? Слышишь ли ты?

— Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул.

Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел как смерть, и, когда всадники немного отдалились от него, он со страхом обратился назад, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возле него не было: его и след простыл.

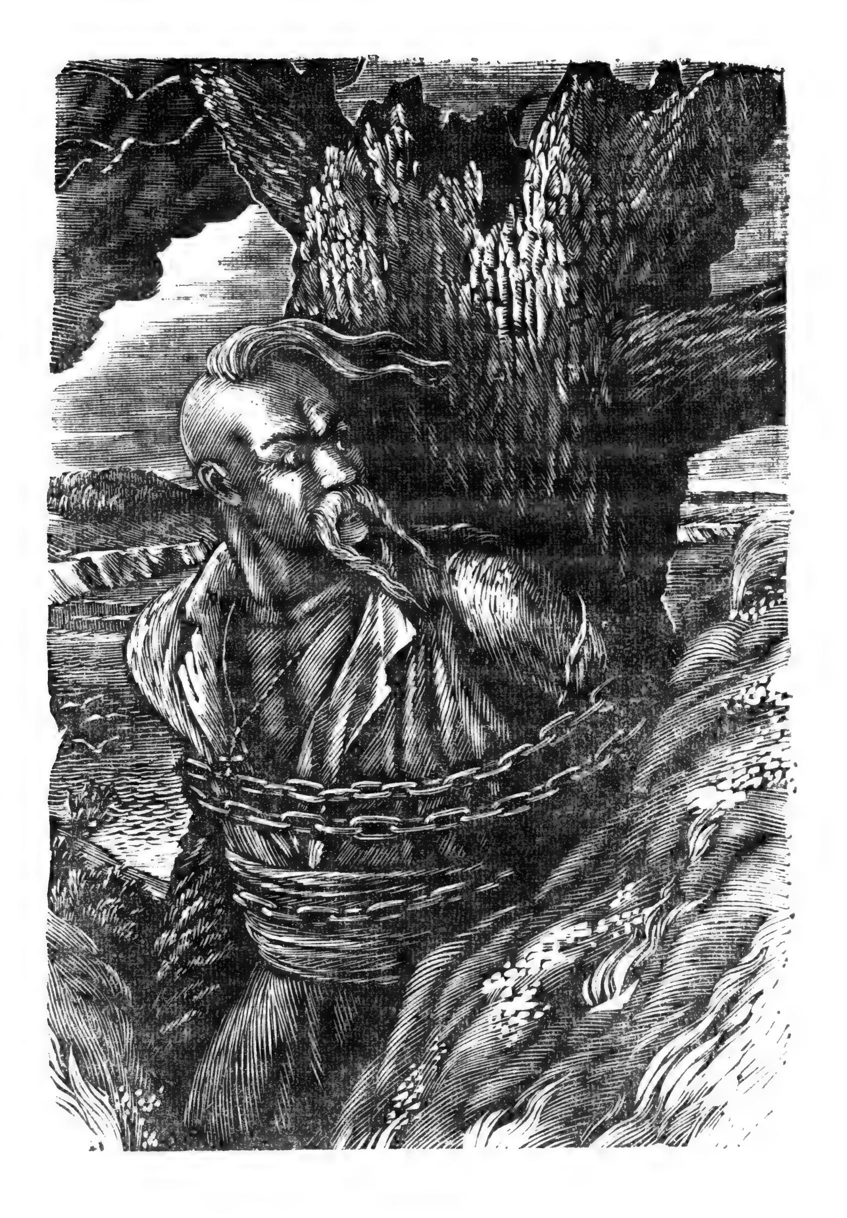
XII

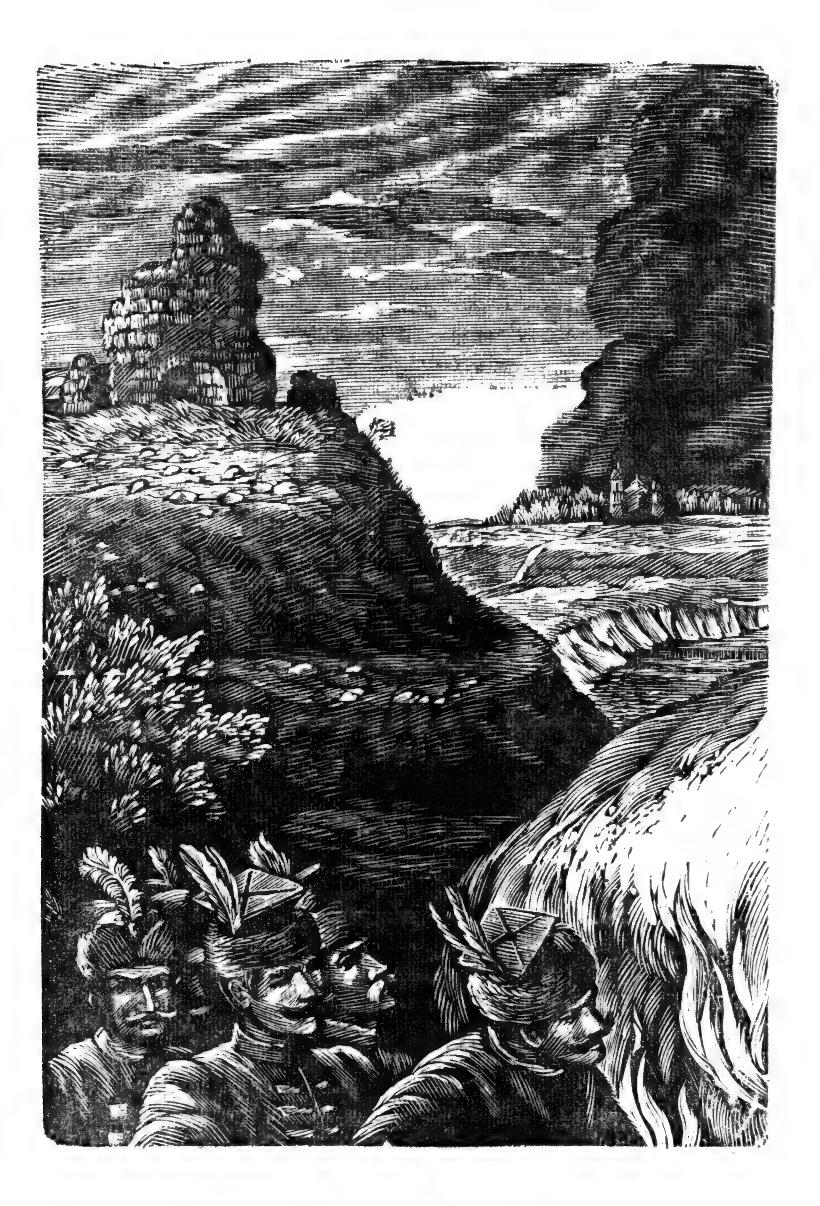
Отыскался след Тарасов. Сто двадцать тысяч козацкого войска показалось на границах Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, — поднялась отмстить за посмеянье прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинства чужеземных панов, за угнетенье, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле — за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть козаков. Молодой, но сильный духом гетьман Остраница * предводил всею несметною козацкою силою. Возле был виден престарелый, опытный товарищ его и

советник, Гуня *. Восемь полковников вели двенадцатитысячные полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчужный * ехали вслед за гетьманом. Генеральный хорунжий предводил главное знамя; много других хоругвей и знамен развевалось вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было других чинов полковых: обозных, войсковых товарищей, полковых писарей, и с ними пеших и конных отрядов; почти столько же, сколько было рейстровых козаков, набралось охочекомонных и вольных. Отвсюду поднялись козаки: от Чигирина, от Переяслава, от Батурина, от Глухова, от низовой стороны днепровской и от всех его верховий и островов. Без счету кони и несметные таборы телег тянулись по полям. И между теми-то козаками, между теми восьмью полками отборнее всех был один полк, и полком тем предводил Тарас Бульба. Все давало ему перевес пред другими: и преклонные лета, и опытность, и уменье двигать своим войском, и сильнейшая всех ненависть к врагам. Даже самим козакам казалось чрезмерною его беспощадная свирепость и жестокость. Только огонь да виселицу определяла седая голова его, и совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением.

Нечего описывать всех битв, где показали себя козаки, ни всего постепенного хода кампании: все это внесено в летописные страницы. Известно, какова в Русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря. Из самой середины морского дна возносит она к небесам непроломные свои стены, вся созданная из одного цельного, сплошного камня. От всюду видна она и глядит прямо в очи мимобегущим волнам. И горе кораблю, который нанесется на нее! В щепы летят бессильные его снасти, тонет и ломится в прах все, что ни есть на них, и жалким криком погибающих оглашается пораженный воздух.

В летописных страницах изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов; как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды; как слаб был коронный гетьман Николай Потоцкий * с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы; как, разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска; как облегли его в небольшом местечке Полон-





ном грозные козацкие полки и как, приведенный в крайность, польский гетьман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ. Но не такие были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкий не красовался бы больше на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных панн и зависть дворянства, не шумел бы на сеймах, задавая роскошные пиры сенаторам, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Когда вышли навстречу все попы в светлых золотых ризах, неся иконы и кресты, и впереди сам архиерей * с крестом в руке и в пастырской митре *, преклонили козаки все свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже самого короля, но против своей церкви христианской не посмели и уважили свое духовенство. Согласился гетьман вместе с полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него клятвенную присягу оставить на свободе все христианские церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воинству. Один только полковник не согласился на такой мир. Тот один был Тарас. Вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул:

— Эй, гетьман и полковники! не сделайте такого бабьего дела! не верьте ляхам: продадут псяюхи!

Когда же полковой писарь подал условие и гетьман приложил свою властную руку, он снял с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил ее надвое, как трость, и кинул врознь, далеко в разные стороны оба конца, сказав:

— Прощайте же! Как двум концам сего палаша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете. Помяните же прощальное мое слово (при сем слове голос его вырос, подымался выше, принял неведомую силу, — и смутились все от пророческих слов): перед смертным часом своим вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствие и мир; думаете, пановать станете? Будете пановать другим панованьем: сдерут с твоей головы, гетьман, кожу, набьют ее гречаною половою *, и долго будут видеть ее по всем ярмаркам! Не удержите и вы, паны, голов своих! Пропадете в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если вас, как баранов, не сварят всех живыми в котлах!

— А вы, хлопцы! — продолжал он, оборотившись к своим, — кто из вас хочет умирать своею смертью — не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у шинка, подобно всякой падали, а честной, козацкой смертью — всем на одной постеле, как жених с невестою? Или, может быть, хотите воротиться домой, да оборотиться в недоверков, да возить на своих спинах польских ксендзов?

— За тобою, пане полковнику! За тобою! — вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку; и к ним перебежало немало других.

— А коли за мною, так за мною же! — сказал Тарас, надвинул глубже на голову себе шапку, грозно взглянул на всех остававшихся, оправился на коне своем и крикнул своим: — Не попрекнет же никто нас обидной речью! А ну, гайда, хлопцы, в гости к католикам!

И вслед за тем ударил он по коню, и потянулся за ним табор из ста телег, и с ними много было козацких конников и пехоты, и, оборотясь, грозил взором всем остававшимся, и гневен был взор его. Никто не посмел остановить их. В виду всего воинства уходил полк, и долго еще оборачивался Тарас и все грозил.

Смутны стояли гетьман и полковники, задумалися все и молчали долго, как будто теснимые каким-то тяжелым предвестием. Недаром провещал Тарас: так все и сбылось, как он провещал. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневом, вздернута была голова гетьмана на кол вместе со многими из первейших сановников.

А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать местечек, близ сорока костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки; распечатали и поразливали по земле козаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах; изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жалейте!» — повторял только Тарас. Не уважили козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвигнулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жа-

лости долу. Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя. «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» — приговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами от всех преследований; едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали козаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения; неутомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную развалившуюся крепость.

Над самой кручей у Днестра-реки виднелась она своим оборванным валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут-то, с двух сторон, прилеглых к полю, обступил его коронный гетьман Потоцкий. Четыре дни бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и каменьями. Но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях, и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, и заплакал дебелый старый козак. Но не старость была виною: сила одолела силу. Мало не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам. «Попалась ворона! — кричали ляхи. — Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собаке, лучшую честь воздать». И присудили, с гетьманского разрешения, сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло нагое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему

руки и, приподняв его повыше, чтобы отвсюду был виден козак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались козаки: ему с высоты все было видно как на ладони.

— Занимайте, хлопцы, занимайте скорее, — кричал он, — горку, что за лесом: туда не подступят они!

Но ветер не донес его слов.

— Вот, пропадут, пропадут ни за что! — говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса и зычно закричал:

— К берегу! к берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что налево. У берега стоят челны, все забирайте, чтобы не было погони!

На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны козаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переворотил все в глазах его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а уж погоня за плечами. Видят: путается и загибается дорожка и много дает в сторону извивов. «А, товарищи! не куды пошло!» — сказали все, остановились на миг, подняли свои нагайки, свистнули — и татарские их кони, отделившись от земли, распластавшись в воздухе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Двое только не достали до реки, грянулись с вышины об каменья, пропали там навеки с конями, даже не успевши издать крика. А козаки уже плыли с конями в реке и отвязывали челны. Остановились ляхи над пропастью, дивясь неслыханному козацкому делу и думая: прыгать ли им или нет? Один молодой полковник, живая, горячая кровь, родной брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия, не подумал долго и бросился со всех сил с конем за козаками: перевернулся три раза в воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые утесы. В куски изорвали его острые камни, пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты.

Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже козаки были на челнах и гребли веслами;

пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана.

— Прощайте, товарищи! — кричал он им сверху. — Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!..

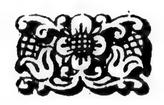
А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву... Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест; блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях. Козаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минали отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана.

Р. И. Иванычук

МАЛЬВЫ

Роман



Юношей-христиан отправляют в янычары.
Гравюры С. Швайгера (1577 г.).

Торжественная процессия при обращении
в мусульманство христианского ребенка.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Разве вы не ходили по земле и не видели, каким был их конец? Были они могущественной силой, но ничего не может ослабить аллаха ни на небе, ни на земле.

Коран, 35-я сура, пророческая

Весной тысяча восемнадцатого года гиджры * вместе с многими галерами, каторгами и паштардами к Кафской пристани причалил небольшой турецкий фрегат *. С него сошел на берег седобородый мужчина в белой чалме и в сером арабском бурнусе. Его лицо пряталось в густой длинной бороде — трудно было определить возраст старца, но был он древний, как мир, и в глубоких темных глазах его таилась мудрость многих поколений.

Старец упал на колени, склонился к земле и прошептал:

— Здравствуй, благодатный край, после долгой разлуки. Кланяется тебе анатолиец, сказитель-меддах Омар, которого ты шестнадцать лет тому назад изгнал из Кафы мечом Шагин-Гирея *. Тогда я, не обиженный, а удивленный, пошел странствовать по всей империи от Карпат до Балкан, от Дуная до Нила, чтобы убедиться, действительно ли другие народы ненавидят нас, турок. А если это верно, то почему? Думал я, что встречу темноту и глупость, а встретился с благородным прозрением ослепленных богатырей; думал я, что увижу озлобленное отношение ко мне, турку, а увидел высокое благородство, уважение к уму, ненависть к цепям. И спросил я тогда себя, кто виновен в том, что мой народ стал носителем

зла и неволи? Нужно ли это ему? Ведь анатолийский райя не стал богаче оттого, что завоевывает чужие страны... Я возвратился к тебе, мой Крымский край. Не мстить — твой гнев был жестоким, но справедливым, — я хочу посмотреть, крепко ли Осман * заковал тебя в кандалы; или, может быть, ты еще дышишь своей буйной непокорностью, по-прежнему топчешь чужие земли, следуя примеру своего соседа и повелителя, или, может быть, тебя осенил свет освободительного духа и дикие страсти твои сменились поисками правды?

Он поднялся. С галер выходили, спеша на ясырь-базар, турецкие купцы, маршевой колонной шли янычары — султанская охрана кафского паши, торопились мубаширы *, чтобы отсчитать пятую часть татарского ясыря для турецкого падишаха, — двигалась на крымскую землю ненасытная османская рать.

Меддах Омар проводил их взглядом.

«О народ османский... Когда уже ты будешь довольствоваться своим добром, заброшенным, нераскопанным? Зачем ты заришься на чужие земли, не вспахав свои, почему не насытишь собственным богатством родных детей, а принуждаешь их, голодных, рыскать не по своим полям и напрасно проливать кровь соседей? Когда уже ты утолишь свою неутолимую жажду? Сегодня у тебя есть власть, и ты своевольничаешь. Кто же защитит тебя от божьей мести, когда она грянет? А она придет. Уже сужается круг веков, и тебе придется вернуться туда, откуда пришел, исполнив свое призвание на земле. Вернешься, осуждаемый всеми.

О, страшное у тебя призвание! Тебя обманули тщеславные и властолюбивые вожди твои, и ты, лицемерно взяв божье учение за оружие, залил слезами, кровью и ненавистью к себе полмира. А что ты получил за это? Сидишь, точно безумный скупец, среди сокровищ, награбленных в чужих амбарах; хлеб, отнятый у голодных, не лезет тебе в рот; сидишь в лохмотьях и нужде, не ведая, что делать с награбленным добром. Народы превратил в нищих, а сам обогатиться не можешь и лишь порождаешь лютую ненависть к себе.

Купцы, янычары, мубаширы скрылись за воротами Кафы, а меддах Омар, высокий и величественный, направился в Карантинную слободу, где останавливались паломники, возвращавшиеся из Мекки.

...В этот год слишком рано началось лето в Крыму. Шелковица осыпалась, не успев созреть, виноград не

завязался, опали пожелтевшие персики величиной с лесной орех, ветры не гнали по небу ни единого облачка. Созрел ячмень, едва покрывший собой серую каменистую почву, и развеялось половой выбросившее метелку просо.

А в июне на Кафские степи налетела саранча. Крестьяне вышли с кетменями копать рвы, появилась процессия дервишей в суконных серых одеждах, неся в круглых баклагах святую мекканскую воду, и стояли беспомощные, глядя, как вокруг гибнет все живое.

Среди толпы женщин, которые в отчаянии уже не думали о том, что в тревоге открыли свои лица, стоял седобородый мужчина в белой чалме и сером бурнусе. В его глазах отражалась тяжелая скорбь.

— Кара аллаха за грехи наши... Вот так чернеет и стонет земля, когда правоверные войска идут в чужие страны, — вслух подумал он, и люди повернули к нему головы, а стоявшие в стороне дервиши подошли ближе. — Такой же шум стоит тогда над землей, и так же раздается плач женщин и детей.

Один из дервишей нервно взмахнул головой, закачалась серебряная серьга в его ухе. Он подошел к меддаху Омару, заросший и босой, смиренные глаза наполнились гневом:

— В своем ли ты уме, старче, что накликаешь на нас кару христианского бога за джихад? * Кто ты такой? Да, видно, мусульманин. Но как ты мог забыть слова пророка: «В рай попадет тот, кто погибнет на поле брани с гяурами»?

— Но ведь сказано тоже в седьмой суре корана, отче, — спокойно ответил меддах Омар, — в пророческой суре: «Сколько селений мы зря погубили!»

— Если ты знаешь коран, пусть осенит нас свет единственно правдивого учения, — смиренно посмотрел дервиш на старика, — вспомни тогда слова пророка: «Мы будем держать свои знамена над всеми странами до тех пор, пока они не поймут, что это явь».

— Но вторая сура, благочестивый, сура мединская, гласит: «Горе тем, которые пишут послания своими руками, а потом говорят: так сказал аллах», потому что знамена, о которых ты говоришь, несут наши воины и в Азов, и в Багдад. И там, и там чернеет земля от наших ратников, точно Кафская степь от саранчи. Скажи же мне, какая война священна? Против христиан или против единоверных мусульман?

Задрожал посох в руке дервиша, а женщины с тревогой и надеждой смотрели в умные глаза седобородого аксакала — что скажет он еще, может быть, это пришел к ним вестник горя или радости?

Омар посмотрел на опечаленных матерей, сестер и дочерей воинов, которые отдали или отдают жизнь за Высокий Порог * на Евфрате и на Дону, — страдание сковало его губы, молчал старик; окинул взглядом проповедников священных войн — ярость обуяла его, и рассказал он дервишам пророческий сон:

— Когда султан Амурат находился у стен Багдада, ему приснился дивный сон. Будто бы к лозе подошел нож, чтобы срезать ее. А эта лоза отослала его к другой. И еще узрел падишах во сне коршунов, которые ели падаль и погибали, обожравшись нечистью. Позвал Амурат мудреца и спросил его, что означает сей сон.

«Это предсказание на нынешний день, — ответил мудрец, — Лоза, которая отсылала нож к своей подруге, — это мы сами, ради своей корысти не щадящие брата. А коршуны — это опять-таки мы, это мы пожираем чужое добро, нас тошнит от человеческих страданий, и творим и творить будем то же самое до тех пор, пока не околеем от своей ненасытной жадности».

Дервиши закричали:

— Ты шиит *, шелудивый перс! И мудрец тот тоже был персом-шиитом, пускай почернеет его голова, которую, наверное, отсек великий падишах!

Закричали остальные дервиши:

— Кто ты? Отвести его к кафскому падишаху!

Ни один мускул не дрогнул на лице аксакала.

— Я Омар-челеби, анатолиец. И этот ответ султану дал я.

Крики утихли, и шепот пронесся по толпе, имя Омара с трепетом на устах произносили пораженные монахи. О, его, этого путешественника, меддаха и хафиза *, на которого еще не поднялась рука ни одного властелина, знали в Стамбуле и Брусе, в Бахчисарае и Кафе.

— Молитесь, люди, — произнес меддах. — Голод бродит над степью. Молите бога, чтобы не сбылись слова пророка о семи тощих коровах, что пожирают семь тучных, о семи сухих колосьях, что пожирают семь наливных. Просите милости у всевышнего...

Он поднял руки, прошептал молитву и отправился в безвестность.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зажурилась Україна, що ніде
прожити,
Витоптала орда кіньми
маленькії діти.
Малих потоптала, старих
порубала,
А молодих, середульших,
у полон забрала.

Украинская народная песня

В это адски знойное лето хозяин-татарин отпустил Марию на волю. Два года тому назад он купил ее с больным семилетним ребенком на ясырь-базаре и привел в свою тесную и темную саклю.

Посреди татарской сакли стоял ковровый станок, за ним на миндере * стонала больная жена. Она не поднялась, только сокрушенно посмотрела на невольницу, потом ее стеклянные глаза надолго впились в татарина и тотчас погасли, стали безразличными.

— Якши гяурка, — сказала она. — Будет твоей.

Смущенный хозяин развел руками, показал на станок с натянутой на раме основой, и Мария поняла, что убогий владелец и купил себе ее — рабыню, очевидно, только для того, чтобы она ткала ковры, зарабатывая ему на жизнь.

Мария научилась ткать быстро. Сквозь натянутые нити смотрела, как подрастает ее дочь, тянется руками к яркому волокну, вплетает его в основу, становится помощницей. Прислушивалась к тому, как дочь училась разговаривать по-татарски, и сама разговаривала с нею на чужом языке, чтобы искоса не смотрели на них хозяева да чтобы ребенка не обижали, когда выйдет погулять на улицу. Ткала с утра до вечера и все напевала песню, да все одну и ту же:

Ой, що ж бо то та за чорний ворон,
Що над морем крякає,
Ой, що ж то та й за бурлака,
Що всіх бурлак скликає...

И странно было слышать, что дочь часто подтягивает матери на чужом языке.

Татарин продавал ковры, которые ткала Мария, и кормил больную жену, не обижая и рабынь.

Спустя год хозяйка умерла от чахотки. Мария знала, что теперь предложит ей хозяин. О чем только она не передумала, какие сомнения не терзали ее днем и во сне — где-то глубоко в сердце еще теплилась надежда вернуться на Украину.

А татарин и правда вскоре сказал:

— Мариам, будь моей женой.

Она заплакала. Просила пожалеть ее — не может она изменить своей вере, не может забыть своего мужа, знаменитого полковника Самойла.

Татарин не настаивал. Когда прошел рамазан и мусульмане резали баранов на байрам, привел на праздничный обед женщину в белом фередже * — злоглазую турчанку. Догадалась Мария, что это ее новая хозяйка, и занемела от страха: теперь продаст ее хозяин. И тогда раскаяние, позорное и трусливое, охватило ее душу: почему она не согласилась стать женой татарина, а теперь их разлучат с дочерью!

Новая хозяйка сразу дала понять, какие порядки она заведет в доме: вытащила из котелка баранью кость и швырнула ее в угол — подавитесь ею. Не нравилось это хозяину, но он молчал, а спустя некоторое время сказал Марии:

— Не продам я тебя, Мариам, пусть лютует. Ты добрая.

Еще вчера хозяйка толкала ее в спину и угрожала продать дочь, ведь от нее нет никакой пользы, еще вчера Мария падала на колени, обещая ночами сидеть за станком, лишь бы только не разлучали их... А сегодня утром, когда турчанка пошла на базар, татарин вошел в дом, жалостливо посмотрел на дочь Марии — у него не было своих детей — и чуть слышно сказал:

— Уходите, вы свободны...

Это слово «свободны» было неожиданным для Марии, оно ошеломило ее. Поклонилась хозяину в ноги, поблагодарила, наскоро собрала свои жалкие пожитки, схватила девочку за руку и выбежала на улицу. Помчалась по извилистым уличкам, замирая от страха, боясь, что вернувшаяся с рынка турчанка догонит ее, бежала, прячась за каменными стенами, закрывавшими окна домов, спешила к северным кафским воротам, чтобы вырваться из тесного города на волю. Ей казалось, что пройдет всего одна минута — и ворота закроются. Вот вышел из-под зеленого платана постовой, она крикнула ему:

— Я отпущенная!

Высокий янычар в шапке с длинным шлыком, спадавшим по спине до самого пояса, лениво потянулся рукой к ятагану и снова вошел в тень: иди, мол, бедняга, кто тебя держит. Зеленого цвета янычарский кафтан слился с листьями плюща. Постовой спокойно закурил трубку. От такого равнодушного отношения — ведь только одно слово «янычар» наводило страх на невольников — у Марии сжалось сердце: неужели это не последняя стена, ограждающая Кафу? Вышла на хребет Тепе-оба, что длинной насыпью отделял остальные горы от равнины, нет, дальше — простор и ни единой живой души в степи. Перевела дыхание и произнесла вслух:

— Я свободна! И Мальва моя тоже. О господи...

И только сейчас заметила, что ее больше не удивляет странное имя дочери. Так нарекла она свою дочь давно, еще в начале неволи. Ребенок был больной и бледный, казалось, не выдержит тяжелой дороги из Карасубазара до Кафы. Несла дитя на руках и подставляла спину нагайкам, заслоняя свою крошку. А под ногами то тут, то там встречались, видно занесенные ветром на чужбину, мальвы, те самые, что красовались вместе с подсолнухами, такие же высокие, возле белостенных украинских хат. Там красовались. А тут терялись среди колючего курая, низкие, хилые, но все-таки живые. И Марии казалось тогда: если она назовет свою дочь Мальвой, то она тоже выживет, как эти цветы на чужой земле.

Подумала и о том, что ее не удивляет больше ни длиннополый бешмет, ни турецкая шаль, которой уже привыкла закрывать свое лицо, ни даже то, что Мальва спрашивает у нее о том и о сем по-татарски.

Город остался позади. Его опоясывали вокруг зубчатые стены, массивные башни поднимались и давили, сжимали громады домов, мечети, армянские церкви и караимские кенасы. Город шумел и гудел, стонал. Внизу кишела смрадная яма невольничьего рынка, кричали, расхваливали живой товар татары и греки: на галеры, стоявшие в порту, отправляли партии отобранных, пригоняли новых; грохотали мажары, подскакивая на ухабах каменной мостовой, ревели, захлебываясь, ослы; выкрикивали азан муэдзины, призывая правоверных к обеденной молитве.

И еще на одно обратила внимание Мария: все это было для нее давно привычным, словно никогда и не было другой жизни. А минутная радость ощущения свободы вдруг стала угасать, и в сознание постепенно заползало

тупое чувство безысходности... Серый хребет Тепе-оба и дуга высокой городской стены тесно окружили ее, будто обвили петлями — стеблями крепкого крымского плюща, и никуда отсюда не уйдешь, и будешь жить в этом мире вечно...

А что было?

Шли хазары, половцы, печенеги, кто только не шел? Падали травы и люди, на превратившейся в месиво под копытами коней земле умирал растоптанный дягиль. Сокрушалась Украина, ведь шли ляхи на три шляхи, а татары на четыре, и плакало небо над молочной степью и над людьми, которые падали ниже травы. Черным, Кучманским, Покутским и Муравским шляхами * с гиком пролетели татары — кто теперь остановит их? Подкову замучили ляхи *, Сагайдачный умер от турецких ран *, Остряницу убили свои же на поселении в Чугуевом городище, внук Байды Ярема украсил дороги трупами своих братьев *, и наступило на Украине позорное время равнодушия. Скрылись за холмами низенькие хаты, стекались в Крым обозы с ясырем, стали янычарами юноши, и родили турченят степные девушки.

Ой, що ж бо то та за чорний ворон,
Що над морем крякає... —

затянула Мария. Певучая Мальва стала подпевать матери, но тут же оборвала пение и спросила:

— Что это за песня, мама?

Больно поразило Марию чистое татарское произношение дочери, ей хотелось сказать, что они уже на свободе и никто теперь не имеет права запретить им разговаривать на своем родном языке. Но рыжий хребет Тепе-оба будто заслонил свет Марии и придавил к колючей земле, чтобы не двигалась и видела перед собой только невольничий рынок и галеры.

Это то, что есть... А что же было?

Был казак Самойло. Прятала губы от поцелуя, хотя знала, что поцелует, убегала от Самойла через мостки, хотя знала, что не убежит, сопротивлялась казаку в пьянящей полыни, хотя знала, что не защитится, и родила ему двоих сыновей-соколов...

Ой сыны, сыночки!.. Чьи руки расчесывают ваши кудри, какая мать укрывает вас в постели? Где вы теперь, казацкие дети? Ходите ли вы еще по белу свету или ваши глаза выклевали ястребы в Ногайской степи, а голо-

вушки моют дожди, густой терн расчесывает волосы, буйный ветер высушивает их?

Были не похожи друг на друга, словно и не близнецы. Один в Самойла: черноволосый и темноглазый, другой был белокурый, точно подсолнух, с голубыми глазами, как у Мальвы, да нынче не помнит и лица его — пропал белокурый, когда ему еще и года не было. Положила его спеленатого в саду под яблоней, сама в огороде возилась — и не нашла. Мимо села тогда проходили цыгане. Погнались люди за ними, обыскали их шатры, но не нашли ее сына. А отец, как всегда, в походе...

Потом ушел сотник Самойло с гетманом Трясило на Крым, и тогда второй — ему уже было четырнадцать лет — пропал в степи. Этого татары в плен взяли. Дорого заплатил отец за разрушенный Перекоп. Погрустили-погрустили, а потом и дочь родилась. Назвали ее Соломией.

Но не успел Самойло — казачий полковник — нарадоваться дочерью. Пошел Тарас Трясило на Дон *, четвертовали Сулиму в Варшаве *, ляхи казнили Павлюка *, разбили казаков Остряницы, Гуню. А зимой 1638 года собрали победители казацких старшин под Масловым Ставом возле Канева и приказали сложить под ноги клейноды своей славы — бунчуки и знамена. «Все бывшие права и старшинства и другие казацкие привилегии из-за бунтов утрачены ныне, — клинками падали на оголенные казацкие головы слова польского гетмана Потоцкого, — и отнимаются на вечные времена, ибо Речь Посполитая желает превратить казаков в своих хлопов».

Победитель диктует законы!

Вернулся полковник Самойло из Maслового Става обесчещенный, без бунчука.

— Стыдно нам жить теперь на этой земле, — сказал он, запряг волов и быков и отправился следом за Остряницей в чужую сторону — Слободу.

Скрипели возы, разносилась над Украиной прощальная песня, тонула в холодном тумане, тянулся обоз из семисот семей казачьих изгоев в Белгород присягать на верность соседу, чтобы приютил в своих хоромах.

Замкнулся в себе, отупел Самойло. Сидел изо дня в день на пасеке, и не знала Мария, о чем думает бывший полковник, да и думает ли? Он так и не двинулся с места, только ссунулся с колоды на землю и сидел с рассеченной татарским ятаганом головой, и не рыдала тогда

Мария, не могла. Горела только что построенная хата, а ее с Соломией повели на привязи в Перекоп.

Ей посчастливилось — по пути заболела дочь лихорадкой, и поэтому их не разлучили, а на рынке в Кафе продали за бесценок бедному безалтынному татарину.

...Воля. Проходили минуты, и это слово как бы становилось меньше, теряло свой смысл, его величие, пугало неизвестностью: а что будет дальше? Куда деваться? У хозяина они имели кусок хлеба, а кто сейчас прокормит бездомную гяурку? Страшное слово — гяур, — которое лишает работы, доверия, какого-либо права, которое ежедневно проклинают хатибы * в мечетях.

Но нет, есть еще надежда. Мария хорошо помнит дорогу до Перекопа. Ведь она свободна и может вернуться на Украину. Еду как-нибудь раздобудет по дороге. Выпросит у чабанов, утащит... Бог поможет...

Взяла Мальву за руку и вывела ее на тропинку, которая тянулась мимо стен в степь. Увидела, как из ворот вышел человек в серой рясе, босой, в плоскодонной войлочной шляпе на патлатой голове.

— Остановись, женщина, — сказал он тихо и властно.

Мария ужаснулась. Она догадалась, что это за человек с четками в руках и с серебряной серьгой в ухе. Испугалась не дервиша, а мысли, которая когда-то в очень тяжелые минуты жизни сверлила мозг и не давала спать по ночам, настойчиво принуждая покориться. Шагнула в сторону, закрывая подолом Мальву, но дервиш замахал руками и закричал:

— Я-агу!

Это непонятное слово было похоже на зловещее заклинание, и Мария остановилась.

— Я вижу твое горе, женщина, и молюсь, чтобы аллах — пусть будет благословенно имя его — ниспослал тебе добрую судьбу, — сказал дервиш.

— Мне твой аллах не пошлет доброй судьбы, — тихо ответила Мария.

— Если бог закроет одну дверь, то откроет тысячу, только надо приходить к нему с верой и покорностью. Я дервиш, женщина, мюрид * ордена самого умного шейха из шейхов — Хаджи Бекташи *. Пергамент, на котором описана наша родословная — шередже, — самый длинный среди шередже других орденов, но он короче, чем дорога к невольничьему рынку. Пойдем по нему, женщина. Покорись словам Мурах-бабы.

— Сегодня я стала свободной! — резко ответила Ма-

рия. — И не хочу снова идти в неволю — твою, твоего шейха и твоего бога.

— Нет, дочь, свободных людей на этой земле, — дервиш, прищурившись, глядел на Марию, перебирая четки в руках. — Ты была рабыней у хозяина и тяжело работала, но никто не упрекал тебя за то, что ты христианка, потому что невольники все христиане, нет рабов-мусульман. А теперь, когда ты стала свободной, твоя вера станет для тебя новым рабством. Тебе, освобожденной от принудительного труда, никто не даст заработка. Ты будешь слоняться по базарам, выпрашивать хлеб для своего ребенка, а на тебя будут плевать правоверные, и это рабство станет во сто крат тяжелее. Но ты можешь принять мусульманство, наречься рабой аллаха — и тогда...

— Нет! — воскликнула Мария. — Нет, только не это рабство!

— Это самое легкое рабство. Оно окупится. За него дают хлеб.

— Купить своей совестью?

— Совесть — тоже рабство. Нет свободных людей, женщина, — покачал головой дервиш и сказал тихо, почти шепотом: — Пусть в душе ты не смиришься с новой верой, кто же будет знать об этом или поносить тебя за это? Если бы ты родилась среди тигров, разве знала бы о том, что на свете живут и олени? Подумай о дочери, у нее жизнь только начинается. А о том, что сможешь вернуться на свою родину, забудь. Ор-капу * закрыт на семнадцать замков. От Борисфена до Гнилого моря * возвышаются одна возле другой семнадцать башен, ни один человек не пройдет через перешеек без грамоты хана.

— А с грамотой? — поторопилась спросить Мария.

— Ее может получить только мусульманин.

Дервиш повернулся к Марии спиной. Зашептал слова молитвы, медленно направился в противоположную сторону, а она стояла, побледневшая, без надежды, опустив руки и не замечая, как синеглазая Мальва беззаботно бегает вдоль хребта, срывает желтые цветы, прижатые головками к сухой земле.

— Нет, нет! — воскликнула она. — За это накажет бог. За отступничество никого не минует кара... Но как еще тяжелее может наказать меня мой бог? Я нынче второй раз утратила волю — что еще более страшное может придумать он для меня? Муки совести?.. А тебя, о господи, не будет мучить совесть, когда погибнет мое

дитя? Одно-единственное окошко осталось для меня, через которое я еще могу вырваться на волю, — грамота. А если не открою его, то когда-нибудь постигнет меня самая жестокая кара — проклятие родной дочери.

Душу терзали сомнения, в голове роились смутные мысли о прошлом.

А может, не надо вспоминать о том, что было? Стоит ли вспоминать о том, как сокрушалась Украина, что горько ей жить? Украина... А разве я сама не Украина — униженная, поруганная, обездоленная, как моя земля? Вот передо мной рыжий хребет Тепе-оба, позади — кафский рынок, и ничего и никого больше нет у меня, кроме Мальвы. Вот они, желтые, квелые цветы, забыли свою землю и живут. А если бы они пышно разрослись, так же, как у нас на Украине, их тут же сожрали бы верблюды и ослы. Но они смирились со своей участью... Что мне теперь думать об Украине, когда ее уже нет на свете. Ее втоптали в болото на Масловом Ставу свои же вожаки-полковники, и с тех пор я уже не почитаемая всеми людьми жена полковника Самойла, а нищая... Нет Украины... Так почему же я должна убивать юную жизнь дитяти лишь ради памяти о своей земле? Нет Украины — есть Ляхистан с костелами, а чем они лучше мечетей? Но все-таки я хочу вернуться туда, поэтому, боже, прости мне мое отступничество. Если мы вернемся, я искуплю свою провинность: молитвой, кровью, жизнью.

Мария опустилась на землю и стала бить последние христианские поклоны. А беззаботная Мальва приминала худыми ножками высохший тамариск, срывала желтые цветы и с любопытством всматривалась в степную даль: перед ней открывался еще неизвестный мир, тот, что был до сих пор почему-то закрыт решеткой из нитей на кроснах. Из детской памяти исчезли, не оставив и следа, саманная сакля с темным подвалом и брань хозяйки — мир засиял перед ней красным кизилом, завязью шиповника, желтоголовым держидеревом и обилием жаркого солнца. Волшебный! Шумный город, гладь тихого моря, красочные галеры, величественные башни, стройные минареты.

Мария решительно взяла Мальву за руку и потянула за собой, туда, где шумел невольничий рынок, где, надрываясь, муэдзин призывал своего бога восстановить на земле справедливость. Она последовала за дервишем.

Мурах-баба ждал. Он видел, как женщина отбивала поклоны, и знал, что она придет к нему. Она была нуж-

на ему: и как монастырская кухарка и наложница, и как душа, обращенная им на путь истинной веры. А дочь станет красавицей, и он получит за нее большой бакшиш от любого мурзы.

Дервиш сказал:

— Тропинка, по которой мы идем, ведет к нашему монастырю. Став на эту стезю, ты приближаешься к богу.

На окраине города, в долине, показался среди квадратных глинобитных саклей покрашенный в зеленый цвет фасад дома, от которого по обе стороны тянулись высокие кирпичные стены, ограждавшие просторное подворье.

Мурах-баба расправил спину, поманил рукой Марию, и она, как завороженная коброй зайчиха, направилась с Мальвой вслед за ним в ворота.

Дервиш приказал им снять обувь и обмыть в бассейне руки, лицо и ноги. Потом он снова поманил рукой и пошел впереди, ведя их в сумрачное здание мечети. Указал на ступеньки, ведущие вверх, а сам зашел внутрь. Мария стала подниматься по ступенькам на зарешеченную галерею и, затаив дыхание, стала смотреть на то, что происходит внизу, судорожно сжимая руку Мальвы.

Один за другим в мечеть вошли дервиши с опущенными головами и стали в круг. Последним вошел шейх в зеленой чалме. Он уселся посредине на бараньей шкуре, и все остальные последовали его примеру. Минуту стояла мертвая тишина. Вдруг вбежали два послушника, таща за собой длинные, словно цепи, четки с зернами величиной с грецкий орех. Каждый из монахов взял по зерну в руки, и тогда шейх затянул:

— Вы увидите бога-творца в последний день суда лицом к лицу, так, как видите теперь подобных вам. Все, кто поклонится идолам вместо истинного бога, будут сожжены на вечном огне.

Четки пошли по рукам монахов. Сосед передавал соседу, а при прикосновении к бусинке громко восклицал: «Аллах!»

Мария видела, как вздрогнула Мальва, услышав первый крик, и удивленно подняла глаза на мать, потом устремила свой взор в зал и уже не могла отвести его от дервишей. Слово «аллах» повторялось столько раз, сколько было зерен на длинной нити, оно настойчиво проникало в уши, дурманило, и казалось, ничего больше нет на свете, кроме этого слова. А когда мусульманский бог был уже прославлен девяносто девять раз, дервиши

вскочили на ноги и начали свое безумное радение — зыкр, им мало было зерен на четках, они кричали, называя имя аллаха сотни раз, бились в конвульсиях, падали на каменный пол, в экстазе захлебываясь слюной.

Мария с тревогой взглянула на дочь, бросилась к ней, чтобы увести ее прочь из этого содома, и сердце ее дрогнуло: она увидела в сумраке мечети, как горят глаза девочки, как шевелятся ее губы. Сложив молитвенно руки, Мальва повторяла: «Аллах, аллах, аллах...»

Это ошеломило Марию. Она поняла: дочь не испугали вопли дервишей, а заворожили. Ребенок уверовал в того аллаха, которого они прославляли, и, возможно, ничего уже не захочет знать о вере родителей, да и вообще не поверит, что есть на свете бог, кроме аллаха. Когда шла сюда, знала, что это может случиться, а сейчас испугалась. Схватила за руку дочь и побежала по ступенькам вниз. Но у выхода галереи ее остановил Мурах-баба.

— Ты куда? — прохрипел он, схватив за руки Марию и Мальву, и поднял их вверх. — Повторяйте обе за мной... Во имя бога милосердного, милостивого. Слава аллаху, владыке мира...

Рука Марии безвольно опустилась, а дочь... дочь набожно держала поднятые вверх два пальца и шепотом повторяла за монахом:

— Слава аллаху... царю дня судного... Воистину мы поклоняемся тебе... веди нас по прямому пути...

Мурах-баба сорвал с шеи Марии крестик и властно повелел:

— Топчи ногами!

Мария, всхлипнув, отпрянула. Дервиш бросил крестик под ноги девочки, и та начала топтать его.

— Теперь идите, — сказал Мурах-баба. — Если же ты не придешь сюда на утреннее и вечернее богослужение, наречем тебя безумной и свой век ты скоротаешь в тимархане *. Ибо безумен тот, кто не верит в единственную правду на земле.

Словно из угара вырвалась Мария из мечети и уже на безлюдной улице, оглянувшись, вздохнула:

— Прости меня, мой боже... Мы не топтали твой крест, это нам снилось. Прости...

И окаменела — Мальва, подняв руки к небу, молилась:

— Воистину мы поклоняемся тебе... веди нас по прямому пути...

Шепот ребенка, набожный, страстный, так естествен-

но сливался с шумом города, выкриками муэдзина на минарете мечети Муфтиджами, с клекотом рынка, куда прибывали все новые и новые невольники умирать за веру, страдать за нее, осквернять ее и давать врагу рыцарей здоровой крови.

Так естественно...

У Марии вспыхнула мысль — бежать! Прочь отсюда, за пределы Кафы, тут страшно, тут неволя для тела и духа, этот город проникает в души людей, поглощает их, еще день, еще час, минута — и уже не в силах будешь вырваться отсюда до конца своих дней.

День клонился к закату, багровое, закопченное сухой пылью солнце опускалось за хребет Тепе-оба. Мария спешила к северным воротам, шаль сползла на плечо, ее глаза испуганно бегали под черными бровями, растрепались преждевременно поседевшие волосы:

— Куда ты так быстро тянешь меня, мама? — спотыкаясь, бежала за матерью Мальва. — Я хочу есть, хочу домой. — Слезы стекали по запыленным смуглым щекам, оставляя грязные следы.

Мария вспомнила о дукате, который дал ей на дорогу татарин. На него можно будет кое-что купить в магазине за стенами Кафы, где живут евреи и караимы. Только ведь уже вечереет.

— Пойдем, доченька, быстро, сейчас купим что-нибудь поесть.

Они уже приближались к воротам, как вдруг из переулка выбежала стайка загорелых мальчишек. С криком, хохотом они окружили их и стали забрасывать комьями земли, камнями.

— Джавры, джавры, джавры! * — визжали они.

Бросилась Мария, чтобы вырваться из окружения обидчиков, прикрыла Мальву грудью своей, но мальчишки стали дергать ее за кафтан, за волосы, не унимаясь кричали «джавры!».

Испуганная Мальва плакала, прижимаясь к матери. Мария оторвала от своих волос цепкую руку маленького наглеца, наотмашь ударила по бритой голове одного, другого. Они оторопели на миг, а потом подняли еще больший крик, из калиток стали высовываться закрытые яшмаками * головы татарок, те тоже стали угрожающе размахивать руками и кричать и успокоились только тогда, когда Мария с Мальвой скрылись в глухом переулке.

Лучше, чем за два года неволи, Мария поняла, что такое «гяур». Надо было закрыть лицо, чтобы хоть так замаскироваться, но разве это спасет? Первый азан, и не стань на колени посреди улицы — снова презрение; первое слово ребенка, произнесенное не по-татарски, — снова камни и глумление. Что делать?

Тревожные мысли прерывали такие знакомые, давно не слышанные звуки: на колокольне армянской церкви тихо, вкрадчиво зазвучал колокол. Она остановилась слушая. Повеяло далеким и нежным, как детство, воспоминанием: вечерний звон на Украине, степь покрывается росой, мягче становится ковыль, и подсолнечники опускают головы — словно для молитвы...

Мальва все еще не могла прийти в себя, всхлипывала и, оглядываясь назад, лепетала сквозь слезы:

— Почему мы джавры, мама? Я не хочу, не хочу...

Мария не слышала лепета дочери, медленно шла на звуки прерывистого колокольного звона, с завистью, удивлением и боязнью глядя на людей, которые не боялись идти на его призыв.

Сколько их живет в Кафе? Есть ли у них дети? Что едят? Как живут среди вечного унижения и оскорблений, которые она только что испытала на себе? На что надеются эти люди, во имя чего они жертвуют собой, ведь день их спасения никогда не наступит. Ведь они никогда не выйдут за ворота Ор-капу, потому что христиане. А все-таки идут на призыв совести, за совестью, чтобы умереть такими, какие есть.

И Мария идет. Идет, как старуха, вспоминает о своих девичьих годах. Но к ним никогда не дойдет.

— Я не хочу быть джавром, мама...

— Не плачь, доченька, ты не джавр. Ты... мусульманка.

— Какая мусульманка?

— Узнаешь... Научишься... Ох, научишься, на горе моей седой головушке!

— Ну, какая, скажи, какая мусульманка? А за это не бьют, не забрасывают камнями?

— Нет, дитя мое, за это дают хлеб, чтобы человек жил. Ты будешь расти, а я возьму грех на свою душу, чтобы вывести тебя когда-нибудь из этой страшной земли.

Подошли к самой церкви. Возле паперти стояли поникшие старики. Какая-то женщина приветливо улыб-

нулась Марии. Был один миг, когда Мария хотела ринуться к входу и пластом упасть на цементный пол церкви. Но только один миг. Не ответив на приветливую улыбку женщины, смущенно отвернулась от нее. И вспомнила малоставских реестровых казаков с переяславским полковником Илляшем Караимовичем, которые приняли шляхетские бунчуки вопреки совести и вере лишь для того, чтобы сохранить жизнь. Самойло называл их предателями-янычарами. Может быть, они и дождутся лучших времен? А чего добился полковник Самойло своей гордыней, какая судьба постигла его за то, что не склонил головы перед польскими бунчуками? Сам погиб, а семья — в неволе.

— Гляди, Мальва, — сказала Мария, подняв голову. — Гляди и запоминай: это божья церковь. В такой, как эта, тебя крестили. Когда-нибудь, когда вырастешь, ты должна вспомнить о ней. А нынче мы мусульмане и будем разговаривать с тобой по-басурмански.

Мальва, утомленная и голодная, спала, склонив головку на плечо матери.

— Теперь пойдем к Мурах-бабе на вечернее богослужение, доченька. Пойдем служить иному богу, если наш забыл о нас.

Шла Мария, смиренная, покорная, с надломленной совестью. Закрыла лицо шалью и не обращала внимания на людей, которые выходили на улицу и о чем-то громко разговаривали, на янычар, собравшихся на площади у мечети с криками:

— Слава султану султанов Ибрагиму!

Марию ничего на свете не трогало. С сонной Мальвой поднялась она на хоры монастыря и только теперь поняла, что, очевидно, у мусульман произошло какое-то важное событие. Дервиши вели богослужение так, как и тогда, только после каждого выкрика «аллах» срывались с мест и вопили: «Свет очей наших султан Ибрагим», — а после богослужения ударили в барабаны, заиграли на флейтах.

«Избрали себе нового идола и радуются», — подумала и спустилась вниз, равнодушная, уставшая, измученная.

Во дворе стоял Мурах-баба. В его глазах светилось удовлетворение.

— Добрый вечер! — поздоровался он и повел Марию за собой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Этот мир — огород, один растет, другой дозревает, а третий погибает.

Восточная поговорка

Год тому назад Османская империя снова встревожила мир. В этот раз страх охватил не только христианские, но и мусульманские государства. Имя тридцатилетнего султана Амурата IV прозвучало с такой силой, как когда-то имена его великих предшественников.

Магомет Завоеватель покорил Константинополь.

Сулейман Великолепный подчинил Сербию, Грузию, Алжир.

Амурат IV завоевал Багдад.

Десять лет турецкие войска осаждали жемчужину мира, десять лет уплывали деньги из государственной казны на безнадежную, казалось, войну, и наконец победа, багдадское золото перекочевало в кованые куфры стамбульского семибашенного замка Эдикуле.

Фанатический враг любителей табака и поклонник Бахуса, деспот, уничтоживший тысячи непокорных янычар, и в то же время властелин, к которому на улице подходили нищие, Амурат IV, потеряв терпение стратега, переоделся в мундир рядового воина и сам полез на стену Багдада. Разочарованные неудачами спахи * и янычары ринулись за своим свирепым полководцем — Багдад пал. Победители правили сорокадневную кровавую тризну на берегах Тигра, а на султанской чалме засиял еще один алмаз.

Персидский шах Сефи I согласился на все условия Амурата. В течение целого года прибывали в Золотой Рог галеры с трофеями, султан с войсками вернулся только весной. Более месяца готовился он в Скутари к вступлению в столицу. Стамбул томился в ожидании великого праздника.

Наконец полсотни галер пересекли Босфор под гром артиллерии. На белом персидском коне, в леопардовой шкуре, переброшенной через плечо, в белоснежной чалме в Золотые ворота вступал султан-победитель, за ним — двадцать вельмож в серебряных латах. Амурат ехал по главным улицам Стамбула, устланным коврами; толпился народ, гремела музыка, юные красавицы-цыганки извивались в безумных бешеных плясках, звенели

лютни, цитры, заливались флейты, из сотен минаретов выкрикивали муэдзины хвалу султану, и даже звонили церковные колокола в Пере и Галате.

За Золотым Рогом, на холмах Касим-паши, откуда видно, словно на ладони, весь Стамбул, расставили столы. Амурат велел угощать всех — от великого визиря до простого кафеджи. А сам раз за разом поднимал бычий рог с вином, и каждый тост султана сопровождался орудийными залпами с анатолийского и румелийского берегов.

Возле султана стояли пятибунчужный великий визирь — седобородый Аззем-паша, ага янычар — мрачный Нур Али, шейх-уль-ислам Регель — глава духовенства.

— Я покорил жемчужину мира — Багдад! — громко произнес султан, и над шумящей толпой воцарилась тишина. — Цветущая и хлебородная Месопотамия навеки воссоединилась с единоверной империей Османов. Я поднимаю чашу за то, чтобы все народы стали под зеленое знамя пророка, которое будет держать Высокая Порта, за будущую победу над неверной Русью, ибо клянусь вам, что и Азов, и Астрахань, и Киев будут лежать у моих ног. Пусть поможет мне в этом аллах!

Загремели залпы, заиграла музыка, дервиши-трясуны срывали с себя одежду, кололи тело ножами, жгли раскаленными на кострах железными прутьями. Кричали «слава» спахи, но почему-то молчаливыми были янычары, словно мрачный вид Нур Али не разрешал им радоваться этой победе.

— Великий султан, — подошел янычар-ага к Амурату, — разреши хоть мне, коль забыли обо этом твои уста, прославить сегодня храброе янычарское войско, которое штурмовало стены Багдада и дралось, словно стая диких львов, за твою честь и славу.

Амурат не ждал таких дерзких слов от янычара-аги. С тех пор как он расправился со взбунтовавшимися янычарами в казармах Селямие на Скутари, Нур Али стал заискивать перед ним и самоотверженно дрался в боях, стараясь обратить на себя внимание султана.

Мгновение он грозно смотрел на агу, уже чувствовал, как клокочет в груди безумная ярость, но Нур Али был настолько спокоен, что Амурат смутился.

— Ты прав, Нур Али, — промолвил он, сдерживая раздражение. — За твоих рыцарей надо выпить, и я разрешаю. Однако, как велит закон предков, все предложе-

ния доводит до сведения султана диван *, а не один человек. И поэтому завтра я буду ждать решения дивана о том, нужен ли среди султанских слуг еще и провозглашатель тостов?

— День только что закончился, великий падишах, пусть вечным будет имя твое, — поклонился Нур Али, показывая рукой в сторону залива, где зажигались факелы. — Солнце не скоро осенит Анатолию, а ночь долгая. — Он теперь с ненавистью смотрел в глаза Амурата, и его не тревожило то, что насторожились султанские сановники и ближе к султану подошли оруженосцы. Возле него стоял чорбаджи — полковник Алим, черноусый, богатырского сложения славянин, а позади — почетная стража. Янычар-ага выпрямился. — Ночь будет долгой для тебя, султан. А твои наследники, возможно, подумают о том, стоит ли рубить ветку, на которой сидишь, да и следует ли ремесленнику ломать станок, который дает ему средства на жизнь. Багдад, добытый ценой крови, лившейся годами, мог быть взят за месяц, если бы не совершенное тобой в Скутари преступление.

Амурат побледнел. Выхватил из ножен далматскую саблю, к Нур Али бросились султанские оруженосцы, но в этот момент султан, схватившись за живот, упал вниз лицом на землю.

Поднялся крик, забряцали сабли, но оружие не скрестилось. Янычары обезоружили султанскую охрану.

Великий визирь Аззем-паша стоял неподвижно. Глядя на мертвого султана, вполголоса произнес:

— Пришел конец династии Османов. У тебя, султан, нет сыновей, а твой слабоумный брат Ибрагим не способен править империей.

Повелел своей прислуге унести тело султана во дворец — готовить к вечному успокоению, а сам стоял в нерешительности, слушая, как вопит толпа, побежавшая по городу:

— Султан Амурат умер! Султан умер!

Но тут же тревожные возгласы заглушились иным призывом, который все нарастал, увеличивался и наконец явственно долетел до слуха визиря:

— Ибрагима! Ибрагима!

Встретились, словно на поединке, умные глаза Аззем-паши со злорадными, коварными глазами Нур Али.

— Рано тешишь себя, эфенди, — блеснул янычар-ага белыми зубами. — Слышишь, кого провозглашают яны-

чары? Или, может быть, и ты посмеешь выступить против них?

Теперь Аззем-паша понял: янычары отравили султана, чтобы посадить на престол недалекого Ибрагима, которого Амурат упрятал на вечное заключение в дворцовую тюрьму. Не ярость, а страх перед неминуемым горем руководил им, и, забывая о своем положении, великий визирь закричал:

— Шайтан! Чужеземец, вероотступник! Что дорого тебе на этом свете, кроме собственной выгоды? Будь проклят ты, гад, вскормленный Урханом!.. * О аллах, Ибрагим будет править империей!

Нур Али спокойно выслушал взрыв бессильного гнева великого визиря. Возгласы: «Ибрагима, Ибрагима!» — раздавались уже по обе стороны Золотого Рога, янычарага мог не беспокоиться. Он поклонился визирю и промолвил, не скрывая насмешки победителя:

— Нерушимы устои Порты, эфенди. На янычарах выросла Османская империя, на янычарах держится и, если на то будет воля аллаха, погибнет вместе с ними. А та голова, — добавил он с угрозой, — которая не властна над своим языком, часто красуется на золотом подносе у ворот Баб-и-гамаюн * напротив Айя-Софии.

Он повернулся спиной к великому визирю, велел прислуге подать коня. Вскочив в седло, еще раз поклонился Аззем-паше.

— Сегодня брат покойного Амурата будет на свободе. А тогда, когда султан Ибрагим возвратится из мечети Эюба, опоясанный мечом халифа Османа, я надеюсь встретиться с тобой на совете дивана, где поговорим не об искусстве произносить тосты, а о важных государственных делах.

Аззем-паша ничего не ответил. Он смотрел на то место, где недавно лежал последний храбрый султан из рода Османов. Позади визиря находилась свита, по всему городу выкрикивали: «Ибрагима, Ибрагима!»

Тело Амурата приготовили к погребению в спальне султана, и тогда вошли туда шейх-уль-ислам, анатолийский и румелийский кадиаскеры *, командир спахиев — алайбег, последним вошел вспотевший от быстрой езды Нур Али.

— Пригласите валиде * Кёзем, — сказал шейх-уль-ислам, и в этот момент раздвинулась портьера, в спальню вошла женщина в черном. Кисейная чадра прикрывала ее суровое лицо.

Она приложила руку к груди, печально глядя на мертвого сына. Но материнская скорбь была недолгой. Валиде подняла голову, возвела руки к небу.

— О радость моего сердца Ибрагим, сын султана! — произнесла она торжественно, и радость вспыхнула в глазах янычар-аги. Властная мать султана, которая когда-то сама посоветовала Амурату заключить в тюрьму Ибрагима, теперь благословляла своего юродивого сына на трон.

Нур Али сделал шаг назад, и сановники посмотрели на него. Он молча указал рукой на выход, шейх-уль-ислам колебался только миг и направился первым, а следом за ним потянулись все члены дивана. Молчаливой процессией пересекли все подворье, миновали конюшню султана и остановились перед железной дверью дворцовой темницы. Часовые расступились, кастелян тюрьмы дрожащим голосом сказал:

— Только по разрешению великого визиря могу открыть ворота...

Нур Али огрел его нагайкой, сорвал с пояса кастеляна ключи, и дверь со скрежетом открылась.

Заросший, с воспаленными глазами мужчина в грязном халате робко приблизился к выходу, упал на колени и пролепетал:

— Только... только Амурат есть и будет повелителем правоверных, никто не смеет признавать другого... пощадите, пощадите меня...

Валиде Кёзем решительно вышла вперед и прервала Ибрагима:

— Сын мой, твоя любящая мать благословляет тебя на престол предков.

— Нет, нет! — завопил Ибрагим. — Я не уйду отсюда, не уйду!

— Принесите сюда тело Амурата! — повелела валиде.

И только тогда, когда Ибрагиму разрешили прикоснуться к трупу, он поверил.

— Тиран мертвый, мертвый! — закричал он, жадно хватая ртом воздух, и, потеряв сознание, упал на руки Нур Али.

Старик Хюсам, владелец ювелирной мастерской, которая ютилась на одной из темных улиц на окраине Скутари, долго не мог уснуть в эту страшную ночь. Его тре-

вожили слезы верной жены Нафисы, донимали думы — неутешительные и беспокойные.

Он не знал, что творится на противоположной стороне Босфора, но, очевидно, там — оргии, банкеты, моления дервишей по случаю празднования победы Амурата. Но его это мало интересовало. За долгую жизнь Хюсама восемь султанов сменилось на престоле, он еще помнит Сулеймана Великолепного — Законодателя. Ни один из султанов не дорос до него, ни один не достиг славы великого властелина.

Много лет прожили вместе Хюсам с Нафисой — только вдвоем. У него не было других жен, хотя эта и не родила ему детей. Он любил Нафису. А им, бездетным, всегда давали на воспитание мальчиков, привезенных из чужих стран. Нафиса любила их, приемышей, как любят соседских детей бездетные женщины. Хюсам обучал их турецкому языку и корану, а сам не раз спрашивал себя: зачем это? Разве можно полюбить мачеху сильнее, чем родную мать? И они отдавали мальчиков в корпус янычар без боли в сердце и забывали о них, как забывают о детях соседей.

А одного вырастили, выпестовали — диковатого мальчика из приднепровских степей. Хюсам не хотел отдавать воспитанника, когда начальник янычарской казармы пришел забирать его. Пусть подарят им Алима в награду за то, что они воспитали много хороших воинов. Нафиса рыдала — своей долголетней бескорыстной работой она заслужила у султана право иметь сына. Ведь он единственный из всех называл ее матерью. Смягчилось сердце ода-баши при виде плачущей Нафисы, он велел позвать Алима — пусть сам скажет. Вошел Алим, высокий, сильный, широкие черные брови сомкнулись над орлиным носом; у юноши загорелись глаза, когда он увидел оружие, крепко сжал эфес ятагана, который подал ему ода-баша, и ушел с ним, не обняв на прощание названых родителей, исчез с их глаз навсегда.

Тогда Хюсам сказал: «У человека есть только одна мать или ни одной». Но его слова не успокоили Нафису, она побежала проводить Алима. Потом каждый день ходила к казармам янычар, слонялась там напрасно: Алим не выходил к ней. А вчера, когда янычары с Амуратом переправлялись через Босфор, весь день простояла на берегу, но так и не увидела его. Рыдала, думая, что он погиб.

Растревожили Хюсама слезы Нафисы. Лишь к утру

уснул он в своей мастерской, размещенной в подвале, не ведая о том, что творится по ту сторону Босфора. Нафиса разбудила старика под вечер. Она только что вернулась из города, была встревожена, настойчиво теребила Хюсама за плечо:

— Вставай, вставай, Хюсам! Ты спишь и ничего не знаешь. Этой ночью умер султан Амурат...

— Великий боже! — вскочил Хюсам. — Как, почему умер Амурат?

— Поговаривают, что отравили его янычары. На банкете.

— Проклятие... А кто же, кто... — Старик вдруг схватился за бороду, пальцем поманил к себе жену. — Слушай, я хорошо знаю... О, я знаю, что есть такой закон, принятый еще Магометом Завоевателем, когда он захватил Кафу... Слушай, Нафиса. Ядовитая кровь чужеземки Роксоланы пролилась в эту ночь! В том законе завещал Магомет: «Когда прекратится мой род, крымская династия Гиреев на престол Порты взойдет...»

— Тс-с-с! — Нафиса закрыла Хюсаму рот. — Сегодня я слышала, что какого-то Гирея задушили в Дарданелльской крепости Султании за такие слова... Ты же не знаешь, Ибрагима выпустили из тюрьмы и должны провозгласить его султаном.

Хюсам замахал руками:

— Шайтан плюнул тебе на язык! Так он же слабоумный...

— Опомнись! — воскликнула Нафиса. — Не вздумай на улице сказать это. Сорвется слово с языка, и пойдут тысячи повторять его. А янычары всюду шныряют и хватают тех, кто охаивает Ибрагима.

Хюсам долго не сводил глаз с перепуганной жены, словно ждал: может, она улыбнется и скажет, что пошутила? Но видел, что ей не до шуток.

Сидел теперь на миндере, склонив голову на руки, и думал о Веселой Русинке *, которую когда-то пленили и привезли в Турцию. Действительно ли была она невольницей, а потом изменила своему народу или, может быть, умышленно пришла сюда, чтобы отравить своей кровью османский род? То ли из дикой материнской ревности повелела убить умных сыновей Сулеймана, чтобы престол достался ее сыну Селиму, то ли, возможно, уже знала наперед, что продолжатель османского рода от ее плоти — выродок? Кто об этом знает?..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Два бедняка уместятся на одной подстилке. Двоим же падишахам весь мир тесен.

Восточная поговорка

Идешь ли с ногайской стороны, от Альма-реки, где ранней весной буйно растет густая трава, а летом трескается от жары земля и свистит ветер над унылой степью, спускаешься ли от татов * с голубых лесистых гор на плато, что за рекой Качей, — ни оттуда, ни отсюда не увидишь сердца крымской земли — Бахчисарая, пока не станешь у самого края ущелья. Две головоподобные причудливые скалы — с юга Гала-асты, с севера — Топ-кая, — будто встретившись, остановились над кручей. С высоты одной из них открывается панорама раскинувшегося города, притаившегося, словно сколопендра, между скалами. Бахчисарай простирается от пышного с зеленой крышей ханского дворца и устремляющихся в заоблачную высь минаретов вниз, к гнилой реке Чурук-су. Крохотные, отгороженные каменными стенами сакли жмутся, наталкиваясь одна на другую, теснятся возле невольничьего и соляного рынков, у подножия Топ-кая, и, словно напуганные шумом и криком, расползаются по ровной степи, набожно склоняясь перед величественными ротондами ханских усыпальниц в Эскиюрте. Вверх, по берегу реки Чурук-су, городу подниматься труднее. Скалы сходятся все ближе, сближаются, давят одна другую, загораживая вход в караимскую крепость Чуфут-кале; саклей становится все меньше, они совсем исчезают, город зарывается в пещеры, но упорно тянется по ущельям Мариам и Ашлама-дере до тех пор наконец, пока его не остановят горы.

Бахчисарая не видно и не слышно, его видят разве только орлы, которые парят под задымленным небом. Да еще всадник, стоящий на скале Топ-кая.

На скале Топ-кая стоит всадник в белой чалме и в ярко-желтом плаще, освещенный золотистыми лучами заходящего солнца. Остроконечная раздвоенная борода и нос с горбинкой вытянуты вперед, орлиные глаза всматриваются в сумрачные горы. Темно-буланый аргамак замер под ним, готовый к безумному прыжку в пропасть.

Это младший брат хана, военный министр Ислам-Гирей. Он вернулся сегодня из Перекопа в свой дворец

в Ак-мечети * и теперь едет к старшему брату Бегадыр-Гирей-хану доложить о том, что восстановление крепости Ор-капу закончено. Едет один, без охраны. Он многие месяцы был оторван от политической жизни страны и не знал, какие за это время произошли изменения.

Ислам-Гирей донесет хану, что укрепления на перешейке надежные, и промолчит, что для этих укреплений необходимы новые и надежные войска и храбрый хан, который, кроме пера, умел бы крепко держать в руках булатный меч. Подумает, но не скажет и о том, что, кроме Перекопа, который преграждает путь неверным, пора наконец позаботиться об укреплении и южного побережья, захваченного единоверными турками. Богобоязненный властелин Крыма, автор сентиментальных стихов Бегадыр-хан отличается еще и своей жестокостью. После того как султан Амурат IV задушил в Стамбуле непокорного Бегадырова предшественника Инает-хана, он поклялся «ни на шаг не сходить с пути беспрекословного послушания султану» и выдавать на расправу каждого, кто осмелится не подчиниться воле падишаха.

Ислам-Гирей повернул коня и медленно начал спускаться вдоль ущелья, похожий в лучах заходящего солнца на величественный монумент воина. Скользнул взглядом по долине — греки закрывали лавки, кричали армяне в своем квартале, татары застыли у своих саклей в молитве. Темнела зеленая крыша дворца, и тихо было в ханском дворе. Очевидно, хан молится или сочиняет стихи о соловье, влюбленном в розу: в такие минуты безмолвствует стража и, словно тени, бесшумно ходят по площади ханские гвардейские сеймены *.

Ислам зловеще захохотал, даже конь шарахнулся в сторону. Он натянул поводья так, что конь встал на дыбы. Стоявшие внизу люди ахнули: что это за безумец, намеревающийся перескочить через пропасть на ханское подворье? Всадник повернул влево — нет, еще не время — и быстро скрылся за горой, спускаясь к цыганскому предместью Салачика.

От Салачика вдоль северных стен крепости Чуфут-кале узким коридором тянулось в горы ущелье Ашлама-дере. Вход в ущелье преградил летний дворец хана Ашлама-сарай, весь утопающий в зелени садов, а рядом будто вросшая в землю духовная школа Зинджирлы-медресе.

Здесь когда-то учился Ислам-Гирей...

Вай-вай, когда это было... Над воротами медресе, помнит, висела дугой цепь — зинджир: кто заходил в во-

рота, должен был наклониться, чтобы не удариться головой о нее, — склониться перед величием науки и религии. Эта цепь все время напоминала о том, что ты ничтожный червь в сравнении с мудростью твоих предков.

В Зинджирлы-медресе Ислама учили поклоняться аллаху и яростно ненавидеть неверных. И он горел желанием испытать сталь своей сабли на головах гяуров, насладиться в конце концов свободой...

Под Бурштином, на Покутском шляху, впервые с глазу на глаз встретился с казаками, скрестилась сабля ханского сына с саблей гетмана Григория Черного *. Ослабела рука, схватили чубатые казаки юного Ислам-Гирея.

И тогда другую школу проходил Ислам. Казаки передали его полякам, у которых он целых семь лет, ожидая выкупа, изучал при варшавском дворе тонкости европейской дипломатии.

Стоит ли жалеть о тех годах? Бушевали, правда, войны над Европой, а окрепшие руки жаждали меча, по ночам снились оседланные кони, волнистая ковыльная степь, и шум боя будил его среди ночи. Не было коней, не было и оружия — остались лишь мечты и злость.

Вокруг ненавистные гяуры. Будь то казак, лях или француз. Все они заклятые враги мусульман, арабов. Если бы его воля и сила, рубил бы их всех подряд и оставлял бы после себя горы голов, как это делал Тимур.

Однажды зашла речь о том, что в Варшаве на рыночной площади будут четвертовать казацкого атамана Сулиму, вожака казаков, охранявших южные границы Речи Посполитой, — это они спасли Польшу от турок под Хотином. Шляхта будет четвертовать казацкого атамана? За что?

Ислам-Гирей видел эту казнь. Пятерых казаков и их гетмана, так похожего на Григория Черного, вывели на площадь, и палач отсек им головы. За Кодак, за крепость на Днепре, которую они разрушили. А потом шляхта глумилась над их телами, их четвертовали и выставили на шестах. И еще увидел ханский сын в глазах казаков страшную ненависть — о, это не та, что светилась в глазах, когда их сабли высекали искры в бою под Бурштином! Это был гнев, порожденный несправедливостью. И ни одного вопля, ни единого стона...

Долго думал после этого Ислам. Видимо, Ляхистан не монолитное государство, и Кодак, как нарыв, въелся в казацкое тело... Не так же, как и турецкий гарнизон в Кафе? Разве турецкий султан не казнит крымских

ханов, не считаясь с тем, что они защищают мусульманские земли от неверных?

Зинджирлы-медресе... О, тогда Ислам был еще свободен от честолюбия, еще не терзала его душу жажда власти, и не было мыслей о том, кто он сам, что представляет собой его родина и какая она. Тогда рука тянулась к сабле, а голова склонялась перед величием науки и религии. Ныне же руки тянутся к бунчукам и трону. И взлетает над головой, как петля, другая зинджир — плеть Османов, которая напоминает будущему полководцу, чтобы не слишком расправлял свою спину. Как вырвать трон из крепкой железной петли? Кто отважится? Бегадыр — слюнявый стихоплет и трус? Нет, не он!..

Пришпорил коня, из-под его копыт полетели камни на крыши цыганских халуп, прилепившихся под отвесной скалой.

Предвечерняя прохлада выманила цыган из пещер. Они уселись за дастарханом, уставленным кувшинами и фильджанами. Старая цыганка разливала вино, два музыканта в бараньих шапках наигрывали веселую мелодию на цитрах, маленький полуголый цыганчонок плясал, и довольно улыбались две молодые цыганки с распущенными волосами и с длинными люльками в руках.

Очевидно, Ислам-Гирей проехал бы мимо, не обратив внимания на такой обычный для цыган отдых, но среди них он заметил плечистого парня с русыми волосами, который стоял у входа в пещеру. Он не был цыганом. Одетый в красный кафтан с голубым кушаком, он походил на казака. Откуда он мог появиться здесь?

Это заинтересовало Ислам-Гирея. Неужели прибыли послы от казаков в посольский стан Биюк-яшлаву, находившийся недалеко от Бахчисарая, и это один из них пошел развлечься к цыганам?

Он остановил коня, музыканты умолкли. Цыгане склонили головы перед ханским сановником. Они знали его в лицо. В этот момент из пещеры вылетела орава ребятишек, они окружили калгу-султана, протягивая руки. Старая цыганка цыкнула на голозадую малышню, но Ислам улыбнулся и бросил детям горсть медных монет. Поднялся крик и тут же утих, к сыну хана подошла молодая цыганка.

— Дай руку, я предскажу твою судьбу, рыцарь.

Глаза Ислама встретились с черными глазами красавицы.

— Мне еще рано обращаться к ворожеям, роза Индии. Я позову тебя тогда, когда сам начну решать свою судьбу, но не для того чтобы предсказала ее, а чтобы пожелала мне счастья. Такие уста не могут предсказать беды... Но ты скажи мне, что это за джигит стоит вон там? Откуда он тут появился?

Смущенная девушка попятилась назад, и вперед вышла согбенная старая цыганка с лицом ведьмы.

— О нем ты спрашиваешь, эфенди, пусть аллах благословит твое имя? — взглянула исподлобья и показала рукой на парня, неподвижно стоявшего у пещеры.

— Да, о нем.

— Это... это мой сын, — ответила цыганка, запинаясь.

— Врешь, старая ведьма! — крикнул Ислам. — А ну-ка, подойди ко мне, молодец, и поклонись, — обратился он к парню. — Ты почему не склонил свою голову передо мной?

Парень не спеша подошел к Ислам-Гирею и сказал:

— Мне никто и никогда не говорил, что нужно кланяться всадникам. А голову я склоняю ежедневно, выпиливая бодрацкий камень возле Мангуша.

— Кто ты такой?

— Не знаю, кто я такой. Зовут меня Селим, и я не похож на них, — кивнул он в сторону цыган. — Но вырос я в этой пещере, тут ем, и меня не бьют.

— Эта цыганка твоя мать?

— Я не знаю, что такое мать.

— Послушай, старуха. — Ислам-Гирей повернулся к цыганке. — Откуда он у тебя? Это же не твой сын. Для кого растишь его? Продай мне его, я заплачу за него не меньше, чем дадут тебе на рынке.

— Я не для продажи воспитывала его, эфенди. Там платят за людей, как за скот, — за упитанность, за силу. Его же я отдам тому, кто умеет ценить еще и рыцарский дух.

— А приобретал он этот рыцарский дух на бодрацких каменоломнях?

— Если он дан человеку от рождения, то не пропадет и в темнице. А ты присмотрись к нему. Сын казака, вскормленный грудью свободной цыганки, должен быть рыцарем. Он с Украины, эфенди.

— Ты хорошо умеешь расхваливать свой товар, сова, и знаешь, перед кем, — улыбнулся Ислам-Гирей. — Но если я не куплю его, то больше никто не даст тебе хорошей платы. Что ты будешь делать с ним? Цыгане не

держат рабов, просить милостыню ты его не научила и сыном тоже не назвала.

— Когда-нибудь продам хану.

— Хану? Но ведь хан есть.

— Такому, которому нужны не скопцы, а рыцари.

— Язык твой, ведьма, злой. Твое счастье, что сердце мое не испытывает гнева. Отдай мне его, я нуждаюсь в рыцарях.

— Ты не хан, вельможа...

— Тогда возьми мою руку и поворожи. Если наворожишь мне ханство, тогда возьму твоего джигита даром, если же не наворожишь — голову снесу!

Старуха склонилась к земле, но на ее лице не видно было страха.

— Знаменитый вельможа, — промолвила она, — властелин, который грабит своих подчиненных, — плохой властелин. Народ боится его, но не любит. Такой хан проигрывает битвы. А за тобой когда-нибудь пойдет народ. Это говорю я — старуха Эмине, которой уже перевалило за восемьдесят. Говорю, не глядя на руку.

Ислам-Гирей вытащил из-за пояса мешочек, позвенел им и бросил цыганке. Она ловко подхватила его, глаза ее засияли.

— Это за рыцаря. А за гаданье?

Калга-султан сурово посмотрел на цыганку, но полез за пояс и бросил ей в лицо горсть золотых дукатов.

— Завтра приведешь его ко мне в Ак-мечеть. — А потом обратился к юноше:

— Ты, юноша, хочешь стать моим воином?

— О да! — восхищенно ответил Селим.

Ислам-Гирей пришпорил коня и поскакал, минуя Ашлама-сарай и медресе, к главному ханскому дворцу.

Остановился на мосту у ворот. Два медных дракона над воротами, которые уже сто лет перегрызают друг другу горло, блестели в лучах заходящего солнца, напоминая тем, кто входит в ханский двор, что именно это является гербом Гиреев, и пускай будет осторожным каждый вступающий сюда: военный министр или простой воин.

Оставив коня у ворот, калга-султан важно направился в опочивальню хана. Поднялся по лестнице наверх, минуя часовых у каждой двери; дверь ханской опочивальни открылась сама — за ней стояли, скрытые в нишах, немые рабы.

Бегадыр-хан сидел на подушке посреди комнаты,

в чалме с зеленым верхом, в голубом кафтане. Он приготовился к приему брата, но лицо его было бледным, даже желтым и чем-то встревоженным. Ислам-Гирей подумал: видно, недолго проживет этот анемичный меланхолик. Снял с головы тюрбан, бросил его на пол, наклонился к брату и поцеловал полу его кафтана. Бегадыр вяло кивнул Исламу, разрешив ему сесть напротив.

— Ор-капу укреплен, хан, — доложил Ислам-Гирей.— Десять башен отстроили заново, ворота обили железом — ни одна живая душа не пройдет через них. С севера Крым в безопасности...

Бегадыр-Гирей сидел, свесив голову. Казалось, он не слушал Ислама.

— Гонец сегодня прибыл из Стамбула, — промолвил он спустя некоторое время. — Амурат умер.

Несдержанный и горячий Ислам вскочил на ноги.

— Он же бездетный! — сорвалось с его уст.

Бегадыр встревожился, посмотрел на немых рабов, прошептал:

— Не верь сегодня даже мертвым, Ислам. А султан будет. Род Османов еще существует. Завтра опоясывают мечом Ибрагима...

Бегадыр всматривался в глубокие глаза брата. Ожидал от него удивления, возмущения или даже смеха.

Но костлявое лицо калги-султана стало непроницаемым. Только хищные, злорадные огоньки на миг вспыхнули в его черных глазах и тут же погасли.

ГЛАВА ПЯТАЯ

> Сказал Пророк, — пусть над ним будет мир: «О вы, стремящиеся к власти, спросите себя, кого и что вы любите?»
>
> *Из хадисов*

Стамбул ожидал коронации нового султана и жил в напряженной тишине. Млели на солнце кипарисы, устремлялись вместе с ними к небу минареты Айя-Софии, по ту сторону залива притихла всегда шумная Галата, а султанский дворец Биюк-сарай притаился, словно перед прыжком, на холмистом клине между Босфором и Золотым Рогом.

На третий день после смерти Амурата с самого утра

стали собираться люди возле Ат-мейдана *. Они устремляли свои взоры к султанскому дворцу, окутанному теперь тайной.

В полдень Ибрагим, в султанском одеянии, выезжал в сопровождении анатолийского и румелийского кадиаскеров в Биюк-сарай. Впереди на буланом жеребце гордо скакал ага янычар Нур Али.

Три дня в Малом дворце на Петрони *, где обучаются военному делу молодые янычары, готовили нового султана к вступлению на престол. С Ибрагимом занимался шейх-уль-ислам. Учил его ритуалу коронации, советовал, как ему вести себя в первые дни правления.

Ибрагим, словно новорожденный, не знал ничего — ни жизни султана, ни жизни простых людей. Еще шестилетним мальчиком его отлучили от матери и увезли в Бурсу, где он, едва став подростком, познал греховную прелесть разврата и пьянства. Сын султана паясничал в кафеджиях, на улицах и в цыганских притонах, пока Амурат не заключил его в темницу, чтобы не позорил султанский род.

Удивительна судьба престолонаследников. У нее нет середины — только небо и ад, золотой трон или вонючая тюрьма.

Регель знал, зачем готовится этот спектакль с Ибрагимом, — надо спасать династию. В душе же он противился: как можно полуидиота опоясывать мечом Османа? Ведь все, даже валиде, называли его юродивым.

Шейх-уль-ислам долго присматривался к жалкому Ибрагиму — он напоминал стебелек проса, выросший в подвале. Бледная, даже прозрачная кожа на лице, робко сжатые губы, но глаза — нет, не безумные, какие-то наивные, мальчишеские, и выслушивает он советы верховного душепастыря, как прилежный ученик в медресе. Его все интересовало, странно, непривычно было слышать даже человеческий голос после стольких лет одиночного заключения. Он хорошо запоминал, что должен сказать, когда его опояшут мечом, довольно быстро выучил на память речь, с которой нужно обратиться к янычарам.

— Ты должен быть осторожен с янычарами и пока что во всем слушаться великого визиря Аззема-пашу, который знает все подробности и тайны государственной жизни...

— Да, эфенди...

«Его можно научить быть и ремесленником, и има-

мом, — подумал Регель, когда подготовка спектакля коронации нового султана была закончена. — Он еще ребенок. Но дозревать будет на султанском троне. Что из него получится?»

...Ибрагим крепко держался за поводья, сидя на ретивом персидском рысаке, наклонившись вперед, чтобы не пошатнуться и не упасть; редкая белесая бородка торчала словно приклеенная; султанская чалма, втрое большая, чем его маленькая голова, сгибала тонкую шею. Ибрагим испуганно водил глазами — кто-то в толпе прыснул со смеху, вспомнив, очевидно, величественного Амурата, и пролилась первая кровь в жертву новому падишаху.

Обескураженный жалким видом султана, народ молчал. Но вдруг прозвучал чей-то зычный голос: «Слава султану султанов солнцеликому Ибрагиму», а затем — вначале недружно, а спустя некоторое время удивительно слаженным хором — повторила этот клич толпа, раз, второй; призыв, видимо, обладал гипнотизирующей силой, потому что люди стали повторять его все чаще и громче, до беспамятства выкрикивали хвалу тому, которого готовы были осмеять.

Открылись главные ворота дворца, Ибрагим с почетным караулом въехал во двор, посреди которого стояла христианская каплица, вынесенная еще Магометом Завоевателем из собора святой Софии. Здесь все, кроме султана, слезли с коней, янычар-ага провел султанского коня ко вторым воротам, в которые Ибрагим вступил один. За этими воротами, на подворье, стояли спахи, выстроенные в два ряда. Султан между ними должен был пройти до дверей селямлика *. Он сделал несколько шагов, но, почувствовав, как у него начали дрожать колени, оглянулся — эскорта сановников не было, с обеих сторон на него смотрели каменные лица вооруженных воинов, и среди них Ибрагим был один. Страх парализовал его мышцы, спазмы сдавили горло. Ведь его снова отдали стражникам, и эти двери, к которым он должен пройти сквозь ряды спахиев, ведут не в султанские хоромы, а... в тюрьму! Он испуганно поглядывал то на один, то на другой ряд воинов, а они почтительно склоняли головы — и у Ибрагима немного отлегло от сердца. Поспешно прошел между рядами, побежал по ступенькам, дверь открылась и тотчас закрылась за ним. Ибрагим натолкнулся на ужасно безобразного человека, который стоял в коридоре, скрестив руки на груди.

Все... Конец!

Огромнейшая голова кретина каким-то чудом держалась на тонкой длинной шее, лицо без растительности пряталось в складках черной кожи, отвисшая нижняя губа открывала расщелину рта, зарешеченную желтыми редкими зубами.

Палач...

Еще мгновение — и пронизывающий крик нарушил бы тишину хором, но змеиный взгляд слезившихся глаз стал льстивым, чудовище согнулось в три погибели.

— Приветствую, солнце солнц! Я твой слуга, ничтожный раб кизляр-ага Замбул.

Ибрагим вздохнул, вытер холодный пот со лба и, брезгливо обойдя того, кто назвал себя главным евнухом, вошел в зал.

Высокая суровая женщина в черном платье шла ему навстречу. Узнал ее — это была его мать. Валиде подошла к сыну и протянула руки к его груди в знак кровного единения, но Ибрагим резко оттолкнул их.

— Где ты была, когда меня гноили в темнице? — воскликнул он, только теперь осознав, как жестоко поступили с ним.

Задрожала Кёзем, опустила руки. Ибрагим, видно, знает, что она тоже повинна в его заключении. И уже придумал для нее наказание. А наказание для матери султана единственное — в Эски-сарай. И тогда могущество валиде закончится навсегда. Ей до самой смерти придется жить в Старом дворце на форуме Тавра среди изгнанных султанских жен, постаревших одалисок, султанских мамок — среди мелочных женских интриг, ссор, ненависти и унижения. Те, что помоложе, живут там еще надеждами, что их возьмут замуж баши, ей же оттуда никогда не уйти. Заметив злой взгляд своего соперника кизляр-аги, валиде поспешила зарыдать и упасть на колени перед сыном.

— О сын мой! Одному только богу известно, сколько я выстрадала. Жестокий Амурат не знал границ своей зависти. Он упрятал тебя в тюрьму, боясь твоего светлого ума, твоей силы. Не помогли ни мои мольбы, ни материнские слезы...

Смягчился Ибрагим, велел матери подняться. Замбул же с ненавистью посмотрел на нее: перед султаном теперь стояла не испуганная, жалкая женщина, а властная валиде — повелительница двора.

Кланяясь и пятясь, кизляр-ага провел султана в тайную дверь, цвет которой сливался с цветом стены, вывел его по лестнице в зарешеченную темную галерею.

Ибрагим глянул вниз, узнал шейх-уль-ислама и Нур Али. Янычар-ага исподлобья пристально смотрел на бородатого старика в белой одежде. Позади него стоял немой слуга, держа над головой великого визиря бунчук с пятью конскими хвостами.

— Здесь заседает совет старейшин, повелитель, — прошептал Замбул. — Внимательно слушай, что будет говорить вон тот седобородый, великий визирь Амурата — Аззем-паша.

— Аззем-паша? — Ибрагим прирос к решетке. «Это тот человек, которого я должен слушаться, пока научусь управлять государством».

— А потом сойдешь вниз, я проведу тебя в тронный зал.

На расшитых золотом подушках в зале дивана заседали четыре столпа империи: великий визирь, министр финансов, анатолийский кадиаскер и шейх-уль-ислам. Потому что на четыре части делится Алькоран, четыре халифа было у пророка, ветры дуют с четырех сторон света и четыре столпа поддерживают балдахин над султанским троном. Но в зале дивана присутствовал еще и пятый сановник — янычар-ага. Не предусмотренный ни традициями, ни кораном. Хранитель священного порядка Блистательной Порты.

Аззем-паша поднялся с подушки и промолвил, избегая пристального взгляда Нур Али:

— По воле аллаха ушел в царство вечного блаженства султан Амурат Четвертый, победитель персов. Мир праху его. Младший брат Амурата взойдет на престол, и наш долг — помочь ему управлять великой империей. — Он поднял голову и добавил, глядя на Нур Али: — Помочь империи.

Члены дивана приложили руки к груди в знак согласия.

Ибрагим ждал советников в тронном зале. Он стоял у трона, не в силах отвести от него жадного взгляда. Это золотое кресло, которое когда-то было навеки утрачено для него, стояло тут, рядом. Еще минута, еще мгновение — и вместо сырого тюремного пола — трон, покрытый дорогими коврами, со шкурой леопарда у подножия, с золотой короной над спинкой. И на нем можно будет сидеть день, два, год, всю жизнь! Еще минута...

Ибрагим знает, что скажет диван, но все же волнуется в нетерпеливом и сладком ожидании.

Вошли сановники. Все, кроме шейх-уль-ислама, пали на колени и поцеловали султанскую мантию. Ибрагим дал знак рукой, чтобы они вышли, а тогда упал на трон и стал целовать его алмазные подлокотники, как целует изгой порог отчего дома. Он еще не знал, что принесет ему это дорогое кресло. По-детски всхлипывал, прижимался головой к бархатистой леопардовой шерсти, шепотом благодарил бога и в эту минуту, казалось, чувствовал себя человеком.

В зале государственные деятели запивали пилав шербетом. Великий визирь давал обед в честь нового султана. Только сам он не прикоснулся ни к еде, ни к напиткам.

Тысячи людей стояли под палящим солнцем на улицах, ожидая выезда султана. Наконец главные ворота Биюк-сарая широко распахнулись, и толпа заревела. Бостанджи-баша * с полсотней субашей разогнали толпу с площади, освобождая дорогу для процессии.

Впереди на белом коне ехал султан Ибрагим. На его желтоватом восковом лице появился румянец, глаза смотрели спокойно, держался он прямо, выставив вперед свою коротко подстриженную редкую бородку. Время от времени Ибрагим взмахивал рукой с крупными бриллиантами на пальцах, бросал в толпу серебряные монеты.

Люди приветствовали султана, дрались из-за денег, обезумевшие дервиши извивались перед процессией, некоторые в экстазе вскрывали вены и падали под копыта коней, показывая готовность пролить кровь за падишаха.

Рядом с султаном ехал Аззем-паша, задумчиво опустив голову.

«Несколько дней тому назад эти же самые люди приветствовали Амурата, — думал великий визирь. — Приветствовали так же восторженно. Ныне его никто не оплакивает, ныне получили новую игрушку. Что это? Падение султанского престижа или безразличие народа к государственным делам, которые всегда вершатся без его ведома? Да и в самом деле, что остается людям, кроме зрелищ? Оттого, что сменяются императоры, не меняется человеческая судьба, а есть повод повеселиться в будний день. Но почему никто не возмущается, что белого коня, на котором сейчас едет Ибрагим, взял у персидского шаха храбрый Амурат, а большой алмаз на белой чалме сул-

тана — эмблема покоренного Багдада? Неужели никто не заметил такого страшного кощунства?.. А я? Я тоже еду рядом с Ибрагимом, одобряя своим присутствием это кощунство. Но ведь я один не в силах что-либо сделать, позади меня Нур Али с полками янычар... Вон тот бедный ремесленник, стоящий со свитком бумаги в протянутой руке, очевидно, хочет подать просьбу новому султану, а бостанджи-баша толкает его в грудь, чтобы не омрачал торжественности всенародного праздника. Этот бедный ремесленник и я, самый высокий государственный сановник, оба понимаем все, что происходит ныне, но ни он, ни я не можем протестовать. Наоборот, на свои деньги и своими силами устраиваем этот парад, а в душе смеемся. Все смеемся, кроме разве одного Ибрагима, едущего на белом коне. Как же выбраться из этого заколдованного круга?»

Дервиши гурьбой бежали впереди процессии, исступленно вопили, от их крика народ чумел, бился в конвульсиях, некоторые выбегали на дорогу, падали и целовали следы копыт султанского коня.

«Не единственное ли, на чем держится империя, — с ужасом подумал великий визирь, — это грубая сила и фанатизм, возбуждаемый вот такими зрелищами?»

Императорский кортеж направлялся к мечети Эюба, названной именем Магометова знаменосца, который в 48 году гиджры пошел завоевывать Константинополь и погиб там. Султан Магомет Завоеватель, овладев столицей Византии, соорудил возле гроба Эюба мечеть, в которой хранилась одна из четырех сабель халифов пророка — сабля Османа. Ею ныне должны опоясать нового султана Турции.

Ювелир Хюсам с женой Нафисой сидели на мостовой напротив янычарских казарм, возле которых должен был остановиться коронованный султан, возвращаясь из мечети Эюба. Нафиса еще надеялась увидеть своего воспитанника Алима.

Огромнейшие казармы стояли тут, в центре города, еще со времени Урхана, создателя султанской пехотной гвардии «йени-чери». Ни один султан не осмеливался проехать мимо этих казарм, возвращаясь в Биюк-сарай с мечом Османа на боку. Мог ли предвидеть Урхан, что его идея обновления турецкого войска так жестоко обернется против наследников османского престола? Разве

мог он предположить, что воины, которые должны были стать слугами трона, сами завладеют им и будут сажать на него угодных для них султанов?

Но тогда такое войско было необходимо. Турция воевала без передышки, не имея регулярной армии. Урхан собрал отуреченных пленников — босняков, греков, армян, обучил их, вооружил, требуя беспрекословного подчинения. Основатель ордена дервишей Хаджи Бекташи благословил новое войско. Опустив длинный монашеский рукав на голову первого янычара, произнес: «Называйтесь «йени-чери». Пусть ваше лицо будет грозным, рука победоносной, меч острым, а храбрость пусть станет вашим счастьем».

Для поддержания престижа нового войска Урхан сам вступил в первую орту *, а всему корпусу присвоил герб — ложку, чтобы напоминала воинам о том, что воевать они обязаны за султанское содержание. Такую эмблему воины носили на высоких шапках над челом. Ложка, символ наживы, понравилась янычарам. Вскоре они сами начали создавать такие эмблемы. Котел, в котором варилась пища, стал священным символом орты и равнялся знамени. Оставить котел в руках врага считалось самым большим позором, опрокинутый котел служил сигналом к бунту. Военные ранги тоже заимствовали из кухонного лексикона. Полковника орты называли чорбаджи — мастером огромного супника, лейтенанты назывались сакка-башами — водоносами. Аппетиты янычар росли и со временем стали проявляться не только в эмблемах и рангах. Янычары требовали повышения платы за службу, добились признания их кастой, равной улемам *, чтобы иметь поддержку духовенства, девяносто девятую орту закрепили за орденом Хаджи Бекташи. И наконец, начали диктовать свою волю султанам.

...Из казарм стали выходить янычары — сыновья Греции, Болгарии, Грузии и Украины. В коротких шароварах и кунтушах, в высоких из белого сукна шапках с длинными шлыками, они выстраивались в ряд для встречи султана.

Впереди первой орты, к которой должен был подойти Ибрагим, стоял молодой чорбаджи-баша.

Нафиса поднялась с мостовой.

— Хюсам, поглядите вон на того. Он так похож на нашего Алима.

— Сиди, сиди, — дернул Хюсам жену за фередже, — это командир орты. Алим же еще совсем молодой.

Засуетились люди на улице, зашумели, закричали. К янычарским казармам приближалась султанская процессия.

Ибрагим остановил коня возле выстроившейся первой орты. Нур Али подъехал к чорбаджи-баше. Молодой полковник с коротко подстриженными черными усами, орлиным носом вытянулся перед агой янычар, ожидая его команды. Нур Али довольно улыбнулся. Он не жалеет, что под Багдадом назначил гордого гяура башой первой орты. Только такие, сильные и бесстрашные, могут быть настоящими противниками своих храбрых соотечественников. Ныне же молодому чорбаджи выпало особенное счастье: приветствовать от имени янычар нового султана и записывать его воинов в свой полк.

Нур Али кивнул головой.

Чорбаджи подали чашу, наполненную шербетом, и он, чеканя шаг, подошел к султану.

— Великий из великих, султан над султанами! — произнес он громко. — Твои рабы, непобедимое войско янычар, хотят встретиться с тобой в стране золотого яблока — на Дону, Днепре и Висле!

Ибрагим взял чашу из рук чорбаджи, выпил до дна, наполнил ее до краев золотыми монетами и крикнул янычарам:

— Воины! Вспомните славу римлян, бывших повелителей мира. Продолжите их славу. Победы магометан пусть обрушатся на неверных карой небесной!

Великий визирь, почтительно склонив голову, промолвил:

— Пусть слова великого Магомета Завоевателя вдохновят сердца воинов.

Ибрагим сверкнул глазами на Аззема-пашу. Он понял, что визирь насмехается над ним.

Янычары дружно ответили:

— Кызыл ельмада герюшюрюз! *

А когда затихло эхо и над площадью залегла минутная тишина, вдруг раздался возглас женщины:

— Алим, сын мой!

Старая женщина старалась прорваться сквозь цепь субашей, протягивала руки, повторяя:

— Ты жив, Алим, сыночек мой!

Чорбаджи повернул голову в сторону крикнувшей женщины. Он узнал Нафису, покраснел, взгляд его встретился со взглядом Нур Али. Видел, как субаши тащили

женщину через улицу, избивая и толкая ее, но даже глазом не моргнул.

На следующий день в часы приема великий визирь Аззем-паша зашел в тронный зал сообщить падишаху о состоянии государственной казны. Ибрагим сидел на троне и настороженно смотрел на величественного старца, который гордо, не кланяясь в пояс, шагал посередине зала. Молодой султан знал, что этот человек сейчас является хозяином империи и еще долго Аззем-паша будет решать государственные дела, не советуясь, а докладывая о них султану. Так сказал шейх-уль-ислам. Ибрагим был доволен этим, ведь он ничего не знает, но ему припомнились слова визиря во время парада, и в его душе невольно созревал протест против любого его предложения.

— Я должен, — начал Аззем-паша, — познакомить тебя, о султан, с состоянием государственной казны, на которой держится этот трон. Долголетняя война с персами опустошила казну, а добытое багдадское золото не пополнило ее. Кроме этих мешков с деньгами, которые стоят напоказ у дверей зала дивана, в личной султанской казне найдется немного. Не следует ли уменьшить вознаграждение?

Ибрагим поднял руку, останавливая великого визиря. До сих пор он был лишен необходимости мыслить, но вчерашнее провозглашение его султаном заставило подумать об ответственности. Ему еще хотелось по-мальчишески крикнуть: «Дайте мне покой, я хочу отдохнуть», но понимал, что должен что-то делать в этом государстве, которым ему велено руководить. Как руководить? Чьими руками, чьим умом? Советовали слушаться великого визиря, но Ибрагим не желает, не хочет! Перед глазами промелькнули образы скрытной валиде, омерзительного кизляр-аги Замбула, и мысль остановилась на фигуре Нур Али, который, словно ангел Монкир, что ведет человека вдоль ада в рай, появился несколько дней тому назад в дверях дворцовой тюрьмы.

— Вели пригласить сюда Нур Али, — сказал Ибрагим. — Он воевал с Амуратом в Багдаде, ему лучше знать о военных расходах.

— Левая рука, султан, не ведает, что делает правая. Нур Али воевал в Багдаде, я же оставался в столице. Янычары дрались храбро, однако требуют слишком высокую оплату за пролитую ими кровь. Это хорошо известно министру финансов и мне — великому визирю.

Замбул, стоявший за портьерой, подслушивая, вмиг выбежал, и через минуту перед султаном стоял, низко кланяясь, янычар-ага.

— Я слушаю тебя, султан.

Ибрагим подавил удивление: как быстро все делается! Только захотел вызвать Нур Али, а он уже тут, словно на расстоянии угадывал мысли султана.

— Что можешь ты сказать о расходах на войну с персами, Нур Али? — спросил султан.

— Много крови пролилось, султан. Сумеют ли самые большие мудрецы мира назвать сокровище ценнее крови султанских рыцарей? Она проливалась невинно, не в боях, а в казармах на Скутари от меча жестокого Амурата. И ни единого акче не уплачено ни за багдадскую, ни за скутарскую кровь. Твои воины ждут платы, султан, — вызывающе закончил янычар-ага.

Ибрагим понял: Нур Али не просит, он требует. Понимал, что значит, когда янычары требуют денег, а султан не может их дать. Султана Мустафу впервые в истории Турции свергли с престола янычары, когда тот снизил им плату. Но его хоть оставили в живых. Более жестокой была судьба его сына Османа II. После поражения под Хотином янычары потребовали такой же платы за кровь — золотом. Не найдя ни алтына в пустой казне, Осман велел переплавить золотую посуду, хранившуюся в крепости Эдикуле. Золото оказалось низкопробным, на рынке резко упал курс денег. Тогда взбунтовались шестьдесят янычарских орт, весь стамбульский булук. Янычары перевернули на кухнях котлы с пилавом, забарабанили по ним ложками, побросали тарелки и вышли на площадь перед сералем. Смертельно перепуганный Осман приказал снять голову великому визирю и выставить ее на золотом подносе перед воротами — вот, мол, виновник. Но это не остановило разъяренных янычар, они ворвались в тронный зал и потребовали платы настоящим золотом. Осман указал на министра финансов — это он растратил казну, но и это не помогло. Янычары набросили на шею султана аркан, вытащили его на улицу и мертвого потащили по городу на устрашение потомкам Османа.

Не избежал насильственной смерти, наконец, и могущественный усмиритель янычар Амурат IV. А он, Ибрагим, их ставленник. Янычары посадили его на трон, они же могут и свергнуть. Не как повелитель, а как не-

вольник, готовый дать за себя какой угодно выкуп, он торопливо произнес:

— По пятьсот пиастров на орту... По пятьсот!

На лице Нур Али засияла радостная улыбка — плата щедрая, а Аззем-паша ужаснулся. Янычар-ага, окинув визиря взглядом победителя, вмиг исчез за дверью тронного зала.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В Туреччині та на брамі
кам'яній
Там сиділи два братчики
молодії.
Один сперся на поруччя,
задумався,
Дрібненькими слізоньками
умивався.
Ой стій же ти, милий брате,
не журися.
Яка красна Туреччина —
подивися!

Украинская народная песня

Мешки с деньгами развозили по казармам, бросали по одному перед каждой ортой. Из казарм выбегали янычары, стремясь опередить друг друга, — кто первым схватит мешок, тот получит в награду десять пиастров.

Чорбаджи Алим — чернобровый красавец, одетый в дорогой красивый кунтуш, стоял в стороне и ждал, когда его заместитель по казарме ода-баша подаст ему мешок с деньгами. Опустил руку в мешок, вытащил золотую монету, подал ее победителю, а когда янычары разделили золото между собой, торжественно произнес:

— Свою долю я отдаю вам, храбрые воины, чтобы вы сегодня попировали в честь султана Ибрагима.

Сегодня он мог быть щедрым. Алиму выпало счастье, которое случается раз в десять лет одному из тысяч: он подал коронованному султану чашу шербета. Ему только двадцать пять лет, а он уже чорбаджи, завтра с благословения султана станет булук-башой, послезавтра — янычар-агой. Как переменил его судьбу тот день, когда крымский хан Джанибек-Гирей двинулся по трем дорогам на Украину, чтобы отомстить казацкому гетману Тарасу Федоровичу за разгром Перекопа. Щедрую мзду взяли тогда ногайцы с Украины безнаказанно. Тысячи

пленников пошли на привязи к Перекопу, не надеясь ни на освобождение, ни на выкуп. И слава аллаху.

Янычары пировали. Усевшись вокруг котла с дымившейся ароматной каурмой *, они ели и украдкой запивали вином; сбоку на ковре, у подноса с ананасами и апельсинами, сидел Алим и тоже пил вино.

Прошлое казалось ему теперь вереницей снов, потому что действительность для него начиналась нынче, а сны должны кануть в небытие.

Но они все-таки были.

Когда-то стояла белостенная хата посреди большого хутора, а в ней, обсаженной головастыми подсолнухами, жила молодая казачка с мальчиком Андреем. Посреди села проходила пыльная дорога, вдоль которой двумя рядами тянулись деревья, похожие на кипарисы.

Во дворе кричали гуси. Андрейка любил этот несмолкаемый крик: он будил мальчика по утрам и выгонял в широкую степь. А степь безграничная, ее нельзя было обойти ни за день, ни за два, поэтому часто он возвращался домой лишь в сумерки и покорно выслушивал упреки матери.

— Где ты бродишь, казаче, до ночи? — ругала мать. Она прижимала к себе единственного сына и при этом всегда напоминала ему о том, что когда-то не в степи, а в саду пропал его маленький брат: ведь татары часто совершают набеги, да и цыгане бродят... — Вот приедет отец из похода, пожалуюсь ему.

Отца Андрейка видел редко. Это был статный, длинноусый казак в синем жупане, с саблей на боку; гости называли его паном сотником. Знал Андрей, что отец его воюет с татарами на далекой крымской земле. Тут же татар он нигде не видел, поэтому и не боялся их, разве только иногда ночью, когда на дворе гремел гром, сверкала молния и шумели ливни. Но днем, когда все вокруг дышало ароматом лугов, даже дух захватывало, откуда могли появиться эти злые люди, которые ездят на конях и забирают с собой детей? А даже если бы и были, так разве они найдут его в высокой, словно лес, траве.

Барашки белых облаков плыли над степью, а вокруг что-то без умолку звенело, усыпляя. Просыпался, когда солнце, как раскаленная сковорода, касалось горизонта, — и опрометью бежал домой, а по спине ползали мурашки страха.

Интереснее всего было ходить в степь с пастухами. Они угоняли скот далеко, на весь день; в те дни мать

давала ему сумку, наполненную свежеиспеченным хлебом, салом и чесноком. Коровы наслаждались сочной травой, хрупали и фыркали лошади, пастухи, покрикивая, удалялись, хлеб нигде не был таким вкусным, как тут — на степном раздолье.

А когда ляжешь на спину и неподвижно всматриваешься в глубокое небо, тогда видишь все, о чем мечтаешь: отец на коне в яблоках, а рядом с ним он сам — на белом коне, и сабля в руке, и красный жупан развевается на ветру. Вот мчатся они вдвоем, только ветер шумит в ушах; удирают в островерхих шапках татары, сабля засвистела в воздухе — чах, чах! — летят головы с плеч, а кони бьют копытами землю, топчут, топчут, топчут...

Вздрогнул, вскочил на ноги, что это? Четыре всадника, с серо-коричневыми лицами, стоят над ним, выкрикивают что-то на непонятном языке. Бросился бежать — это же татары! — но один всадник соскочил с коня, схватил его под мышку и посадил в седло впереди себя. Андрейка стал вырываться, кричать, тогда татары заткнули ему тряпкой рот и поскакали по безлюдной степи.

Потом было много людей, которые рыдали, голосили. Андрейка искал глазами хотя бы одно знакомое лицо — не нашел. Какая-то женщина сказала ему, что до его хутора татары не дошли, потому что будто бы за ними погнались казаки.

Еще теплилась надежда, что казаки их настигнут. Но с каждым днем она угасала. Брели люди, связанные по нескольку человек веревками, протаптывали в степи черную дорогу, и только стаи воронов летели следом за ними.

Татарин вез Андрейку в своем седле, стегал нагайкой пленников, а его даже пальцем не тронул, кормил да все приговаривал: «Якши джигит, биюк бакшиш» *.

Страшнее было на привалах. Дикие ногаи развязывали девушек, женщин и открыто насиловали их, немощных и больных убивали, — ужас охватывал мальчика. Он умоляюще смотрел в глаза татарину, и тот почему-то приветливо улыбался ему.

«Почему? — думал Андрейка. — Почему он ни разу не ударил меня нагайкой? Может быть, потому, что я покорно смотрю ему в глаза? Вон лежит мужчина с рассеченной головой. Он бросился на ногайца, защищал дочь, — и теперь лежит мертвый. Не помог, а жизни лишился. Был бы кротким, смирным — жил бы. А ныне

убивается девушка, заливается слезами — двойное горе у нее: бесчестье и сиротство... Единственный выход для невольника — покорность».

Смешным теперь казалось ему видение на небе: он с отцом на коне гонится за татарами. Чепуха, никто не одолеет такую силу, казаки не преследуют их — это выдумка несчастных для своего утешения. Нигде нет Трясила, который трясет крымскую землю, — все это мамины сказки. Существуют только татары, которые господствуют над всем миром и делают то, что им вздумается. Надо смириться с этим, иначе — смерть.

Сколько дней прошло, трудно сосчитать. Колонна остановилась перед пятигранной башней, возвышавшейся над затхлой водой Сиваша. «Перекоп», — сказали пленники. Конец вольных степей, ворота в вечную неволю. Буйная шелковая трава сменилась сухой колючкой, тяжелые черные дрофы сбились у берега, как стадо овец в полуденную знойную пору; на скалах, похожие на разбойников, сидели ястребы, а в небе парили орлы. Чужая сторона...

И уже не осталось у Андрейки ни капли веры в то, что где-то тут его отец, смелый и храбрый, воюет с врагами, — это тоже выдумки матери. Никто никогда не трогал этих стен и высокого вала, отгораживающего перешеек от голубой глади моря и тянувшегося до болот, откуда несло терпким запахом соли и тухлой рыбы. Башня уперлась задней стеной в вал и двумя закрытыми воротами и жерлами пушек остановила татар и пленников. Огромная голова совы, высеченная на граните между воротами, загадочно смотрела на людей, которые, утомленные, падали с ног, и говорила им своими умными глазами: «Такова уж ваша судьба».

Андрейка всматривался в глаза ночной птицы: ей дано видеть мир тогда, когда его не видят люди, поэтому она знает больше.

Люди за что-то борются, страдают, погибают, а птица знает, что все это напрасно: люди на что-то надеются, а птица знает — надеяться не на что. И потому молча советует опытными глазами: «Успокойтесь и покоритесь. Такая ваша судьба».

Мальчик почувствовал, что навсегда развеялись его надежды на спасение. Потому что нет у людей воли для осуществления своих желаний. Есть рок, сопротивляться ему безрассудно — он равнодушен к страданиям людей,

как равнодушны вот эти огромные птичьи глаза к горю пленников, над которыми издеваются дикие ордынцы.

Татарин ссадил Андрейку с коня, похлопал его по плечу и спросил на ломаном украинском языке:

— Как назвал теби мама?

Чорбаджи Алим и до сих пор помнит это странное имя, которое когда-то было его собственным.

— Андрей, — ответил.

— Теперь будешь Алим. Чула, Алим!

Татарин велел ему искупаться в море, сам выстирал ему рубашку, и еще не успела она высохнуть, как старший колонны загорланил на пленных, чтобы поднимались.

Засвистели нагайки, начали делить пленников.

Из ворот, возле которых стояли на страже совсем не похожие на скуластых ордынцев молодые воины, вышел дородный мужчина в чалме и что-то скомандовал. К нему подбежал хозяин Андрейки, поклонился и показал рукой на своих пленников. Мужчина в чалме не обратил на него внимания, подошел к крайней группе пленников, потом ко второй, к третьей, разводя в разные стороны мужчин и женщин. Крики, рыдания эхом ударились в стены крепости. Но каменное изваяние совы на стене равнодушно смотрело, как янычары делят ясырь.

В каждой группе турецкий мубашир отсчитывал каждого пятого — мужчину и женщину, выбирая самых сильных, самых красивых, и отводил в сторону. А когда дошла очередь до Андрейки, татарин развел руками и сказал:

— Большой бакшиш для султана, эфенди.

Мубашир оголил мальчику живот, потом спину, раскрыл ему рот и провел пальцами по зубам, а татарин все приговаривал да льстиво улыбался. Долго морщился эфенди, отрицательно качал головой, наконец взял Андрейку и подошел к другим группам.

Отбор дани для султана продолжался до самого вечера. Андрейка оказался среди толпы мальчиков, которых загоняли в ворота крепости. Он протянул руки к своему хозяину, но ногаец пожал плечами и сказал:

— Кисмет...

Это было первое слово, которое понял Андрей без переводчика. Судьба. Такая судьба — и ничего не поделаешь. Это неумолимое слово, казалось, произносила каменная сова, и странно: оно вселяло в душу спокойствие.

— Кисмет... — прошептал чорбаджи Алим. — Кисмет! — крикнул, ударив чашей об пол.

Но никто из янычар не обратил на него внимания. Воины пировали. Алим налил еще раз полную чашу вина и осушил ее.

Галера с пленниками, отобранными для султана, приближалась к Босфору. Мубашир вез падишаху дань от татар: степных красавиц — в гарем, отборных мужчин — на галеры и самый ценный товар — мальчиков — для янычарского корпуса.

Пожелтевшие от морской болезни, чисто одетые и постриженные мальчики печально всматривались в крутые берега узкого пролива. Галера вошла в проток между мысами Румели и Анатола. По обе стороны, на холмах, поросших кипарисами и кедрами, раскинулся чужой край: небольшие, густо расположенные села со шпилями минаретов, форты, замки, башни, апельсиновые рощи.

Андрей, накормленный и хорошо одетый, уже забыл о добром татарине — тут обращались с ним не хуже. Он с любопытством рассматривал живописные берега. Вспоминал рассказы отца о страшном басурманском крае, в памяти зазвучали песни слепых кобзарей о тяжелой турецкой неволе — все это никак не вязалось с впечатлением от этого мира, который раскинулся перед ним, зеленомиражный, над босфорскими водами. Где же эти жестокие турки? Мубашир часто подходил к Андрею, обращался к нему по-своему, мальчик быстро усваивал язык. Эфенди велел ему следить за порядком, делить еду — Андрей был старше других мальчиков. Это назначение старшим было для него приятным да и выгодным: ему ласково улыбался турок, и он получал большую порцию еды.

Галера причалила к берегу у Золотого Рога. По обе стороны залива блестел золотыми куполами мечетей, поднимался густым лесом минаретов большой город. Он утопал в зелени садов и манил своей загадочностью. Теперь Андрей уже не боялся судьбы, он забыл свист татарских нагаек, вопли пленников: в галерных трюмах всю дорогу господствовало спокойствие и три раза на день заходил к мальчикам приветливый мубашир.

Вот он снова появился и велел выходить друг за другом на верхнюю палубу. Сюда никого не пускали во время долгого пути. Андрей взошел на дощатый помост и

ужаснулся от того, что увидел: на двух рядах скамеек по шесть человек сидели прикованные цепями к веслам истощенные, заросшие мужчины, раздетые до пояса. Из-под кожи выпячивались суставы, спины в синих рубцах, кожа на запястьях стерта цепями до костей, воспаленные глаза смотрят на мальчиков. И вдруг послышался среди гребцов стон:

— О Украина... О дети мои!

Засвистел прут, по рядам пробежал ключник, направо и налево сыпля удары, и вдруг негромко зазвучала песня — казалось, это он, ключник, принудил людей запеть:

Плачуть, плачуть козаченьки
В турецькій неволі...

Ключник бил хворостиной по лицам, по голым спинам, на них появились багровые полосы, брызгала кровь, а песня не утихала:

Гей, земле проклята турецька,
Віро бусурменська,
Ой розлуко ти християнська!

Дети заплакали. Лицо доброго эфенди налилось кровью, он подскочил к мальчикам и стал избивать их кулаками по лицу.

Андрей вздрагивал всем телом при каждом свисте гибкой перекопской лозы, суровые усатые лица гребцов напоминали ему соседей-казаков, отца, вспомнились песни кобзарей, но он закусил до крови губы, сдерживая рыдания. Знал, что от того, скатится или не скатится по его лицу слеза сочувствия и сострадания, будет зависеть его судьба на долгие годы. Надо выдержать, ведь надо выжить. А его слезы не помогут этим людям. И их слезы не помогут ему. Есть кисмет — судьба. От нее зависит все, и ей надо подчиняться. Разъяренный мубашир подбежал к нему, замахнулся, но не ударил. Промолвил:

— Хороший будешь янычар!

Позади замирала песня, утихал свист лозы, мальчики направлялись по берегу к воротам султанского дворца.

Во дворе их выстроили в длинный ряд, и тогда вышел к ним седобородый мужчина — великий визирь — в сопровождении белых евнухов.

Евнухи побежали вдоль длинного ряда, присматривались к лицам мальчиков, спрашивали, как их зовут, принюхивались, словно голодные псы, и коротко бросали:

«В медресе», «На галеры», «В сад». Хватали за руки, группировали и быстро выводили за ворота.

Подошла очередь Андрея. Он выделялся среди мальчиков ростом, крепким телосложением, характерным для казаков лицом, носом, черными широкими бровями. Евнух приблизил к нему свое безбородое лицо, ехидно присматриваясь к казацкому сыну, отец которого, очевидно, жег Трапезунд или Скутари. Спросил:

— А как тебя звать, казак?

Ждал гордого ответа от степного орленка, чтобы потом отомстить за это страшным приговором: «К евнухам» или «К немым».

Поколебавшись мгновение, Андрей четко ответил по-турецки:

— Меня зовут Алим.

Евнух удивленно поднял брови, довольно улыбнулся мубашир.

— В семью на воспитание, — бросил великий визирь.

Вереница картин, воспоминаний оборвалась. Перед глазами возникла, всплыла старая женщина, старавшаяся вчера пробиться сквозь ряды субашей с криком, который может вырваться только из груди матери: «Алим, сыночек мой!»

Нафиса... Алим когда-то любил ее. Тогда он был малышом, нуждался в ласке и получал ее. Алим благодарен Нафисе — она научила его своему языку и вере, подготовила к новой жизни, которой он живет сегодня. А это не так легко.

Алим хорошо помнил молитвы, которым учила его родная мать. Они были понятны и благозвучны, сначала он украдкой шептал их перед сном. Нафиса не бранила его за это, но ежедневно, свято убежденная, что ее вера справедливее, обучала его корану. Видела, что мальчик доверяет ей: старательно молится по пять раз в день, выполняет мусульманские обряды. Но не догадывалась она, не знала, что творилось в душе юноши.

Алиму необходимы были новая вера и язык, он понимал это. Поэтому он перестал молиться так, как учила его мать. Ведь какая польза от тех молитв, когда тут верят в иного бога и он целиком зависит от него? Однако он все время чувствовал раздвоение в душе: знал двух богов — и оба были чужды ему. Тот, христианский, теперь над ним не властен, поэтому нет надобности открывать

ему свою душу. А мусульманский бог совсем чужой. Однако он есть, управляет жизнью людей на этой земле, где Алим живет, и с этим богом надо считаться. Надо покоряться ему, как когда-то мубаширу на галере. Но вместе с таким принятием новой веры из души юноши исчезало все святое. Все в этом мире подчинено корысти, поэтому и он, Алим, должен жить так же. Хюсам зарабатывает на хлеб ювелирными изделиями, казаки на Украине — пашут землю, тоже жить надо! — ему надо смириться с новой верой, чтобы когда-нибудь заработать кусок хлеба мечом. Все это просто и понятно. А поэтому должен служить мусульманскому богу — этого требует меч. Так пусть не гневается на него Нафиса. Ее любовь стала ныне такой же ненужной, как когда-то добрый христианский бог. А язык и вера — пригодятся ему.

Алим быстро усваивал науку Хюсама и Нафисы, ему все реже снилась родная степь, а потом и совсем забылась, как забываются вещи, без которых можно легко обойтись.

Старик Хюсам, любуясь степной красотой юноши, иногда называл его казаком, но Алим мрачнел от этого слова, ему все время казалось, что между ним и родовитым мусульманином умышленно делают какое-то различие, что это унижает его. Глухая неприязнь к Приднепровскому краю рождалась в его сердце, ведь из-за того, что там родился, он не может стать равным новым соотечественникам, хотя знает коран не хуже, чем они, и отлично говорит по-турецки.

Нафису он называл мамой, но пришло время, когда понятие «мама» для него стало таким же бременем, как когда-то снившаяся степь. Алима взяли для обучения военному делу в янычарский полк. Рыдающая Нафиса проводила юношу до самой казармы и на прощанье надела ему на шею амулет. Этот серебряный ромбик с зернышком миндаля посередине любовно выгравировал Хюсам. На глазах у янычар Нафиса обняла Алима, поцеловала и тихо заплакала. И тут раздался хохот — насмешливый, злой.

Зардевшийся от стыда юноша вбежал в казарму, янычары дергали за амулет, хватали его за полы кафтана и вместо сабли дали ему деревянную куклу.

Всю ночь простонал юноша на своей кровати — осмеянный, униженный, а на заре тихо поднялся, сорвал с шеи амулет и выбросил его в отхожее место.

Алим быстро смыл с себя позор Нафисиного поцелуя.

Он хорошо стрелял из лука, из ружья и пищали, опережал своих сверстников в бешеных скачках на Ат-майдане. Послушно выполнял приказы, потому что непослушных били палками по пяткам; прилежно изучал военное дело, потому что бездарных направляли в цех мять шкуры. Рос молчаливым, ибо знал, что у того жизнь долгая, у кого язык короткий; ночью возле каждой пятерки учеников лежал евнух и подслушивал, кто, о чем и на каком языке перешептывается, чтобы потом вольнодумцев наказать голодом.

Алим хотел стать воином. Он с нетерпением ждал того дня, когда его назовут янычаром и запишут в полк.

Прошло несколько лет, пока наступил этот день. На площади перед казармами развесили кроваво-красное полотнище с серебряным полумесяцем и кривым мечом. Весь стамбульский булук вывели на площадь. Напротив янычар выстроили учеников. Имам прочитал молитву, произнес проповедь:

— Вы гвардия султана. Вы охрана империи. Будьте достойны звания «йени-чери» и не забывайте, что самые злейшие ваши враги — болгарские гайдуки, сербские ускоки, греческие клефты и украинские казаки.

Высокий черноусый Алим стоял на правом фланге. Он сегодня наконец получил янычарские регалии — это означало, что ему полностью доверяют. Но последнее слово имама неприятно кольнуло в сердце — показалось, что на него, именно на него обращены сотни глаз. Повернул голову влево и успокоился: ученики смотрели на янычар-агу, подходившего к их рядам.

И тут сзади послышался злобный шепот, очевидно, адресованный янычар-аге, но вспыхнуло румянцем смуглое лицо Алима...

— Байда...

Это кто-то из поляков. Именем Байды Вишневецкого, который погиб, подвешенный на крюке в крепости Эдикуле, польские янычары оскорбляли украинских. Это было самое тяжкое оскорбление. Алим сжал эфес сабли и с трудом сдержался, чтобы не освятить ее кровью.

— Байда... — повторил чорбаджи Алим, и тогда в его мозгу вспыхнуло ужасное воспоминание.

Он осушил еще одну чашу вина, чтобы залить, утопить его, но безголовая фигура в окровавленном фередже не исчезала, стояла перед его глазами, как недавно

во сне. От этого призрака хотелось бежать из казармы, но вдруг янычары насторожились, заметив, как побледнел их чорбаджи-баша. Алим напряг силы и пристально посмотрел на видение. И тогда почувствовал, что больше его не боится. Вчера в его жизни произошло событие, которое оправдывало непростительный грех, и это привидение явилось теперь не для упреков, а для утверждения власти Алима, силы и жестокости. Ибо отныне эти качества, а не жалкие угрызения совести будут вести его в жизни.

Случилось это в Багдаде. Рано утром Амурат, выслушав от меддаха Омара зловещее толкование сна, пришел в ярость. Вместо того чтобы снять голову пророку, он приказал штурмовать стены города и сам бросился в бой.

Алим одним из первых взобрался на стену. То ли его вела туда жажда битвы и славы, то ли ненависть к персам, но за что? А может быть, гнали его в бой зоркие очи чаушлара *, который скакал позади орты на крашеном коне и наблюдал за тем, как сражаются воины, чтобы потом доложить янычар-аге. Взбираясь по лестнице на стену, откуда уже скатывались обезглавленные янычары, Алим еще раз оглянулся: да, чаушлар именно с него не сводит глаз. И только с него. В этом взгляде — старое недоверие, он мысленно произносит унижающее его слово: «Казак, казак, казак!» Алим острее, чем когда-либо, почувствовал, как он ненавидит то племя, которое его породило на свет! «Казак», — говорил Хюсам, любуясь красотой юноши; «Казак», — дразнили его во время ссоры товарищи; «Казак!» — кричал на него имам, когда Алим сбивался на какой-нибудь суре корана. Это слово порой доводило юношу до безумия...

А чаушлар следит за ним своими пронизывающими глазами, ибо не верит в его искреннюю ненависть! Ну иди, скачи на крашеном коне и посмотри, как Алим воюет за самую справедливую веру безродных сыновей.

Он вскарабкался на стену и яростно бросился на противника. Казаки это или персы? А, все равно!

«Гляди, чаушлар, внимательно гляди и оцени же наконец настоящего янычара!»

Надсмотрщик на зеленом коне заметил его усердие. Он поскакал к янычар-аге и указал на Алима булавой. А когда персидские войска были разгромлены и задымились развалины Багдада, когда янычары громили подвалы

и выносили ценности, еду и напитки, Нур Али подозвал к себе Алима и сказал:

— Ты храбрый воин, и я хочу назначить тебя на место погибшего в бою чорбаджи первой султанской орты. Но чтобы тебе навсегда поверили, что ты до конца предан исламу и его величеству падишаху, должен... Подведите сюда! — махнул он рукой, и оруженосцы привели к Алиму молодую женщину с распущенными русыми волосами, в белом фередже. — Это наложница гарема шахского сановника. Она родом из того поганого края, что плодит разбойников, грабителей нашей священной земли. Эта казачка ныне зарезала двух янычар, которые хотели сблизиться с нею. Ты должен казнить ее.

Алим еще не убивал женщин, а эта удивительно напоминала ту, которую он когда-то в далеком детстве называл мамой. Рука с ятаганом опустилась, и Алим услышал речь, которую — о проклятье! — еще помнил.

— Казаче, соколик, — тихо промолвила девушка. — Мне, орлице, тоже обрезали крылья, как и тебе. Но у меня остались руки, и ими я искупила свой позор. И тебе еще не поздно. Отруби голову хоть одному врагу, и бог и люди простят тебя.

От этих слов повеяло запахом скошенной травы в степи, горькой полынью, вечерней мятой, щебетаньем жаворонка над весенней пашней в синем небе, а перед глазами всплыли два всадника, преследовавшие татар...

Нахлынуло это так неожиданно, что он дрогнул, на миг растерялся. Но девушка, увидев нерешительность янычара, подошла к нему и произнесла громко, твердо и яростно:

— Твой предок Байда три дня на крюке висел и не изменил, а ты боишься смерти, которая наступит в одно мгновение? Три дня...

Она не досказала. Засвистел ятаган, покатилась девичья голова. Тело упало к ногам Алима. Кровь брызнула на шаровары.

— Поздравляю тебя, чорбаджи-баша, — услышал Алим голос Нур Али, но не увидел сердара за красной пеленой, затуманившей ему глаза.

Она являлась к нему ночью и всегда говорила: «Казаче, соколик». Эти слова уже не навевали запаха скошенного сена в степи, а только заставляли злиться на упреки совести, которой не должно быть у чорбаджи. И за что упреки? За тот короткий детский сон, который давно рассеялся, который теперь стал совсем лишним?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Прежде чем войти, подумай о том, как выйдешь.

Восточная пословица

За Карантинной Слободой тянется вниз к морю западное предместье Кафы. Весной, когда выпадают дожди, здесь буйно растет бурьян, а летом он высыхает на ветру; трещат без умолку цикады, и лениво выглядывают из расщелин голодные ящерицы.

Дымный воздух дрожит над выгоревшим побережьем, а солнце уже клонится к закату и не так жжет. Из низеньких саклей выбегают бритоголовые татарчата, летят к морю, бросают в воду гальку, визжат, толкаются. На крутом берегу бухты стоит на скале худенькая девочка: ветер растрепал ее длинные волнистые волосы, теребит малинового цвета сарафан, она всматривается в голубые отблески, разбросанные на морской глади, и не слышит крика мальчишек. Серебристый след потянулся за байдаркой — и вот она исчезает за горизонтом; далеко в порту стоят величественные галеры, похожие на сказочных гигантских лебедей, тихо дышит море, едва касаясь волнами прибрежных скал.

Мальчишки знают всех жителей предместья — от самого старого до самого малого, всех турецких дервишей из монастырей, даже ходжей из Слободки, но откуда тут появилась эта девочка с черными волосами и смуглым красивым личиком?

— Кто ты?

Она, не шелохнувшись, смотрит поверх их голов. Что она, незрячая?

— Кто ты такая?

— Я — Мальва, — отвечает спокойно девочка, мечтательные глаза ее опускаются на бритые головы татарчат и излучают синеву, будто они только что зачерпнули ее из моря и щедро возвращают ему.

Мария поджидала дочь у ворот монастыря, нетерпеливо выглядывая ее. Она только что приготовила ужин для монахов, сейчас огласят предвечерний намаз, и снова Мурах-баба будет сердиться, что девочка не приучается вовремя становиться на молитву. Опутал ее дервиш, словно паук муху, и она уже не в силах вырваться.

В тот вечер, когда обе они, перепуганные и голодные, вернулись в монастырь, Мурах-баба повел их в кухню и

бросил им объедки. Мария не прикоснулась к еде, девочка же вылизывала миски, как собачонка, и Мария стала биться в отчаянии головой о каменный пол.

Мурах-баба вышел в сени, приподнял босой ногой ее голову.

— Если аллах пожелает что-нибудь дать, — сказал он, — то он не спрашивает, чей ты сын или дочь. Но только ищущие находят щедрого бога. Поэтому слушай меня, Мариам. Тебе посчастливилось, что сегодня ты встретила меня, божьего человека, слугу Блистательной Порты. Иначе ты погибла бы среди этих шелудивых татар, которые являются пылью ног османов. Я дам тебе приют и хлеб, твоей дочери найду когда-нибудь богатого жениха, и ты будешь купаться в роскоши, которая никогда не могла даже присниться тебе в твоем поганом крае. Но ты должна быть покорной и исполнять завет Магомета-пророка: треть суток спать, треть работать, треть молиться богу. Молиться будешь в монастыре, работать на кухне, а спать со мной.

Мария вскочила, омерзение и возмущение вспыхнули в ее глазах. Мальва вылизывала миску и просила еще.

Мурах-баба опередил Марию:

— У человека двое ушей, а язык один. Дважды выслушай, а раз скажи. Если тебе не нравится моя доброта, я тотчас отпущу тебя, но дервиши нашего монастыря властвуют над душами татар Кафы и не разрешат тебе просить милостыню в городе. А в степи тебя ждет голодная смерть. До осенних дождей ты даже воды там не напьешься, разве что из солончаков. Теперь ты выслушала меня дважды, я жду твоего ответа.

...Мария уже месяц живет у Мурах-бабы на подворье монастыря. Две трети завета Магомета исполняла: варила монахам еду и учила закон божий. От третьей повинности уклонялась. Сказала, что сможет лечь рядом со святым отцом тогда, когда почувствует себя настоящей мусульманкой. Мурах-баба видел ее хитрость и становился все настойчивее. Одно только воспоминание об этом бросало Марию в жар, но она не знает, что ей делать.

А Мальва расцвела. Там, у хозяина-татарина, она редко выходила из-за коврового станка, томилась, желтела, а тут ей приволье. Никто не принуждает ее работать — гуляй по горам и возле моря, только вовремя приходи на молитву и на вечернее обучение.

Мария вглядывалась в сторону моря, и уже в сердце закрадывалась тревога, но вот мелькнула малиновая

юбка, на улицу выбежала девочка с желтыми цветами в руке.

— Что это за цветы, мама?

— Мальвы, дитя.

— Мальвы? Ха-ха! Так это же я — Мальва.

— И ты...

В этот момент закричали муэдзины на минаретах городских мечетей, Мария оглянулась — во дворе уже стоял Мурах-баба, протянув руки на восток. Постелила коврик, и обе замерли тут же, на улице. Мальва молилась, она уже на память знала суры корана. Мария смотрела на землянки на противоположной стороне улицы. Хлева прилепились к саклям, разваленные кирпичные ограды напоминали пепелища, и в огородах не было цветов — нет, нет, тысячу раз топчи крест, никогда не привыкнешь к этой чужой стороне.

— Вырвусь отсюда, — шептала Мария вместо молитвы. — Уйду, хотя ты, боже, и не хочешь этого. Я должна пересадить свою Мальву на родную землю. Какой угодно ценой. А тогда уже наказывай меня, мой боже, за грехи и измену.

Окончилась молитва. Мурах-баба позвал Марию и Мальву к себе в дом. Он снял войлочную шапку с зеленой окантовкой, тапочки, сел, по-турецки поджав ноги, указав рукой на миндер, где всегда садились Мария с Мальвой.

— Во имя бога милостивого, милосердного, — начал Мурах-баба неизменной молитвой. — Обещал аллах верующим сады, в которых текут реки, для вечного успокоения и райские жилища в садах вечности. Я счастлив, дети мои, ибо направляю вас на путь истины. — Он внимательно посмотрел на Марию, которая, опустив голову на грудь, мысленно была где-то далеко от божьей науки. — Сказах аллах: «Поклоняйтесь мне, ибо все вернутся к нам». Ныне я хочу рассказать вам...

— Про Кара-куру, ты же обещал, баба, — попросила Мальва, ей надоело ежедневное заучивание корана на арабском языке, которого она не понимала.

Дервиш недовольно поморщился:

— О злых демонах нехорошо рассказывать на ночь, дочь моя, да еще и людям, которым неведомы достоинства истинной веры. Эти злые джинны всегда окружают нас, но страшны они лишь тем, кто не впитает в свою плоть и кровь самую правдивую и самую справедливую веру Магомета.

Поглощенная собственными мыслями, Мария произнесла вслух:

— Каждый кулик свое болото хвалит... Ляхи то же самое говорят о католической вере, евреи о талмуде...

Дервиш почувствовал издевательский тон в словах Марии, и поток нравственных поучений едва не сорвался с его языка, но Мария опередила его. Подняла голову: губы презрительно сжаты, взгляд пренебрежительный — Мурах-баба еще не видел Марию такой.

— Разве ты, монах, можешь знать, что на свете является самым справедливым? Ты, который так ревностно придерживаешься своей веры только потому, что она дает тебе власть над людьми, вдоволь еды и жен?

— Пусть ветер унесет эти поганые слова из твоего прескверного рта, Мариам, — прошипел дервиш, но потом спокойно продолжал: — Те, которые считают наше учение ложным, не войдут в ворота рая, как верблюд в ушко иглы. Учение Магомета самое справедливое и самое правдивое потому, что оно последнее. Ведь коран не противоречит Моисею, коран признает божественное происхождение Христа, но разве можно сравнить этих пророков с умным пророком Магометом, ибо те давали советы людям только на день сущий, а о дне грядущем советовали только мечтать. Моисей упал на границе ханаанской земли и потерял веру в Иегову, Христа же распяли сами евреи за то, что он велел поклониться идолам. Магомет же сказал: «Когда все народы будут исповедовать ислам, тогда появится посланник бога Махди, который сделает всех людей равными». Ныне бóльшая половина мира признала нашу веру, и недалек тот час, когда все будут равны — от шейх-уль-ислама до моакита *, от султана до цехового ремесленника.

— Ну, ну... — вздохнула Мария. — Но пока что есть сытые и голодные, рабы и хозяева. Твой Махди, очевидно, еще не зачат.

— Когда слушаете коран, то молчите, — может быть, тогда будете помилованы, — повысил голос Мурах-баба. — Сказал же архангел Гавриил Магомету на горе Хире: «Ты последний пророк, и в том, что ты скажешь, никто не посмеет сомневаться. Ты возьмешь из учений бывших пророков единственную сущность — единство бога — и будешь проповедовать идеи божьи, которые тебе одному доступны». Как можешь ты, земной червь, сомневаться? Из уст пророка записали коран его халифы Абу-Бекр, Осман, Омар и Али, и в нем ты найдешь ответы

на все вопросы жизни. На каждый поступок — объяснение и оправдание, если только он не вредит династии Османов, которой суждено нести в мир истинную веру. только умей читать коран, только береги его от лжетолкования, как это делают персы-шииты — враги Высокого Порога. Ибо учил Магомет бороться за ислам мечом, и это его святейшая заповедь. Сказано ведь в сорок седьмой суре: «Если встретишь такого, что не верует, ударь его мечом по шее».

Мальва спала, так и не дождавшись сказки об оборотнях и джиннах, а Мария слушала, и ей становилось жутко от проповеди дервиша.

А что, если все это правда? Неужели мусульманская вера должна стать единственной в мире? И распространится страшная чума по всем странам, и все народы станут похожими на турок... И не будет песен, не будет сказок, не будет огней на Ивана Купалу, гаданий под рождественскую ночь, свободы! Ни у кого не будет ничего своего... Шляхта распяла Украину за православную веру, тоже навязывала людям свою, праведную. Ложь, ее из-за хлеба распинали. Турки захватили полмира — за веру? Нет, из-за наживы. А бог один над всеми — он единственный справедливый и вечный. И он не позволит торговать собой. Придет время — и терпеливый господь не потерпит больше лжи, крикнет менялам и ростовщикам:

— Довольно!

Это крикнула сама Мария и прикрыла рукой уста. Зашаталось пламя свечи, вскочил Мурах-баба, закричал:

— Гяурка! Отступников у нас наказывают не божьей карой, а земной, и ты будешь наказана...

— Не пугай, — поднялась Мария, платок сполз ей на шею, дервиш только сейчас увидел, что эта женщина совсем седая. — Я живу так, как велит твой бог, потому что у меня нет иного выхода. Поэтому наказывать меня не за что. А думать не запретишь мне. И никто не может запретить думать людям — ни ты, ни мулла, ни твой Магомет. Ты говорил, и персы — враги ислама. Так какие же они враги, когда они сами мусульмане? Ты называл и татар шелудивыми, а они тоже исповедуют вашу веру. Так не в боге дело, вам, туркам, досадно, что еще не весь мир находится под вашим башмаком. И поэтому вы, кроме сабли, взяли себе на вооружение еще и коран. И орудуете им так, как это вам выгодно, ибо вы сильны.

Но сила ваша не вечная. Человек силен, пока он молод, а потом слабеет, хиреет и умирает. А если не умел жить с соседями по-человечески в молодости, то в старости соседи не помогут ему и даже не пойдут за гробом!

Мурах-баба растерянно смотрел на разъяренную казачку, которая, казалось, сейчас подойдет и вцепится руками в его горло. Он не ждал такого потока слов из уст убитой горем Марии, какой-то крестьянки из Приднепровья. Попятился — ему еще не приходилось встречать такой умной женщины, ужаснулся, ибо умная женщина может оказаться и ведьмой.

— Кто ты такая... кто? — пролепетал дервиш.

— Полковничиха я! Жена полковника Самойла, который побил вас в пылающем Скутари. У меня в доме гостевали гетманы, государственные дела вершили при мне, а ты... ты хочешь, чтобы я с тобой, грязным и юродивым, легла в постель? Тьфу!

И сникла. Упала на миндер и зарыдала над спящей Мальвой. Голос дервиша прозвучал нерешительно, но угрожающе:

— Говорят правоверные: «Хорошему коню надо увеличивать порцию ячменя, плохому — канчуков».

— От ячменя я отвыкла, к канчукам не привыкать,— вздохнула Мария, взяла на руки ребенка и пошла, пошатываясь, на свой чердак.

Проснулась утром с горьким предчувствием беды. Мурах-бабы уже не было в доме, мелькнула мысль, не задумал ли он худого. Глубоко сожалела, что не сдержалась вчера, все равно ничего не изменится от того, что она сказала правду в глаза. Его не убедила, а себе, наверное, повредила: Мурах-баба будет мстить ей.

Сварила обед на кухне, и, когда дервиши ушли на предобеденную молитву, Мария, спрятав под кафтан свои и Мальвины вещи, ускользнула с дочерью на улицу. Не знала, куда идти, но сердцем верила, что должна ныне встретить кого-то такого, кто даст ей добрый совет. Всюду есть люди, не все же звери.

В переулке возле Круглой башни увидела старика с длинной, седой, как у библейского Саваофа, бородой, в белой чалме и в сером арабском бурнусе. Он не пал на колени, когда муэдзины прокричали призыв к молитве, а только поднял голову к небу, и показалось Марии, что человек этот видит бога. Того бога, которым торгуют все на свете, не зная его, того бога, который является самой подлинной правдой, вечно униженной и бессмертной.

Сейчас он разговаривает с нею с глазу на глаз, советуется, спрашивает.

— Помоги, святой отче, — услышал меддах Омар шепот и опустил глаза. У его ног пала ниц женщина с ребенком. — Тот, кто способен видеть бога, должен знать путь и к моей судьбе, который я не в силах найти.

— Встань, дочь моя, — промолвил Омар. — Я не святой. Я только успел долго прожить на земле. Я исходил все мусульманские страны, посетил каждое село и город в поисках правды не в законах, а в людях. И постиг одну правду — правду человеческих страданий. Это единственное, что не является фальшивым под солнцем. Что породят эти страдания — не знаю: молчит бог. Но если когда-нибудь утвердится счастье на земле, то мудрецы скажут: «Его породило безграничное горе». Какое горе постигло тебя, женщина?

— Я родом с несчастной Украины. Два года была рабыней в Крыму, а теперь гибну от голода на свободе. От своей веры отреклась, надругалась над святым крестом, но этого мало. Чтобы жить, надо еще отдать на поругание свою душу и тело, а это выше моих сил. Я живу у дервишей в монастыре, но не могу вернуться туда. Посоветуй мне, куда пойти, чтобы хоть ребенка спасти от смерти?

— Злой демон водил тебя среди лихих людей. Уходи прочь от них. Аллах вложил в образ человека добро и зло, безбожие и богобоязненность и ведет человечество двумя путями. Ты сможешь найти тех, что идут по пути добра. Пусть бог осчастливит тебя в твоих поисках, поможет найти тебе свет правды. Ищи его не среди богатых, не среди священников-бездельников, а среди тех, которые знают цену зернышку проса. И ни за что не расплачивайся своей верой и совестью. Бог единый для всех народов и воспринимает молитвы из разных храмов и на разных языках, лишь бы только они были искренними, лишь бы только к ним не коснулась грязь корыстолюбия. Уходи из Кафы — этого содома продажности, уходи поскорее, пока грязь не прилипла к чистой душе твоего дитяти. Уходи и не возвращайся больше к тем, кто молится шайтану словами молитвы. За Бахчисараем есть христианское село Мангуш, — возможно, там найдешь себе пристанище.

Целительным бальзамом лились слова мудреца в растерзанную душу Марии. Яснее стал сумрачно-темный мир: есть на этой страшной земле добрые люди, а если

они есть, то не грозит человеку неминуемая гибель. Как будто в темнице, где томилась Мария, вдруг открылось окошко и лучи солнца озарили холодные стены золотыми искрами надежды.

Она припала к руке мудреца, попросила у него благословения и в обеденную пору, когда невыносимо жгло солнце, торопливо пошла с Мальвой колючей степью по бахчисарайской дороге.

Горы остались позади. Они еще манили к себе прохладой дубовых лесов, но впереди стелилась неприветливая, чужая степь, и надо было ее одолеть. Степь выжжена дотла и необозрима, как пустыня; чернеет пыльная дорога, выбитая повозками, копытами лошадей и ногами людей, — кто протоптал ее? Колонны невольников, сама Мария два года тому назад протаптывала ее к рабству. Выведет ли она ее теперь на свободу или замучит, жестокая, жаждой и голодом? Кто встретится ей на этом пути — разбойники, пленники или, может, чабаны, которые напоят Мальву молоком. У Марии есть чем заплатить. В монастырь приходили калеки, больные молить исцеления у монахов, они оставляли в монастыре овец и коз, а ей, кухарке, оставляли несколько монет — мусульмане всегда дают милостыню, как завещал Магомет. В первый день байрама набожные беи выпускают на свободу из клеток птиц, людей же — держат в неволе, не оставил завета об их освобождении пророк.

В степи было безлюдно. Страх наскочить на колонну пленных гнал Марию по бездорожью, там труднее было идти. Колючки протыкали насквозь мягкие шлепанцы и впивались в ноги. Мальва плакала, просила вернуться к доброму Мурах-бабе, она так и не могла узнать у матери, почему они ушли из монастыря.

Изредка встречались им ручейки, которые едва струились по скользким камням и тоже задыхались от жары, но все же у их берегов зеленела трава, здесь можно было помыться, отдохнуть и съесть кусок хлеба.

Ночевали в степи. Еда у них еще была, голод пока что не гнал их в аулы, но Мария знала, что скоро ей придется идти просить милостыню, признаться, кто они, а потом можно наскочить и на какого-нибудь ретивого старосту, который отправит их с ногайцами назад в Кафу. Как и чем она докажет, что отпущена?

Три дня им никто не встречался по пути — словно вымерла Крымская степь. Только орлы-беркуты сидели на скалах, хищно втянув длинные шеи. Поджидали плен-

ников с Карасубазара, после прохождения которых всегда есть чем поживиться — объедками и человеческими трупами.

Двигаться было все труднее и страшнее: запасы еды истощились, худая обувь порвалась. Надо было выбирать: или, рискуя, идти в села, или сделаться поживой для стервятников. На четвертый день, когда Мария уже несла Мальву на плечах, подвязав ее платком, — девочка совсем обессилела, — вдруг донеслось блеяние овец, с севера над степью показалось облако пыли. Мария всматривалась в раскаленный воздух, дрожавший над желтыми стеблями ковыля: на горизонте зашевелилась кора земли, словно неожиданно закипела от нестерпимого зноя. Позади отары ехал всадник, следом за ним медленно двигалась крытая арба, запряженная волами.

К путникам подъехал на легком аргамаке мальчик-татарин в сером доломане, в лохматой бараньей шапке.

— Сабаних хайр олсун! * — крикнул он с седла, к которому, казалось, прирос, и наклонился, чтобы приглядеться к людям, почему-то блуждающим по безлюдной степи. — Кто вы и куда идете?

На сухощавом лице юного чабана, в его глубоких горячих глазах Мария увидела черты тех самых диких ордынцев, которые гнали ее с Украины в Кафу, тех, чье сердце не содрогнется ни от рыданий, ни от крови. Но у этого не было ни сабли, ни лука, которые дают человеку право своевольничать, и, очевидно, поэтому он казался обыкновенным, человечным. Суровые уста и крутой подбородок свидетельствовали о мужестве и храбрости. Если бы у него в руке была не плеть, которой он подгонял волов и верблюдов, а аркан, возможно, он связал бы им женщину и ребенка, чтобы потом продать их на рынке в Карасубазаре, потому что сразу понял, что они не татары. Но это был пастух, а не воин, его с детства учили отличать людей от скота, юноше никогда не приходилось гнать их вместе.

Чабан соскочил с коня и подал девочке бурдюк с кумысом:

— Пей, гюзель.

Мальва с жадностью припала к бурдюку, целительный напиток вернул ей силы, привидения исчезли, девочка слабо улыбнулась и сказала пастуху по-татарски:

— Спасибо, брат.

Юноша звонко засмеялся:

— Гляди, какая татарка! Откуда ты, маленькая гяурка?

В глазах Мальвы появился страх, она вспомнила, как в Кафе мальчишки бросали в них камни, называя этим словом. Обхватила мать за шею, залепетала:

— Я не гяурка, не гяурка!

— Ты не бойся, — пастух погладил ее плечо. — Христиане — люди, мусульмане — люди, чего ты плачешь?

— Я не гяурка, я мусульманка, — не унималась Мальва.

Юноша пытливо посмотрел на Марию. Она опустила руку с бурдюком, промолвила:

— Да, она мусульманка.

— И ты? — недоверчиво присматривался чабан к славянскому лицу женщины.

Мария промолчала.

— Спасибо тебе, добрый хлопче, — сказала после минутной паузы. — Мы идем в Бахчисарай. Продай нам бурдюк кумыса на дорогу и немного сыра. Я заплачу.

Подъехала двухколесная, крытая войлоком арба. Волы лениво остановились возле своего проводника. Сквозь дырявый шатер выглянула молодая женщина в чадре. Из-под плоскодонной шапочки, расшитой золотыми нитками, змейками спускались на плечи тонкие косички. Черные глаза внимательно поглядывали сквозь прорезь в чадре.

— Нам по пути, — сказал юноша Марии. — Мы идем с отарой на яйлы Бабугана и Чатырдага. Садись, подвезем. Фатима, — обернулся он к молодой татарке, — забери их к себе.

Мария не ждала от татарина такой доброты и внимания. Она кланялась юноше, взволнованная до слез, растерянная.

В душной арбе рядом с Фатимой сидел, опершись плечом на вьюки, пожилой мужчина. Он поднялся, уступил место путникам. Мария тихо поздоровалась, хотела улыбнуться женщине, но та сурово посмотрела на нее и не ответила на приветствие.

— Мне лишь бы ребенок отдохнул немного, — виновато сказала Мария. — Мы недолго будем вас стеснять.

Татарка молчала, переводя суровый взгляд с матери на дочь. Старший крякнул в кулак, пробормотал:

— Не разговаривай с ней, она немая.

Марию глубоко поразило несчастье молодой женщины.

— От рождения?

— Да нет... Когда была еще маленькой, как вот твоя, мы кочевали за Перекопом по степи. Однажды на нас напал Сагайдак с казаками. Они жгли и резали все живое. Я спрятался в траве, а мою жену, мать Фатимы, замучили на глазах у девочки. Размозжили бы и ей голову, да не заметили, она спряталась в тряпье. Тогда у нее отнялся язык. С тех пор она ненавидит гяуров, а сейчас смотрит, не принадлежите ли вы к ним.

Спазмы сжали горло Марии.

— Нет, нет, — возразила она, натягивая яшмак пониже подбородка. — Мы... мы из Кафы. В Бахчисарай к родственникам направляемся.

Старик исподлобья, пристально посмотрел на Марию, и от этого взгляда у нее кровь застыла в жилах. «Пропали мы, — подумала она. — Он не верит мне».

— А этот юноша кем вам приходится? — спросила Мария, стараясь быть спокойной.

— Мой сын. От второй жены. Какой-то нескладный. Братья его пошли войной против неверных, а он с овцами возится. К сабле и прикасаться не хочет... А мы вынуждены воевать. Турки заставляют нас идти за пленными, голод всегда донимает, казаки не дают покоя...

«Голод донимает, — горько улыбнулась Мария. — Значит, надо грабить соседа. Казаки не дают покоя! А не из мести ли за таких, как я, напали конашевцы на ваше кочевье и порубили виноватых и невинных? Твоя дочь немая, и моя тоже немая — почти не знает родного языка. А она могла бы петь и водить хороводы у Днепра. Но вы заставили ее забыть песни и родной язык, вы лишили ее купальских венков, из-за вас я должна воспитывать ее татаркой. Разве ты не слышал, как она пугается одного слова «гяурка»?»

Мария промолчала. Теперь она должна была молчать.

За Карасубазаром решили напоить волов в реке. Это страшное место Мария хорошо помнит. Тут ногайцы разрешили невольникам помыться. Черной тогда стала вода, поэтому, наверное, татары и назвали город Кара-су.

— Зуя, — произнес старик, показывая на реку. — Когда ханы переселялись с Эски-Кирима * в Бахчисарай, в пути умерла жена хана Хаджи-Гирея — прекрасная Зуя. Тут похоронили султан-ханым и ее именем назвали реку.

— А теперь из нее скот пьет воду, — сказала Мария. — Люди, превращенные в скот. Вон, — указала

рукой на невольничий рынок. Как раз пригнали пленных, и знакомые вопли и плач вырывались из-за стен города в степь. — Смотрите, кого продают. Не овец, не верблюдов, которых гонит ваш сын на яйлы Чатырдага...

— Да... Это верно... Но ты погляди вон в ту сторону. Видишь гору, похожую на большой стол? Это Аккая. С нее турки сбрасывают татар, которые не желают идти на священную войну. Волк пожирает овцу, овца — траву... Так, видимо, должно быть, женщина. А ты давно тут?

— Третий год, — призналась она.

— Горе всем, живущим на земле, — сказал татарин.

Он больше не заводил разговора с ней, молодая же татарка по-прежнему злыми глазами смотрела то на Мальву, то на Марию, а следом за арбой скакал на аргамаке юноша и напевал песню о красавице, которая ждет его на чаирах Бабугана.

Утром парень приоткрыл войлок, заглянул в арбу и, обнажая в доброй улыбке белые зубы, крикнул:

— Выходите, гяуры, Бахчисарай вон там, за этими холмами. А мы сворачиваем влево. Идите прямо, никуда не сворачивайте — и дойдете до Мангуша. А там — рукой подать.

— Мангуш? — обрадовалась Мария. — Мы как раз это село ищем. Спасибо вам, люди добрые.

Она поклонилась старику, тот молча кивнул головой, обратилась к татарке:

— Будь здорова, красавица!

В ответ послышался злой писк и лепет, Фатима вскочила с места, замахала руками.

— Успокойся, Фатима, — остановил сестру юноша. — Эти люди ничего худого не сделали тебе. Ну, идите. А меня зовут Ахмет! — И, не ожидая благодарности, поскакал за отарой овец, растянувшейся по серой степи, поспешил к зеленому подножию гор. На горизонте в туманной дали плыла, словно перевернутая вверх дном галера, плоская вершина Чатырдага.

Мальва порозовела, посвежела. Подскакивая на одной ноге, она напевала песню, которую недавно пел юноша: об овцах, об ароматных яйлах, о красавице, которая ждет не дождется возвращения из степи молодого чабана.

А с уст Марии невольно срывалась песня, которая неотступно следовала за украинцами, угоняемыми в неволю. Бродила песня по пыльным дорогам Крыма, берег-

ла их судьбу, чтобы не затерялась, не погибла в призрачном видении чужого мира.

Ой, що ж бо то за бурлака,
Що всіх бурлак скликає...

Мальва прервала пение, вопросительно посмотрела на мать:

— Почему ты, мама, всегда поешь эту песню?

— Это твоя колыбельная песня, доченька. Вместе с ней и ты родилась... С ней и умирать должна.

Мальва не поняла загадочных слов матери, она плохо понимала и тот язык, на котором иногда разговаривала мать.

— На каком языке ты говоришь со мной, мама, когда нет посторонних людей?

— На украинском, дитя... На твоем.

— Тут так никто не говорит...

Мария с горечью покачала головой. Боже, боже, какой ценой она покупает жизнь дочери...

Дорога выводила на невысокий перевал и круто спускалась вниз по известняковому белому склону. Дальше тянулась по долине мимо небольших аулов. Мария издали увидела село, спрятавшееся внизу между горами. Догадалась, что это Мангуш, — оно отличалось от татарских. Белели стены, окруженные садами, скрипели колодезные журавли — село приветливо встретило их, и Мария сорвала яшмак. Стояла и любовалась уголком Украины, который как-то забрел в Крымские горы. Правда, есть в нем нечто чужеземное: приплюснутые крыши вместо высоких соломенных стрех, мечеть у подножия горы, каменистая почва вместо рыхлого чернозема, песчаные горы вместо степи, но все-таки повеяло знакомым, родным ветром из чужой долины, и Мария перекрестилась.

Они вошли в село. Возле бурного потока, протекавшего внизу, она увидела толпу мужчин. Они сидели на камнях, курили люльки, беседовали. Вспомнила, что сегодня воскресенье, забыла о нем, празднуя вместе с татарами пятницу. Подошла, поздоровалась. Мужчины, приветливо, но равнодушно посмотрели на пришельцев. Очевидно, новые люди часто появлялись в этом селе.

— Где можно жить? Небо над головой, а земля под ногами. Вон белеют бодрацкие каменоломни. Камень из Бодрака можно брать всем. Есть из чего и хату постро-

ить. А захочешь, сама будешь резать камень для продажи бахчисарайским татарам. Платят хорошо.

Из толпы вышел хромой мужчина с кустистыми бровями и рыжими прокуренными усами.

— Пойдемте со мной, бесталанные земляки, поживете у меня, пока обзаведетесь своим домом. Я каменщик Стратон. Может, и пристанешь ко мне в помощницы. Была бы шея, а хомут найдется. Не горюй, женщина: перемелется, перетрется, и все как-то устроится...

Мария от счастья всплакнула. Неуверенность и страх, которые должна была переживать молча, потому что не с кем было поделиться, остались позади. Она наконец свободна! И не найдет ее ни лютая хозяйка, которая угрожала продать Мальву на кафском рынке, ни коварный Мурах-баба.

А в сердце затеплилась надежда: завтра же пойдет со Стратоном на работу, будет надрываться, работать день и ночь, а заработает денег и купит грамоту. Чудодейственное письмо хана, которое выведет ее к ясным звездам, тихим водам, в край веселый.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пусть на людей ты нагоняешь
страх —
Ничтожен ты пред богом
в небесах.
Не нужно над людьми творить
насилье —
Проклятия людей имеют крылья.

Саади

Утихли улицы, отпировал Стамбул. Разделенный на три части Босфором и Золотым Рогом город изнывал под палящим солнцем, жизнь в нем возвращалась к своему будничному ритму. Галата кишела купцами, бродягами и послами, прибывшими из разных стран на прием к новому султану; бряцало оружие в Скутари — янычары готовились к новым походам; египетские странствующие скрипачи и флейтисты наигрывали печальные арабские мелодии, рассевшись возле кафеджиев в тени платанов.

Ничто не изменилось здесь, хотя необычайные события смерчем тревоги и триумфа пронеслись над столицей империи. По-прежнему раздавался звон в мастерских, как и прежде, на улицах сидели ленивые борода-

чи за кальянами; дымились мангалы под чинарами, кричали в магазинах купцы.

Только в душах людей изменилось что-то, но этого никто не замечал под солнцем аллаха. Слегла Нафиса, но об этом знал только Хюсам. Старый ювелир, как и несколько дней тому назад, корпел над серебряным браслетом, которого никто не купит, и снова думал думу о самом страшном: что будет с народом, когда его охраняют чужеземцы, которым этот народ дал веру и оружие, но не сумел привить им к себе любовь. Но об этом знал лишь один Хюсам. В серале сидела одинокая валиде и придумывала интриги против кизляр-аги Замбула. Тревога избороздила высокое чело великого визиря Аззема-паши: с кем посоветоваться, где отыскать философа, астролога, пророка, который отгадал бы, откуда идет угроза упадка империи, ибо эту опасность он чувствует только инстинктивно, а охватить разумом не может. Алим муштровал янычар. Ненужные воспоминания рассеялись вместе с хмелем. Чорбаджи пожирал глазами янычар-агу, готовый выполнить самое неожиданное приказание. Нур Али, сговорившись с Замбулом, плел свои сети вокруг великого визиря.

Падишах Ибрагим стал царствовать за третьими воротами Бикюк-сарая.

Царствовать... Странное это было слово, которое пока что существовало вне его, независимо от него, где-то за стенами новой разукрашенной темницы, имя которой — тронный зал. Это было всесильное понятие, к которому он, несмотря на коронование, еще не имел доступа. Сила, которая вчера возвысила его, работала помимо его воли и, хотя выдвинула Ибрагима султаном, еще не раскрыла секрета, как управлять ею.

Ибрагим не выходил из тронного зала, боясь, что двери закроются и он не сумеет открыть их снова. Минутное блаженство от роскоши, которая так неожиданно пришла на смену тюремной беспросветности, исчезло. Ибрагим нервно расхаживал по залу, порой прикасаясь рукой к алмазным подлокотникам трона, а в голове не укладывалась и уложиться не могла страшная мысль о шаткости султанского положения.

Узкий коридор вел из тронного зала в библиотеку. Ибрагим нерешительно пошел по коридору. Вдоль стены в низких шкафах лежали книги. Много книг. Они таинственно смотрели на султана пергаментными корешками, оправленными серебром и драгоценными камнями. Мо-

жет, в них Ибрагим найдет совет, может, там написано, как надо управлять государством? Но их так много, а у него столько времени пропало в тюрьме, и он так мало знает! С какой начать? А потом что? Тратить дни, недели, месяцы на чтение, а за стенами дворца раскинулась огромная империя, границ которой он не представляет. Десятки народов живут в ней, а что это за народы? Есть где-то Персия — покоренная, но не уничтоженная, есть и Крым, всегда готовый ужалить змеиным жалом в самое чувствительное место — Кафу; гудит непокорный Азов, а в конце концов — весь мир вокруг враждебный и неизведанный.

Где обрести точку опоры и душевное равновесие? Среди женщин гарема? Он падок к женской ласке, но кто может поручиться, что его не отравит, не зарежет кинжалом какая-нибудь одалиска Амурата? Почему Замбул до сих пор еще не привез новых красавиц? Ибрагима охватила неудержимая похоть, ему вдруг показалось, что, как только он освободит свое тело от мути физических страстей, ум станет ясным и быстрым: сначала он должен почувствовать себя властелином в малом, чтобы уравновеситься, стать наконец нормальным человеком.

— Замбул! — крикнул. Повторил еще громче: — Замбул!

В тот же миг к нему подбежал кизляр-ага со скрещенными руками па груди.

— Ты обещал мне показать гарем. Где же те красавицы, за которыми ты разослал гонцов во все города страны?

— Великий падишах, — промолвил Замбул, — я только ждал твоего приказа. Самые красивые дочери украинских степей, Кавказских гор и знойного Египта ждут тебя в гареме возле фонтана.

— Веди!

Ибрагим оторопел, увидев длинный ряд девушек. Какую же выбрать? Растерянно смотрел то на красавиц, то на Замбула. Прошелся вдоль ряда с платочком в руке, который должен был вручить избраннице, и остановился, загипнотизированный большими черными глазами, в которых не было ни боязни, ни покорности, не было и стремления обольстить.

— Кто ты, как тебя звать?

— Я черкешенка Тургана, а для тебя, султан, буду

шекер *, — ответила девушка, повязывая платочком свою шею.

— О аллах! — прошептал пораженный Ибрагим.

Хозяйка гарема — кяя-хатун — вывела Тургану из ряда, чтобы подготовить для ночи: искупать в ароматных водах, одеть, а вечером ввести в спальню султана...

Умиротворенным и довольным Ибрагим встретил утренний азан. В эту ночь он понял самое главное: свою собственную человеческую полноценность.

Забыв о тронном зале, из которого еще вчера боялся выйти, о тысячах опасностей, которые ежедневно подстерегают султана, Ибрагим вышел из дворца и полной грудью вдохнул свежий воздух. Пышный сад протянулся по склонам от Золотого Рога вдоль Босфора до самого Мраморного моря. Стрелы кипарисов выстроились над плоскими кронами ливанских кедров, над проливом кружились чайки, провожая галеры, отправлявшиеся в дальние края.

Оглянулся назад и вздрогнул от удивления: карлики — Ибрагим даже не ожидал, что они идут следом за ним, — упали ниц на землю от одного только султанского взгляда! Очевидно, у него все-таки есть власть.

Ибрагим шагнул к карликам, и они попятились назад. Это понравилось султану. Но жалкие людишки, лежавшие у его ног, показались ему слишком малыми, его власть должна быть намного сильнее. «Как убедиться в этом?» — рассуждал султан. Посмотрел на высокие стены, провел глазами по аллеям и в беспомощности ударил в ладони.

И вдруг свершилось чудо.

Из дверей гарема бежал церемониймейстер. Капу-ага, запыхавшийся, упал перед султаном на колени. Смотрел Ибрагиму в глаза и ждал приказаний. Ибрагим нерешительно ударил в ладоши еще раз. Это повторил капу-ага громче — теперь уже мчался по аллее начальник султанской свиты, алай-чауш, и поклонился в пояс. Ибрагим продолжал бить в ладоши, этот жест повторял за ним капу-ага, и из недр дворца выбегала прислуга, и султан удивился, что ее так много. Перед ним стояли — кто склонившись до земли, кто на коленях, кто лежал пластом на земле — какой у кого чин: янычары, спахи, бостанджи и капиджии *, портные, сокольничьи, кубкодержцы, стремянные, меченосцы, поясничие, повара, немые, городничие — сотни верноподданных людей окружили его одного.

Так вот где ключ к власти. Хлопнет он в ладони еще, и еще, и сотни раз — вся империя поднимется, заработает без него, но по его сигналу.

Ибрагим почувствовал, как наливаются его мускулы, расправляется хилое тело, наполняется гордостью искалеченная душа, — покорность этих людей дала ему уверенность и силу. Впервые за время своего султанства он изрек никем не подсказанные слова. Вначале тихо, потом смелее и смелее, наконец голос его громко зазвучал в стенах дворца:

— Я — властелин трех частей света, пяти морей, страж святых мест Мекки и Медины, владыка Стамбула, Каира, Дамаска, Багдада!

— Да, эфенди! — ответили ему хором.

— Амурат погиб потому, — продолжал Ибрагим, — что был трусом и бездарным полководцем, а я ваш вождь, знаменитейший, мудрейший... — и здесь султан запнулся. А что, если на это шутовство ответят молчанием или кто-нибудь скажет: нет! Что тогда?

— Мудрейший из всех султанов! — закончили за него.

Ему показалось, что над ним засиял нимб невиданного могущества, он смело шагнул вперед. За Ибрагимом поворачивались слуги и падали ниц. И султан подумал: пройдет он вот так пешком через всю Анатолию и Румелию, все народы так же падут перед ним на колени.

А так ли это? У кого спросить? Всматривался в лица своих слуг, но никого из них не знал, только одна пара глаз поражала его преданностью, усердием, мольбой. Это были глаза Замбула.

Султан взмахнул рукой. Жест, по-видимому, был удачным, потому что вдруг все исчезли, и перед ним остался лишь один отвратительный кизляр-ага с желтыми редкими зубами, он льстиво сказал:

— Звезда блестящая, ослепляющая глаза, высокий царь над царями, держащий в своих руках весь мир, я приветствую тебя!

Ибрагим оборвал красноречие Замбула, подал знак рукой, чтобы тот поднялся, кратко произнес:

— Рассказывай обо всем, что тебе известно.

У Замбула заблестели глаза, он не сумел скрыть своей радости под маской смиренности. О, как только удастся выполнить поручение Нур Али, Замбул станет самым богатым человеком в мире. Янычар-ага обещал дать ему галеру золота из сокровищницы Эдикуле, если будет

убран великий визирь Аззем-паша. Визирь, который пережил двух султанов, самый влиятельный человек в империи. Самое главное — вызвать у султана подозрение, а потом цепь недоверия опутает визиря и в конце концов сомкнется на его шее. Пусть вместо него будет Нур Али или сам шайтан — Замбулу все равно. Ему нужны деньги, за которые в далекой священной Медине он купит землю и в роскоши будет доживать свой век.

Кизляр-ага начал издалека. Он вытащил из рукава свиток и развернул его. На нем были записаны имена некоторых из слуг.

— Не все твои слуги, великий падишах, рады тому, что мудрейший из султанов взошел на престол, — льстиво начал Замбул. — Он тыкал пальцем против имен, и Ибрагим равнодушно давал согласие на смерть незнакомых ему людей, которым после обеда отсекут головы на султанской конюшне.

Замбул становился смелее. О, это уже многое значит, коль султан слушает его. Он свернул свиток, отошел на несколько шагов назад, не сводя глаз с Ибрагима.

— Ты еще что-то хочешь сказать, Замбул?

— Пусть гнев моего повелителя падет на мою голову, я был бы счастлив умереть от его руки. Великий визирь Аззем-паша...

Султан насторожился, и это не прошло незамеченным главным евнухом. Замбул опустил глаза, умолк. Не много ли он позволил себе сегодня?

Ибрагим впервые почувствовал, как им овладевает гнев повелителя. Бледное лицо его налилось кровью, он подошел к дрожащему евнуху:

— Что тебе известно о нем?

— Он... он правил государством при Амурате и верно служил ему. Аззем-паша не радовался, когда провозгласили тебя султаном...

Об этом догадывался Ибрагим. Но лишить государство властителя было бы равносильно самоубийству.

— Что известно тебе, Замбул, о его нынешней неверности моей особе?..

— Нет, нет... Мне ничего не известно...

— А кто тебе посоветовал вызвать у меня подозрение к визирю? — закричал Ибрагим.

Кизляр-ага в притворном страхе упал перед султаном на колени, бормоча:

— О, прости, великий!.. Я сам... По своей безгранич-

ной преданности тебе. Амурат относился ко мне хуже, чем к псу, валиде пренебрегала мной — все это только из-за того, что я выразил свое сожаление о младшем брате Амурата, когда... А великий визирь оскорбил мою безграничную любовь к тебе своим холодным безмолвием в то время, когда весь Стамбул, вся страна торжествовала.

Лицо Ибрагима стало добрее. Он еще был чувствителен к льстивым словам, ведь всего несколько дней отделяют темницу от трона. Если Замбул когда-то сочувствовал Ибрагиму, то теперь он станет его верным псом. Султану нужны слуги. Ударять в ладоши он научился, выполнять приказы будут доверенные люди.

— Живи, Замбул, — произнес. — Ты ныне получишь от дефтердара подарок за верность. Но если вздумаешь помышлять об измене, не надейся, что это утаится от меня. И тогда я велю выбросить твою голову за ворота сарая... А теперь позови ко мне великого визиря. Я жду его...

Ибрагим волновался, ожидая прихода Аззема-паши. Сегодня он почувствовал свою власть над слугами, как же он должен вести себя с умом, управляющим государством? Что у него есть против этого сильного человека? Шелковый шнур, меч?.. Но для этого оружия еще не пришло время. А что еще?

В возбуждении бегал по тронному залу, ломая пальцы. И вдруг натолкнулся на седобородого человека с умными глазами. Удивительная улыбка, как у отца, что снисходительно глядит на капризного ребенка, заиграла на губах великого визиря и вмиг спряталась в усах и бороде.

— Слушаю тебя, султан.

Ибрагим затопал ногами и, сжимая кулаки, завопил:

— Я заставлю, заставлю всех слушать меня и ползать передо мной на коленях! Слышишь, я заставлю!

— Непонятен мне твой гнев, султан, — спокойно ответил визирь. — Разве кто-нибудь из государственных мужей уже успел проявить непослушание твоей особе?

Ибрагим сел на трон, вытер платком пот с лица.

— Ты моя правая рука, — заговорил он спокойно,— но вместо помощи я слышу от тебя унизительные для меня нравоучения и, если хочешь знать, чувствую с твоей стороны пренебрежительное отношение к особе султана.

Аззем-паша опустил голову, и Ибрагим обрадовался,

что ныне покоряется ему и великий визирь. Но не слова покаяния донеслись до слуха султана, а речь, которая заставила бы каждого в Турецкой империи задуматься, насторожиться, испугаться.

— Наше государство намного больше, чем султанский дворец, Ибрагим. И поэтому оно дорого не только семье Османов, а каждому турку. Крепко сколотил наше государство Магомет Завоеватель, а Сулейман Законодатель одел его в золотую парчу. Но его пышные одежды расползаются по швам. И от этого болит моя седая голова. Султаны меняются, государство остается. А кто же позаботится о нем, как о своем собственном доме? Янычары, которые дерут с него лыко и думают лишь о своем благополучии, прикрываясь верностью султану и корану?

— Что ты говоришь, Аззем-паша? — насторожился Ибрагим. — Не смей порочить янычар... Это устои...

— А если эти устои больше не выдерживают испытания временем, султан, не лучше ли выбросить их в мусорную яму и посмотреть, как поступают другие народы? Нет, ты не пугайся... Это только мои соображения...

Ибрагим успокоился. А, это его философские рассуждения. На твою, визирь, и на мою жизнь хватит того, что есть... А придут другие, пускай думают...

— Но я должен рассказать тебе, — продолжал Аззем-паша, — не о своих соображениях, от которых голова идет кругом, а о другом, что является более важным на сегодняшний день. Казна пустеет, и надо думать о том, где взять денег, чтобы не ходить к соседям за милостыней. Если и дальше ты будешь платить так янычарам, то вскоре нам придется срывать золото с султанских надгробий.

Ибрагим напряженно думал, что ответить визирю, чтобы блеснуть перед ним умом, и неожиданно засмеялся, победно, злорадно.

— Великий визирь, аллах дал тебе змеиный ум, а хитрости змеи пожалел. Ибо знает и ребенок: джихад дает турецкому народу и султанской казне золото! Азов не взят, войска изнывают от безделья, а ты предаешься размышлениям, не угодным ни богу, ни султану.

— Пойдем в поход на Азов. На следующий год, весной, я пошлю туда султанские и ханские войска. Но не в этом дело, султан, от победы или поражения под Азовом положение не изменится. Надо подумать о том, почему нет доходов из глубин нашей империи. А ждать

трудной минуты, чтобы добиться благосклонности подданных, одарив их награбленным добром, — это большая ошибка. Если народ станет жить лучше за счет награбленного, он будет благодарить не тебя, а твоего врага.

Ибрагим позеленел от гнева. Этот старец разговаривает с ним, как с отроком. Но, к счастью, в памяти султана всплыла старая пословица, и он тут же выпалил ее, заранее радуясь победе в словесном поединке:

— Пророк сказал: «Голове — думать, рукам — исполнять, а языку — хвалить бога». Султан подумает, подданные выполнят, а имамы вымолят у аллаха для нас удачу. Можешь идти, визирь.

Аззем-паша поклонился и промолвил:

— Хорошая пословица, Ибрагим. Но велика печаль, когда прославляют бога все, даже те, которые не верят в него, рук для работы маловато, а голов, чтобы думать, не ниспослал нашей стране аллах.

Он не смотрел, какое впечатление произведут его слова на падишаха. Повернулся и ушел, гордо подняв голову. Знал — недолго ему носить ее. Какая от нее польза, если она уже не в силах помочь государству, которое он сам строил, укреплял, веря в его великое назначение на земле. И равнодушие охватило его душу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

> Когда услышите крик ослов, просите защиты у аллаха, ибо ослы кричат, когда увидят шайтана.
>
> *Из хадисов*

Лет тридцать или сорок тому назад греки оставили село Мангуш и поселились в пещерах Марианполя напротив Успенского собора возле Чуфут-кале. Древнюю церковь Успения они назвали крымским Афоном, направили сюда священников и монахов, а позже к ней потянулись все христиане Крыма. Даже ханы относились к святому месту с каким-то суеверным страхом. Некоторые из них, отправляясь в поход, будто бы даже ставили возле иконы Марии свечи.

Греческие священники рассказывали, что основал собор апостол Андрей, остановившись в Крыму по пути из Синопа в Скифию. Проповедник учения Христа, который позже на днепровских холмах установил крест,

заезжал в Херсонес, окрестил его и, двигаясь дальше на север, увидел вблизи нынешнего Бахчисарая пещеру, пробитую подземными водами. Над входом в пещеру на скале он повесил чудотворную икону богоматери и освятил это место.

Греки построили здесь собор и провозгласили отпущение грехов в день успения святой Марии, а Мангуш опустел.

Но ненадолго. В укромную долину среди гор, где журчит ручей со студеной водой, пришел хромой парень Стратон — отпущенный невольник из Карасубазара. Его взяли в плен на Украине, когда он был еще подростком. Ему посчастливилось: из-за хромоты Стратона не взяли ни в янычары, ни на галеры, его купил на базаре богатый барынский бей, чтобы ходил за лошадьми. Уплатил он за него немного, а взял себе работника с золотыми руками. Очевидно, Стратон родился конюхом — бейские аргамаки в его добрых руках стали сытыми, резвыми. Кроме этого, он знал столярное ремесло — научился у отца, а у матери-знахарки — разбираться в целительных травах.

Наверное, Стратон никогда не увидел бы свободы, если бы не случай. У бея заболел сын — единственный наследник. Когда уже все знахари предрекли ему смерть, к бею зашел Стратон и сказал, что излечит больного, но в оплату за это потребовал свободу. И произошло чудо: барынский наследник выздоровел от чудодейственных трав, а бей сдержал свое слово.

О возвращении на Украину Стратон даже не мечтал. Пропал конь, так и узду брось... Его хату разрушили на его глазах, стариков отца и мать убили — к кому он вернется? Некоторые убегали, пробираясь через Сивашские болота, но Стратон даже не пытался. На таких ногах, как у него, далеко не уйдешь, вот и довольствовался той свободой, которую обрел. А здесь не пропадет — он мастер на все руки.

Прошел по степи, но нигде не нашел местности, которая могла бы скрыть его от злого глаза. Степняка манили к себе горы. В опустевший Мангуш забрел случайно. От греческих поселений остались лишь груды развалин, заросшие бурьяном, да следы огородов, — Стратон остановился, не понимая, почему люди покинули такую благодатную долину. Окинул глазом мастера белую скалу, которая виднелась над рекой Бодрак, и подумал,

что греки — неразумные люди. Этот камень, сумей только его срезать, принесет богатство.

Стратон знал татарский земельный закон по шариату *: кто оживит мертвую землю, тому она принадлежит на вечные времена. Если ты выкопал колодец на пустыре, то имеешь право владеть землей вокруг на расстоянии сорока шагов во все четыре стороны света, посадил дерево — на пять шагов, а если нашел проточную воду — так даже на пятьсот.

Ручей Стратон назвал по-татарски Узенчиком, огородил участок земли камнями, сделал железный шпунт и начал резать бодрацкий камень. На деревянных полозьях таскал его в Бахчисарай и продавал армянам; добротный строительный материал заметили и татары. Вскоре к Стратону в Мангуш наведался один бахчисарайский мулла, чтобы договориться с ним о поставке камня для строительства мечети. Вот тогда и посыпались деньги в его карман: он купил себе лошадь, построил дом. И со временем начали стекаться сюда бывшие невольники со всех концов Крыма.

Не замедлил проведать Стратона и собственник земель, окружающих Бахчисарай, неудачливый яшлавский бей. Среди всех крымских — самый бедный. Ширины захватили плодородные земли, что лежали возле Кафы, и таможню кафского рынка. Ширинский бей диктовал свою волю хану, и перед ним расступались часовые, когда он въезжал в ханский дворец. Мансуры владели доходным Перекопом, Барыны — невольничьим Карасубазаром, а Яшлавы, примостившись возле ханского порога, прозябали на необжитых холмах, которые не приносили никакого дохода.

Узнав о дорогом бодрацком камне, который открыл Стратон, бей получил у хана грамоту, которая разрешала свободным христианам селиться в Мангуше, а чтобы неверные не стали чересчур своевольными, приказал окружающим татарам переселиться в новое село.

Новый Мангуш вырос в течение нескольких лет. Вскоре появился в селе татарский староста. Сборщики податей взимали подушный и земельный налоги от хозяйств и каменотесов, вот и потекли круглые алтыны к Яшлаву, а в Бахчисарае вырастали новые дома и мечети из бодрацкого камня.

Кое-кто шел к Стратону обучаться каменному делу, другие разрабатывали свой карьер. Татары не работали

в каменоломнях — они предпочитали торговать овощами на бахчисарайском базаре, — возможно, поэтому между мусульманами и христианами никогда не было вражды и столкновений. Татар в Мангуше было немного. Расселились они вперемежку с украинцами и по-соседски жили дружно, словно никогда и не враждовали между собой эти народы. Только странное дело: украинцы, которым вначале казалось, что в этой долине их никто не найдет, вдруг почувствовали себя квартирантами в чужом доме и начали приспосабливаться к хозяевам. Умерла песня, которая звучала по вечерам в селе, — ведь мусульмане не выходят из своих жилищ после заката солнца; на улице все реже слышалась украинская речь, в присутствии татар они не могли разговаривать на родном языке: татарки враждебно относились к девушкам и молодухам, которые ходили с открытыми лицами, поэтому, отправляясь на базар в Бахчисарай, украинки закрывались чадрой, чтобы не злить правоверных.

Стратон болел душой, видя, как татары постепенно подавляют их родные обычаи — незаметно, украдкой, без шума, и задумал построить церковь; может, она напомнит людям об их родине. И как раз очень кстати появился в Мангуше бывший запорожский дьяк — будет кому отправлять богослужение. Посоветовались старшие и начали строить церковь сообща. Староста не возражал, но когда уже возводили купол, он прискакал на коне и закричал:

— Минарет!

У людей опустились руки. Где же это видано, чтобы в мечети воздавали хвалу христианскому богу? Захирело строительство. А потом подоспела молодая поросль, которой уже было безразлично, какому богу молиться. Татары возвели на недостроенной церкви минарет, и теперь с него мулла призывает гяуров исповедовать магометанскую веру.

Стратона мучила совесть: своими руками сотворил неугодное богу дело. Он перестал продавать камень бахчисарайским имамам, и заработки у него уменьшились. А сердце сжималось от боли. Все больше и больше ходит людей по пятницам в мечеть, а Успенскую церковь посещают по воскресеньям только старики. Все меньше и меньше слышится родная речь на улицах, сам Стратон разговаривает по-татарски, разве что иногда в престольный праздник в гостях отведет себе душу родной песней. Это единственное, что осталось у него. Татары не воз-

мущаются, когда слышат украинские песни, даже сами иногда поют казацкие думы.

Стратон старел, и тоска по родному слову, человеку, который бы разговаривал на живом родном языке и не дал бы забыть его, все больше и больше терзала душу.

Из года в год приходили в Мангуш люди, отпущенные на волю, а то и беглецы, но все они были какие-то надломленные, равнодушные. Они отрекались от своей веры, чтобы не платить подушное. Налог на мусульман — ушр — был намного меньшим. Стратону порой хотелось покинуть чужую землю, перейти через Сиваш, но вспоминал о шляхетской неволе в родной стороне и оставался на месте.

Когда он потерял всякую надежду вырваться отсюда, в селе появилась усталая красивая женщина с ребенком. Она заговорила с ним на чистом, не исковерканном татарщиной языке, который он слышал только в детстве. И его грудь всколыхнуло чувство боли и радости, тоски и счастья. Значит, не все погибло, есть еще люди на свете. Приютил скитальцев, накормил да и сам как-то сразу помолодел, словно свою родную семью нашел в изгнании.

В Мангуше Марии жилось неплохо. Какое-то время они с Мальвой жили в просторной светлице Стратона, но Мария не хотела стеснять его, начала рядом с ним возводить себе хату. Стратон помогал ей так усердно, словно делал все для себя. Не раз задумывалась Мария над тем, почему так добр к ней этот пожилой рыжеусый мужчина, но догадаться было нетрудно.

Мария посвежела, расцвела последним цветением ее красота, ради которой когда-то запорожский казак Самойло покинул Сечь. А теперь молодица приглянулась Стратону. Каменотес полюбил ее. И подумала Мария о том, что придется им доживать век вместе. Ведь их свела на чужбине одинаковая судьба, которая в пепел превратила — перемолола все то, что когда-то было дорогим для них. Но одно останавливало ее — Стратон не собирался возвращаться на Украину: «Там каша с молоком, где нас нет», — говорил он. А Марии страшно было и подумать о том, что ей придется состариться и умереть на чужбине, в Крыму.

Мария приняла к себе Стратона, стала его женой, но венчаться в Успенской церкви не захотела.

— Добрый ты, Стратон, полюбила я тебя. Но все-

таки я оставлю тебя. Ты будешь помирать тут, а я на Украине.

Стратон полюбил Мальву, как родную дочь. Мария советовалась с ним, как быть с ребенком. На зыбкую почву детской души упали слова чужой веры, она дала ей покой, первую детскую радость и хлеб. Думала, что тут, в Мангуше, среди своих людей девочка забудет то, чему учил ее коварный Мурах-баба, но как она забудет, если тут почти все разговаривают по-татарски и посещают мечеть. Можно было бы запретить посещать мечеть, но ребенок скажет кому-нибудь об этом, дойдет до старосты, а тогда уже и не надейся, что он подтвердит хану, когда придется покупать грамоту, что она мусульманка. А чужая вера и язык так глубоко врезались в сознание девочки, что она не умеет даже думать на родном языке, хотя и понимает его. Иногда разве передразнит Стратона или Марию и засмеется — глядите, мол, и я умею по-вашему.

— Умрем мы, Мария, и вместе с нами погибнет все,— с горечью сказал Стратон. — Там ополячивание. Тут — татарщина.

В половине августа, накануне престольного праздника, когда в Успенский собор стекались со всех концов Крыма христианские паломники, Стратон воспрянул духом.

— Пойдем и мы на престольный праздник, — сказал он. — И Мальву возьмем с собой. Пусть услышит она праведное слово, может быть, небольшое зернышко упадет в ее душу и когда-нибудь даст свои всходы. Учение в детстве — что резьба на граните, говорят имамы.

До сих пор Мария никуда не выходила из Мангуша, кроме как на каменоломню. Тревожная радость охватила ее: неужели это правда, что здесь, на чужбине, существует православная церковь, куда свободно ходят люди, и священники, облаченные в ризы, воздают хвалу Христу?

— Как же это так, Стратон? Когда они налетают на украинские села, камня на камне не оставляют от церквей. А тут, у стен Бахчисарая...

— Все это не просто, — пояснил Стратон. — На наши земли они идут войной, а войны им завещал Магомет. Здесь они живут мирно, детей растят, урожай собирают и поэтому суеверно боятся гнева нашего бога. Слишком много христиан в Крыму, есть кому вымолить у бога мщение, если бы они осмелились разрушить храм.

Татары ведут хитрую борьбу с нами на своей земле. Они не церкви разрушают, а души людские. Зачем, думаешь, дервиш так усердно старался обратить вас в мусульманскую веру? Затем, что, когда не станет в Крыму ни единого христианина, тогда им и храмы будут не страшны. Бог без паствы — бессилен. А ее становится все меньше и меньше...

...Мальва бежала впереди Стратона и Марии, останавливалась и, разрумянившаяся, переспрашивала каждый раз:

— Мама, в Бахчисарае сам хан живет? И мы его увидим? Самого хана увидим?

Мария молчала, но Стратон не утерпел:

— Дитя, не к хану, а к Иисусу мы идем в Бахчисарай.

— А кто такой Иисус?

— Наш бог...

— Ваш? А он отличается от аллаха? Мама, а хан такой же сильный и могущественный, как аллах?

Мария прижала к себе Мальву и строго сказала:

— Выбрось из головы, доченька, всяких ханов. Из-за них мы страдаем и горе мыкаем.

— Неправда, мулла говорит, что он наместник бога. Я хочу увидеть хана! — уже капризничала девочка.

— Нам, бедным людям, лучше бы не видеть его...

— Но ведь мы станем богатыми, ты сама говорила.

— О, тогда нам не нужен будет никакой хан. Тогда мы вернемся на нашу Украину.

— Зачем, разве тут плохо?

Мария не ответила. Толпой вливались люди в ущелье Мариам-дере, и тревога охватила сердце Марии, будто перед встречей с родным домом после долгой разлуки. Лихорадочная дрожь пробегала по всему телу. Мария судорожно сжимала руку Мальвы. Забыла о Стратоне, пробиралась вперед среди людей, поднималась по склону к пещерам Марианполя, чтобы оттуда увидеть чудотворную икону на скале: она единственная может принести ей спасение.

Люди стояли и набожно всматривались в противоположный край ущелья. Мария пробилась вперед, она уже увидела окна пещерной церкви, святых отцов в ризах, но ее, спасительницу, еще не отыскала глазами. Поднялась на камень — увидела. Это не была обычная икона божьей матери, которую Мария не раз видела в церквах. Со скалы на толпу обездоленных людей смотрела

печальная женщина с ребенком на руках. Рядом с нею стояли двое молодых мужчин с нимбами над головами, и они совсем не были похожи на святых, скорее на взрослых сыновей этой скорбящей матери.

Мария смотрела на нее и не слышала, что говорил ей Стратон, не слушала лепета Мальвы. Нет, это не чудотворная икона, это обыкновенная женщина со взрослыми сыновьями и грудным ребенком на руках... Как ей удалось, как ей удалось?.. Мария вдруг всхлипнула, она упала лицом на землю и застонала:

— Ты уберегла! Ты уберегла!

Стратон поднял ее, Мальва заплакала, испугавшись материнского отчаяния, и тут загремел хор, пение которого заполнило всю долину, весь мир, и люди стали подтягивать на разных языках и на один мотив:

Пресвятая богородица,
Спаси нас!

Эту молитву Мария слышала не раз, сама пела ее, хотя и не знала, почему просят: «Пресвятая богородица, спаси нас».

— Пресвятая богородица, спаси нас! — эхом разнесся по ущелью Мариам-дере вопль отчаяния, молитва взывала к небу, повторялась настойчиво, без конца, и, казалось, не выдержит многотерпеливый бог. Обрушится небо, содрогнутся горы, сойдут со скалы взрослые сыновья святой женщины, станут по двое возле каждой осиротевшей матери и выведут матерей к ясным звездам, на тихие воды, в веселый край.

Пресвятая богородица,
Спаси нас!

Этого не произошло. Нерушимо стоял ханский дворец, окруженный в этот день утроенной охраной, выстроились двойной цепью у входа в ущелье ханские сеймены, громче, чем когда-нибудь, горланили муэдзины на минаретах, и подневольные люди возвращались обратно в свои дома, но их будто становилось больше, все они как бы становились сильнее, а их бог могущественнее.

Молча возвращались домой Стратон и Мария с Мальвой. Стратон умиротворенно улыбался, увереннее чувствовала себя Мария, и уже не щебетала Мальва — тихонько шла рядом, словно став взрослее.

Скупая, малоснежная зима отступила, чуть только пригрело первое весеннее солнце, не напоенная еще с прошлого года жаждущая земля задымила вихрями пыли, порыжело Мангушское взгорье. Голод подкрадывался из степи к горам, стучался в жилища людей. Обмелел бурный Узенчик, уже не хватало в нем воды для полива грядок, в ложбине с утра до вечера стояли дети с кувшинами, не успевая принести воды для питья.

Только у берега реки и в ущельях зеленели сочные каперсы, цвели белым цветом, и женщины слонялись у подножия гор, собирая еще не распустившиеся бутоны для соления.

Отчаянно кричали ослы. Суеверные татары, услышав их крик, падали на колени и шептали слова молитвы, и христиане стали молиться богу — всем угрожал голод.

Мария вернулась с бахчисарайского базара усталая, поникшая. Цены неимоверно подскочили! За бешур * проса — двадцать алтын. Ничего еще, если просо, которое купила весной и посеяла возле хаты, вырастет. Но где там, сохнет на корню, а на каперсах не проживешь. Надо что-то делать.

Мария, работая у Стратона, скопила за зиму немало денег. Он выплачивал ей за труд, как чужой, хотя на самом деле чужим для него стал собственный дом — все свободное от работы время оставался у Марии.

— Стратон, — сказала ему однажды ночью, — чувствую я, что тяжело мне будет жить в старости без тебя. Давай складывать деньги, — может быть, обоим удастся когда-нибудь купить грамоту. Что тебя тут удерживает?

— Безнадежность, Мария... Это страшное чувство, но заполонило оно мне душу до краев. И сердце словно из войлока, и руки точно из глины. Я не вижу на земле такого места, куда стоило бы стремиться, претерпевая всякие лишения. А тут есть хоть частица того, что не позволяет мне потерять себя. Пойду в Успенский собор, и кажется, что увидел и Днепр, и степь на Украине. У меня есть работа и есть где коротать дни. И ты, Мария, пришла ко мне. А уйдешь — помру, если бог ниспошлет смерть. Но идти куда-то — куда идти? Из одной неволи в другую, еще худшую? И зачем? Прикидываться все время мусульманином, губить свою душу, чтобы потом шляхта посадила на кол. Ну, ты как знаешь. А в церковь больше не ходи, староста уже знает, что ты была на престольном празднике. Он все мотает себе на ус.

Иди теперь, искупай христианский грех в мечети. Ой, сумеешь ли откупиться...

Думала-передумывала Мария, но не могла смириться с тем, что ей тут придется умирать. Кривит душой, но зато есть надежда, а без надежды зачем жить, даже со своим богом... Не тут, ой не тут расцветать молодой Мальве. Ведь по ней на Украине тоскует Купала, и высокие сестры-мальвы выглядывают ее из-за тынов. Оставлю я тебя, Стратон, мой добрый голубь...

Но как заработать столько денег? Расспрашивала у людей — говорят: нужно пятьсот алтын, да еще и старосте взятку, чтобы подтвердил, что она мусульманка, а голодное время перед жатвой вытягивает из кармана монету за монетой. А им цена — свободная степь на Украине и безоблачное синее небо. Налог душит: кроме земельного и подушного, обложили новым — на вооружение, хан Бегадыр-Гирей готовится в поход на Азов. О боже, как вырваться отсюда, чтобы хоть своим кровавым трудом не помогать им опустошать христианские земли! Недоедала и в мечеть ходила для вида, а дома замаливала грех и опускала глаза перед Стратоном.

Мария принесла из Бахчисарая ужасную новость. Одна многодетная татарка из Карачора продала на рынке своего старшего сына, чтобы на полученные деньги кормить четверых младших. Страшно стало Марии. Как дожить до зимы, чтобы хоть то, что собрали, не растратить за лето? Может, на следующий год будет легче?

Зашевелилась крымская степь, почуяв голод. Чабаны гнали голодный скот в горы, хан Бегадыр-Гирей готовил полки для наступления на Азов. И все из-за хлеба.

Однажды Мария сказала Стратону:

— Пойду я в горы с Мальвой. Наймемся доить овец. Как-нибудь прокормимся летом, а может, еще и сыру принесем на зиму.

Мальва захлопала в ладоши от радости:

— Мама, там мы Ахмета встретим! Он такой добрый!

На следующий же день они отправились в путь по знакомой тропинке, которая вела на яйлы Чатырдага. Возможно, в этот же день они добрались бы до какого-нибудь стойбища, но внимание Марии привлекло необычное движение по торной дороге. Черной вереницей тянулись к Ак-мечети войска.

Очевидно, двинулись на Азов.

Сама не знала, почему свернула с полевой тропки, подошла к дороге... Сердце учащенно забилось, но Ма-

рия подходила все ближе и ближе, всматривалась в лица воинов, и почему-то ей хотелось, чтобы по этому пути проследовало сегодня все татарское войско.

Грозные полки шли завоевывать земли для турецкого султана. Впереди ехал хан со своей свитой. Красное, с золотым яблоком посреди, знамя развевалось над его головой. В тяжелой кольчуге и высоком шлеме с острым наконечником, он старался величаво держаться на коне, в руках у него щит и пернач, но тяжелыми, видимо, были ханские регалии — Бегадыр-Гирей задыхался от жары. Следом за ним вели десять белых коней, связанных за хвосты, на буланых аргамаках ехали Ислам-Гирей и младший брат хана. Два десятка закованных в стальные панцири сейменов шли рядом с ханскими советниками.

Ислам-Гирей, как видно, мысленно уже скакал по полю брани: широкие брови сошлись на переносице, раздвоенная борода выдавалась вперед, хищным казался горбатый нос. Не слишком ли медленным был для него этот марш? Ему, видимо, хочется пришпорить коня и обогнать хана, который изнывает в кольчуге, но он должен сдерживать себя и ехать на почтительном расстоянии от него. Рядом с ним в такт конским копытам шагают сеймены, лица у них грозные, каменные, напряженные — поскачет хан, ринутся и они в победный бой или на смерть. «А во имя чего? — думает Мария. — Ведь глаза и лица у вас не татарские и не татарская мать вас родила?»

Мария присматривается к каждому сеймену...

— Это, наверное, хан, мама, — робко показывает Мальва на Ислам-Гирея.

— Цс-с... зачем тебе этот хан, дитя...

Вот идут — один, второй, десятый — верные ханские слуги. Остроносый смуглый кавказец, кудрявый болгарин, черный как смоль мавр, а возле него — и, кажется, застывает глубоко в груди материнское сердце,— а возле него плечистый, белокурый приднепровский юноша... Кто ты, кто ты, кто ты? Чей ты сын, кто твоя мать?..

Мария мысленно умоляет воина, чтобы он посмотрел в ее сторону, поднял опущенные веки, ей хочется увидеть его глаза.

Но белокурый сеймен не глядит на нее, проходит мимо и теряется среди сотен других воинов.

Ослабела Мария, напряжение спало, подумала:

«Неразумно ты, материнское сердце. Разве можно найти иглу в сене, разве можно разыскать потерянного сына среди этого враждебного, безграничного, суматошного мира? Но кто он, кто он?»

Вспомнила, и легче стало на сердце: это же на святых, что охраняют матерь божью на скале Успенского собора, похож этот воин...

Надо было торопиться, чтобы к вечеру добраться хотя бы до подножия гор. Там, в лесу, можно будет из ветвей сделать шалаш, все-таки не под открытым небом. Мария искала взглядом, чем бы пополнить запас еды, ведь неизвестно, когда они встретят людей, которые возьмут их на работу. А если не возьмут? Возвращаться обратно к высохшему Узенчику и встретить голодную зиму?

В ложбине заметила несколько деревьев мушмулы, на них плоды созревают весной, обыскала, нашла несколько желтоватых ягод, и это хорошо.

Мальва выглядела бодро, Мария с удовольствием смотрела на нее — закалилось дитя, словно тут и родилось. Загорелая и крепкая, как татарка, выкупанная в соли.

Тропинка вела все глубже в горы. Гуще становилась бузина, малиновые кусты иудиного дерева цеплялись шапками за склоны, из ущелий веяло прохладой. Господи, в долине сгустились тучи, и, наверное, там идет дождь! Внизу без умолку трещали цикады, словно пытались резким своим стрекотом усилить жару. Но не было ей доступа в горы. Жара тут спадала, под ногами был влажный мох, шелестела сочная трава. Вдали дымился туманами Бабуган, черные тучи сползали с Чатырдага вниз.

Отраднее становилось на душе. Утоптанная людьми и скотом стежка вела к какому-то жилью — люди найдутся.

Мои сыночки... Где же вы, мои сыновья?!

Блеснула вдруг молния, небо вспыхнуло... Казалось, засвистели стрелы, загрохотали мушкеты — идет невольница Мария, словно судьба поруганной, обездоленной Украины.

Льет животворный дождь, и купается под его струями Мальва, бежит впереди, плескается в теплых потоках.

— Мальва!

— Мальва!

Только эхо отвечает матери, только эхо...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

...И когда услышите пение петухов, просите милости у аллаха, ибо петухи поют тогда, когда видят бога.

Из хадисов

До свадьбы остался один месяц. И почему должна быть эта свадьба, Мальва никак не может понять. Ведь она еще маленькая, да и Ахмет ничего не говорил ей о свадьбе. А может, вот это непонятное «укум-букум-джарым-барым», что он всегда бормотал, когда они играли в кости, и означают эти слова... Очевидно, так, потому что через месяц будет свадьба. Возле нее на самой вершине Чатырдага сидят еще две незнакомые девочки, такого возраста, как и она. И их ждет такая же судьба, все трое спешат шить приданое.

Сумрачный свет, как при затмении солнца, разливался между вершинами Демерджи, Бабугана и Чатырдага. Девочки, вглядываясь в даль, увидели, как каменный идол, который всегда неподвижно возвышался на Демерджи, стал медленно сползать вниз. Вот он уже пересек Ангарское ущелье, на мгновение остановился внизу посреди поляны и поплыл в седом тумане к ним.

Девочки отложили в сторону шитье: нет, это не диковинная каменная фигура, к которой ежедневно присматривались издали, это какой-то старик нищий. Что же ему дать? Однако нищий не протягивал руки. Он был высокий, белобородый, с добрыми глазами и очень напоминал того святого старца, к которому они с матерью подходили в Кафе, когда бежали от Мурах-бабы. А может, это тот самый?

Мальва хотела спросить его, но ее опередила соседка.

— Ты Хизр *, который отыскал источник живой воды и стал бессмертным?

— Нет, девушка, — улыбнулся старик, — я обыкновенный чародей. Скажи, джаным, какое у тебя самое сокровенное желание?

— Хотелось бы поскорее дошить свое приданое, — ответила девочка, — потому что до свадьбы остался всего месяц.

— Еще успеешь, дитя, — сказал чародей и обратился ко второй девочке: — А ты что желаешь?

— У меня злая бабушка. Я хочу, чтобы она не кри-

чала на меня, когда я выйду замуж, и не срамила меня перед любимым.

— Станет доброй твоя бабушка. Ну, а ты о чем мечтаешь? — обратился он к Мальве.

Мальва не знала, что ответить. Она еще ничего не желала в жизни и этой свадьбы тоже не хотела. Ей было хорошо возле мамы и Стратона, весело служилось подпаском у Ахмета, того самого, который когда-то напоил ее целительным кумысом в знойной степи. Чего же пожелать? Мама хочет вернуться туда, откуда они пришли, в какую-то далекую степь, которую Мальва не помнит. Она знает только, что все степи колючие, знойные и жестокие, там встречаются плохие люди. Она не хочет возвращаться в степь. Где еще есть такие горы, такое близкое небо, что руками до звезд можно достать? В горах живет Стратон, и белозубый, вечно улыбающийся Ахмет, и суровый, но добродушный дядя Юсуф, есть овцы, есть раздолье и много сказок, которые под шум леса рассказывают в шалаше подпаски перед сном. Где еще так хорошо могут лечить от злого глаза, как здесь: приложит кто-то к твоему лбу острие ножа с черной колодочкой — и уж тогда никакая ведьма не властна над тобой. Где, в какой стране расскажут об ангелах, которые стоят на страже неба и бросают в сатану огненные пули-звездопады, или о петухе, который поет хвалу творцу мира? Нет, не хочет она уходить отсюда никуда.

Но что же попросить у этого чародея? Он не уходит, ждет.

То ли из-за нерешительности, то ли из-за чего другого, сама не знает почему, почувствовала вдруг Мальва, как удивительное тепло разлилось по всему ее телу, оно словно набухало, наливалось горячими соками. Ей нестерпимо захотелось сбросить с себя одежду и броситься в реку; возможно, поэтому и вспомнила она об Узенчике, высохшем от жары.

— Ну, скажи, доченька, чего ты хочешь? — снова услышала она голос чародея.

— Я хочу, — ответила Мальва, — чтобы в этой горе зажурчал источник, и в села потекла холодная вода, и чтобы этот источник не высыхал в самую страшную жару.

— Хорошее желание, джаным, но я спрашиваю, чего ты желаешь для себя?

— А мне ничего не надо, — развела руками Мальва, — у меня все есть.

Тогда старик повернулся к скале и ударил по ней посохом. Раздался треск сильнее грома, темная туча окутала Чатырдаг, а когда туча рассеялась, девочки увидели, как из расщелины ринулся вниз горный поток. Мальва стояла по колени в холодной воде, вода подступала все выше и выше, приятно охлаждала непривычно горячее тело, и девочка впервые почувствовала, что у нее есть бедра, грудь...

Холодная предутренняя роса смочила ноги подпаскам Ахмета, закричали петухи атамана. Мальва вскочила — парни потягивались, не торопились подниматься — и изо всех сил побежала к кошу. Ей хотелось первой выгонять овец. Хотелось чем-то хорошим отблагодарить Ахмета: когда Мальва прибегала первой, он счастливо улыбался, пришпоривал коня и весь день потом носился вокруг стада как ветер. Так почему ей не сделать приятное Ахмету? Разве Мальва не видит, как он мрачнеет накануне пятницы, когда она уходит в женский курень в долине Шумаи, где женщины доят верблюдиц?

— Укум-букум-джарым-барым! — проскандировала Мальва, подскакивая на одной ноге, ей по душе были эти слова, хотелось больше, чем когда-нибудь, увидеть Ахмета. Какое счастье, что они с мамой встретили именно Ахмета и его отца Юсуфа — атамана чабанов!

Что-то странное происходило в душе Мальвы. Из памяти еще не улетучился волшебный сон — и как это ей могло такое присниться, что до свадьбы остался всего месяц, ведь ей и в голову это не приходило, ведь она еще совсем ребенок... А вот взяло и приснилось! Ха-ха... Укум-букум... Прозрачно-чистая, кристальная вода омывает ее ноги, руки, грудь, она впервые в жизни почувствовала, что у нее упругое тело, такое, что о него разбиваются волны и холодят, холодят...

Мальва замедлила шаг, словно отяжелела, снова по всему ее телу пробежали незнакомые струйки тепла, захватывало дыхание. Остановилась, прижала руки к груди, улыбнулась и сама не могла понять, почему ей вдруг стало так радостно.

Занимался рассвет. Утренняя звезда — Чолпон — упала на голову каменного идола, который во сне спускался с горы Демерджи, упала и разлетелась брызгами: мириады искр рассыпались по чаирам и яйлам и упали к ногам Мальвы и на бархатный мох, в переполненные чаши крокусов.

— Светает! Светает! — запела Мальва по-татарски и, заметив, что поет на мотив Ахметовых песен, побежала по плоскому кряжу, сбивая росу с мягкого стелющегося можжевельника, скользя ногами по влажной траве.

Чистым выглядел вечно хмурый Бабуган, травы переливались перламутром, горы на мгновение замерли, ожидая первых лучей солнца, и атаман Юсуф не был сегодня мрачным, как всегда.

Он перегонял кобылиц в отдельный загон и жеребятам привязывал на головы деревянные рогатки.

— Прискакала, козочка! Якши. Сегодня останешься со мной, будем доить кобылиц, кумыс делать. — Юсуф выпрямился и пристально посмотрел на разгоряченную девочку. — Гм... А впрочем, не только сегодня... Вот что: будешь варить еду для пастухов, мне легче будет. Ахмет как-нибудь обойдется и без тебя.

Мальва опустила голову, жаль стало Ахмета, прежней свободы. И еще почему-то стыдно было: показалось, что Юсуф знает о ее сне и поэтому не разрешает ей идти вместе с Ахметом пасти скот.

Юноша сам выгонял овец из кошары, то и дело поглядывая на Мальву: что случилось, почему отец задерживает подпаска?

— Чего стоишь? — исподлобья глянул на Мальву атаман и снова нахмурился. — Выгоняй жеребят на пастбище, пусть сами учатся добывать себе корм. На все своя пора. А потом я научу тебя доить кобылиц.

Очевидно, так должно быть, что радость созревания идет рядом с тоской по свободе. Потускнел день, который начался для Мальвы так радостно. К обеду одеревенели пальцы от доения и немало слез пролилось в подойник.

Перед вечером, после удоя, Юсуф заправлял молоко дрожжами, ячменем, колдовал над кореньями.

Когда стемнело, в шатер зашел Ахмет. Он молча положил футляр с кораном на коврик возле входа, снял с шеи нить из скорлупы лесных орехов — амулет, чтобы не сглазили скот, но не присел, как обычно, рядом с отцом. Стоял хмурый, сдержанный. Взглянул на Мальву, которая дремала на топчане, бросил отцу:

— Почему вина не доливаешь в молоко? Вон там кувшин.

— Не нужно вина, — ответил Юсуф, не поднимая головы. — Мальва слез налила в молоко, хмельной получишь кумыс.

Ахмет промолчал. В сумерках он не мог разглядеть лица Мальвы, может, она уже спала.

— Кого дашь в подпаски вместо нее? — спросил спустя минуту Ахмет.

— Как-нибудь справишься с теми подпасками, которые у тебя есть, — невозмутимо ответил атаман. — Где много пастухов, там волк овец режет... А ты, Ахмет, должен помнить о трех несчастьях, которые подстерегают человека, когда он становится взрослым. Тебе пора знать об этом. Какие несчастья? Когда закипает кровь в теле, тогда вино и женщина. Когда охладеет душа и хилым станет тело, тогда золото. Шайтан знает, как кому угодить, чтобы потом лучше насмеяться над ним.

— Без золота я обойдусь, — процедил сквозь зубы Ахмет. — Ты же скоро разбогатеешь, мои братья привезут тебе из-под Азова полные мешки. К вину меня не тянет. Ну, а в другом ты мне не указ! Как же ты мог подумать... Она же еще дитя.

— Когда человек молод, глаза его лучше видят, чем думает голова. — Юсуф с усердием мешал молоко в котле. — Мальве уже пора быть вместе с женщинами, и тебе это тоже ясно. Но я пока что оставлю ее при себе, сам научу ее женскому делу. Завтра она сварит нам суп. Ну, подливай вина, чего стоишь?

...А впрочем, Мальве было не так плохо возле Юсуфа, как казалось ей поначалу.

С Ахметом, правда, другое дело. Бегут овцы, и не остановишь их, и не поймешь, кто кого ведет. Лают собаки, хватают за животы непослушных овечек, те бьют ногами по зубам своих охранников, скачет Ахмет на своем коне. Как-то хорошо чувствуешь себя рядом с Ахметом: оскалит свои белые зубы, и туман рассеивается, и моросящий дождь не так донимает. Овцы бредут и бредут — никто, наверное, по собственному желанию не пошел бы до самого Чатырдага, который своей вершиной всегда поддерживает самую тяжелую тучу. А овцы доведут.

За Чатырдагом, о, за ним совсем иной мир! Там, в скалах, три огромные пещеры, в которых с потолка свисают сосульки льда, как бриллианты. Одна называется Снежной, потому что иней выступает на ее стенах даже тогда, когда горы млеют от жары; вторая — Холодной, в ней всегда в полдень прячутся пастухи с овцами; третья пещера называется Бинь-баш-коба — Тысячего-

ловая. Пещера каких-то тысячи голов, которые живут в ней. Там смерть, туда никто не заходит.

Разве об этом плакала Мальва, когда доила кобылиц? Верно, и об этом. Но лучше всего ей было с юношей, Ахмет соскакивал с коня, когда овцы останавливались щипать траву, и подходил к Мальве. Бросал перед ней четыре вырезанные бараньи кости и каждой из них давал таинственное название: укум-букум-джарым-барым.

— Я уже загадал. Выбирай.

— Букум...

— Теперь мне...

— Тебе барым...

— Ай, звездочка! — восклицал Ахмет. — Отгадала!

Он выглядел тогда каким-то странным и смешным, вскакивал с места, стремительно взлетал на коня, бил его чарыками по брюху и мчался в ущелье.

Ночь поздно опускалась на Чатырдаг. С гор можно было видеть солнце даже тогда, когда в степи уже наступила темнота, но вечно мрачный Бабуган все же окутывал горы мглой и укладывал их спать, как детей. А когда горы крепко засыпали, подпаски садились вокруг Ахмета, и он начинал свои рассказы. Мальва хорошо запомнила его песню о красавице, которая ждет не дождется своего джигита из степи, — он пел ее год тому назад, когда она с матерью ехала в Юсуфовой арбе, — и просила рассказать о ней.

Ах, сколько он знал сказок об этой красавице, да все разные...

...Загрустил молодой пастух, выгоняя коров на пастбище, потому что увидел синеглазую дочь Мангу-хана...

— Черноглазую, — поправляют подпаски.

— Нет, синеглазую, — почему-то возражал Ахмет и смотрел на Мальву. — И больше не радовали его цветы. Красота цветов поражает, но если бы у них были синие глаза, улыбка, нежность — все то, что дает смертным на земле рай пророка...

...Дочь Мангу-хана была красивой, как роза. Хан же был похож на быка со вздувшимся брюхом, но он всем говорил, что Гюляш-ханым похожа на него. Самые умные люди часто ошибаются. И встретила Гюляш-ханым пастуха, стройного, как тополь, смелого, как барс. Превратилась девушка в золотую монету и упала к его ногам. Но пастух был честным человеком. Поэтому он от-

дал червонец в ханскую казну. А ночью напал на хана балаклавский князь и ограбил казну...

— А дальше, дальше что?

— Ахме-е-ет!

Это голос атамана Юсуфа. А дальше ночи и дивные сны.

У Юсуфа Мальве тоже жилось неплохо. Очевидно, потому, что у атамана было много скота и людей, он старался вести себя с ними строго, хотя в действительности у Юсуфа было доброе сердце. Когда они оставались вдвоем с Мальвой, атаман становился совсем другим. До сих пор Мальве не приходилось видеть его таким. Он улыбался, рассказывал разные небылицы и упорно называл ее гяуркой. Сначала она протестовала, а потом привыкла, и даже странно было, когда Юсуф иногда окликал ее по имени.

Зато Ахмет стал мрачным. Приходил вечером, снимал с себя малахай и доломан, делал это сердито, молча, и не раз хотелось Мальве попросить его, чтобы не злился, ведь она не виновата в том, что атаман не разрешил ей пасти овец. Мальва знает, что сейчас ему труднее следить за отарой, но зато она готовит для него еду, так хотя бы спасибо сказал ей за это... Ему скучно, но и ей не так уж весело. Зачем же сердиться? Но она молчала. «Укум-букум-джарым-барым», — шептали порой ночью ее уста, но слова эти уже не имели той таинственности, как прежде.

Утром, избегая ее взгляда, Ахмет садился на коня, пришпоривал его, мчался впереди отары по вогнутому блюду Чатырдага, перескакивал через каменные валы и исчезал в ущельях. Мальва с восхищением прижимала руки к груди, и тогда суровый оклик атамана возвращал ее к действительности:

— Чего стоишь, пора огонь разводить!

Но суровость Юсуфа быстро исчезала. Дымил костер под котлом, а он все время что-то рассказывал. То ли ей, то ли сам себе...

— В степи татарину живется хуже, чем в горах. На равнине не охватишь взглядом всей красоты Крымского края. А когда взберешься на гору и посмотришь вокруг, то с сожалением думаешь о человеке, который тут не был. На юге небо сливается с морем — оба синие, одно синее другого, на севере степь обнимается с небосклоном. Крым так чудесен — живи в нем, и помирать не надо.

Пошел однажды старик Гази Мансур в Мекку праздновать байрам. Ревностно молился он возле храма Кааба, и сказал ему имам:

«Если хочешь, оставайся у нас».

Подумал Гази Мансур, вспомнил свой сад, орех, под сенью которого всегда отдыхал, и отрицательно покачал головой:

«Нет, не хочу умирать на чужой стороне».

Посмотрел на небо и стал просить аллаха, чтобы помог ему вернуться в Крым. «Если умру по пути, пускай хоть мои кости отвезут домой».

Отстал Гази Мансур от каравана и почувствовал, что умирает. Молился, чтобы кто-нибудь подошел к нему, он отдаст первому встречному все деньги и упросит, чтобы похоронили его в Крыму. А в это время арабы напали на караван, перерезали всех и понеслись на конях по дороге. «О, слава аллаху, идут люди», — подумал старик. И когда к нему подбежал араб с ятаганом, он сказал, протягивая мешочек с пиастрами:

«Спасибо тебе, ты последний человек, которого аллах послал мне перед смертью. Когда умру, отвези мои кости в Крым и зарой в саду...»

«Под орехом», — подумала голова, когда скатилась на землю.

Прошел праздник байрама, все хаджи вернулись из Мекки, только Гази Мансур не возвратился. «Очевидно, помер по пути», — сказали соседи. Пришла осень. Один мальчик, срывая орехи с дерева Мансура, вспомнил старика: добрый был человек, всегда угощал его орехами. И тут видит, кто-то идет по саду без головы, а голову держит под мышкой. Узнал мальчик Гази Мансура по одежде, вскрикнул и упал без сознания на землю. Сбежались соседи, смотрят, мазарташ стоит.

Такое рассказывают старые люди, когда в пятницу идут на могилу Гази Мансура, что возле Чуфут-кале. Возможно, и правду говорят, потому что, если человек любит свой край, непременно вернется домой. Только надо так любить, чтобы даже принести свою голову под мышкой. А у нас был такой...

— И мама у меня такая, — тихо промолвила Мальва. — Она тоже несла бы свою голову на Украину...

Атаман с горечью посмотрел на омраченную девочку:

— А ты... ты не хочешь вернуться в свой родной край?

— Я... А где он? У меня нет родного края...

— Гм... Бывает и такое, когда крепко прирастаешь к чужому. А бывает и иначе. Неизвестно откуда появится тоска, отравит сердце, и тогда даже рай становится немилым и родная ворона поет лучше, чем чужой соловей... Когда-то давно молодой сын ногайского хана Орак-батыр попал в плен к русским. Оценили русские его мужество и красоту, дали ему землю и золото, самую красивую девушку в жены. Очаровали юного богатыря русские леса, и красавица, и богатство — забыл он родной край. Десять лет прожил Орак-батыр, упоенный счастьем, пятеро детей родилось у него, и доживал бы он, видно, свой век на чужбине, если бы не... Вдруг стал прислушиваться к шуму ветра, и все ему в этом шуме слышался знакомый шелест ковыля... А потом слышал его всюду: в дыхании детей, в шепоте любимой, во всплеске рек.

Стал Орак-батыр сохнуть, тоска иссушала душу, признался жене, что его тревожит. Увидела жена, что ничем не удержит его, была умной и проводила до степи. Он дал слово, что вернется, но не вернулся.

Видать, любовь к родной земле позвала его...

Что-то странное произошло с Мальвой... Ходила опечаленная, не по-детски задумчивая, и не мог понять Юсуф, то ли она загрустила, как Орак-батыр, то ли терзается оттого, что тоска по родине к ней не приходит.

А однажды утром Мальва исчезла. Долго ломал себе голову атаман над тем, что могло случиться с ней, и решил подождать до вечера. А вечером он пошлет Ахмета к Марии — куда же еще могла пойти девушка?

Мальва не шла, а бежала по знакомой тропинке к Чатырдагу. Все эти дни она прислушивалась, не шепчет ли ей что-нибудь ветер; но о чем он может ей нашептывать, если она не может ни о чем вспомнить, что было на той Украине. А хотелось затосковать, завидовала матери, Орак-батыру, Гази Мансуру и чувствовала себя в чем-то хуже, чем они, виновной в чем-то. Она должна увидеть эту Украину, а с Чатырдага, наверное, можно увидеть весь мир, пик же такой высокий! И тогда придет к ней желанная тоска...

Задыхаясь от усталости, Мальва карабкалась по крутым уступам, изранила коленки, но не останавливалась. Пик был высокий, неприступный, но она все-таки добралась до вершины.

Всматривалась в даль до боли в глазах, но нигде не было видно никакой Украины. Вокруг только горы, а в долине пожелтевшая татарская степь. Нет нигде ее, это выдумки мамы, ее сказки. Такие же, как Юсуфа про Орак-батыра.

Разочарованная, словно обкраденная, возвращалась Мальва в уруш-кош и дрожала от страха, предчувствуя гнев атамана. Осторожно подходила к шалашу, сердце, казалось, выскочит из груди: возле костра сидит Юсуф, и, слава аллаху, еще какой-то мужчина рядом с ним. Может, при постороннем не будет бранить. Подошла и оторопела: рядом с атаманом сидел тот самый длиннобородый мужчина, который встретился им по дороге в Кафу, тот самый чародей, который недавно приснился ей ночью.

На Мальву никто не обратил внимания.

— Я, Юсуф, покидаю Крым, — продолжал меддах Омар. — За этот год я прошел его вдоль и поперек. Благодатный твой край, хотя нынче мучит его засуха... Возвращаюсь в Турцию. Она сегодня умирает с канчуком в руках. Правители губят ее, как плющ пышную чинару. Но я узнал о том, что снова поднялись кызылбаши, и в моем сердце затеплилась надежда. Может быть, все-таки не погибнет мой народ. Их, красноголовых рыцарей, называют преступниками, проклинают в мечетях, обвиняют в заговоре с персами, чтобы унизить в глазах людей. Им сейчас дают приют только свободные кочующие юрюки, и туда тянутся с книгами софты, изгнанные из медресе. Дух Кара-Языджи и Календер-оглы не умер *. Я должен быть там.

Меддах Омар умолк. Долго смотрел на костер, а Юсуф искоса поглядывал на Мальву и ничего не говорил. Омар повернул голову и увидел девушку. А Мальве казалось, что сон продолжается, что она может высказать еще одно желание. Но какое, какое?

Лицо Омара прояснилось — он узнал девочку, только теперь она выросла, расцвела и была чем-то взволнована.

— Воистину велик аллах! Как ты тут оказалась, милая? Я верил, что вы с мамой встретите добрых людей. Вам посчастливилось. Слушайся моего друга Юсуфа: он научит тебя добру. — Омар привлек к себе Мальву и ласково, как с ребенком, заговорил с ней: — Над пропастью не ходи, не заглядывай в Бинь-баш-кобу, потому что там

витают души тех, кто жаждет справедливой мести. А справедливая месть часто тоже проливает невинную кровь. Таков уж мир, девочка.

— Чьи же там души, дедушка? — тревожно спросила Мальва.

— Разве Юсуф не рассказывал тебе? Это произошло не так давно, никто еще не успел переврать события. Лет пятнадцать тому назад казаки помогли татарам воевать против турок. Казацкий гетман Дорош вывел на Альму шесть тысяч степных рыцарей против изменника Кантемира-мурзы, перешедшего к туркам. Но силы были неравные. Пять тысяч казаков пали вместе с гетманом у реки, а одна тысяча отступила в горы и укрылась в этой просторной пещере. Настиг их тут Кантемир-мурза, окружил пещеру и велел выходить оттуда. Но ни один казак не вышел. Тогда Мурза приказал заложить вход в пещеру хворостом и подожечь его, чтобы выкурить их оттуда, как барсуков. Но и этого не испугались казаки. Все до единого погибли, но не сдались в неволю.

Широко раскрытые синие глаза Мальвы светились удивлением и восхищением. Она спросила:

— Казаки — такие храбрые?

— Мужествен тот, кто знает, за что борется. Только предатели становятся трусами, дитя... Но ты не ходи к той пещере. Там горы костей, там страшно...

Меддах Омар попрощался и направился вниз. Юсуф и Мальва молча просидели у костра до вечера.

Проходило лето. Мария с Мальвой заработали у Юсуфа столько сыра и масла, что не могли донести всего до дома. Ахмет навьючил их добро на коня, и они втроем направились в Мангуш. Мария была счастлива — теперь как-нибудь перезимуют. Немного беспокоила ее Мальва. Подросла, окрепла, но стала слишком молчаливой.

Заметила мать и страстный взгляд Ахмета, поглядывавшего на девушку. Да, эта непонятная девичья грусть приходит тогда, когда сердце уже к чему-то стремится, а к чему — сказать не может. И Мария молила бога, чтобы помог ей поскорее заработать денег на грамоту, а то будет поздно...

Мальве жаль было расставаться с горами, с кострами, овечьим запахом, сказками, покрикиванием на овец и пением Ахмета. Ее печалила мысль о том, что, может быть, уже никогда ей не придется взбираться на вершину Чатырдага, чтобы оттуда с тоской всматриваться в тот край, где она родилась, никогда больше не посидит она у входа

в страшную пещеру, где погибла тысяча казаков с Украины, не представит себе рыцарей, решивших лучше умереть, чем попасть в неволю. Обо всем этом она забудет, как и о сказках Юсуфа и святого старца.

У реки Бодрак Ахмет снял поклажу с коня, подал Марии заработанное ими добро.

— Спасибо тебе, Ахмет, — промолвила Мария, но парень не слышал ее слов.

Он стоял с опущенными руками и смотрел на Мальву так печально, что казалось, вот-вот заплачет. Мальву волновал этот взгляд, она бочком отступала к матери.

Вдруг Ахмет вытащил нож, и не успела мать вскрикнуть, не успела Мальва понять, что он хочет сделать, как прядь черных волос девушки осталась в его руке. Ахмет вскочил на коня и поскакал по долине, скрываясь в облаках пыли.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Этот мир корабль, в котором
ум — паруса, а мысль — руль.

Восточная поговорка

Из Бахчисарая в Ак-мечеть галопом скакал всадник. Конь неподкованными копытами взбивал пыль, пена клочьями вылетала из-под удил, брызгала в лицо всаднику. Баранья шапка сдвинулась на глаза, вывороченный кожух болтался за спиной, прохладный осенний ветер развевал его, пытаясь сорвать. Скоро конец пути, впереди показались пологие хребты, набегавшие друг на друга, словно выпущенные в стадо быки, у подножия лысых хребтов забелели дома резиденции Ислам-Гирея. Гонец вмиг осадил коня. Сдвинув шапку на затылок, стал всматриваться в даль: по дороге ему навстречу не спеша двигался небольшой конный отряд. Два всадника — один на буланом, другой на белом в яблоках арабском коне — скакали впереди, следом за ними ехал отряд сейменов.

Гонец понял: калга-султан Ислам-Гирей направлялся в столицу на заседание дивана, не зная, что случилось. Помчался навстречу калге. Остановил взмыленного коня у края дороги, спешился и подошел к самому высокому ныне в стране сановнику.

— Что скажешь? — спросил Ислам-Гирей.

Гонец поднял глаза, не разгибаясь. На него смотрели двое всемогущих людей: султан Ислам-Гирей с суровым взглядом черных глаз и не менее могущественный, чем он, узкоглазый, с плоским, обросшим редкой бородкой лицом воспитатель Ислам-Гирея Сефер Гази.

— Пусть избавит меня аллах от твоего гнева, высокая ханская светлость, за черную весть, которую я тебе принес. Солнце солнц, уста аллаха, могущественный хан Бегадыр-Гирей вчера утром в Гезлеве...

Ни один мускул не дрогнул на лице у Ислам-Гирея, только дернулась острая раздвоенная борода; веки Сефера Гази сузились, и сквозь щели, похожие на следы от прорези осокой, блеснули быстрые зрачки. Он медленно повернул голову в сторону Ислама, султан прижал руки к груди и процедил сквозь сжатые губы:

— Могущественный наш предок Чингис смертью карал вестников горя. Прочь с дороги! — закричал он на испуганного гонца и ударил нагайкой коня.

Ислам-Гирей все время старался ехать впереди Сефера Гази, не желал встречаться с ним взглядом. Знал: старый хитрый учитель смотрит теперь ему в затылок и угадывает мысли, которые роятся в голове калги — первого претендента на бахчисарайский престол. Знал, что поделится своими мыслями с аталиком, если не сегодня, то завтра, но сейчас, когда каждая секунда решала судьбу зеленоверхой чалмы, сейчас, когда сердце готово было вырваться из груди и единственная мысль сверлила мозг: «Наконец-то, наконец-то, наконец-то!», когда глаза горели жаждой и тревогой, он не хотел смотреть в узкие прорези век Сефера Гази, которые всегда открывались тогда, когда Ислам нуждался в совете.

Что «наконец-то»? Он ждал смерти своего старшего брата? Да, ждал. Если бы Бегадыр не умер вчера, — о, слава аллаху, что спас его от греха, — Ислам сегодня на банкете отправил бы его в тот дивный мир, где цветут сады и текут реки... Бездарный, слюнявый стихоплет и трус. Сколько рыцарей погубил он напрасно под Азовом, и лишь для того, чтобы угодить султану.

«Не проявлять своего непослушания султану, — казалось, выстукивали копыта по камням, — ни в чем не перечить полоумному, юродивому Ибрагиму. Да, да, я, Ислам-Гирей, дам присягу, присягну, присягну, это хорошо, что в Стамбуле Ибрагим, Ибрагим, Ибрагим...»

Хлестал коня нагайкой, ибо каждая секунда — это

трон, каждая минута — это независимость татарского ханства. Лишь бы только не споткнулся конь.

Сефер Гази выдержал какое-то время, пока утихнет буря в душе Ислама, и, поравнявшись с ним, сказал:

— Горячий ум — выигрыш в бою. Холодный ум — победа в политике. Замедли свой шаг, Ислам. Там, впереди, не вражеские обозы и не жерла пушек. Там плетется паутина измен и интриг, там уже кишат змеи коварства и злобы. Мечом не возьмешь их, а только гибким умом. — Сефер Гази приподнял веки: — Что ты, Ислам, решил делать?

— Сегодня же еду в Стамбул.

— Неверно думаешь. Стоит ли вождю идти впереди войска и первому принимать на себя вражеские стрелы? Ты ведь не можешь угадать, как встретит тебя султан. А если он примет тебя как посла от брата Мухаммеда, который тоже с нетерпением ждет смерти хана?

Сефер свернул коня влево, и свита калги-султана поскакала вдоль Бодрака по земле яшлавского бея.

— Нам сегодня не к лицу парадный въезд, — продолжал с невозмутимым спокойствием Сефер Гази. — У нас еще есть время. Нам лучше незаметно по ущелью заехать в Ашлам-сарай и подождать там верного тебе младшего брата Нурредина Крым-Гирея. Посылай гонца в Качу и подумай о подарках для Ибрагима.

Спустя минуту один из сейменов скакал через биасальские холмы в резиденцию Крым-Гирея, а Ислам с Сефером медленно ехали мимо известняковой скалы Бакла.

— Мы на земле Яшлава, — нарушил молчание аталик. — Пословица говорит, что земля, где ступит копыто ханского коня, — это уже собственность хана. Но это далеко не так. Яшлавский бей, правда, слабосильный. Но есть Мансуры, Ширины... Эти сильнее. Позади тебя идет сотня верных капы-кулу *, твоих рабов, сейменов. Хану надо на кого-то опереться. Кто будет у тебя правой рукой, думал ли ты над этим, Ислам?

Ислам-Гирей оглянулся. Его любимец, храбрый светловолосый Селим, которого он купил у старой цыганки в Салачике, ехал на коне в первом ряду воинов и не сводил с султана преданных глаз.

— Беи-предатели не будут моей опорой, — с ожесточением ответил Ислам. — У меня есть обстрелянное под Азовом войско, я удвою его, утрою, увеличу в десять раз! Рыцари будут моими обеими руками.

Сефер Гази промолчал. Ему понравился ответ, потому что сам он был из рода сейменов и ненавидел беев. Но знал: без них хану не обойтись. Не приблизит к себе — при первой же возможности они изменят хану. Потому и промолчал.

Они обогнули белую скалу Бакла, въехали в длинное ущелье Ашлама-дере, зажатое с обеих сторон отвесными кручами. В долине, возле Салачика, виднелись красные крыши летнего ханского дворца.

— Ты, Ислам, был тут не раз, — начал Сефер Гази, — а, наверное, никогда не присматривался вон к той удивительной скале, которая возвышается справа. А нука, присмотрись получше, что видишь?

Ислам-Гирей поднял голову. Действительно, до сих пор он не замечал: над пропастью нависла огромная скала, размытая дождями: сверху она уже дала трещину и угрожала загородить падением узкий проход. Удивленный Ислам остановился. Со скалы устремило свой взор в сторону степного Крыма каменное изваяние, похожее на властелина. Грудь и руки закованы в латы, жестокое монгольское лицо, властное и грозное, выдалось вперед, стремительность, гордость и смелость ощущались в каменной статуе. Казалось, вот сейчас протянется рука — и тысячи конных номадов помчатся туда, куда укажет властелин.

— Это ты, Ислам, — такой, какой есть в жизни.

Довольная улыбка промелькнула на костлявом лице калги-султана, блеснула двумя снопами света в темных глазах. Кони шли, Ислам не отрывал взгляда от каменного изображения властелина, а оно с каждым шагом меняло свой облик, тускнело, расплывалось и наконец слилось со скалой.

— Теперь оглянись, — произнес Сефер Гази, когда миновали скалу. — Погляди с этой стороны на ту же самую скалу. Что видишь?

Ислам оглянулся. Над пропастью появилось гигантское чудовище, притаившееся перед хищным прыжком.

— Это ты, Ислам, такой, каким тоже должен быть. Ты увидел две стороны одной и той же сути — власти. Смелость и властность у тебя есть, хитрости должен научиться. А если не научишься, то станешь таким же, как эта скала, когда смотришь на нее спереди. Или же как твой бесталанный брат Бегадыр-хан. Только помни, хитрость не должна быть сильнее мужества рыцаря, потому что тогда ты перехитришь самого себя.

— Мудрый мой учитель, — растроганно произнес Ислам-Гирей. — Ты мое второе лицо, я еще не нашел его в себе. И ниспошли нам аллах удачу — будешь моим первым визирем.

Веки умного старца сузились, снова его лицо покрылось морщинами. Ислам не мог угадать: рад ли его учитель такой перспективе или в душе смеется над неопытным сыном хана?

Вдруг Ислам вспомнил о красавице цыганке, которую он обещал возвысить, когда сам начнет решать свою судьбу. Позвать, чтобы пожелала счастья. Теперь наступил этот час. Сегодня в летнем ханском дворце египетская чародейка осчастливит его.

— Селим! — возбужденно крикнул Ислам, и синеглазый сеймен вихрем подскочил к калге. — Может, ты заглянешь к своим в Салачик?

Юноша опустил голову, ничего не ответил. Ислам помрачнел. Впервые Селим не выражает желания выполнить его приказание.

— Ты у меня и отец, и семья, — сказал Селим. — Больше я никого не знаю.

— Настоящий сеймен! — Ислам довольно похлопал Селима по широкому плечу. — Тогда слушай, что я тебе повелеваю: скачи в Салачик и отыщи мне красавицу цыганку, у которой глаза горят огнем, а стан гибкий, как лоза... — Калга-султан вдруг умолк, он заметил стройную девушку в красном сарафане, которая вышла из-за горы на тропинку. — Подожди, может, это она. Добрые джинны сами ведут ко мне вестников моего счастья. Поезжай ей навстречу и привези сюда! Только немедленно!

Сефер Гази благосклонно улыбнулся.

Спустя минуту Селим вернулся, держа в седле насмерть перепуганную девушку.

Это была не цыганка. Совсем юная красавица, еще ребенок, смотрела на Ислама большими синими глазами, страх постепенно исчезал с ее лица, она не могла оторвать взгляда от рыцаря в голубом кафтане, словно узнавала его: у Ислама странно, по-юношески, замерло сердце — он еще не встречал такой свежей красоты, — и вмиг забыл об индийской чародейке, с которой только что пожелал провести ночь.

— Кто ты такая, девушка? — тихо спросил Ислам, подъезжая ближе. — Не бойся, никто тебе не причинит зла. Кто ты и откуда идешь?

— Я Мальва из Мангуша. Мама послала меня в Салачик за...

— Видно, что ты не цыганка: глаза у тебя голубые, как у моего Селима, и сказал бы я — брат с сестрой встретились, если бы не твои черные как смоль волосы. Сколько тебе лет?

— Двенадцатый...

— Ты красива, — блеснули глаза у Ислам-Гирея.

От этого взгляда Мальва вся вспыхнула, ей стало так жарко, как тогда, во сне, когда вода чародея обмывала ее тело. Словно околдованная, она сползла с Селимова коня и подошла к Исламу.

— Ты знаешь, кто я?

— Знаю... Ты хан.

У Сефера Гази широко открылись глаза. Ислам-Гирей резко нагнулся, поднял девочку и поцеловал ее в щеку.

— Устами дитяти глаголет истина, — сказал учитель. — Спеши, Ислам, удержать пророчество вознаграждением. Ибо сказано: к котлу ума нужен еще и черпак счастья.

— О, вознаграждение тебе, девушка, будет большое, если ты пожелаешь его когда-нибудь получить. — Ислам поднял обе руки к небу. — Аллах свидетель, если я стану ханом, ты будешь третьей, но первой женой Ислам-Гирея. Я найду тебя в Мангуше. Селим, отвези ее до самого села.

В Золотом Роге ежедневно разгружались галеры. Из Европы и Азии привозили девушек-пленниц для развратного султана, купцы из разных стран поставляли в гарем парчу, шелк, кисею, набивали золотом карманы и возвращались домой, довольные щедростью падишаха.

Ибрагим седьмой день пьянствовал на радостях: черкешенка Тургана родила ему сына Магомета.

Из-под Азова возвращались разбитые полки.

Великий визирь Аззем-паша ждал султанского гнева: Азов устоял. Он сам не мог понять, как могла удержаться небольшая крепость перед такими многочисленными турецко-татарскими силами. Донские и запорожские казаки под началом атамана Наума Васильева уничтожили под Азовом почти семьдесят тысяч турок и татар.

Захмелевший султан не вызывал к себе визиря, он чувствовал себя в безопасности: утроил охрану дворца,

разослал по столице тысячи наемников-шпионов. Азов же далеко от столицы.

Аззем-паша сам напросился на прием к султану. Ведь войну проиграли, надо решать, что делать дальше — воевать или мириться.

Ибрагим блаженно улыбался, он поманил к себе пальцем визиря и показал ему причудливо исчерченный кривыми линиями пергамент.

— Гляди сюда, безмозглый визирь, — ткнул султан пальцем на рисунок. — Счастье, что великий аллах послал вам мудрого падишаха. Вы год стояли под Азовом, и ни одна баранья голова не могла додуматься, с какой стороны атаковать его. Смотри хорошенько: это карта Прикаспия и Приазовья. Видишь — Каспийское море. Сюда войдет наш флот и поплывет вверх по Волге к тому месту, где Дон упирается в Волгу, вот как ты опираешься локтями о подлокотники кресла. Там пророем широкий канал, через который флот выйдет к Дону и поплывет вниз. С тыла неожиданно ударим по Азову, и от него останется только груда пепла. А тебя назначу адмиралом. Но это еще половина дела. Великое сражение начнем тут, в Турции. Я вырежу... — Ибрагим оскалил зубы, — вырежу всех христиан...

Султан пьяно захохотал и ударил пергаментом по лицу великого визиря.

«О аллах! — шептал про себя Аззем-паша и вырвал волосы из бороды, возвращаясь с приема султана. — Безумный султан, безумное правительство, и я, умный шут, выполняю волю сошедших с ума преступников!»

Согбенный, поникший входил великий визирь в свои апартаменты. У входа его поджидали, кланялись в пояс татарские послы. Они просили благословить Ислам-Гирея на крымский престол.

В первый день байрама в Стамбул съехались купцы и торговцы со всех концов империи. Как и ежегодно, после рамазана на Бедестане должны были происходить султанские торги. Субаша объявил, что открывать торги будет сам султан Ибрагим.

Ювелир Хюсам отважился еще раз понести свой товар на рынок. Надо было продать хоть немного своих изделий, чтобы уплатить налог. Старосте ювелирного цеха, уста-рагину, донесли, что Хюсам продолжает изготовлять браслеты, медальоны, амулеты, а в цех вступать не же-

лает, поэтому староста и наложил на него неимоверно высокий налог — восемьсот акче. Таких денег Хюсам не мог раздобыть, если бы даже продал все, что у него есть, вместе со своими башмаками. Правда, за один только рубиновый амулет он мог бы получить намного больше, но кто его купит?.. Нафиса болеет, редко уже подымается с постели, а купить ей чего-нибудь вкусного не на что. На дастархане Хюсама уже давно не было ни пастирмы, ни баклавы *, они питаются только хлебом и кофе. Как дожить долгую жизнь, если бог не пожалел для них дней под своим небом?

Хюсам собрал свое добро в мешочек и направился в Бедестан, ведь найдется и для него, не цехового, хоть немного места на земле?

Еще издали он услышал шум базара. Народ толпами тянулся к центру, на навьюченных мулах и верблюдах сквозь толпу пробивались купцы, оттесняя пеших, покрикивали носильщики, требуя дать им дорогу. А с обеих сторон сидели друг возле друга нищие с мисочками в руках. Такого количества нищих Хюсам еще никогда не видел. Каждый год становится их все больше, а кто знает, может, скоро и старый ювелир пополнит их ряды?

Хюсам пошел дальше. Ряды нищих сменились убогими лавчонками под серыми навесами. До главных ворот Бедестана было еще далеко, но базар начинался уже здесь. Владельцы магазинов, портняжных мастерских, парикмахерских, кафеджиев, которым, по-видимому, не оставалось места под крышей рынка, громко расхваливали свой товар, старались обратить на себя внимание кто как мог: один играл на гуслях, другой дробью выстукивал на тамбурине, иной курил ладан, тот позванивал колокольчиками. Здесь были и арабы в разноцветных бурнусах, и крикливые греки в пестрых платках, и молчаливые турки в чалмах. Продавалось тут все: канделябры, подносы, апельсины, парча, украшения, шелк.

Хюсам подумал, что нечего ему пробиваться дальше, поздно пришел. Устроился в ряду, поставил перед собой соломенный стул, разложил на нем свой драгоценный товар.

Сквозь беспокойный базарный гул доносились обрывки фраз, прислушиваясь, Хюсам мог уже уловить их смысл: люди возмущались тем, что на рынке ходят фальшивые деньги, а пиастры отчеканены не из чистого золота.

Напротив, у двери жалкой лавчонки, стоял торговец в смешной позе, словно распятый, и вопил сквозь слезы:

— Я никогда не повышал цен, но посмотрите, посмотрите, какие мне дают деньги!

Хюсам печально покачал головой. Этого торговца стамбульский кадий сегодня прибил за ухо к косяку дверей магазина — справедливое наказание обдиралам. Но как он мог не повышать цены, когда деньги наполовину обесценились?

— Вот приедет султан, — не унимался наказанный, — и мы спросим, куда девалось золото, почему нам платят пиастрами, которые в два раза легче прежних?

Из открытой кофейни донесся смех. Какой-то человек рассказывал анекдоты.

— Куда ушло золото! Он спрашивает, куда ушло золото? А разве ему неизвестно, что произошло недавно в Биюк-сарае? Пригласил наш султан дервиша Али-бабу и спросил его, в чем суть счастья на земле. Али-баба ответил: «Есть, пить и пускать ветер». Рассердился султан, посадил дерзкого дервиша в тюрьму, как вдруг — о всевышний! — у султана появился запор. Позвал снова солнцеликий Ибрагим дервиша и простонал: «Если излечишь, дам за каждое испражнение мешок золота». Дервиш помолился добрым джиннам, и султан начал громко пускать ветер, а казначей за каждым разом бросает Алибабе по мешку с деньгами. Вдруг вбежала валиде. «О сын мой! — закричала. — Что ты делаешь? Ведь так ты продуешь все царство!» А он спрашивает, куда девалось его золото...

Хохот вдруг умолк, огромный детина вскочил в кофейню, схватил рассказчика за шиворот. Тот вырвался и скрылся в толпе.

Хюсаму не было смешно. Он с горечью посматривал на свои изделия, которых никто не покупал, ибо кто их купит, если султан действительно растранжирил деньги?

Народ все больше волновался, шумел. Ждали приезда Ибрагима.

Возле султанского дворца в это время происходила не меньшая суматоха, чем на рынке. С самого утра возле главных ворот слева стояли, выстроившись, конные спахи, те, что служили султану за землю, — тимариоты и заимы; справа — янычары. Ждали выезда султана. Должна была состояться церемония целования султанской мантии.

Падишах долго не появлялся. Наконец открылись во-

рота, и вместо него вышел начальник охраны султанского плаща, он нес перед собой на палке шубу Ибрагима.

Спахи подняли коней на дыбы, возмущенные, они готовы были ринуться в ворота и учинить расправу над султаном за позор, но тут раздалась команда янычар-аги Нур Али: «К оружию» — и спахи остановились. Растерянный церемониймейстер схватил в руки шубу и поднес ее для целования алай-бегу. Тот побледнел от возмущения и унижения, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы янычары не закричали:

— К падишаху! Кто раньше нас смеет целовать султанскую мантию?

Поднялся скандал, дежурные стражи побежали во дворец доложить Ибрагиму об опасности. Султан услышал подозрительный шум и задрожал как в лихорадке. Узнав о причине возмущения янычар, он велел обезглавить церемониймейстера. Тот был казнен публично, успокоенные янычары толпами отправились на Бедестан открывать вместо Ибрагима султанские торги.

Чорбаджи Алим шел впереди своей роты — высокомерный, в дорогом кунтуше. Сумрачным взглядом окидывал торговцев, и они съеживались, умолкали: на Бедестане знали нрав ближайшего соратника янычар-аги.

С тех пор как Алима назначили чорбаджи, прошло несколько лет. Он прочно вошел в доверие Нур Али, деньги щедро падали в его кубышку, которую он держал у богатого ювелира на Бедестане. С каждым днем, с каждым годом у него угасало желание воевать — иные перспективы улыбались теперь рыцарю. Алим знал: при первом удобном случае Нур Али станет великим визирем, а он тогда займет его место.

Да при султане Ибрагиме и не было смысла рваться в бой. Те времена, когда добычу и славу янычары добывали на войне, канули в небытие. Теперь должность и звание можно было купить, а денежки смышленым текли отовсюду: давали взятки воины, которые хотели откупиться от участия в походах, и родовитые знатные турки — за право вступить в янычарский корпус. Ибо тут лучше платят, чем спахиям, и кара и смерть не так страшны: конных бьют по пяткам, янычар — по спине, конных на кол сажают, а янычар топят в Босфоре. Взятки давали и преступники — в корпусе янычар узаконивались грабежи и убийства. А уже настоящее богатство привалило чорбаджи, когда он захватил имущество погибших в боях воинов.

Янычарам разрешили жениться и владеть землей. Казармы опустели, воины становились собствениками.

Алим не женился. Он довольствовался любовницами и содержал их в роскошном особняке возле Ат-мейдана.

Чорбаджи направлялся к воротам базара. Там, у главных ворот, над которыми распростер крылья высеченный на граните византийский орел, он станет рядом с Нур Али, провозгласит открытие базара, а потом выберет самые лучшие подарки для любовниц — бриллиантовые ожерелья, украшения, шелка.

Алим не заметил старого торговца, стоящего за соломенным стулом, на котором были разложены драгоценности. Хюсам же не сводил с него глаз: где он видел это лицо, чье оно? И, очевидно, воспитатель и бывший приемный сын никогда бы не встретились, если бы какой-то янычар не заметил мастерски сделанного амулета, в сердечке которого сверкал бриллиант, исписанный едва заметной тонкой вязью. У янычара жадно загорелись глаза, он посмотрел на встревоженного ювелира, спросил:

— Откуда это у тебя?

— Я... Я ювелир. Сам сделал...

— Ты — ювелир! — захохотал янычар. — Ювелиры там, на Бедестане, а ты вор! Если бы не был вором, то стоял бы рядом со своими цеховыми.

— Я не цеховой...

— Какое тогда ты имеешь право продавать такие ценные вещи вне цеха?

Алим повернул голову, остановился.

— Что там?

Янычар пожалел, что привлек внимание чорбаджи, теперь амулет достанется ему. Он поспешно сунул драгоценность за пояс, и тогда Хюсам закричал:

— Отдай! О аллах, я работал над ним сорок ночей!

Алим протянул руку, янычар послушно отдал чорбаджи амулет.

— Откуда у тебя такие вещи? — исподлобья посмотрел Алим на старика, но не узнал его, ибо трудно было узнать Хюсама: старик сгорбился, лицо заросло косматой бородой, только глаза почему-то были знакомы Алиму.

— А... Али... — ни слова не смог выдавить из себя: перед ним стоял тот, который когда-то называл его отцом.

— Откуда у тебя такие вещи? — приглядывался чорбаджи к амулету. О, он не надеялся сегодня принести такой дорогой подарок Зулейке. Но откуда у этого нищего

такие драгоценности? — Ты — вор, — сказал он спокойно, кивнув янычару, и тот вмиг сгреб остальные драгоценности со стула.

Хюсам застонал, схватился руками за чалму:

— О аллах, что творят эти грабители!

На ювелира посыпались удары, торговцы разбежались, хватая свой товар, янычары, воспользовавшись случаем, забирали все, что попадало под руки.

Хюсам лежал на земле, заслоняя лицо руками, а когда Алим толкнул его ногой под ребра, неимоверная обида и гнев придали ему силы, он поднялся на ноги и прохрипел, брызжа слюной в лицо чорбаджи:

— О ядовитый змей, согретый у меня на груди, о выродок самого Иблиса, о наша смерть! Пусть же родная мать проклянет тебя!

Теперь Алим узнал Хюсама. Он на мгновение оторопел, растерялся, но вокруг стояли янычары, и чорбаджи не посмел простить какому-то нищему такого оскорбления.

Острый ятаган проткнул горло старому ювелиру...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Нащо, мамо, так казала,
Татарчатком називала..

Украинская народная песня

Лишь одно лето прожила Мария в Мангуше, а потом снова направилась с Мальвой на Чатырдаг — голод истощал Крым. Стратон оставался один, старея с каждым годом, но думал только об одном: как будет жить без Марии, когда она заработает деньги на грамоту и отправится с Мальвой в родные края. Он привык к ним, они стали ему родными, и теперь страшно было подумать, что на старости лет останется один как перст.

«А может быть, и мне с ними?.. Но зачем?.. С Украины ни ветра, ни звука, находится она где-то там под синим небом и съежилась под нагайками или спит мертвым сном, казненная, истоптанная, истекшая кровью. Эхе-хе... Зачем мне нести туда еще не совсем угасшие надежды, остаток своей жизни на глумление, на погибель?»

Но Марию ничто не удержит. Как скупой ростовщик, складывает она алтын к алтыну, недосыпает, пересчитывает по ночам деньги.

Марию беспокоит Мальва. В это лето, когда они не пошли на Чатырдаг, что-то случилось с девушкой, ее словно изменили. Прежде щебетала, порхала, как мотылек, вдоль Узенчика — нельзя было удержать ее на месте — и вдруг стала молчаливой, не по-детски задумчивой. Не слышит, когда ее зовут, глядит своими голубыми глазами на мир, и видно, для нее нет ничего, кроме дум, неизвестных матери.

Мария подозревала: во всем виноват Ахмет. Видела, как он увлекся девочкой, может, и он приглянулся ей, ведь бывает это у детей. Она больше не оставляла Мальву у Юсуфа, жила вместе с ней в шалаше возле коров и верблюдиц, все присматривалась, не встречаются ли они по вечерам. Нет, не встречаются. Он скакал на своем коне по горам, иногда заезжал на чаиры, но стоял в отдалении, и Мальва оставалась равнодушной, спокойной.

Однажды Мария сказала дочери:

— Вон Ахмет приехал. Ты бы пошла поиграть с ним.

— Нет, мама. Я уже не маленькая, чтобы забавляться.

Мать еще больше удивлялась: что могло случиться с дочкой, откуда у нее появилась эта грусть? Может, подсознательно ее душу охватила тоска по родному краю? Радовалась такому предположению и однажды таинственно сказала дочери:

— Скоро мы купим грамоту у хана и навсегда уйдем на Украину.

— А кто теперь хан? — спросила Мальва, безразлично отнесясь к сообщению матери.

— Нам, Мальва, все равно, кто будет ханом, — промолвила Мария. — Лишь бы только не отказал, лишь бы не отказал... Уйдем в родные края...

Мальву уже не трогали рассказы об Украине, о приднепровских степях. Она больше не старалась увидеть их с вершины Чатырдага, не ходила к тысячеголовой пещере, забыла легенду о богатыре Орак-батыре. Словно у одержимой, мысли ее были обращены к узкому ущелью Ашлама-дере и Бахчисараю. А мать снова говорит о своем родном крае, снова о том же...

— Зачем нам ехать туда, мама? Разве тут плохо?

Мария сказала бы — зачем. Но сможет ли Мальва сейчас понять ее? Она выросла здесь, чужие песни первыми взволновали детскую душу, чужая вера отравила ее мозг... Но уже недолго осталось. Увидит девочка ковыльные степи, сады в молочном цвету, кудрявые ивы, бело-

стенные хаты, шелковую траву и полюбит их, разве есть земля лучше?

«Ты будешь третьей, но первой женой Ислам-Гирея», — назойливо сверлила мозг девочки мысль, томила душу и не угасала в круговороте однообразных дней. Пылкие глаза ханского сына, его величавая фигура все зримее возникали перед ней, и она явственнее ощущала на своем плече крепкое пожатие его руки. Где же пропал тот рыцарь, назвавший ее своей? Погиб в битве, умер или его убили?.. «Что это мама снова заводит разговор о своей грамоте? Я никуда, никуда не хочу уезжать отсюда!»

Только в третье лето Ахмет остановил Мальву, когда она возвращалась от коров с бурдюком, полным молока.

— Мальва!

Ахмет соскочил с коня и робко подошел к девушке. Мальва смутилась, — конечно, не приглашать ее поиграть в «ашыки» пришел он. Ахмет взрослый, и она уже не ребенок — Мальва стыдливо прикрыла платочком половину лица и смотрела на стройного скуластого юношу, возмужавшего и красивого. А рядом с ним богатырской тенью встал тот, кого она назвала ханом. Встал рядом с пастухом. Богатырь держал в руке меч, а этот — плеть, стан хана облегал кунтуш, у пастуха висел на плече серый чекмень, в глазах Ислама — сила и властность, в Ахметовых — покорность и робкая любовь. Мальве стало жаль Ахмета: ведь он спас ее от смерти, он подарил ей столько радостных дней незабываемым «укум-букум-джарым-барым». И все же он не такой, не такой, не такой.

— Мальва, — прошептал Ахмет, протягивая руки, — ты лучшая роза среди всех роз мира, ты самая красивая на чаирах Чатырдага, ты свет очей моих... Я люблю тебя. Не закрывай передо мной своего лица, не отворачивайся от меня, я люблю тебя — свидетели этому все ангелы рая, сам аллах...

Глаза Ахмета пылали страстью, он всем телом порывался к девушке, с трудом сдерживал себя.

Мальва боялась такого Ахмета и отрицательно покачала головой.

— Смотри! — Ахмет вытащил из кармана прядь волос, которые он тогда так внезапно срезал с ее головы, ударил по кресалу, подул, и они вспыхнули. — Я приворожу тебя! Посмотри еще! — Он вытащил из-за пазухи желтую плоскую кость, исписанную мелкой вязью. —

По ней ворожил самый ученейший гадальщик в Бахчисарае. Ты будешь моей, я люблю тебя!

Мальва испуганно смотрела на пылкого юношу и отрицательно качала головой.

Тогда он выхватил из ножен кинжал и с размаху воткнул его в руку выше локтя. Кровь просочилась сквозь рукав. Ахмет даже не поморщился.

Мальва ахнула и, бросив бурдюк, опрометью побежала по поляне к шатру.

Вскоре к женскому лагерю подъехал Ахмет. Он бросил бурдюк под ноги Марии и, не спросив, где Мальва, сказал:

— Ахмет добрый, Ахмет не мстит. Но Ахмет не железный. Поэтому на будущий год ищи себе других чабанов и не приходи сюда больше!

Из шатра вышла немая Фатима, взглянула на брата и поняла все. Ее глаза загорелись злобой, она завопила, подбежала к Марии и показала рукой на степь, а в ее горле застряли невысказанные проклятия.

Мария ужаснулась, поняв, что она тут чужая, что ей нельзя больше оставаться в коше Юсуфа — за обиду, причиненную ее брату, Фатима жестоко отомстит. До сих пор она молчала, видя отношение брата к Мальве...

На следующий день Мария и Мальва выехали в Мангуш. Горечь и обида, причиненные Марии Фатимой, заглушались чувством радости, что все закончилось благополучно. Ахмет славный парень, но не может же дочь полковника Самойла стать мусульманкой. Да и денег уже, кажется, заработали достаточно. Может, осенью... Только бы не отказал хан. А тут еще одна утешительная весть дошла до нее: будто казацкий полковник Хмель-ага с двумя полками казаков разбил во Фландрии войска испанского короля, защищая независимость Франции. Сам французский король пригласил на помощь казаков... Так это же Хмельницкий, генеральный писарь реестрового войска. Тот самый Богдан, который когда-то гостевал у Самойла. Господи, неужели возрождается казачество?

Дома она рассказала об этом Стратону:

— Ты слышишь, поднимают казаки головы, звенят их сабли... Старосту можно подкупить, он подтвердит, что и ты мусульманин. Поедем с нами. Продай дом и за эти деньги...

— Войско, которое воюет за деньги, не защита для народа, Мария, — ответил Стратон, безнадежно махнув рукой. — Чужую правду, чужие богатства защищает за

плату. Это слуги чужеземцев, а не свободолюбивые запорожцы. Хлеборобам от них пользы мало...

— Но откуда тебе известно, что это войско не бросит наемную службу и не поднимет свои сабли для защиты своего народа?

— Два полка встанут за народ, на который со всех сторон навалились сотни вражеских полков? Чепуха. Их сотрут в порошок. Ушла казацкая слава, Мария. И не вернется больше. Ты только подумай: шляхта, турки, татары... Не дадут они нам воскреснуть. Да еще сейчас, когда на престол сел такой хан...

— Я не слышала о новом хане, — раздраженно перебила Стратона Мария и умолкла: на пороге стояла Мальва, переводила встревоженный взгляд со Стратона на Марию.

— Какой хан? — спросила она, шагнув в комнату. — Какой хан?

Стратон недоуменно посмотрел на Мальву — какое, мол, ей до этого дело — и продолжал:

— Султан назначил ханом Ислам-Гирея *. Нынче, говорят, он должен въезжать в Бахчисарай. О, это не Бегадыр. У этого твердая рука. В польском плену наострил он свой ум, под Азовом — меч. А все против нее, нашей Украины...

— Он не будет воевать с Украиной! — закричала Мальва, и старики оторопели.

Мария бросилась к дочери. Что это с нею? У нее, безумной, радостью горят глаза, и говорит она такие странные вещи, словно бредит.

— Стратон, ой, Стратон, ее сглазили!

Стратон приложил руку ко лбу Мальвы, она отвела ее и спокойно повторила:

— Ислам-Гирей не будет воевать с Украиной.

Еще миг стояла неподвижно, потом повернулась и убежала из комнаты. Не слышала, как звала ее мать.

...На узких бахчисарайских улицах столпилось столько людей, что иголке негде было упасть. Ашлама-дере и Мариам-дере были забиты толпой, мальчишки взобрались на крыши, к дворцу и близко никого не подпускают вооруженные сеймены. Хан будет въезжать в город с запада, со стороны Эски-юрты. Мальва побежала обратно, в Салачик, поднялась по крутым тропинкам на плато и помчалась мимо цыганских хибарок туда, где было меньше людей. Спустилась к невольничьему рынку, остановилась

у края дороги, и уже никакая сила не могла вытолкнуть ее отсюда.

— Едут, едут! — прокатилось по длинной улице, и сердце Мальвы замерло.

Из-за поворота выехал отряд конных воинов, закованных в латы, а следом за ними два всадника в дорогих одеждах.

— Слава Ислам-Гирею! Слава Сеферу Гази! — кричала толпа, только Мальва молчала и широко раскрытыми глазами смотрела на тех, кому воздавали хвалу.

Один — старик с редкой бородкой, сморщенным равнодушным лицом и закрытыми глазами — изредка поднимал веки и окидывал толпу презрительным взглядом, второй... Разве это он? Нет, не он... Совсем незнакомый мужчина сидел в деревянном седле с резными украшениями, в голубом кафтане и в собольей шапке с двумя султанами.

Эскорт приближался, и когда вот-вот должен был пройти мимо Мальвы, хан повернул голову, вытащил из расшитого золотом пояса горсть монет и бросил людям. Мальва узнала: это был тот самый рыцарь, которому она когда-то напророчила ханство, только он намного старше, неприступней, суровей. Мальве показалось, что он остановил на ней свой взгляд, она подалась вперед, но ее оттеснили конные сеймены, спины людей закрыли перед ней процессию.

Долго не утихал шум в столице, спряталось солнце за ротонды Эски-юрты. Мальва возвращалась в Мангуш. С опущенной головой, поникшая, упавшая духом. Мечты, взлелеянные годами, радужные, вдруг поблекли, полиняли, стали такими бедными, как вот эта медная монета, брошенная щедрым ханом. Девушка сжимала монету в кулаке, изредка посматривая на нее, потом бросила ее в известковую пыль на дороге.

Дома ждали ее заплаканная мать и мрачный Стратон.

— Где ты была? — спросили они в один голос.

— Там... встречала хана...

— Ты видела его?

— Да, — сказала она тихо и безутешно зарыдала.

Мария уложила Мальву в постель, голова ее горела: не иначе, кто-то сглазил дочку. Мария прикладывала к ее голове холодное полотенце, тревожилась. Стратон долго сидел молча, он не понимал причины Мальвиного недуга, но был уверен — это не потому, что ее сглазили. Вечером промолвил, тяжело вздохнув:

— Вот что, Мария... Если уж ты твердо решила вернуться на Украину, то не откладывай. Беда беду найдет, пока солнце зайдет... Иди к хану. Новый царь в начале своего царствования всегда бывает щедрее, чем тогда, когда осмотрится. А если у тебя не хватит денег, добавлю.

«С кем ты будешь, Ислам?» — спрашивали пронизывающие узкие глаза Сефера Гази молодого хана, вошедшего в зал дивана.

Ислам-Гирей остановился напротив высокого трона, обитого оранжевым сукном, с вышитым золотым полумесяцем на спинке, ждал ритуала коронации. К хану подошли четыре бея, каждый держался за угол широкого пушистого войлока. Высокомерно и покровительственно, словно на старшего сына, посматривал на Ислам-Гирея самый богатый в Крыму ширинский бей Алтан, некоронованный хан улуса. Заискивающе глядели на нового хана яшлавский и барынский беи. Холодный, горделивый, как бы равнодушный ко всему, что тут происходит, стоял властитель Перекопа ногаец Тугай-бей.

Ислам-Гирей всматривался в лица своих требовательных советников, остановил взгляд на Тугае, и его глаза засияли. Этого воина — именно воина, а не бея — он знает еще с тех пор, когда командовал восстановлением Ор-капу. Ислам подумал: если ему когда-нибудь придется считаться с этими четырьмя могущественными беями ханства, он будет искать дружбы не с коварным Ширином, не с трусливым Барыном, не с убогим Яшлавом, а с Тугай-беем из рода Мансуров, который ковал свою волю в седле, а не на мягких персидских коврах.

Хан стал на войлок, беи подняли его, взявшись за четыре угла, и понесли, восклицая:

— Встань! Живи!

Молча смотрели на церемонию ханские оруженосцы-сеймены и их вожак Сефер Гази, стоявшие возле трона.

Беи ждали, что хан поклонится им.

Мускулы на лице Ислама напряглись, еще больше выдалась вперед нижняя челюсть. Он не встал и не поклонился беям, оперся головой о спинку трона и протянул назад руку — Сеферу Гази. Тот подошел, величественным жестом подал хану свиток бумаги. Ислам развернул его и медленно, слово за словом, прочел первый свой указ:

— «Великого улуса правого и левого крыла благород-

ным беям, муфтиям, кадиям и шейхам сообщаю этим указом: отныне я великой орды, великой монархии, столицы крымской, неисчислимых ногаев, горских черкесов — великий цесарь.

Ислам-Гирей, сын Селямет-Гирея.
Великого хана самый благородный советник,
полномочный и доверенный *Сефер Гази-ага*».

Дернулась голова у Ширин-бея, губы сжались в злобе, пробежала тень неудовольствия по лицам яшлавского и барынского беев, только Тугай стоял как и прежде — гордый, могущественный и непроницаемый.

Ислам-Гирей поднял руку, и все, кроме Сефера Гази, вышли из зала дивана. Бывший учитель, теперь ханский визирь, молвил, не двигаясь с места:

— Первый бой выигран. Но это только первый бой.

В зал неожиданно вошел ханский оруженосец сеймен Селим — он три года верно ждал своего благодетеля и повелителя в свите Крым-Гирея — и сообщил:

— Гонец из Стамбула!

Углом приподнялись вверх брови Ислама, спрятались за веками мышиные глазки Сефера Гази. Но и хан не поднялся, не пошел навстречу.

— Пусть войдет, — велел он.

Высокий турок в янычарской форме слегка наклонил голову, и тут Сефер Гази прошипел:

— Кланяйся в ноги великому хану!

Султанский посол смутился, побагровел, поклонился еще ниже, но не пал на колени. Произнес:

— Именем солнца мира султана Ибрагима повелевает тебе великий визирь отправить свои войска на Украину или в Московитию и доставить в Стамбул четыре тысячи невольников для четырехсот кораблей, которые необходимы для войны с Венецией. И еще велит направить сорок тысяч войск под его высокое командование. И передаю тебе подарки султана, — гонец положил к ногам кунтуш и саблю.

Ислам поднялся умышленно медленно, надел кунтуш на одну руку, а на саблю даже не взглянул.

Что ответить гонцу? Отказаться выполнить первый султанский приказ, когда еще бразды правления некрепко взяты в руки, — рискованно. Выступить против Московитии — невыгодно. На Украину? Нет, Украину сейчас трогать нельзя. Теперь казачеством заинтересовались

Англия, Франция, Швеция, Голландия. Хмельницкий под Дюнкерком одержал блестящую победу над испанцами, он еще может пригодиться Крыму. А Ляхистан не платит дани, можно воспользоваться случаем и самим взять ее, хотя султан и не говорит об этом. А выступить придется — Крым еще не оправился от голода.

— Передай султану, — сказал хан после длительного раздумья, — что покорный слуга Ислам-Гирей заверяет его в своей преданности и является рабом и пылью в сравнении с ним. Но крымские люди в Стамбул не пойдут — у нас голод, чем они там поживятся? Они пойдут в гяурские земли за ясырем для султана.

...Лишь зимой возвращались войска Ислам-Гирея по Покутской дороге, ведя десять тысяч пленных украинцев и поляков. А из Стамбула в Варшаву направлялись послы с наказом заверить короля Владислава, что нападение на Польшу Ислам-Гирей совершил по приказу Аззема-паши, за что великий визирь был казнен.

Дорога была далекой и тяжелой, холод косил пленников, мурзы и сеймены возмущались тем, что после султанского дележа им ничего не осталось.

За Перекопом отобрали две тысячи самых сильных мужчин для султана, остальных стали делить между собой. Хан послал Сефера Гази и Крым-Гирея следить за распределением ясыря.

Вскоре до ханского шатра донесся непонятный шум, звон оружия и стрельба. В заснеженной степи стали друг против друга два враждебных лагеря: мурзы во главе с Крым-Гиреем и сеймены — с Сефером-агой. Загремели литавры, воины мурз в островерхих черных шапках понеслись на сейменов, закованных в кольчуги и шлемы. Столкнулись алебарды и бердыши извечных соперников в борьбе за добычу. Захлопали пищали и кремневые пистоли, засвистели стрелы, зазвенели ятаганы и сабли.

Хан пришпорил коня, прискакал на поле битвы, но остановить ее уже был не в силах. Мурзы окружили сейменов и секли их саблями.

— Прекратить! — исступленно кричал хан и, подвергая себя смертельной опасности, скакал по полю.

Бой начал утихать, мурзы повернули коней и со всех сторон окружили хана.

К Ислам-Гирею подъехал на коне ширинский мурза, сын властного Алтан-бея, который не забыл пренебре-

жительного отношения к нему хана во время коронации.

— Хан, — сказал он, выдыхая клубы пара в лицо Ислам-Гирею, — ты наш властелин, а мы твои слуги. Но нет властелина без слуг, подданные же всегда найдут себе господина. Мы согласны подчиниться тебе, но не самозванцу, в жилах которого нет и капли благородной крови. Вели арестовать Сефера Гази, который, словно трусливый хорек, убежал с поля боя. Мы найдем его. Вот тебе готовый ярлык на его арест, приложи печать. Беи не могут допустить, чтобы главным агой татарского войска был ничтожный раб, который возвеличился на грабительских сейменских поборах.

Ислам-Гирей ужаснулся: осудить на казнь верного учителя! Он поднял было руку, но она тут же опустилась — в этот момент не было у него ханской власти, и возвратить ее он мог только ценой жизни Сефера. Лица мурз были суровы и решительны, их взгляд говорил: «Мы посадили тебя на трон, мы тебя и свергнем с него». И тогда хан вспомнил совет учителя: у предводителя должно быть два лица — рыцаря и коварного змея. «Так вот на ком приходится мне впервые осуществлять твое учение, мой добрый учитель!»

Ширинский мурза подал Исламу исписанный лист бумаги. Хан снял с пальца перстень и дрожащей рукой приложил его к ярлыку.

Небольшой отряд бейских воинов понесся вскачь по степи в погоне за Сефером-агой.

Тогда к хану подъехал властелин Перекопа Тугай-бей и промолвил, мрачно глядя на него:

— Хан, я в десять раз сильнее тех, которым ты сегодня подчинился. Со своими ногайцами я сильнее, чем ты. Но междоусобица ни к чему, когда на ханский престол аллах послал мудрого властелина. Сефер-ага пересидит опасное для себя время в Ор-капу. Такая голова не должна слететь с плеч. И твоя тоже. Можешь, хан, рассчитывать на меня...

Долго Мария дожидалась приема у хана. Вернувшись из похода, он никого не принимал. Только в день намаза, когда сосед соседу приносит хлеб, чтобы помянуть умерших, а перед воротами ханского дворца раздают еду нищим и цыганкам, Ислам-Гирей принял просителей.

С трепетом входила Мария в ханскую канцелярию в

сопровождении мангушского старосты, который за хороший калым согласился подтвердить, что Мария и ее дочь — правоверные мусульмане, желающие возвратиться к гяурам, чтобы проповедовать среди них самую справедливую на земле веру.

Оставив башмаки на лестнице, Мария вошла в зал и упала ниц перед ханом. Ислам-Гирей молча кивнул казначею, сидевшему сбоку за столиком. Тот велел рассказать о своей просьбе, выслушал ее, посмотрел на хана. Хан кивнул головой. Мария положила перед казначеем кучу алтынов, и тогда писарь, сидевший рядом, изрек гнусавым голосом:

— «Жителям Мангуша Марии и Соломии, которые удостоились получить этот красноречивый хаканский ярлык, разрешается пройти через укрепления Ор-капу в Ногайскую степь и дальше, и никто из моих слуг не может чинить им каких-либо препятствий.

Великий хан Крымского улуса *Ислам-Гирей*».

Сбылось! Конец неволе! Да неужели это правда? Мария, кланяясь и плача, выбежала из ханского дворца и изо всех сил помчалась по ущелью в Мангуш.

— Мальва! Мальва! Соломия! — звала она в своем дворе дочь, но ей почему-то никто не откликался.

Открыла ворота Стратоновой усадьбы.

— Страто-он!

Стратон приковылял к порогу, лицо его обрюзгло и осунулось, он как-то виновато развел руками. Тревога закралась в сердце Марии.

— Где... где Мальва?

— Я не отпускал, умолял, угрожал... Но она как безумная...

— Да что же случилось?! — в отчаянии закричала Мария, и руки ее поднялись к шее, словно она хотела задушить себя.

— Успокойся, Мария... Ведь не умерла же она. Приехал сегодня к нам ханский страж и сказал, что хан велит... не велит, а просит, чтобы Мальва явилась к нему. Я ничего не понимаю... Откуда хан мог узнать о нашей Мальве... И она уехала... Говорила, что вернется и все тебе расскажет. Мария, не принимай это близко к сердцу... Плачем горю не поможешь. Получила грамоту? Ну, вот завтра и пойдете...

— Вот она, моя кровавая... Вот она. Я знаю... Теперь я уже знаю... О боже!.. Моя дочь станет ханской наложницей! — Она протянула Стратону руку с грамотой, покачнулась, всхлипнула и в обмороке повалилась на землю...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мати моя дорогая,
А я ж тебе не пізнала.
Скидай з себе свої лати,
Будеш з нами панувати.

Украинская народная песня

«Сказал пророк, пускай над ним будет мир: пойдут люди в рай по мосту — сирату, тонкому, как волос, и острому, как меч. И поведет их Монкир...»

Гвоздем застрял в мозгу Ислам-Гирея этот хитроумный хадис; растолковывая его сам, без хафизов, он выработал для себя собственную тактику.

Много дней после возвращения из похода в Ляхистан Ислама мучила совесть. Изо всех углов, из-за канделябров, из окон смотрели на него проницательные глаза, полуприкрытые веками. Учителя обрек на смерть. Отблагодарил за науку, за освобождение из неволи, за ханский престол.

А потом в памяти всплыл услышанный еще в Зинджирлы-медресе хадис, как бы написанный для него. Каждого человека в жизни ведет свой ангел Монкир по тонкому волоску риска. И только тот, кто способен балансировать, сохранить равновесие, кто может покривить своей совестью, пройдет по нему в рай. Те же, что идут прямо, попадают в ад...

Пришло успокоение и к хану, а вместе с ним странное, кощунственное чувство удовлетворенности победой над самим собой: для достижения своей цели теперь он сможет пойти на все. Пускай напрямик идут те, кто думает лишь о своем «я» и своей совести. У него есть Крым.

Он долго ничего не знал о судьбе Сефера Гази. Ему не хватало учителя не из-за укоров совести, а для совета. Теперь он должен был думать обо всем сам. Что делать, чтобы стать могущественным самодержцем, чтобы прикладывать печать только тогда, когда этого пожелает он сам? С чего начать? Истощенный голодом народ рвется за Перекоп, чтобы грабить, а он знает, что сейчас нельзя

трогать северных людей. Беи держат в своих руках трон, и выступить против них сейчас еще не хватает сил. Порта пока что еще сильна...

Ислам не принимал никого, даже братьев. Ждал известий от Тугай-бея. Этот железный ногаец стоял в стороне, когда разгорелась борьба при дележе ясыря. Не вмешался, когда хана окружили мурзы. А потом протянул ему руку. Обратиться теперь к нему, признаться в своем бессилии и стать зависимым от него? Нет, надо выждать...

Наконец из крепости прискакал посланец с письмом. Писал Исламу сам Сефер Гази.

«Сын мой, я жив, и придет время, когда вернусь к тебе. Я рад, что ты поступил именно так. Ты доказал, что можешь быть ханом. Однако не злоупотребляй моей наукой, и аллах благословит твои замыслы. С союзниками будь дипломатом, с врагами будь хитер и коварен, как ядовитый змей, а друзей, которые могут пригодиться тебе, не предавай. Друг еще простит, но судьба может порой отомстить».

Пораженный великодушием аталика, Ислам-Гирей спустился из опочивальни в малую мечеть и долго молился. Потом вышел из дворца один, без сопровождения, и направился вверх вдоль Чурк-су в сторону Качи. Поднялся по тропинке на вершину, откуда была видна резиденция Нурредина Кази-Гирея. Надо было бы поговорить с младшим братом, посоветоваться, как быть с Крым-Гиреем, который оказался на стороне беев. Но нет, еще рано. А может, и совсем не надо... Хорошо, что жив Сефер Гази.

Повернулся и пошел по гребню к Чуфут-кале. Сегодня ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Остались позади буковые безлистые рощи и поляны с промерзшими кустами можжевельника; из низины потянуло запахом весны — там уже зеленела трава, да и на вершинах за кустами можжевельника серели остатки снега.

— Сефер Гази жив! — еще раз повторил вслух. — Он еще вернется ко мне, дайте только укрепиться. А когда упрочу свое положение, тогда народ увидит разницу между мной и моим предшественником. Отменю военный налог, который ввел Бегадыр, восстановлю на Перекопе торговлю солью с гяурами, пусть немного оправится народ, пускай набьет себе брюхо. А потом он последует за мной, куда я захочу. Тогда зажму в кулак Ширинов и Барынов, на первом месте в диване поставлю презираемо-

го Яшлава, и будет он мне служить, как верный пес. А Тугай-бея назову другом. Жалобы людей буду выслушивать на улице и не пожалею для них щедрот своих. А тогда скажу туркам: «Уходите отовсюду: из Кафы и из Ахтиара, из Судака и Керчи!»

Настроение его поднялось. Он вспомнил молодые годы, польский плен, тревогу за ханский престол, турецкую неволю, и вдруг бурною волной ударило в сердце воспоминание... «Ты — хан». Кто произнес эти слова, ставшие пророческими? Он и Сефер Гази едут из Ак-мечети в Бахчисарай отдать последний долг покойному Бегадыр-Гирею. Сефер Гази учит уму-разуму молодого Ислама. А навстречу — девушка, стройная, тонкая, совсем еще ребенок, и прекрасная, как распускающаяся роза на рассвете. «Ты знаешь, кто я, девочка?» — «Знаю, ты — хан»... Откуда она? Вспомнил, из Мангуша, назвала себя Мальвой. И он обещал найти ее, когда станет ханом. Но это было давно... Возможно, теперь она уже вышла замуж. Но он обещал, и его обещание должно быть платой за предсказание. Лукавить с судьбой нельзя. Надо найти ее и хотя бы поблагодарить.. Да, в день намаза он примет посетителей, а Селима пошлет разыскать ее. Пусть просит у хана, что пожелает.

...После обеда в день намаза Ислам-Гирей оделся в легкий костюм воина и в приподнятом настроении, словно и не обременяла его тяжесть ханства, поскакал на коне к Ашлама-сараю, где должна была ждать его юная предсказательница из Мангуша. «Пришла ли, отыскал ли ее Селим? — думал он дорогой. — И что сказать ей, чем вознаградить? А может быть, все-таки спросить, не желает ли она, чтобы хан выполнил свое обещание?» При этой мысли радостное волнение охватило все его существо. Словно юноша, Ислам-Гирей соскочил с коня и стремительно вошел в покои, раздвинув обеими руками портьеры.

Посреди комнаты стояла девушка. Черные брови сошлись на переносице, лицо — бледное от волнения, черные как смоль волосы и темно-синие глаза.

Она стояла с открытым лицом, застыв, слегка вздрагивая. К ней подходил тот суровый и гордый хан, который небрежно бросал на головы людей медные монеты. Ой, нет, не он... К ней подходил тот самый рыцарь, которого она когда-то встретила в Ашлама-дере, — с мужественным лицом, острым пылким взглядом, с выдающейся вперед бородой...

Ислам-Гирей коснулся рукой ее лица и сказал, ласково улыбнувшись:

— Я не могу узнать тебя, красавица. Узнаю разве только твои глаза, синие, точно дарданелльские воды. Видишь, исполнилось твое пророчество, и я готов уплатить тебе свой долг.

— Медными монетами? — тихо спросила Мальва.

— Я сделаю все, что ты только пожелаешь. Но денег, помню, я тебе не обещал... — Ислам в минутном раздумье потрогал бороду... — Я тогда сказал...

— Ты сказал: «Будешь моей третьей, но первой женой», — закончила за него Мальва, не сводя с хана зачарованного взгляда.

— Это память ума, Мальва, или память сердца? — спросил Ислам, пораженный непосредственностью девушки.

— Не знаю, не понимаю...

— Ты бы согласилась стать моей женой?

— О да! Как же иначе? Я ждала и верила, потому что эти слова сказал мне рыцарь. Только мама ничего не знает...

Хан повернулся к двери.

— Селим! — позвал он. — Скачи в Мангуш и привези сюда ее матушку. Скажи ей: хан кланяется в ноги матери самой очаровательной красавицы в мире и просит прибыть в свои покои...

Им овладела страсть настоящей любви, которой он не изведал до сей поры.

Он схватил Мальву на руки и прижал к себе.

Впервые в жизни Мальва ощутила силу и сладость мужских объятий. Инстинктивный женский протест овладел ею, она выскользнула из рук хана, обессиленная и жаждущая, как тогда — во сне на Чатырдаге.

— Ты великий и могущественный хан... Но я покорюсь тебе не потому, что ты хан. Я люблю... Умоляю, не делай меня наложницей в гареме...

— Не бойся, красавица моя. Завтра же мы сыграем свадьбу.

Вернулся Селим. Он был не таким, как прежде. В глазах, в которых всегда светились преданность и готовность в каждый миг умереть за хана, появились тревога, волнение, печаль.

— Хан, — сказал он, — ее мать... умирает.

Мальва ахнула, стремительно бросилась к выходу и побежала по ущелью.

Перед ее глазами мелькали разноцветные пятна: все, что произошло сегодня, казалось ей теперь сном, а действительность ошеломила страшным известием: умирает ее мать. Из-за нее, из-за нее, из-за нее...

Вбежала в хату. Стратон стоял у постели мрачнее ночи, враждебно посмотрел на Мальву.

— Ты отплатила ей за все. И за свое рождение, и за то, что не дала тебе погибнуть в этой страшной неволе...

— Умерла?! — закричала Мальва и упала на грудь матери. — Ой, ой, мама!

Мать открыла глаза, с трудом прошептала:

— Ты тут, дитя?.. О, моя Соломия... Не плачь, не плачь, я не больна, только сердце почему-то не слушается меня. Сколько ему довелось претерпеть... Я завтра поднимусь. И мы поедем на тихие воды... к ясным звездам... О, как я ждала этого дня! У нас теперь есть грамота, мы свободны... Зачем ты пошла к ним, доченька?

Мальва упала перед матерью на колени, прижалась лицом к ее желтой руке.

— Мама, слышишь, мама... — Мария приподняла голову. — Выслушай меня. Я ждала его... Разве я могла знать, что этим причиню тебе горе? Я полюбила его еще маленькой, тогда он не был ханом. А ты же воспитывала меня мусульманкой, я не могу тосковать о том, о чем тоскуешь ты, хотя и хотела. Мне не известны ни ясные звезды, ни тихие воды. Они у меня тут — в долине Узенчика, на вершинах Чатырдага, на улицах Бахчисарая, в его глазах. Но тот край, о котором ты печалилась, не чужой мне, потому что он твой. И если хан любит меня, разве он пойдет опустошать земли моей матери? Я люблю его, мама. И ты не губи меня своей землей, как моя погубила тебя...

Мальва рыдала и целовала руки матери. Мария приподнялась, опершись на подушку локтями. У нее голова разрывалась от мысли о том, что тот хан, перед которым она сегодня пала ниц, должен стать ее зятем. Тут что-то не так... Она — полковница Самойлиха — теща хана? Окинула взором хату, посмотрела Стратону в глаза, ожидая от него совета. Но он не ответил на ее немой вопрос. Рыжие брови опустились до век, в его поблекших глазах она прочла упрек.

— О боже, что я наделала! — схватилась она обеими руками за голову и в отчаянии забилась на постели.

В пятницу перед обедом из Мангуша выехала крытая

шелком, украшенная пальмовыми ветками арба. Спереди сидел молодой кучер, покрикивая на пять пар откормленных волов, и бросал в толпу, высыпавшую из Мангуша и Бахчисарая в ущелье Ашлама-дере, цветастые платочки. Позади арбы шли музыканты, играя на зурнах и чонгурах.

Свадебная процессия остановилась перед летним ханским дворцом. Навстречу ей вышел сам Ислам-Гирей в соболиной шубе. Подошел к арбе, раздвинул шелковые занавески и вынес на руках невесту, в золотистой фередже и яшмаке из розовой турецкой кисеи. Под звуки музыки, шум и возгласы он пронес ее сквозь толпу людей и скрылся за воротами дворца.

Мангушане постояли и разошлись — удивленные, одни с завистью, а некоторые с надеждой, что, может быть, когда-нибудь защитит их молодая султан-ханым Мальва.

Мария и Стратон не провожали арбу, не пировали на свадьбе дочери, остались дома. Сидели, охваченные страшным горем, в доме Стратона, таком тихом, словно там лежал покойник.

Семь башен Ор-капу навеки закрылись перед Марией на пути к Перекопу.

До сих пор Мария не замечала скал вокруг своей хижины. Ведь у их подножия жило только ее тело, только руки трудились, добывая деньги на ханскую грамоту, а душа витала далеко от этих скал, и они не угнетали ее. Теперь же скалы сошлись, сомкнулись белыми ребрами. Загородили узкий проход, по которому она надеялась уйти с Мальвой в веселый родной край...

Две горы, Анам-каясы и Балан-каясы... Гора-мама и гора-дитя. Когда-то, рассказывают старые татары, тут жила вдова с дочерью. Посватался к Зулейке разбойник, и пошла Зулейка ему навстречу. Увидела это мать, закричала: «Стой! Лучше камнем станем!» И они превратились в две горы.

О, если бы Мария обладала такой волшебной силой!

Не утешил ее и богатый ханский калым за невесту. Десятикратно вернулись Марии тяжким трудом заработанные деньги на грамоту. Но кому они теперь нужны?

Минула неделя, другая, и собралась старая мать, ханская теща, навестить во дворце свою дочь. В черном одеянии и с темным лицом, словно тень, подошла она к закрытым железным воротам. Ее остановил стражник в остроконечном шлеме, с бердышом в руке.

— Куда ты, старуха?

— Я к дочери, — сказала она, глядя в землю. — Она жена хана.

— Ты? Мать Мальвы-ханым? — удивился страж, и только теперь Мария подняла на него глаза.

Долго смотрела на воина и уже забыла, зачем пришла. Где-то она видела этого белокурого юношу, однажды он промелькнул перед нею и почему-то встревожил материнское сердце... Ах, это было давно, когда покойный хан Бегадыр отправлялся в поход на Азов, а они с Мальвой впервые пошли в горы, убегая из голодной степи. Да, да, это тот самый, похожий на святого, который охраняет матерь божию на скале у Успенского собора. Тогда Мария не видела его глаз, а теперь они смотрели на нее холодно и неприступно, но такие знакомые, такие знакомые. Боже, ведь у него такие глаза, как у Мальвы!

Пораженная чудовищной догадкой, Мария попятилась, протянула руки, но они бессильно опустились.

— Ты — мать ханым Мальвы? — спросил еще раз Селим, уже мягче, но все же с недоверием.

— Да, да... — прошептала она. — А ты, ты кто? — спросила она и обессилела. — Кто ты?

— Не полагается воину на службе разговаривать с женщиной, — сурово ответил Селим, но не закрывал ворот, стоял, скованный безумным взглядом этой незнакомой женщины. — Хорошо, — сказал он после минутной паузы, — я доложу кизляр-аге, что к ханым пришла ее мать.

— Кто ты? — не слыша его слов, спрашивала Мария. — Ради жизни твоей матери, скажи, кто ты?

— У меня нет матери. У меня не было ее... — ответил Селим, и печаль тенью облачка промелькнула на его суровом лице и исчезла.

— Кто же родил тебя на свет? Ведь должен был кто-то родить тебя! — воскликнула Мария, и встревоженный Селим попятился к воротам. — Нет, нет! Не закрывай, умоляю! — упала на колени Мария. — Скажи мне только одно: откуда ты пришел сюда?

Селим поднял ее с земли, ласково промолвил:

— Женщина, у тебя помутился разум, уходи отсюда. Не принуждай меня звать сюда евнухов, чтобы прогнали тебя. У тебя, наверное, большое горе, ты ищешь своих детей. Их тут нет. Ханым Мальва родом из Мангуша, меня зовут Селим, а моя мать — старая цыганка Эмине из Салачика. Тут нет твоих детей.

— Но ты-то не цыган, а белый! — уцепилась Мария за кольца закрывавшихся ворот.

Мария овладела собой. Шла по мощеной улице, невольно ускоряя шаг, мимо греческих и армянских магазинов, не слыша зазываний продавцов, наталкивалась на женщин, спешивших на базар в Салачик, и остановилась лишь возле цыганских хижин и темных входов в пещеры.

— Скажите, где живет старуха Эмине? — спрашивала она. — Где живет Эмине?

Ей указали на крайнюю пещеру.

Морщинистая, с распущенными седыми волосами ведьма вышла из пещеры и выставила свои костлявые пальцы, словно хотела ими вцепиться в лицо непрошеной гостьи.

— Что ты ищешь тут? — прошипела она.

— Ты Эмине? — спросила Мария, и в памяти возник цыганский табор на околице села; сдавила грудь старая, уже забытая боль, от которой Мария чуть не лишилась рассудка, когда пропал из сада ее маленький Семенко.

— Я больше не ворожу, — забормотала старуха. — Иди вон туда, — указала рукой на вход в пещеру. — Там моя дочь.

— Нет, нет, я пришла не ворожить... Но у меня есть деньги, и я заплачу тебе... Скажи, откуда у тебя появился Селим, который служит у хана?

Глаза у старухи беспокойно забегали и остановились. Она пронзила Марию недоверчивым взглядом и повернулась, не ответив.

Мария схватила цыганку за руку.

— У меня есть золото, Эмине! Скажи, ты же с Украины привезла его?

— Мы люди кочевые и бывали всюду. Я не могу припомнить, откуда этот парень, которого хан купил у меня.

Мария отвязала от шеи мешочек.

— Тут много золота. Я отдам тебе все, если скажешь, ведьма, где и когда украла этого ребенка, который был белым, как пена на молоке, а глаза у него были синими, как незабудки...

— Уходи, женщина, — прошамкала Эмине, сочувственно взглянув на Марию. — Не ищи утраченного. Он все равно уже не твой, даже если ты его родила...

Мария поплелась назад. В голове шумело, клещами сдавливало виски. Пошла обратно во дворец.

Открылись парадные ворота. Верхом на конях вы-

ехали безбородые евнухи, а посредине — тоже на коне — жена хана в парчовой чадре. Узнала Мария, но не тронулась с места, не поднялась. Это не ее дочь, не Мальва — совсем чужая женщина со знакомым лицом. Тут все ненастоящее: и то, что, возможно, ее сын охраняет хана, и то, что Мальва стала ханской женой, и то, что Мария Самойлиха сидит, словно нищая, у ворот дворца... «Разве все это может быть правдой? Нет, это не мы.

Мальва остановила коня, увидев мать, сидящую, согнувшись на мостике, и радостно улыбнулась, прижалась к ней.

И только теперь Мария почувствовала, как с ее груди сползает тяжелый камень скорби, как начал проясняться утомленный мозг и возвращаться утраченный покой.

«Где-то, наверное, живет еще один янычар. Служит убийцам отца. Разве я могу уйти от них?»

Марию охватило чувство покорности, угасали мечты, надежды, не стало Самойлихи. Сидела, съежившись у чужих ворот, словно бездомная собака, ищущая на развалинах потерянных ею щенят.

— Я собралась к тебе, мама, — услышала Мария голос Мальвы и почувствовала прикосновение ее теплых рук к лицу. — Как поживаешь? Здорова ли ты? Почему до сих пор не приходила ко мне?

— Хворала я... А ты, доченька, счастлива? — спросила мать, не глядя на Мальву, чтобы не видеть ее в чужом одеянии, а только слышать родной голос, чувствовать прикосновение дорогих рук.

— Счастлива, хан любит меня, — пролепетала Мальва, и тогда мать посмотрела на нее, потому что какая-то тревожная недоговоренность улавливалась в ее словах. Не почувствовала ли пташка себя невольницей в золотой клетке?

Мальва заметила тревожный взгляд матери и улыбнулась:

— Я, мама, счастлива, лишь бы только ты не убивалась...

— Не беспокойся обо мне. Я буду жить вместе со Стратоном в Мангуше. Коль уж оторвалась от своего родного угла, так и помирать придется под чужим забором... А Стратону будет легче со мной... И тебе... — Мария глянула на воина, стоявшего у ворот, прошептала: — И мне тоже...

— Ты не плачь, мама, — Мальва обняла Марию.

— Почему-то слезы сами текут. — Мария поднялась, показала рукой на Селима. — А ты его знаешь?

— Знаю. Это любимец хана, самый близкий его страж.

«Оба ханские. Оба янычары... Дети, дети, мальвы мои поблекшие».

Со страхом, сжимая губы, чтобы не разрыдаться, Мария подходила к Селиму. Селим виновато улыбнулся:

— Прости, старуха. Ты какая-то странная, и я не поверил, что ханым — твоя дочь.

Мария прикоснулась к его плечу:

— Я не обижаюсь на тебя. Я буду часто приходить, а ты... ты хоть иногда улыбайся мне... Не удивляйся, почему я спросила, кто твоя мать. Ты напомнил мне моего сына, брата Мальвы, его украли у меня, когда он был еще младенцем... — Мария прикрыла рукой уста, ибо увидела, как вздрогнул Селим, как глаза его впились в лицо женщины, а в руках задрожал бердыш.

— Хан выезжает! Великий хан Крымского улуса Ислам-Гирей! — прозвучал громко голос во дворе.

Селим выпрямился, евнухи подхватили Мальву на руки, усадили на коня.

Мария тенью промелькнула вдоль высокой стены и незаметно исчезла за углом.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

> Мир развивается сам по себе,
> и никакой тиран его не изменит
> и не остановит.
>
> *Авиценна*

Меддах Омар отправился из Скутари в дальнюю дорогу — в Адрианополь. Старец знал, что это путешествие будет последним в его жизни: годы, которым забыл счет, склоняли его все ниже к земле, дряхлое тело просилось на вечный покой. Но ум протестовал против такой смерти, которая неминуемо приходит к человеку. Омар стремился оборвать нить своей жизни там, где она могла бы хоть на мгновение осветить путь другим своим последним пламенем.

Он не верил в победу повстанцев, которые отважно решились напасть на бывшую столицу Османской империи, но все равно шел к ним. Он заранее предвидел смерть вожака кызылбашей Кер-оглы, но знал, что пред-

отвратить восстание невозможно, как нельзя вычеркнуть ни одного дня из года. Ибо развитие нового мира от рождения до победы — это цепь попыток и упорных стремлений, в которых старое служит для того, чтобы из него вырастало новое.

Ведь смерть ювелира Хюсама не прошла бесследно. Поэтому и Омару грешно уходить, не оказав помощи борющимся за правду.

Видимо, такова уж воля всемогущего аллаха, а может быть, это благодарная судьба подлинных служителей искусства, творения которых оцениваются после кончины. То ли при жизни художник собой заслоняет свой труд, то ли просто не верят люди, что этот, на вид ничем не выдающийся человек, который не умеет так гордо, как придворные певцы, стоять рядом со всесильными мира сего, может быть великим. Но вот уходит он, оставляя свои мысли в песне, в затейливой росписи на вазе, в капители мраморной колонны, и спрашивают тогда люди: «Что это за чародей?» Пытаются вспомнить его имя, расспрашивают друг у друга, и на помощь непомнящим приходят всезнающие придворные, которые травили художника при жизни, и говорят: «Это наш великий предшественник», чтобы хоть как-нибудь примазаться к бессмертию, коль его бессмертных творений при жизни убить не могли.

Кто знал старого ювелира Хюсама? Не помнил его покойный Амурат, который носил инкрустированный жемчугом сагайдак работы Хюсама, безразличны были имамы мечети Айя-София к тому, кто каким-то чудом написал стих корана на бадахшанском рубине, украшающем михраб; не знал кафеджи на Бедестане мастера, сделавшего чаши из яшмы, в которые он наливал вино знатным иностранцам. Да и поверил ли бы кто-нибудь из них, что это творение чудодейственных рук согбенного старца, который стоит за соломенным стулом у ворот Бедестана, затравленный и презираемый уста-рагином ювелирного цеха?

Но вдруг не стало Хюсама. Алимовы головорезы выволокли изувеченное тело нищего, продававшего искусные изделия с драгоценными камнями да еще и посмевшего поднять руку на чорбаджи первой янычарской орты, за стены базара и приказали сторожам зарыть старого пса.

А потом случилось то, чего никто не предвидел. Умерла Нафиса, не дождавшись своего мужа, мастерскую Хю-

сама ограбили цеховые ювелиры, и невиданные ценности появились в самых богатых магазинах Бедестана. Купцы удивлялись, восхищались, чужеземцы спрашивали, кто их создал. Сказано — шила в мешке не утаишь. Поползли слухи о том, что продаются изделия покойного скутарского ювелира Хюсама, который смастерил Сулейману Великолепному султанский трон и перстни которого носила сама Роксолана Хуррем. Неимоверно подскочили цены на его изделия, торговцы размахивали золотыми браслетами, подбрасывали на руках медальоны и амулеты, продавцы посуды вызванивали по серебряным тарелкам и кофейникам, призывая: «Покупайте, покупайте, это изделия Хюсама, знаменитого Хюсама!» А проходимцы подделывали роспись Хюсама и тоже расхваливали товар, не зная толком, на чьем имени они зарабатывают.

И возможно, Хюсам был бы посмертно возведен в сонм придворных ювелиров, если бы не один нищий, что сидел на базаре в день султанского торжища напротив Хюсама. Он узнал Хюсама в тот момент, когда чорбаджи Алим вонзил в его горло ятаган. Нищий долго молчал, боясь расправы янычар, но все-таки шепнул кому-то, что Хюсам умер не своей смертью, а от руки янычара, кто-то другой вспомнил последний вопль старика и догадался, что чорбаджи первой орты был воспитанником ювелира, — и среди людей поползли разные слухи, превращаясь в легенды. Народ теперь желал знать о Хюсаме все, соотечественникам славного мастера как бы хотелось смыть с себя пятно за равнодушное отношение к старику при его жизни, и вскоре о Хюсаме знали даже такое, о чем он сам и его верная подруга Нафиса не могли бы вспомнить. В кафеджиях рассказывали притчи о детстве Хюсама, женщины в банях придумывали сентиментальные легенды о его пылкой любви к Нафисе, а ревнители искусства раскопали его могилу и перенесли прах ювелира в стамбульский некрополь.

Неизвестно почему, — возможно, причиной тому явились идеи, которые Хюсам умел вкладывать в свои рисунки и из-за которых он погиб, — началось паломничество к его могиле, сборища на кладбище, на которых произносились бунтарские призывы к мести. Субашам пришлось немало поработать, отгоняя народ от могилы Хюсама; они сняли надгробную плиту, имамы прокляли имя ювелира в мечетях. Умолкли продавцы на Бедестане, в сердцах людей нарастал глухой протест, а на-

стоящие и фальшивые изделия мастера продавались теперь из-под полы...

Начались волнения. Вспомнили свои обиды обедневшие райя, тимариоты, купцы и ремесленники. Мученическая смерть ювелира Хюсама вселила в их сердце отвагу: это был большой человек, но он не пощадил своей жизни в борьбе за правду. Так что же терять им — бедность и голодное прозябание? Бедняки из городских переулков и глухих сел стекались в горы под Адрианополем, куда сзывал их храбрый пастух Кер-оглы, а софти — ученики, эти вечные бунтари — понесли им из медресе запретные книги Вейси и Нефи...

Меддах Омар шел по крутым тропинкам к адрианопольским горам. Не тщеславие и не вера в нынешнюю победу добра над злом вели его. Жизнь мудреца приближалась к концу. И меддах Омар, оглянувшись назад, понял, что все его слова, советы людям, учение пропадут зря, если он хоть перед кончиной не воплотит их в реальность. Ибо даже честно прожитая жизнь бесследно исчезнет из памяти людей, если она не будет освящена достойной смертью.

Шейх-уль-ислам Регель пришел на вечернюю молитву в мечеть Айя-София. Под величественными сводами чувствовалась приятная прохлада, зеленая чалма верховного пастыря империи казалась здесь более легкой, чем там, в Биюк-сарае, в эту жаркую и не предвещавшую ничего хорошего весну.

Он поднял руки, тихо произнося «аллах-акбар», потом вложил левую руку в правую и начал читать молитву, но почувствовал, что не может полностью слиться с богом, отделиться от той жизни, которую оставил минуту тому назад за воротами султанского дворца. Как бы это приблизиться к всевышнему так, чтобы услышать от него ответ на все сомнения, которые тревожат его теперь и днем и ночью? Доволен ли он своим наместником на султанском престоле? Не совершил ли грех шейх-уль-ислам, опоясав Ибрагима саблей Османа? Приблизиться так, чтобы спросить с глазу на глаз, где кроется сила, которая угнетает всех власть имущих при дворе и которой они обязаны ежедневно быть послушными.

Регель упал на колени и напрягся весь, сосредоточив свое внимание на трех страусовых яйцах, висевших перед

михрабом как символ знойной Мекки. Не внемлет ли аллах его мольбе?

Молчит бог. Он всегда нем, а больше всего тогда, когда его рабов охватывает тревога. Но перед кем этот страх? Перед войной, которая началась с Венецией? А разве Порта впервые воюет? Да это еще и не война, Ибрагим до сих пор не созывает диван. Так, может быть, страшно потому, что Ибрагим не желает воевать, убегает в Понтийские горы на охоту или не выходит из гарема, чтобы не заниматься государственными делами? Или этот страх нагоняют вооруженные пастухи, которые собрались у Адрианополя и угрожают отомстить за убийство ювелира?

Верховный пастырь читает каллиграфические надписи над золотым михрабом, но они ничего нового ему не говорят, и в памяти всплывает мединская сура корана: «Каждый раз мы придумываем стихотворение, и придумываем лучше. Разве тебе не известно, что аллах все может?» ...Гм... А какое теперь придумать стихотворение, чтобы объяснить незримую силу страха?

Бунтовщики поднимают головы... Шейх-уль-ислам подошел к возвышению, взял коран и поспешно начал листать, ища суру, которая подсказала бы ему, как бороться с ними. Священная книга должна подсказать, ведь другой мудрости, кроме пророчества Магомета, у них нет.

Сура мединская, сура пророческая... Сура рахманская. «Мы нацепили им оковы до самого подбородка, и они... вынуждены поднимать головы». Так что же ты советуешь, премудрая книга?.. Снять оковы?!

Шейх-уль-ислам закрыл коран и вышел из мечети, шепотом произнося пятую мединскую суру.

«О вы, которые уверовали, не спрашивайте о вещах, что опечаливают вас, когда вам открывается их смысл. Спрашивали люди и до вас, а потом стали неверующими...»

На паперти ему преградил дорогу дервиш в сером бекташском сукмане, с серебряной серьгой в ухе. Он упал перед шейх-уль-исламом на колени и припал губами к его башмакам.

— Поднимись и скажи, что тебе надо, — сказал верховный имам, присматриваясь к дервишу, который поднял на него будто бы знакомые блудливые глаза.

— Святой отец, — промолвил дервиш тихо, но в голосе его слышалась не рабская покорность, а что-то за-

говорщицкое, — ты можешь и не помнить меня, ибо много у тебя слуг духовных. Я — Мурах-баба, дервиш ордена бекташей, которого ты много лет тому назад милостиво послал в кафский монастырь, чтобы я там проповедовал правду об Османах среди татар и крымских янычар. Я честно выполнял свою повинность, но когда буря надвигается на нашу священную землю, моя совесть заставила меня...

— Что за черные вести ты несешь мне? — Шейх-уль-ислам схватил дервиша за плечо. — Говори, что слышал! Болгары, сербы, греки?

Мурах-баба встал на ноги, и насмешливые огоньки заблестели в его глазах. Теперь Регель вспомнил: это тот, что подстрекал когда-то янычар выступить против Амурата IV, будучи шейхом дервишей в янычарском корпусе. Он, шейх-уль-ислам, спас тогда своего слугу от смерти, своевременно выслав его в Крым.

— Турки, святой отче. Турки! — ответил Мурах-баба, и шейх-уль-ислам успокоился.

— Ты о Кер-оглы? Не тревожься, мы сильны и можем не бояться ничтожной группы заговорщиков. Не так давно Порта расправилась с Кара-Языджи и Календер-оглы, хотя тех было намного больше. Тысячи посаженных на колы в долине Аладжа, в предместьях Анкары и Урфы долго еще будут устрашать ремесленников и райя, у них надолго пропало желание помогать бунтовщикам.

— Не смею возражать тому, кого справедливо называют морем познаний. Но ты не знаешь одного: среди этой ничтожной кучки бунтовщиков находится сейчас самый заклятый враг империи, тоже турок — меддах Омар, которому до сих пор никто не осмелился отсечь голову. А бунтовщики, которые думают головой Омара, — это уже не банда, а значительная сила. Тебе известно, что в своих коварных проповедях он призывает турок уйти из чужих земель, снять кандалы с порабощенных. Что будет, если турецкий народ поддастся его крамольным призывам, кто тогда будет душить гяурскую Румелию? Да, я вижу, на землю Османов надвигается страшная буря. Крамола Омара распространится среди людей, как эпидемия, и тогда никто не сможет одолеть ее, ибо она незрима. У бунтовщиков мало оружия, от них скоро не останется и башмаков, но где ты сыщешь такой яд, чтобы вытравить у людей веру в Омара, Хюсама, Аззем-пашу?

Шейх-уль-ислам опустил голову. Этот грязный дервиш

разгадал причину его тревоги. Да, да, над империей нависла страшная угроза прозрения подданных! Однако он сказал спокойно и высокомерно:

— Твоя речь свидетельствует о том, что голова у тебя не глупая и ты станешь шейхом янычарских дервишей. Но скажи, ты знаешь, как найти этот яд? Ты сумеешь отыскать ученых, которые докажут, что Хюсам был бездарным ремесленником, философов, которые бы высмеяли учение Омара?

— Нет, не найду таких.

— А что будешь делать, коль уж пришел предлагать свои услуги?

— Я разожгу у обленившихся янычар прежнюю жажду к битвам и наживе. Я вселю в них страх, и они снова станут воинами.

— Ты напрасно разбрасываешь перлы своего ума, Мурах-баба. Что ты можешь придумать, чтобы убить бунтарский дух народа?

— Войну! — воскликнул дервиш. — Великую войну. Теперь есть повод. Уже более двух десятилетий протестанты убивают католиков, а мы, хотя и являемся правоверными, выступим против Венеции на стороне протестантов. Янычары пойдут сами, тимариотов и заимов надо заставить пойти силой, в стране пусть останутся лишь калеки, женщины и дети. И пусть голодают, тогда будут думать только о хлебе насущном. Разве при такой жизни может возродиться дух бунтарства? И еще одно, — добавил Мурах-баба шепотом, — возмущенные янычары помогут избавиться от того, кто считает войну погоней за газелями в лесах Понтийских гор...

Проклятие Хюсама все время преследовало чорбаджи Алима. Он слышал немало проклятий и не верил в их злую силу, пока держал в руке ятаган, подаренный могущественными Османами. Но теперь проклял его турок, хозяин, который привил ему веру, дал оружие и хлеб. Предсмертный крик старика сейчас повторяют сотни, тысячи людей — одни громко под Адрианополем, другие молча в Стамбуле. Верховные властители не дали Нур Али печать, а ему — регалий янычар-аги. Чорбаджи Алим почувствовал себя неуверенно на турецкой земле, которую называл своей. Нет, она не его, на ней есть хозяева, а от них зависит его судьба — богатство и нищета, жизнь и смерть. А руки ослабели, отвыкли воевать,

и воевать не с кем: где же его враги? Где-то там, в незнакомом ему мире, или тут?

Проповеди Мурах-бабы исцеляли его приунывший дух: Омар — враг, Хюсам — враг! Впервые осознал чорбаджи жгучую ненависть не к иноверцам, а к самим же туркам, которые не захотели больше терпеть его своеволия.

Янычарский булук Стамбула двинулся под Адрианополь. Крепко сжала рука Алима эфес ятагана, сжала конвульсивно, в страхе, — он с дикой ненавистью рубил головы туркам, которым дал клятву служить всю жизнь, у которых годами завоевывал доверие. Когда-то убивал чужеземцев за то, что не желают быть подданными и стать под знамена Порты, теперь убивал хозяев, которые захотели избавиться от своих слуг и были страшнее персов и казаков. Ведь внаймы его больше никто не примет, теперь нигде для него нет земли.

Отряд кызылбашей был разгромлен в течение одного дня. Кер-оглы рядом со своими сторонниками погибал на колу. В живых оставили лишь одного Омара. Ему связали руки и привели к умирающему в муках вожаку восставших, чтобы он видел его страшную смерть.

К Омару подошел Мурах-баба. Злорадно блестели его глаза, он не забыл, как когда-то унизил его меддах Омар на горе Тепе-оба в Кафе.

— Видишь, старче, где мы снова встретились? Начинай теперь свои проповеди, ты же знаешь коран на память, и докажи, что не я, а ты желаешь добра своему государству. О, тебе, предателю, больше уже не помогут все философы мира.

Молчит меддах Омар, не отрывая взгляда от обезображенного муками лица Кер-оглы. О чем он думает сейчас? В чем раскаивается? В том, что вступил в неравный поединок с тиранами, или, может, в том, что просил у них пощады перед смертью?

— Ты, Омар, наверное, думаешь, что умрешь так же, как он, — продолжал Мурах-баба, показывая на Кер-оглы. — Я знаю, что ты единственный среди этих трусов желал бы такой смерти. Но не обезглавил тебя Амурат, не запроторил тебя в темницу Ибрагим, и я помилую тебя. Помилую для того, чтобы лишить тебя славы и чести, какой желаешь ты и те, что когда-нибудь осмелятся так погибнуть. Нет, я буду водить тебя по площадям городов, мои дервиши будут жечь тебя раскаленным железом, пока ты не назовешь себя лжецом и свое учение —

ложью. А потом дадим тебе возможность жить и произносить на мимберах проповеди, которые составит для тебя шейх-уль-ислам. Если же откажешься, отрежем тебе язык, чтобы мерзкое слово случайно не сорвалось с него, повесим ярлык на шею с надписью: «Я лжец» — и привяжем к столбу Константина на Ат-мейдане, а людей принудим процессией проходить мимо и плевать тебе в лицо... А теперь скажи мне откровенно, что заставило тебя, именитого турка, выступить против своей власти и впутаться в эту детскую игру в войну? Ведь тебе известно, что так же, как один человек не может одновременно быть отцом и сыном, так и раб не может быть господином. Ты же видишь, что еще не успели пропеть муэдзины молитву в мечетях Адрианополя, а баталия окончена. Стоило ли губить себя ради этого?

— Я не сумею объяснить тебе того, — ответил меддах Омар, — чего не способна понять твоя голова. Один философ сказал: с невеждой, который считает себя мудрецом, не вступай в разговор. Скажу только одно: ныне погиб Кер-оглы, а завтра, очевидно, погибнет боснийский вождь повстанцев, который должен был объединиться с нами. Но важно то, что стала возможной борьба разума с тьмой. А то, что возможно, рано или поздно свершится. Грядет великая битва, дервиш. Разве ты не знаешь, что, когда в бочке появится хоть маленькая дырочка, вино все-таки вытечет. Если в скале появилась трещина, скала обязательно разрушится. Если прозрел хотя бы один янычар, то разбредется весь корпус. А когда простой пастух дорастет до того, что сумеет погибнуть на колу, не раскаиваясь, тогда вы проиграете... На мою же помощь не рассчитывай, Мурах-баба. С этой минуты я не произнесу ни единого слова, можешь отрезать мне язык. Он мне больше не пригодится.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ой, що ж бо то та за чорний ворон.
Що над морем крякає
Ой, що ж бо то та й за бурлака,
Що всіх бурлак скликає!

Украинская народная песня

За башнями гарема — Персидский сад, жемчужина ханского двора, красота, скрытая стенами от человеческих глаз, недоступная, заключенная.

Кроны финиковых пальм тянутся в высоту, а посмотреть на свет им не суждено, томятся филодендроны и фикусы, наежились сердитые кактусы... Распускаются турецкие тюльпаны, набухают африканские гладиолусы, склоняются до земли чашечки петуний — уныние царит в ханском раю, уныние одиночества, бесцельности, унижения. Из года в год они расцветают, и увядают, и снова цветут тут с надеждой, что кто-нибудь увидит их красоту, но тщетно. Никто не радуется, не любуется ими. И потому уныла эта красота, и печально бродит по аллеям Персидского сада самая лучшая роза — очаровательная ханым Мальва.

Следом за ней семенит евнух, его недремлющее око охраняет повелительницу, но привыкнуть к опеке евнуха она не может. Когда-то, еще в первые месяцы любовного угара, она тщеславно радовалась тому, что перед ней склоняются евнухи и ханские жены, опускает глаза долу стража, но чем дальше, тем больше это сковывало ее, омрачало счастье любви, ярким светом озарявшей ее юность. И эти стены — эти опротивевшие стены, за которыми никто и никогда не увидит ее, не полюбуется ею, — с каждым днем все больше и больше угнетают, вырастают, и низкой кажется Соколиная башня, поднимающаяся высокой юртой над дворцами. Прежде она могла смотреть с вершины Эклизи-буруна на Чатырдаг, а теперь только с этой башни. И так будет всю жизнь... Поблекнет красота, она станет такой, как старшие жены Ислама, и тогда... неужели только злость и зависть будут ее единственным наслаждением в этой пышной тюрьме?

И из глубины памяти всплывала порой просьба-молитва, которую она услышала возле Успенского собора: «Пресвятая богородица, спаси нас», — она испуганно подавляла это воспоминание, потому что перед нею возникали сотни страдающих лиц, просивших у своего бога спасения... Нет, нет, она никого не просит о спасении, сама ведь стремилась к этому счастью.

А молитва билась, сдавленная, и плакала, отражаясь щемящей болью.

Шли годы... Взаперти, в заключении, среди унылой красоты, угнетающей душу. Четыре высоких стены, бассейн, утоптанные короткие дорожки. А ведь был же когда-то Узенчик в широкой долине между гор, и можно было бежать рядом с ним куда глаза глядят, и были когда-то душистые чаиры, и сказочные ночи, и песни юного чабана среди горного приволья...

В ханском дворе всегда многолюдно. Ислам-Гирей поднял меч. Ислам-Гирей торгует.

При дворе польского короля Владислава IV — хан узнал об этом от купцов — трется венецианский посол Тьеполло, подговаривает ударить по Порте с Крыма, по ее самому уязвимому месту.

Король ведет секретные переговоры с казаками, герой Дюнкерка Ихмелиски согласился. Тугай-бей стягивает свои силы к Перекопу, но тревога напрасна. Тьеполло почему-то изгоняют из королевского дворца, Хмельницкого преследует шляхта, он убегает на Сечь.

Ислам-Гирей торгует. Казаки на чайках и повозках везут в Перекоп табак, зерно, масло, меняют свое добро на сафьян, шелка, вино и соль. На ханский двор каждый день приходят все новые и новые торговые гости из разных стран показывать свой товар. Соотечественник лукавого Тьеполло в коротких штанах и чулках выше колен почтительно снимает перед ханом шляпу со страусовым пером — что же, будем торговать, венецианец, коль не удалось вам пойти на нас войной.

С московитами подписана шертная грамота — «пребывать в союзе, любви и дружбе, не нападать на украинные города, предоставлять свободный проезд купцам». Вот он, русский купец, в красном кафтане, в высокой собольей шапке и сафьяновых сапогах, горделиво выкладывает инкрустированные моржовым зубом шкатулки, соболя, куниц, голубых песцов, белоснежных горностаев, пушистых бобров, льняные ткани. Хан, ты только посмотри, что это за ткани! Купец приказывает слугам растянуть тонкую, почти прозрачную скатерть, выливает на нее жбан масла. Масло не капает на землю.

Хан Крымского улуса торгует и выжидает. Война между Турцией и Венецией затянулась, обленившиеся янычары недовольны, дрожит в своих хоромах юродивый Ибрагим — боится бунта. Ляхистан упорно не платит Крыму дани, он, видите ли, не признает Ислам-Гирея, бывшего своего пленника, ханом.

А на Сечи собирается казачество, рвется воевать со шляхтой, жаждет мести недавно избранный гетманом сам Ихмелиски, у которого шляхтичи убили сына.

Не направить ли к нему послов с шертной грамотой? Но — нет. Договариваться можно с государствами, а казаки — не государство. Какой силой обладают они сейчас?

Накаляется воздух над Крымом. Хан выжидает и торгует. Ибо в казне пусто, потому что налоги подданные вносят нерадиво, а денег требуется много, чтобы не плясать больше между сейменами и беями, словно между мечами.

«Почему не приходит хан?» — уже в пятый раз терзали сердце Мальвы подозрение, ревность, печаль.

В последний раз Ислам долго присматривался к маленькому Батыру и произнес странные слова — Мальва до сих пор не может понять, почему он так сказал:

— Аллах, не допусти, чтобы заговорила в тебе, когда вырастешь, казацкая кровь. Еще ведь неизвестно, как завершишь ты дело, начатое мной.

Потом посмотрел в глаза Мальвы и бросил еще одно слово — без высокомерия, без злости, но тяжело, словно ярмо надел ей на шею:

— Казачка...

Так ее еще никто не называл. Этого слова она не знала. Возможно, знала мать, Стратон, — ей же оно было безразлично. А теперь так назвал Мальву сам Ислам-Гирей — ее муж и повелитель, — и оно сразу встревожило ее душу. Казачка... И у сына казацкая кровь. Хан стал упрекать?

Однако почему же он столько дней не приходит к ней? Завистливые ханские жены и стражи уже давно присматриваются к ней, не появилась ли у нее первая морщинка после того, как она родила сына. Смотрелась в зеркало: нет, еще красивее стала. Из несмелой, с тонким станом девушки расцвела пышная женщина — так из орошенного утром бутона расцветает в полдень лилия, и еще далеко, далеко ей до заката. Почему же хан не приходит?

Маленький Батыр уснул.

Меным оглым, яш ярем *,
Меным оглым, яш ярем, —

напевала она сонному ребенку и присматривалась к черным бровям сына: чьи они — отцовские или, может, деда, казацкие? Какое дело ты должен будешь завершить и почему тревожится хан? Кто объяснит ей эти слова? Неужели она не осмелится сама спросить?

Мальва вышла в сад. Следом за ней засеменил евнух. Она махнула рукой, приказала вернуться, имеет же она право хоть на минуту побыть одна.

Побрела по дорожке к фонтану. Весеннее небо нагнетало синеву в глубокий колодец гаремного сада и отражалось в овальном бассейне — опрокинутое куполом вниз. Вот и все небо. Не видеть больше настоящего, огромного, прижатого к гигантскому кругу земли, а только это — отраженное в мраморном корыте ханского фонтана.

Голубой мрамор еще больше сгущал синеву неба, тихо падали капли, кольцами расплываясь по глади бассейна, а на дне — увидела Мальва — застывшие рыбки, они одна за другой разбежались по желобу, по которому вытекала из бассейна вода, и почему-то остановилась. Присмотрелась внимательнее — ведь они неживые, кто-то искусно вырезал их из мрамора. Но почему скульптор изобразил рыбок у входа, почему не выпустил их из бассейна — на свободу?.. Гм... А разве можно им на свободу? За бассейном притаилась длинноногая мраморная цапля, не выбраться им никогда из голубой тюрьмы...

Зачем так придумал скульптор? Зачем он ограничил жизнь рыбок пределами тесного бассейна и поставил грозную охрану при выходе на свободу? О чем думал неизвестный художник, создавая эту печальную картину? О ком: о себе — сытом, одетом и скованном ханской службой или кастрацией? Или о женщинах, которые томятся в гаремном раю? Или вообще о призрачности счастья?

Мальва посмотрела вверх, и ей захотелось на простор, увидеть небо, то небо, что над Чатырдагом, где можно рукой дотянуться к звездам, где клубятся свободные туманы и ложатся на отдых возле пещер, чтобы окутать прохладой желтые кости тысячи казаков...

Казачка... А они мчатся на конях в горы, им надо спрятаться от неисчислимого войска Кантемира... Клубится дым, выедает глаза, душит, но ни один из них не сдался в плен.

Так зримо предстало перед глазами сказание старого Омара, тронуло сердце, смяло его, сжало. От жгучей тоски ощутила щемящую боль в теле. Эта боль была похожа на любовь, но не совсем, она была жгучая и сладостная, неизвестно почему заставлявшая литься слезы из глаз, и неизведанное чувство вдруг прорвалось в давно забытой песне:

Ой що ж бо то та за чорний ворон...

— Казачка... — прошептала Мальва, идя по узкой дорожке, и вздрогнула: из-за густого куста лавра на нее были устремлены глаза того евнуха, которого она прогнала, выходя из гарема.

Душа содрогнулась от унижения, в груди закипела ярость: хан подсылает скопца, не доверяет ей, а сам не приходит. А сам, наверное, развлекается в других гаремах... Хотела закричать на евнуха, как смеет он не выполнять воли ханской жены, но скопец смотрел на нее нагло, злобно, и она поняла, что евнух сильнее, чем она, он тут хозяин, а она — рабыня. Бросилась бежать — но куда? И сердце охватила нестерпимая горечь по той свободе, которая была уже добыта руками, трудом матери...

Пошла, опустив голову, между клумб с нарциссами, будто покрытых белой пеной, открыла калитку к Соколиной башне — в проходе тоже стоял евнух. И вдруг кроткая ханым сердито крикнула:

— Прочь! — и скопец исчез.

Взбежала по винтовой лестнице наверх, прижалась к решетке. И здесь всюду стены: высокие минареты Ханджами, за ханскими конюшнями — сторожевая башня, массивные ротонды усыпальниц, с запада — стена гарема, и лишь со стороны парадного входа — небольшая щель между сторожевыми башнями, сквозь которую видна улица. Ей хочется туда, а хан не приходит, ей нужно к матери, но как она пойдет, когда хан не приходит, она должна видеть людей живых, сильных, а хан не приходит... И всюду хан, всюду хан, как эти окружающие ее стены, как та цапля возле колодца, а она — золотая рыбка в пышном мраморном бассейне.

И вдруг неожиданно, словно гром среди безоблачного неба, словно пушечный выстрел, со стороны парадных ворот волной ударила дружная песня, самая нежная, материнская, песня ее детства, десятками голосов зазвучала — свежая, свободная, просторная, как небо, отобранное у Мальвы:

Ой, що ж бо то за бурлака,
Що всіх бурлак скликає...

Кто ее здесь поет? Почему здесь? Как случилось, что на улицах Бахчисарая звучит украинская песня, когда-то безразличная Мальве, а теперь такая родная?

Она встала на карниз, еще выше, и перед нею откры-

лось разноцветное море кунтушей и жупанов: может, это из тысячеголовой пещеры пришли чубатые казаки на банкет к хану или отомстить ему? Выбивают пробки из бочек, кружками пьют вино; горят костры, развеваются на ветру языки пламени, разносится запах жареного мяса; дружный хохот, выстрелы из мушкетов — и снова бравая, победоносная песня:

Ой, що ж бо то та за чорний ворон,
Що над морем крякає...

Тоска, созревавшая годами в душе, прорвалась, хлынула слезами.

— Кто вы? Откуда вы? — в изнеможении трясла Мальва самшитовую решетку.

Неделю тому назад Ислам-Гирей бесцеремонно и грубо изгнал купцов за пределы дворца — ему сообщили, что к нему едет Тугай-бей со свитой и вместе с ним возвращается в Бахчисарай Сефер Гази.

Хан неподвижно стоял посреди комнаты в ожидании, забыв о своем ханском сане, когда вошли они оба, такие нужные ему сейчас, сильные мужи Крыма. Какой же силой обладал Тугай-бей, что осмелился ввести во дворец изгнанника Сефера Гази?

В черной меховой шубе с бобровым воротником и в зеленом тюрбане у порога стоял учитель, которого предал воспитанник. Те же прищуренные глаза с узкими щелками, по которым не узнаешь, доволен он или гневается, такое же морщинистое лицо и редкая бородка. Рядом с ним холодно-мрачный Тугай-бей в ярко-желтом плаще. Он слегка наклонил голову, подчеркивая сдержанным поклоном свою независимость от хана.

— Эфенди Сефер Гази пожелал увидеться с тобой, великий хакан. Он хочет дожить свой век в Бахчисарае, ширинский бей об этом знает, и теперь ничто не угрожает твоему аталику. Пусть только один волос упадет с бороды Сефера Гази, и ор-бей Тугай покажет наглецам силу неисчислимых ногайцев.

Темные глаза Ислама спрятались под веками, словно хотели скрыть радость перед Тугаем.

— Сеферу Гази, — сказал он, — рано еще думать о стариковском отдыхе. Он возвратился в Бахчисарай как

благороднейший советник хана, уполномоченный и доверенный ага.

На мгновение раскрылись глаза старика, и снова веки сошлись. Сефер Гази поклонился хану.

Ислам Гирей ответил учителю тоже поклоном. Ему хотелось обнять старика, но рядом стоял с напускной гордостью Тугай-бей, нельзя было давать волю чувствам. А в голове роились те же мысли, что и прежде: не хитрее ли Тугай злобных Ширинов, которые пытались подчинить себе хана силой? И почему именно сегодня он приехал вместе с Сефером Гази в Бахчисарай?

— Хан, — промолвил Тугай-бей, не меняя стального тона в голосе, — к тебе направляются послы из Запорожья.

Хан вздрогнул, это известие было слишком неожиданным для него.

— Послы из Запорожья? От польского короля? Не решил ли Ляхистан уплатить дань?

Тугай-бей улыбнулся кончиками губ. Сказал:

— К тебе едет сам гетман войска Запорожского Богдан Хмельницкий *, который не признал себя подданным Ляхистана. Мы вчера встретились с ним на Перекопе. Я давно знаю его. Это большого ума и храбрости полководец. Он хочет начать войну с ляхами и едет к тебе просить помощи. Воля твоя. Но отказывать ему не следует. Только надо быть осторожнее с ним. Он хитер, как лис, юркий, как змей. И горд. У меня, бывшего друга, отказался взять фураж и баранов. Он также не желает останавливаться в Биюк-яшлаве, в нашем посольском стане. У него есть знакомые на Армянской улице.

Хан сел на миндер, оперся локтем на подушку. Долго молчал.

— Тугай, останься на несколько дней в Бахчисарае, — сказал наконец хан.

— Останусь, хан, — мягче, чем когда-либо, промолвил Тугай-бей. — Собирался я этой весной выступить против казаков: гибнет скот, падают лошади, снова голод в Ногайской степи. А теперь я готов со своей ордой идти вслед за казаками. Выиграет Хмельницкий с нашей помощью — приведем большой ясырь из Польши, проиграют казаки — с них возьму живую дань.

— Пускай благословит наши намерения аллах, — произнес хан. — Сефер, — обратился он к учителю, — прикажи угостить казацких послов как весьма уважаемых гостей.

В конце марта на вершине Топ-кая остановилось несколько всадников на легких аргамаках — в атласных жупанах, в шапках с красными шлыками.

Впереди отряда стояли три всадника: богатырского роста длинноусый казак в суконном кунтуше, в меховой шапке с двумя пышными перьями посредине — беглец от шляхетской расправы гетман войска Запорожского Зиновий — Богдан Хмельницкий; справа — старше его по возрасту — кропивенский полковник Филон Джеджалий *; слева — юноша в белой свитке, Тимош Хмельницкий *.

Гетман молчал. Филон Джеджалий посматривал на глубоко задумавшегося Хмельницкого, и ему казалось, что гетман сейчас мысленно прослеживает весь свой жизненный путь. Вспоминает детские и отроческие годы, проведенные в Жолкве и в Олесском замке, пребывание в мрачных стенах иезуитской коллегии во Львове, бои под Дюнкерком * и турецкую неволю *. И думает, как приумножить силы казачества, чтобы одержать победу в предстоящих боях со шляхтой. Хмельницкий знает, на кого опереться: он уже вел переговоры с путивльским воеводой Плещеевым и севским воеводой Леонтьевым *, которые уведомили царя Алексея Михайловича о намерении Хмельницкого.

«Да, будем опираться на братьев Руси, — размышлял Джеджалий, — и весь православный мир поддержит нас. Это сбудется, ибо извечна наша дружба, скрепленная кровью во многих битвах, и в частности в последней — азовской. А сейчас гетману нелегко, ему надо вести переговоры с извечным врагом. Он должен это сделать, чтобы обеспечить себе тыл. Для этого и приехал сюда вместе с сыном».

— Посмотрите, — указал гетман вниз нагайкой. — Еще раз посмотрите и подумайте, братья, чтобы потом не роптали и не возмущались. Там, внизу, видите, лежит змеиное гнездо — Бахчисарай. За каменными стенами, обвитыми хмелем и вьюнками, живут люди, которые не раз топтали нашу многострадальную землю. Слетелись они в этот яр, в одно место, словно жуки на навоз, и все ждут подходящего случая, чтобы расползтись по всему миру, чтобы уничтожать, пожирать, разъедать, тянуть чужое добро и невинных людей сюда, в свое логово. Им все равно, против кого воевать... Посмотрите теперь сюда, ближе. Вот тут, под нами, отгороженный четырехугольной стеной, окруженный зелеными тополями, стонет не-

вольничий рынок. На таком рынке когда-то продавали и меня. Слышите вопли, рыдания?.. Там торгуют нашими братьями и сестрами. А мы идем в это осиное гнездо, чтобы обеспечить себе тыл, чтобы ногайцы не ударили нам в спину, когда мы двинемся на шляхту. Идем просить у них конницы, ибо у нас ее мало, а на волах далеко шляхту не прогонишь. И мы должны зажать в кулак нашу ненависть и боль и идти на поклон к извечным врагам. Поэтому еще раз прошу вас, братья, сказать свое последнее слово. Я уведомил об этом решении и воевод Руси.

— Веди, батько, к хану! — хором ответили казаки.

Армянская улица, залитая знойными лучами, змеей извивалась по склону горы мимо ханского дворца. Удивились, засуетились ее обитатели, увидев необычных гостей: заскрипели петлями ставни магазинных окон — вынесли товар войлочники, оружейники, башмачники, виноделы, зашумели, предлагали свой товар. Сбежались сюда купцы, гостившие у хана: голоколенные венецианцы, суетливые греки, бородатые московиты; выползли в черных сутанах польские иезуиты — члены Крымской иезуитской коллегии, которая недавно разместилась на Армянской улице.

«О боже праведный! — ужаснулся Хмельницкий, вспомнив о своем пребывании во Львовской иезуитской коллегии. — Куда вы только не протянули свои щупальца! И тут, среди вас, мне, возможно, придется оставить своего сына... Что же вы сделаете с ним, когда я начну воевать со шляхтой? Но если надо будет — я и это дитя отдам на заклание, но вам, ханжи в черных сутанах, еще придется от злости пальцы грызть. Не пожелали разрешить королю пойти войной на Крым — я с Крымом пойду на вас. И вы будете еще проклинать шляхетских вельмож за то, что они пренебрегли мной».

На следующий день в ханский дворец отправился полковник Джеджалий. Его гостеприимно принял Сефер Гази-ага, но аудиенции у хана не назначил. Полковник возвратился в сопровождении слуг, которые принесли продовольствие и фураж. На следующий день повторилось то же, гетман мрачнел, а вокруг него все время увивались придворные хана и требовали подарков.

Шесть раз докладывал Филон Джеджалий о приезде казацкого посольства, шесть раз его сопровождали ханские слуги с мизерными подарками. Только на седьмой день аяк-капу — ханский посол — сам прибыл к Хмель-

ницкому, уведомил: хан ждет Ихмелиски-агу сегодня в посольском зале.

Незадолго до обеда с Армянской улицы выехал гетман Хмельницкий с посольским эскортом. Впереди на белом коне ехал аяк-капу. У ворот дворца он велел казакам спешиться и следовать за ним.

Обеспокоенный долгим ожиданием приема у хана, но с гордо поднятой головой шел Хмельницкий в ханский дворец. Иногда бросал взгляд на рябого юношу в белой свитке, который шагал рядом с ним, и его мужественное сердце сжималось, а в висках беспрерывно стучало: «На заклание, на заклание ведешь».

Аяк-капу поскакал на коне в глубь двора, велев послам ждать его в посольском саду. Их проводил в сад высокий плечистый сеймен. Джеджалий, взглянув на его белое лицо, пробормотал: «Проклятый янычар...» — и смутился от его ясного взгляда. Сеймен не понял слов казака, но почувствовал в них оскорбление. Его синие глаза смотрели на полковника с каким-то упреком и жалостью.

Джеджалию стало не по себе, он подошел к сеймену и спросил по-татарски:

— Ты давно с Украины?

— С какой Украины? — пожал плечами Селим. — Я из Салачика. — Какое-то мгновение он помолчал, потом поднял на Джеджалия глаза и тихо спросил, словно хотел узнать тайну: — Скажи мне, почему меня всегда спрашивают, откуда я и кто моя мать? Я не знаю этого, а потому не понимаю, почему это интересует людей...

— Потому что ты, хлопче, совсем другой. Ты не татарин и родом не из Салачика. Ты — с Украины.

— Какие же они, эти люди с Украины? Я никогда не видел их.

— А вот посмотри, — Джеджалий показал рукой на свиту послов. — Вон сам казацкий гетман.

Селим снова пожал плечами:

— Сюда много приходит иностранцев. Я же — ханский...

— Нет, хлопче... Ты с Украины. Запомни это. И твоя мать, может, до сих пор убивается по тебе.

Джеджалий вздохнул, отошел в тень кипарисов, выстроившихся в ряд с кустами самшита. Издали наблюдал за сейменом: в его глазах была печаль.

Хмельницкий остановился перед посольской железной дверью, обрамленной ярко-красным мрамором с резь-

бой. Прочел сделанную золотыми буквами надпись над ней: «Этот роскошный вход и эта величественная дверь построена по повелению хакана двух материков и двух морей».

Гетман иронически улыбнулся: «Какие материки и какие моря, если у тебя нет ни единого челна, а по Черному и Азовскому морям плавают турецкие галеры, которые охраняют крымское побережье... Ты такой же вассал, как и я».

Железные ворота открылись, и под звуки барабанов аяк-капу проводил казацких послов вверх по лестнице в кофейную комнату.

Евнух наполнял фарфоровые фильджаны крепким ароматным кофе и, кланяясь, подавал послам, которые, рассевшись на миндерах, с крестьянской непосредственностью рассматривали росписи на стенах и искусные витражи на маленьких окнах, прилепившихся чуть ли не под потолком.

Аяк-капу собственноручно поднес гетману фильджан с кофе: Хмельницкий решил, что много дукатов уплывет из карманов, пока пригласит его к себе капризный хан.

Однако долго ждать не пришлось. Слуга, который все время ходил то в кофейную комнату, то в посольский зал, вышел к послам и, согнувшись в три погибели, молча указал обеими руками на дверь, что значило: хан разрешает пожаловать к нему. Гетман направился в зал один.

— Мне не нужен переводчик, — сказал Хмельницкий и прошел мимо немых рабов, стоявших у двери точно статуи.

В правом углу зала на ворсистом красном ковре под малиновым балдахином сидел суровый, со скуластым лицом мужчина. Когда-то в Турции Хмельницкий видел османских пашей, знал их жестокий нрав и гордое высокомерие — ожидал увидеть таким и хана. Поэтому его приятно поразил хан своим видом сурового воина, которого только сан принудил надеть на себя большую зеленую чалму и сесть под малиновым балдахином. «Очевидно, он намного лучше чувствует себя на коне, чем тут, — подумал Хмельницкий. — Я мог бы с достоинством скрестить с ним саблю в поединке, мог бы идти плечом к плечу в равноправном союзе, но кланяться ему тяжело, ибо рыцарь рыцарю раболепных поклонов не отдает».

Хмельницкий какое-то мгновение видел перед собой

только Ислам-Гирея, затем заметил братьев хана, сидевших рядом с ним, и ханских сановников, стоявших в стороне.

Хан с любопытством присматривался к Хмельницкому. Ему понравилась величественная фигура гетмана, на которой так хорошо сидел жупан из белого сукна, а поверх него темно-зеленый кунтуш с откидными рукавами. Понравились и его кустистые брови, энергично сдвинутые к переносице, и молодецкие усы, но он ожидал от Хмельницкого поклона. Ведь прибыл он о чем-то просить.

Гетман снял шапку и опустил голову на грудь, длинный чуб его упал вниз. При этом он положил у ног дорогую дамасскую саблю и пистоль с инкрустированной костяной рукояткой.

— Милостью аллаха великой орды высокочтимый хан, — начал гетман, — у рыцаря нет богатства, поэтому приношу тебе то, что дает нам жизнь и на что мы питаем надежды, а кроме этого, еще и глубокое уважение к твоей особе полководца и богатыря.

— Хорошо говоришь, — ответил хан. — Знаешь, чем подкупить воина. И переводчики, вижу, не нужны тебе... Что же тебя, Ихмелиски, привело ко мне в эту весеннюю пору? Ведь не так давно, как мне известно, ты готовился вместе с королем идти на меня войной.

— До сих пор мы были врагами, — не опуская глаз, продолжал Хмельницкий, — только потому, что казаки гнули шею в шляхетском ярме — и потому воевали с тобой поневоле. Теперь мы хотим сбросить позорное иго и предлагаем вам дружбу.

— Но ты ведь подданный короля и изменяешь ему. Чем я гарантирован, что ты не изменишь и мне?

— Хан, нельзя назвать изменой справедливую борьбу. Гетман Дорошенко не считал Шагин-Гирея изменником *, когда тот начал справедливую войну против кафского паши и Кантемира-мурзы. Предать можно отца. Изменить можно отцу, но не своему душителю. А на Украине тирания шляхтичей горше всякой другой. Поэтому мы решили пойти войной на шляхту, которая является и твоим врагом. Она пренебрегает твоим славным именем, не платит тебе дани, еще и нас подстрекает нападать на вас. Вот посмотри. — Хмельницкий вытащил из-за обшлага рукава бумаги и подал их хану. — Это привилегии, которые предоставил нам король в уплату за то, чтобы мы двинули свои войска на Крым. По-

этому мы просим тебя выступить вместе с нами против предателей и клятвопреступников.

Ислам-Гирей принял бумаги и передал их плосколицему бородатому старику, который, казалось, дремал, стоя справа у трона.

— Дай переводчикам, пусть слово в слово перепишут человеческим языком, — сказал Сеферу Гази и снова повернулся к Хмельницкому: — Чем ты, гетман, можешь поручиться, что твои намерения и помыслы чистосердечны?

— Дай мне твою саблю, хан, — ответил Хмельницкий. Он взял из руки Ислам-Гирея карабелу, поцеловал лезвие и произнес: — Клянусь творцу всей видимой и невидимой твари, что все, что прошу у его ханской милости, делаю без коварства. Если же я говорю неправду, сделай так, боже, чтобы эта сабля отделила мою голову от тела.

— Тяжкая клятва, — промолвил хан, — но ты призываешь в свидетели своего бога. Оставь мне своих достойных заложников, гетман.

— Хан, одного моего сына замучил изувер Чаплинский *. Второго оставлю тебе заложником, — хриплым голосом произнес Хмельницкий, и боль исказила его лицо.

Ислам-Гирей одобрительно кивнул головой и в знак согласия ударил руками по бедрам.

— Сказал пророк, да благословит его аллах, дружба с мудрым — это на пользу вере. Что же, Ихмелиски, я согласен установить союз с тобой. Но к войне я еще не готов. Но разрешаю своему перекопскому бею с его ногаями пойти тебе на помощь.

Хан указал рукой на сановников, стоявших сбоку, Хмельницкий присмотрелся к ним и только сейчас узнал лицо Тугай-бея. В глазах гетмана вспыхнула радость, он поклонился хану и его советникам.

На следующий день казаки веселились на радостях посреди площади перед ханским дворцом. Была пасха, второе апреля.

Хмельницкому же было не до веселья. Мрачный как ночь, опечаленный, сидел он в комнате старого армянина Аветика-оглы, и казалось ему, что у него отнялись руки. Его сокол — Тимош — в ханском дворе, и жизнь сына будет зависеть от первого сражения с войсками коронного гетмана Потоцкого. А потом — или победа и свобода народу и свобода сыну, или же еще более тяж-

кая жизнь, словно темная ночь, для Украины и цепи галерного гребца на руках у Тимоша.

Казаки праздновали пасху. Выносили из магазинов вино, набирали полные кувшины, шум и хохот врывался в комнаты хана.

— Гяуры празднуют свой байрам, — доложили слуги хану.

Ислам-Гирей приказал выкатить казакам три бочки вина и зарезать пятнадцать баранов в знак его милости.

Задымились костры, захмелели головы казаков, и разнеслась над чужой тесной землей раздольная, как дикая степь, могучая, как воды у днепровских порогов, песня:

Ой що ж бо то та за чорний ворон,
Що над морем крякає,
Ой що ж бо то та й за бурлака,
Що всих бурлак скликає!

И отразилась песня туманным воспоминанием детства, материнской болью и только что пробудившейся тоской в сердце женщины, которая стояла за решеткой на Соколиной башне.

— Кто вы, откуда вы тут появились? — шептала Мальва-Соломия на языке матери, прижавшись челом к самшитовой решетке, не замечая ехидно-подозрительных взглядов евнуха, стоявшего за колонной внизу. — Откуда вы тут появились так поздно?!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Засвіт встали козаченьки
В похід з полуночі!..

Украинская народная песня

Семьсот рек и четыре — все они впадают в Днепр, а одна речушка, совсем маленькая, всю правду Днепру поведала... Ой да подул ветер низом, да обдал мачты кедровые, паруса белые и разнес славу о казацкой расправе по всему необъятному миру.

Ой, что же это за Хмель?

Разносилась казацкая песня над быстрыми реками, над тихими морями да за тридевять земель, и воспевался в ней не тот хмель, что по шесту вьется, а славный Хмельницкий, что у Желтых Вод со шляхтой сразился.

Хмельницкий? Какой Хмельницкий?

Разве вы не знали до сих пор о нем? Да это тот, чья слава прогремела три года тому назад от Дюнкерка до Сарагосы, когда граф де Бреже * подписал договор с королем Владиславом о службе казацкого полка у французского генерала Конде. Тогда старый дипломат сам удивлялся храбрости запорожцев и таланту Хмельницкого, теперь же его встревожил самостоятельный поход казачества в союзе с татарами на Польшу, и он предложил королю помощь Франции.

Тот самый Хмель! Габсбургский дипломат Франц Лизоля поскакал к цесарю уговорить его, чтобы он воспользовался случаем и взял Польшу под свой протекторат; вождь английских индепендентов Оливер Кромвель поздравлял гетмана Украины с победой над католиками; приуныл претендент на польский престол семиградский князь Юрий Ракочи *; венецианцы довольно потирали руки: Польша вынуждена будет вступить в войну с Турцией.

А Хмельницкий, двигаясь от Желтых Вод на Корсунь с развевающимися знаменами, послал гонца с письмом к Алексею Михайловичу: «Желали бы мы иметь самодержца — такого хозяина своей земли, яко ваше царское величество, православный христианский царь» *. И через севского воеводу Леонтьева получил ответ, в котором царь обещал поддержать казаков. Победная песня звучала над взбудораженным миром, долетев до крымской земли.

— Что же это за Хмель? — заговорили сеймены в ханском дворце, шепотом переговаривались купцы на ясырь-базаре, шипели иезуиты на Армянской улице.

Только Ислам-Гирей молчал, словно не ведая о том, что перекопский ор-бей Тугай шагает по Украине с шестью тысячами ногаев рядом с Хмельницким.

Шестнадцатилетний заложник Тимош Хмельницкий находился в Чуфут-кале на положении знатного пленника, ожидая письма от отца. Победа или неудача, полковничий бунчук или цепи галерного гребца? Юному рыцарю, выросшему в седле, умевшему стрелять из ружья из-под брюха коня, а из лука — правой и левой рукой, тесной была караимская крепость, окруженная со всех сторон глубокими ущельями; тесной была пещера, где должен был жить, неприветливыми и чужими казались мрачные караимы, жившие, словно кроты, в каменных норах и настороженно присматривавшиеся к новому поселенцу.

Но от отца не было вестей. Однажды апрельским утром возле входа в подземелье поднялся необычный шум, к сыну гетмана долетело настойчивое: «Темиш, Темиш!», жители пещерного городка чего-то требовали у охраны, и в их криках слышалась угроза. Тимош подошел к выходу, но часовой сеймен задержал его и не разрешил выйти. Только вечером, когда караимы спали, часовые позвали Тимоша и тихо, крадучись, провели его через восточные ворота крепости. Заложник хана оказался в знакомом доме старого армянина Аветика-оглы, у которого недавно останавливался Хмельницкий.

Хозяин сообщил Тимошу новость, которая облетела весь мир: отец его одержал победу под Желтыми Водами. А мог бы и не узнать об этом. Победа казачьих войск чуть было не освятилась кровью гетманского сына. Реестровые казаки, выступившие против Хмельницкого под началом молодого гетмана Потоцкого, казнив старшин Ивана Барабаша и Илляша Караимовича, перешли на сторону запорожцев. Весть об убийстве потомственного караима — переяславского полковника Илляша — дошла до Чуфут-кале, и караимы потребовали крови за кровь.

В первый день своего пребывания на Армянской улице Тимош увидел, что он здесь находится не в безопасности. Польские иезуиты в черных сутанах шныряли по улицам, по вечерам останавливались у окон светлицы Тимоша, выкрикивая проклятия, а утром Аветик-оглы увидел на ограде нарисованные кистью черные кресты. Старик посоветовал Тимошу, чтобы он попросил убежища у хана в стенах его дворца. Но ответа от хана он так и не получил.

Наконец пришло письмо от отца. «Дорогой мой сынок, — писал гетман, — божьей милостью храброе войско Запорожское разгромило шляхту, но анафемский аспид еще не уничтожен — война только начинается. Попроси хана, чтобы соизволил принять тебя в своих покоях, и скажи ему, что добычу, которую получили татары под Желтыми Водами, нельзя сравнить с той, которую они получат, если немедля придут на помощь казакам с большим войском. До сих пор мы имели дело со слугами, отныне будем воевать с панами — знатными и богатыми».

Тимош передал хану письмо гетмана, но Ислам-Гирей снова на него не ответил. Медленно и тоскливо тянулись дни в тревоге и ожиданиях.

Только в мае, когда Тимош уже и не ждал приема у хана, на Армянскую улицу прискакал сеймен хана. К белому славянскому лицу его так не шла татарская военная форма, что Тимош в первый момент подумал: «Кто-то из Низа, переодетый. Что за вести он принес?»

— Хан ждет тебя во дворе своего дворца! — произнес сеймен и повернул коня.

Готовый к самому худшему, Тимош вошел через открытые ворота на ханский двор и чуть было не закричал от неудержимого злорадства. Хан, в шубе и белом тюрбане, гордо сидел на седом аргамаке, а напротив него под эскортом ногайских воинов стояли два шляхтича. Один, хорошо знакомый Тимошу, — длинноволосый, седой, с торчащими веером усами, в нагрудном панцире; второй — в круглой бобровой шапке с перьями и в красном изодранном жупане.

— Егомость пан краковский, великий коронный гетман Потоцкий и черниговский воевода польный гетман Калиновский *, — прозвучал голос ногайского мурзы Салтана, который привел с Украины знатных пленников, — отныне рабы великого хана Крымского улуса Ислама-Гирея.

У Потоцкого поникла голова, а Калиновский словно и не слышал унизительных слов, он с едва заметной улыбкой на устах пристально смотрел в лицо хана, словно хотел прочесть на нем нрав и характер своего врага. Их глаза встретились, хан задержал свой холодный взгляд на польном гетмане и обратился к Потоцкому:

— Видит аллах, не хотел я этой войны. Но по дьявольскому наущению, забыв о прошлом нашем побратимстве, вы с пустыми руками отправляли наших послов, которых я направлял к вам за данью. После этого казаки попросили у нас помощи, а теперь зовут идти войной, чтобы добраться до самого трона вашего короля. Спрашиваю тебя, может ли Польша примириться с казаками.

Потоцкий исподлобья посмотрел на хана и высокомерно ответил:

— Речь Посполитая не мирится с подданными, она их наказывает!

Насмешливая улыбка разомкнула сжатые уста хана.

— Ты же видишь, Потоцкий, что в этот раз подданные наказали своих властителей.

Калиновский предупредил пустозвонный ответ ко-

ронного гетмана, он хотел начать деловой разговор с ханом.

— Речь Посполитая не знает, чего они хотят, — сказал он.

— Вы должны признать их как государство в пределах границ до Белой Церкви, а нам уплатить дань за четыре года по сто тысяч золотых в год и впредь не уклоняться от выполнения условий договора.

— Это хорошо, что ты готов торговаться с нами, хан, — ответил польный гетман. — И мы согласны вести торг, но с тобой, а не с Хмельницким. Однако таких условий Речь Посполитая не примет.

— Тогда смотрите сами... Мы с Ихмелиски дали клятву о побратимстве на вечные времена. А в союзе с ним нам не страшны не только король, но и турецкий султан. За вас же, вельможные панове, требую уплаты по двадцать тысяч злотых!

— Слишком высокая цена, — процедил сквозь зубы Калиновский. — Видимо, ты ловкий купец, знаешь, за что сколько просить.

Краска проступила на смуглом лице Ислам-Гирея, он поднял руку с нагайкой, но сдержался.

— В Чуфут-кале их! — коротко приказал он и повернулся к Тимошу: — Твой отец честно выполнил свою клятву. Я тоже сдержу свое слово: ты будешь свободен и возвратишься на Украину. Скажи гетману, что я скоро прибуду к нему своей собственной персоной и с многочисленным войском!

Хан дернул за поводья, конь, почувствовав властную руку хозяина, поднялся на дыбы, возвышаясь над головами гетманов. Потоцкий попятился назад, только Калиновский стоял камнем, не шелохнувшись, продолжая молча спорить с ханом.

Еще мгновение, и ретивый аргамак упадет на предводителей польского войска. А упрямый Калиновский неподвижно стоит под лошадиной тушей, и ханский конь опускается рядом с польным гетманом.

— Тридцать тысяч червонцев за твою голову! — произнес хан, и его глаза вспыхнули гневом. Он хлестнул в воздухе арапником.

— Ты, хан, знаешь цену силе! — зло засмеялся Калиновский. — Мы с тобой еще сторгуемся и за Украину, и за Хмельницкого!

Глаза у Тимоша загорелись безумным огнем, кровь прихлынула к лицу и, казалось, брызгала из каждой ря-

бинки, он подскочил к Калиновскому, схватил его за воротник жупана. Но в этот миг чья-то рука дернула его за полу свитки и потянула назад. Старик с редкой бородой и узкими щелками глаз процедил сухим голосом, глубоко дохнув в лицо Тимоша:

— Не приличествует подданному вмешиваться в дела хозяев!

Хан кивнул головой, и белокурый сеймен, который приезжал к Тимошу на Армянскую улицу, а сейчас все время стоял, словно вытесанный из камня, рядом с Ислам-Гиреем, подошел к юноше и, положив руку на плечо, указал глазами в сторону ворот.

Тимош молча пошел через площадь к тихим улочкам армянского квартала, а следом за ним — сеймен на коне. Вдруг Тимош расправил плечи, повернулся к сеймену и крикнул надрывным голосом, протягивая руки на север:

— Ложь! Там хозяин, там!

Он ждал: если ханский стрелец толкнет или ударит его нагайкой, он убьет его.

Но глаза у сеймена были ласковые и несколько удивленные, он соскочил с коня и, подойдя к разгоряченному юноше, с наивным любопытством спросил:

— Ихмелиски — твой отец?

— Да. Мой отец — гетман великой Украины, а этих собак в королевских кунтушах он собственными руками поймал под Корсунем, словно шелудивых шакалов в курятнике!

—Я видел его, это храбрый батыр, — промолвил сеймен с восхищением. Он оглянулся и еще ближе подошел к сыну гетмана: — Темиш, слышишь, Темиш, старый мурза Ихмелиски Джеджалий откуда-то знает меня, он сказал, что я с Украины. Скажи мне, верно ли, что я с Украины?

— Ты янычар! — пренебрежительно бросил Тимош. — Ты забыл свою веру и язык ради куска ханской пастирмы.

— О нет, Темиш. Янычары за морем, у султана, а я крымский и никогда не знал другой веры и языка, как наш, татарский. Но почему мне говорят, что я с Украины?

— Не знаю, хлопче, — остынув, ответил Тимош. — Может, тебя взяли в плен, когда ты был еще ребенком...

— Почему же я тогда вырос у цыган, скажи, Темиш?

— У цыган? Бедный ты мой брат... — вздохнул Ти-

мош. — Ведь цыгане не одного ребенка украли на Украине для продажи. Как тебя зовут?

— Селим.

— Возможно, ты и Семен...

— Да, я сеймен, — сказал тихо Селим и добавил уже другим тоном, с гордостью: — Первый ханский страж!

— Бог смилостивился над тобой, избавил тебя от страшного греха братоубийства. Будь теперь хоть Селимом, хоть чертом. Все равно будешь воевать за Украину. Ты пойдешь вместе с ханом на помощь Хмельницкому.

Тимош сказал и пошел по тесной Армянской улице к дому Аветика-оглы. Селим прошел следом за ним и остановился. Стоял, пока Тимош не закрыл за собой дверь, и все ждал, не оглянется ли он и не скажет ли еще что-нибудь. Но Тимош не оглянулся...

...Ислам-Гирей вспомнил о Мальве только тогда, когда Хмельницкий выехал из Бахчисарая. Тоска и желание охватили его, он сбросил с себя тюрбан, плащ и направился в гарем. Остановился на пороге комнаты Мальвы и ждал, что она, как всегда, подбежит к нему, обнимет его, прижимаясь головой к груди. Но Мальва стояла возле мангала бледная, взволнованная и неподвижная.

— Что у тебя болит, Мальва? — хан прикоснулся рукой к ее голове.

— Ничего не болит... Ты давно не приходил. На то твоя воля... Я у тебя третья...

— О Мальва, любимая моя ханым. Пусть никогда не жжет тебя огонь ревности. Я не знаю никого, кроме тебя, с той поры, как ты стала моей. Твой повелитель занимался важными делами.

— Я слышала удивительное пение и видела чужих людей в твоем дворе. Кто они?

— Разве мало чужеземцев приходит ежедневно к хану? Пусть они не тревожат тебя. Могуществу Ислам-Гирея ничто не угрожает.

— Это были казаки?

Хан пристально посмотрел на Мальву. Что это у нее — любопытство, страх или, может, заговорила казацкая кровь?

— Я принес тебе, милая, бусы с красными рубинами, пусть украсят они твою грудь, я пришлю к тебе черкесских танцовщиц, чтобы развлекали тебя, проси у меня, чего твоя душа желает, — исполню, но о государственных делах не расспрашивай, это не женское дело.

— Спасибо, хан, — поклонилась Мальва, кладя бусы

в шкатулку, но ее лицо не светилось радостью и в глазах не было прежней страсти. Словно выкупанная в ледяной воде, стояла перед Ислам-Гиреем Мальва — покорная, но холодная.

Шли дни, а Мальва чахла и увядала, словно лилия в Персидском саду, которую забыл полить садовник. Браслеты и рубины лежали забытыми в шкатулке, с покорностью рабыни ложилась Мальва на мягкие ковры рядом с ханом... Только тогда узнавал ее Ислам-Гирей, когда она склонялась над колыбелью сына, напевая откуда-то знакомую ему чужую мелодию.

«Что с ней случилось?» — терзался хан. Он любил Мальву первой, поздней, но, очевидно, и последней любовью, совсем забыл своих двух старших жен, которые задыхались в бессильной злобе от ревности; напрасно ждали его длинными ночами похотливые одалиски: красавица из Мангуша полностью полонила его. А теперь Ислам стал замечать, что теряет ее любовь, и ужас холодил его сердце: как он будет жить без нее?

— Разреши мне, хан, навестить мать, — попросила однажды утром Мальва. — Я давно не была у нее.

— Любовь моя! Я ведь никогда не запрещал тебе этого. Сейчас же велю подать карету.

— Позволь мне пойти к ней пешком...

Хан не ответил, а после обеда в комнату Мальвы пришел евнух и сообщил, что султан-ханым может пойти в Мангуш.

Так по-детски радостно было Мальве идти по узкому ущелью Ашлама-дере, где ей знаком был каждый камешек, каждая чашечка белого вьюнка, каждая головка желтого цветка держидерева. Она почувствовала себя свободной, словно незримые, но крепкие сети, опутывавшие ее тело и душу, вдруг разлезлись, упали. Мальва сорвала с лица яшмак и побежала по ущелью, рассекая грудью холодный воздух, чувствуя себя сейчас девочкой с Узенчика, и никто бы не сказал, что это идет к своей матери всемогущая жена хана. Но опьянение прошло, рассеялся мираж, и тогда Мальва увидела скопцов, которые тайком следовали за ней, прячась за скалами. Только теперь поняла она, какой ценой купила ханскую любовь. Она вдруг обессилела, но инстинктивный протест против неволи встряхнул ее, и она истерически закричала на евнухов, которые притаились за скалами:

— Прочь, прочь, прочь!

Слабое эхо ударилось о стены ущелья и затихло вме-

сте с взбунтовавшейся душой молодой женщины. «Что это со мной? — подумала Мальва. — Я же ханская жена, а они его слуги, и так должно быть. Разве я могла бы теперь жить где-нибудь в другом месте, когда тут сын и он, любимый». Надела яшмак и важно направилась по долине в Мангуш.

— ...Мама, я видела их... Почему они пришли так поздно? — Больше ничего не сказала и неподвижно смотрела на растерянную мать.

А вечером рабыня Наира рассказала ей сказку. Она знала их множество, и эти сказки становились для Мальвы тем новым миром, который открылся перед ней.

— Было или не было, — тянула Наира, — а в прошлые времена жил могучий султан, который подчинил себе три четверти мира, а четвертая часть, на которую не ступило копыто султанского коня, дрожала от страха перед грозным падишахом. И пошел он на Русь и поглотил сорок городов, как один кусок. Возвратился султан с почестями и золотом, но ничто не радовало его так, как пленница Маруся, которую схватили янычары в церкви, когда она венчалась со своим джигитом. Влюбился султан, как тысяча сердец, и поклялся, что будет жить только с ней одной. Полюбила и пленница султана, а поскольку она была чародейкой, то сумела лишить воли своего господина. Что бы Маруся ни сказала, он слушался ее, и добилась она невозможного: султан поклялся ей никогда не воевать с Русью. Сорок тысяч невольников вернула она в их родимый край, но сама возвращаться не захотела. Гяуры слагали песни о ней * и назвали ее своей святой...

— А дальше, дальше что было? — расспрашивала Мальва, но Наира не знала, что было дальше.

— Аллах один ведает... их желания исполнились, пускай исполнятся и наши...

Много еще сказок услышала Мальва, но так и не досказала Наира эту — почему-то она выпала из памяти старухи. И наверное, поэтому дивная сказка представлялась теперь султан-ханым в ином свете, и Маруся стала похожей на синеглазую девушку из Мангуша, а турецкий султан — на остробородого хана Крымского улуса.

«...И добилась Маруся от хана, что он никогда не пойдет войной на Украину, и сорок тысяч невольников она вернула в их родной край, а сама... сама вернуться не могла, потому что любила хана... А что дальше, что дальше было?»

Известие о Желтых Водах и Корсуне докатилось до Мангуша. Вначале шепотом, а потом громко заговорили поселенцы с Узенчика о чуде, которое вымолили люди у чудотворной иконы Успенской Марии: хан идет освобождать Украину!

Стратон не верил. Откуда могла появиться на Украине такая сила, что смогла разгромить королевское войско, и слыханное ли дело, чтобы на помощь христианам шли мусульмане? Сам заковылял в Бахчисарай, а вернувшись, упорно молчал и только тяжело стонал по ночам, словно стреноженный бык.

Вскоре распространился слух о том, что несколько мужчин исчезло из Мангуша. Потом не стало целой семьи. Сначала говорили о них, что пошли искать других мест, но шила в мешке не утаишь.

— Убежали за Сиваш, — сказал Стратон Марии и дернул рубаху на груди так, что она затрещала.

— Стратон, Стратон, — корила Мария, — почему ты раньше не послушал меня?

— Но еще не поздно, — горячо возразил Стратон. — Ты с грамотой, а я...

— А Мальва?

— Она уже не твоя.

— Если бы у тебя были дети, Стратон, ты так не говорил бы...

Очевидно, они не возвращались бы больше к этому разговору, но неожиданно к ним зашел пастух Ахмет. Взрослый, возмужавший, он совсем не был похож на татар, которые жили внизу, — красивый, с густыми черными усами, спустился с гор, гонимый неугасимой жаждой любви.

Опустив глаза, он промолвил:

— Ахмет знает, что все пропало, но забыть ее не может. Я пришел, чтобы подышать воздухом, которым дышала она...

Старики молчали, молчал и Ахмет, опустив голову.

— Ахмет сильный и смелый, — продолжал дальше пастух. — И если бы Мальва захотела — ведь не может она вечно любить хана, потому что ни одна пташка не любит своего хозяина, который держит ее в золотой клетке, — если бы она захотела, Ахмет украл бы ее. Ему знакомы все дороги в Крыму, он отвезет Мальву на своем коне к самому Хмелю, потому что Ахмет любит... Никакой платы за это он не требует — ни любви, ни ласки. Согласен быть ее слугой...

Стратон по-молодецки вскочил со скамьи, обнял Ахмета.

— Ты можешь это сделать, ты можешь?

— Ахмет все сделает.

— Мария, чего же ты молчишь, Мария?

Надежда осенила лицо матери, она оживилась, сказала:

— Я пойду, Стратон, к ней... Я завтра же пойду.

...Она стояла у ворот ханского дворца и не решалась постучать: белокурый воин откроет и снова спросит: «Чего тебе надо, старуха?» — и тогда она крикнет: «Ты сын мой!» — и уже не от иноземца, а от родного сына услышит оскорбление... А действительно ли он ее сын? Как узнать, у кого?

Заскрипели ворота, другой страж пропустил Марию. У нее замерло сердце: «Где же Селим?»

— Где Селим? — тихо вскрикнула она, но ничего не ответил часовой, и Мария пошла мимо Соколиной башни к гарему. Дала евнуху талер и стала прислушиваться: из глубины хором чуть слышно долетала родная песня.

Мать вбежала в комнату. Мальва поднялась с миндера какая-то странная: лицо бледное, глаза лихорадочно блестят...

— Мальва, ты разве не знаешь, что делается на свете?

— А что делается?.. Были, попели и уехали... Откуда мне знать, что делается? Хан не рассказывает мне о том, что творится за стенами гарема. На, возьми кольца, ожерелья, браслеты — они не нужны здесь, взаперти, подари девушкам в Мангуше...

— Бедняжка моя... Куда же девались твои мечты о силе твоей любви?

— А что, хан послал за ясырем... туда?

— Мальва, — прошептала Мария, — послушай, что я тебе скажу. Побратим твоего покойного отца гетман Хмельницкий разбил шляхту, а хан идет ему на помощь. Ты видела тогда казацких послов... Но слово хана изменчивое, кто его знает, как он завтра поступит. А теперь есть возможность. Ахмет поможет нам уйти на Украину. Люди уже уходят.

Мария ждала ответа. Мальва впилась взглядом в лицо матери и долго не могла оторваться, но вдруг, словно сбрасывая с себя оцепенение, развела руками и сказала, прислушиваясь к собственным словам:

— Это судьба моя, мама... Моя судьба, мама... Ты

предлагаешь уйти на Украину? Как мне уйти? Я уже совсем другая, чем те, что живут на Днепре. Я только почему-то затосковала по ним и никак не могу избавиться от этой тоски, а твоя Мальва теперь — татарская, ханская, мама...

— Отступница ты моя...

— Мама, может, так хотел твой бог, чтобы меня взяли в плен, чтобы я забыла свой край и чтобы только тогда тронула меня родная песня, когда я стала женой хана? Может, мне суждено больше сделать добра для твоего края здесь, чем родить казаку ребенка?

— Что ты бредишь, доченька? Ты пленница, что ты можешь сделать?

— Говоришь — хан идет помогать казакам? И может изменить им? Я не позволю ему совершить это, он любит меня. А теперь я еще больше разожгу его любовь ко мне... и он вечно будет верен Хмелю.

— Цари, Мальва, изменяют, не советуясь ни с кем.

— Если он это сделает...

— Так что?

— Я... — И Мария увидела давно уже забытое: поотцовски вспыхнули глаза дочери-отступницы.

Ислам-Гирей дивился неожиданной перемене султанханым. Вечером Мальва встретила его бурными объятиями, от чрезмерной нежности он расчувствовался до слез, размяк жестокий властелин, забывая обо всем, плененный ее страстью.

— Ты мудрый мой царь, ты свет очей моих, — шептала Мальва, — ты рыцарь, перед которым падают ниц твои враги, ты подаришь свободу своему и моему народу.

— Какому твоему, Мальва? — приподнялся на локоть хан и настороженно посмотрел на жену. — Ты же мусульманка, как и я, и мой народ является твоим народом.

— Я люблю тебя, хан, и Крым стал моей отчизной. Но ты пойми, что и журавлю, когда он живет в теплых краях, не все равно, когда холодная метель на севере. Есть ведь такие, что и не возвращаются на родину, но печально курлыкают, когда в родном краю вымерзают деревья и цветы, жара высушивает зелень и братья, вернувшиеся домой, погибают от голода на родной земле. Я верила, что ты не станешь врагом моего края. Теперь я знаю обо всем! Великая победа одержана на Украине, так поклянись мне, мой муж и властелин, что ты не предашь казацкого гетмана!

Хан поднялся на ноги, отстранил руки Мальвы. Такого еще не было, чтобы жена вмешивалась в ханские дела и требовала клятвы от него. Он сурово взглянул на Мальву, схватил ее за плечи.

— Чьи слова повторяют твои уста, ханым? — спросил он и привлек ее к себе, пристально глядя ей в глаза.

— О мой хан, не подозревай меня в хитрости. Ты мудрый и сильный. Я никогда не изменю тебе, потому что люблю, ты грезился мне еще в детских снах. Можешь убить меня, можешь озолотить — я в твоей власти. Но прислушайся к искренним словам слабой женщины. Несведущее мое сердце чувствует то, чего, возможно, еще не осознает твой ум. В твоих руках теперь такое могущество, которого ни у кого не было до тебя. Какая это сила, когда два сильных объединяются против третьего! О, что они могут сделать! А если ты изменишь — много горя будет на свете. Будь верен своему слову, хан...

Ислам-Гирей опустил руку с плеча Мальвы, вспомнив: подобное уже где-то было. В памяти всплыли могущественный падишах Сулейман Великолепный и рогатинская русинка Роксолана, при которой расцвела Османская империя. И еще вспомнил хан сыновей Сулеймана, которых очаровательная Хуррем убила руками султана, чтобы подарить империи новый род от пьяного Селима.

— Принеси мне своего сына! — приказал Ислам-Гирей, и страшная угроза звучала в его словах.

— Он спит...

— Принеси мне своего сына!

Дрожь пронзила все тело Мальвы, спотыкаясь о подушки, она прошла в детскую комнату и принесла маленького Батыра. Мальчик спросонья скривил губки и прижался к матери. Лицо у него было смуглое, как у Ислама, а глаза — материнские.

Рука хана протянулась к ребенку.

— Что ты хочешь делать, хан? — воскликнула Мальва.

— Я буду мудрее Сулеймана Кануни *, — произнес он жестко. — Буду любить разумную казачку и убивать родившихся от нее сыновей!

Мальва судорожно прижала мальчика к груди, а сын, еще не зная, что может твориться в царском дворце, в котором появился на свет, просиял в улыбке и пролепетал:

— Папа, папа, папа!

У Ислама-Гирея опустились руки.

— Воля аллаха, — вздохнул он. — Спи, Мальва. Меня ждут дела. Можешь не волноваться. Я иду писать письмо султану о том, что выступаю со своим войском в союзе с Богданом Хмельницким.

Стратон с нетерпением ожидал, когда Мария вернется из ханского дворца.

— Ну что? — встретил он ее на пороге и тотчас все понял: плечи у Марии опустились, склонилась голова, и глаза, в которых начала было тлеть искра надежды, молча говорили: «Мальва не пойдет».

— Я так и знал, — глухо произнес Стратон. — Горя — море, пей его — не выпьешь. Но мы пойдем. Ты с грамотой, я — через Сиваш.

— Поздно ты собрался, Стратон. Если бы тогда послушал меня, мы вместе были бы там. Ты ковал бы пушки, я варила бы еду казакам, а Мальва, Соломия... — Мария ударилась головой о стенку и всхлипывала без слез. — Не могу, не могу я уйти... Тут мои дети...

— Дети?

— Да... Ты помнишь ханского воина, который приезжал за Мальвой? Я знаю, не ошибается мое сердце: это мой сын...

Еще несколько дней колебался Стратон, не решаясь оставить Марию, но тоска по казацкой свободе, которая воскресала где-то там, на Черном шляху, терзала душу, не давала спокойно жить. И наконец опустела хата Стратона, словно оттуда вынесли покойника. А Мария больше не появлялась на глаза людям, одна-одинешенька грустила в пустом доме, а иногда поздно вечером сеймен Селим видел женщину в черном, тихо стоявшую недалеко от ворот ханского дворца.

Стратон пробирался ночью через сивашские болота к казацкому Низу, пугая сонных стрепетов, сидевших на курганах.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Царь умер, да здравствует царь!

— Вы слепые кроты и безмозглые устрицы! — кричал султан Ибрагим на членов дивана, вошедших в тронный зал доложить о состоянии войны с Венецией. — Кто начал эту глупую войну? В Золотой Рог больше не

приходят торговые суда с ценностями и тканями, опустел гарем, ваши головы отупели, но я промою их раскаленным свинцом.

Молча уходили от султана дефтердар, кадиаскеры и великий визирь Муса-паша, оставляя в тронном зале рядом с падишахом нового члена дивана — недыма * Зюннуна. Где его нашел Ибрагим, никто не знал, но султан не разлучался с ним ни на минуту и доверял ему больше, чем когда-то Замбулу. Зюннун входил в султанский дворец, не спрашивая разрешения, и произносил всегда одну и ту же фразу, которая льстила самолюбию Ибрагима:

— Украсил всевышний аллах небо солнцем, месяцем и звездами, а землю дождем, красавицами и самым справедливым султаном Ибрагимом!

После этого недым садился на пол, вычерчивал мелом гороскоп, определяя, в каком зодиакальном созвездии находится сейчас солнце, и безошибочно указывал: в эту минуту в мечетях Багдада прославляют самого умнейшего падишаха, или же — сегодня ночью он встретит в гареме незнакомую красавицу, которую нельзя сравнить ни с кем в неге ее, и страсти, и похотливости; мог даже напророчить богатые дары от иноземных послов.

Потом они вдвоем пили вино, и султан читал Зюннуну свои стихи, а тот поднимал руки вверх и, закатывая глаза, смеялся или вздыхал — в зависимости от того, каким тоном декламировал Ибрагим.

Сам бог послал ему из Анатолии этого человека, без него Ибрагиму теперь не обойтись.

Иногда султан вызывал к себе великого визиря. Это были тревожные минуты для Мусы-паши. Семь потов сходило с него только при воспоминании о том дне, когда Ибрагим, по наущению своей матери, отдал ему печать. После первой официальной аудиенции падишах провел нового визиря к тайнику, находившемуся рядом с залом дивана. Он открыл дверь, окрашенную, как стены, и трупный смрад ударил в лицо — ужасное зрелище предстало перед глазами Мусы-паши: в небольшой комнатушке возвышалась гора человеческих забальзамированных голов.

— Видишь, Муса, — оскалил зубы Ибрагим. — Тут лежат те головы, которые хотели быть умнее головы падишаха. Полюбуйся, вот голова премудрого Аззема-паши. Гляди, чтобы и твоя сюда не попала.

У великого визиря подкосились ноги, он повалился на колени перед султаном:

— О султан, я буду служить тебе верой и правдой!..

Но с тех пор и доныне его преследовали почерневшие лица тех, кто прежде сидел на том самом месте под пятью бунчуками в зале дивана, где сейчас сидит он.

Воспоминание о страшном мавзолее лишало его смелости, он помогал султану торговать чинами, а все деньги, вырученные за это, честно отдавал Ибрагиму, по каждому пустяку шел советоваться с валиде Кёзем, которая, избавившись с помощью янычар-аги от умного соперника — Аззема-паши, взяла власть в свои руки и оттеснила от государственных дел самого Нур Али и красавицу Тургану-шекер.

Пусть все идет по воле аллаха, а ему, Мусе-паше, только бы сберечь свою голову и должность. Пускай Кёзем воспитывает для престола младшего султанского сына, родившегося от одалиски, он закрывает глаза на то, что тайно исчезают янычарские старшины, которые поддерживают Нур Али; Муса-паша будет молчать и тогда, когда неожиданно умрет Тургана и старший сын Ибрагима Магомет.

Великий визирь замечал какое-то подозрительное брожение в недрах дворца и в войске. Нур Али с тех пор, как печать ускользнула из его рук, не появлялся во дворе даже на заседаниях дивана; Тургана выставила возле своего гарема охрану из янычар; шейх-уль-ислам Регель с лицом святоши каждый вечер ходил молиться в янычарскую мечеть, а среди янычар появился откуда-то новый шейх Мурах-баба, который призывает воинов к самостоятельному походу на Венецию, обещая им бочки золота.

Муса-паша делает вид, что ничего не замечает. Он боится всех. Но пока что султан только угрожает во время аудиенции:

— Ты знаешь, какая кара ждет тебя, если в империи начнутся беспорядки. Иди и промой свой ослиный мозг, хватит мне думать за всех!

Недавно Муса-паша узнал от австрийского резидента в Стамбуле Ренигера о каких-то контактах Ислам-Гирея с казацким гетманом Хмельницким, потом услышал о том, что казаки вместе с татарами разгромили польские войска под Желтыми Водами. Что будет, когда Ибрагим узнает об этом? Чью тогда забальзамирует голову? Но

Муса-паша молчал. Не надо подгонять беду. Хан все равно когда-нибудь пришлет своих послов.

А султан каждый день пирует. Сейчас он в горах Истранджа. Охота оказалась на удивление удачной — именно такой, как предсказал недым. Янычары-ловчие, с которыми султан выезжал на охоту, выгоняют на поляну стреноженных косуль, оленей, а Ибрагим прицеливается из ружья и убивает наповал одно животное за другим.

У падишаха хорошее настроение. Он обещает наградить недыма, хвалит ловчих, но из лесу вдруг долетает протяжный звук рога, знак о том, что кто-то приближается.

Ловчие на конях поскакали по лесной дороге и вскоре вернулись, ведя за собой султанского посланца-скорохода.

— Кто послал тебя сюда? — спросил Ибрагим, сердясь, что ему помешали охотиться.

— Муса-паша, великий султан... К тебе прибыли послы хана. Говорят, что у них неотложные дела.

— Ничтожные рабы! — затопал ногами Ибрагим. — Как они сказали — неотложные дела? Ко мне, ловчий-паша! Пошли конников к татарским послам, пускай на привязи приведут сюда, если у них нет терпения ждать!

На следующий день перед обедом конники примчались к лагерю султана, таща за собой на веревке послов Ислам-Гирея, истерзанных, в рваных башмаках, со сбитыми до крови ногами.

Султан сидел в шатре на подушке, важный и спокойный. Он окинул несчастных послов взглядом с ног до головы и произнес:

— Мне сказали, что у вас ко мне неотложное дело. Если так, не к лицу звать султана во дворец, а со всех ног бежать к нему, где бы он ни находился. Сегодня я показал вам, как это делается. Говорите скорее, что там: хан помер или, может, море залило Крым?

— Пыль стоп твоих, Ислам-хан, недостойный лобызать твои ноги... — простонал дрожащим голосом посол, — доносит тебе, что... что он выступает со своим войском против Ляхистана... ногайские полки Тугай-бея уже разгромили вместе с казаками ляхов на Украине... Хан просит тебя тоже двинуться за богатым ясырем, а в знак высокого уважения к властелину и воину велит передать тебе послание и вот эту украшенную драгоценностями саблю...

У султана от приступа безумной ярости потемнело в глазах. Ибрагим долго читал послание и вдруг вскочил, завопив:

— Как он, паршивый пес, посмел! Мы ведь договор подписали с Ляхистаном...

Послы стояли на коленях, склонив головы до земли; они уже не надеялись, что султан, как это принято, прикажет надеть на них почетные кафтаны. Они уже утратили надежду выйти отсюда живыми.

— Я пойду воевать не с Ляхистаном, а с Крымом и залью всю вашу ничтожную землю кровью, а вас — надо бить камнями и гнать до Золотого Рога! — дрожал Ибрагим от гнева. — Ну, что же вы стоите? — заорал он на ловчих. — Травите их!

Потом пришел черед и недыма, невозмутимо стоявшего в стороне.

— Что твой гороскоп? Почему ты не предупредил меня о черной вести, почему утаил ее от меня? Вы все, вы все против меня, все изменники! — Султан выхватил из ножен саблю, подаренную послами, рубанул ею по голове единственного советника.

Недым замертво повалился наземь. Ибрагим в оцепенении замер над трупом друга.

— Зюннун... Зюннун...

Янычары возмущались в своих казармах: Ибрагим прогнал татарских послов, убил булук-пашу, который пришел с требованием отправить стамбульские орты на войну с Ляхистаном. Вспомнили теперь воины своих товарищей, которые в последнее время таинственно исчезали из казармы, проклинали имя валиде Кёзем, заговорили о самой богатой в мире добыче, которая достанется шелудивым татарам; Мурах-баба произнес в мечети проповедь о распутном султане, который проводит время в роскоши и торгует государством и войском; янычары с медными котлами — символом бунта — уже хотели было выйти на улицу. Но их сдерживал Нур Али. Он еще не осмеливался поднять восстание.

Ибрагим заперся в тронном зале и никого к себе не допускал. Не стало верного недыма, султан оплакивал его и перебирал в памяти всех сановников и слуг: он больше никому не мог довериться. А действовать самостоятельно боялся. Во всех уголках дворца ему мерещилась смерть. Ибрагим запирал двери на все замки. Ему теперь подавали еду через окошко. Каждый раз гарем-

ная прислуга шептала ему в щель о том, что одалиски желают утешить величайшего из великих, но он боялся пойти даже в гарем.

В тревожном одиночестве Ибрагим начинал понимать: он бессилен. Все делается без его ведома, и уже некому убеждать его в том, что он самый сильный и могущественный и что все боятся его гнева. Бразды правления неожиданно выскользнули из его рук: Крым самовольно начал войну с Ляхистаном, янычары сметают все на своем пути. Йени-чери, всюду йени-чери! Скоро весь мир обрушится на Османову империю, а разве сама империя не стала врагом и султанской жизни? Сквозь железные решетки смотрел в сад, раскинувшийся на склонах Босфора. Там пышно росли лотосы и гиацинты, дозревали манговые плоды, и вспомнил Ибрагим свой первый день султанского правления, когда он, свободный, нарядно одетый, вышел к цветам, а с его уст сорвались слова нежного стихотворения о тоскующем соловье. Не лучше ли было тогда пройти за ограду мимо рыбацких селений и затеряться в человеческом море?

Одиночество становилось невыносимым, хотелось забыться. Поэтому с нетерпением ждал шепота кяя-хатун. В обед подали через окошко еду и донесся голос гаремной прислуги:

— Жить в затворничестве к лицу лишь аллаху. Послушай, султан, я сообщу тебе новость, за которую ты озолотишь свою верную прислугу.

— Говори...

— Пророк сказал: разделил аллах страсти на десять частей и девять из них отдал туркам. Я видела в бане невиданной красоты девушку, которая воплощает в себе все десять частей греховной страсти...

— Кто она? — оживился Ибрагим, забывая о мучивших его душевных тревогах, о Крыме и Польше.

— О, она, наверное, не простая девушка. Я спросила ее, но она прогнала меня, как собаку. Но кяя-хатун все знает, я проследила, по какой улице проходит эта девушка каждый день перед заходом солнца... Если пожелаешь, сегодня она будет твоей.

Жители квартала, что вблизи Ат-мейдана, были свидетелями удивительного происшествия. В предвечерней мгле в сторону Золотого Рога прогрохотала по улице карета. Она остановилась лишь на мгновение, из нее выскочили двое мужчин с закрытыми лицами, набросили

на проходившую по мостовой девушку серый плащ, и не успели прохожие опомниться, как карета исчезла в переулке.

На следующий день шейх-уль-ислам Регель спешил к янычарским казармам. От спокойствия святоши не осталось и следа. Глаза устремлены к небу, с уст срывались страшные проклятия, он с угрозой потрясал кулаками.

— Мурах-баба! — крикнул он, став на пороге казармы.

Вмиг прибежал дервиш, пал перед верховным духовником Регелем на колени и увидел, как у того от сильного волнения болталась в левом ухе серьга: Мурах-баба понял, что случилось нечто чрезвычайное и, возможно, в эту минуту будет решена судьба двора.

— Распутник на троне, преступник со священным мечом Османа осквернил мою единственную дочь! О проклятие, о аллах!.. Зови, зови сюда янычар-агу!

Нур Али мигом прискакал на коне. Он, собственно, ждал слова шейх-уль-ислама. Уже пробил час. Пятибунчужный скипетр завтра пронесут слуги над его головой. Пусть погибнет тот, кто не сумел оценить заслуг своего спасителя!

В янычарской мечети собрался диван без султана.

— Халиф Осман утверждал: мудрый султан — процветает государство, убогий умом и духом — и государство рушится, — обратился шейх-уль-ислам к Нур Али, алай-бегу и к пашам. — Чаша моего горя переполнилась, но я один должен оплакивать его и просить аллаха отомстить тому, кто обесчестил мою дочь. Но переполнилась чаша терпения и у всего османского народа. Амурат Четвертый оставил цветущую империю. Не прошло и десяти лет, как опустела государственная казна, пришел в упадок флот, венецианские суда штурмуют дарданелльские замки, христиане завладели Далмацией. И повинен в этом только один грешник и беспутный человек, которому аллах не дал ума для царствования.

— А кто повинен в том, — поднялся алай-бег, начальник спагиев, с ненавистью глядя на Нур Али, — кто виновен в том, что Ибрагим сел на трон?

— Мы спасали династию, — спокойно ответил янычар-ага. — Теперь есть престолонаследник, и недостойный господствовать над нами сейчас может сойти с престола.

— Есть престолонаследники, — уточнил алай-бег.

— Старший сын Ибрагима — Магомет, — резко ответил Нур Али и обратился к шейх-уль-исламу: — Янычары просят тебя, духовный отец, подписать фетву, в которой требуют отречения султана.

Совет окончился. Янычары вынесли из казарм котлы и стали бить в них ложками. Зловещий грохот пронесся над городом и всполошил людей, эхо ударилось в стену дворца. Сам Муса-паша вылетел на коне из ворот и изо всех сил помчался к казармам. Но янычары уже не подчинялись великому визирю. Нур Али только взмахнул рукой, возбужденные воины раздели Мусу-пашу и нагишом погнали по улицам, стегая нагайкой.

В Биюк-сарай шел гонец с фетвой. Он размахивал ею, чтобы никто не посмел приблизиться к нему: священная бумага давала ему право входить к самому султану. Кяя-хатун должна была открыть дверь тронного зала.

Гонец не упал на колени перед султаном — недостойно унижать всесильную власть фетвы. Ибрагим, желтый и сгорбленный, не кричал и не топал ногами. Не отрывая маленьких и поблекших глаз от свитка с печатью, он на цыпочках подошел к посланцу, немигающими глазами глядя на документ, в котором было сказано о его последнем дне, выхватил фетву и тут же порвал ее. Сжал в кулаке клочки бумаги и бросил в мангал.

— Дайте огня, огня! — прохрипел он, обращаясь к кяя-хатун, но на его зов никто не отозвался.

Обескураженный янычар попятился к выходу.

— Султан разорвал фетву! — заревели янычары и ринулись через площадь к дворцу. — Ибрагим нарушил закон корана!

Барабанный бой, звон медных тарелок, вой флейт раздались у главных ворот, распахнулись железные двери...

В зале дивана перед шейх-уль-исламом, пашами и Нур Али стоял Ибрагим, которого притащили сюда за руки евнухи. Он уже предчувствовал, что ждет его, но не мог поверить в это: слишком резким был переход в судьбе. Кажется, только вчера его освободили из темницы и посадили на трон, а сегодня снова отправят в заключение. Без султанских регалий и чалмы Ибрагим выглядел слишком жалким и немощным. Приглушенным голосом он спрашивал у вчерашних своих подданных, а ныне судей:

— Что это означает? Как вы...

Шейх-уль-ислам и Нур Али смущенно переглянулись.

Может, им самим стало теперь странно, как могли они когда-то сопровождать это жалкое ничтожество в мечеть Эюба, а потом десять лет бояться порождения рук своих; возможно, подумывали о том, что завтра они возведут на трон такого же другого, и от этого ничего не изменится, а нынешняя расправа с Ибрагимом — только месть за личные обиды?.. Но спектакль закончился.

— Тебе, Ибрагим, советовали мы отказаться от престола, — промолвил Регель, — и, согласившись на это, ты бы доживал свой век в Эски-сарае. Но дьявол надоумил тебя глумиться не только над моей дочерью, но и святым кораном. За это ты будешь заключен в темницу и...

Пронзительный вопль оборвал речь шейх-уль-ислама, Ибрагим стал биться в истерике. Хлопал в ладоши, вызывая слуг, угрожал и замер, остолбенев.

— Смерть, — произнес Нур Али.

Тогда он упал на плиточный пол и стал умолять:

— Помилуй! Я хочу жить!

Ибрагима вывели, шейх-уль-ислам повернулся к янычар-аге.

— Кто это свершит? — спросил, прищурив глаза.

— Чорбаджи первой орты Алим.

— Но тебе известно, что чужеземец, который...

— Вот он и докажет, достоин ли командовать войсками Порты. Простому янычару достаточно ятагана, янычару-аге нужен еще и сметливый ум.

Подворье Биюк-сарая кишело от янычар, которые штурмовали ворота гарема. Там заперлась валиде Кёзем с внуком Солиманом. Упали железные решетки, соскочила с петель дверь в комнату валиде: тихо покачивались подвешенные под потолком масляные лампы, на полу валялась разбросанная одежда, посредине комнаты лежал перевернутый миндер, в углу стоял кованный железом сундук. Кто-то открыл крышку, но вместо ожидаемого золота увидел в нем перепуганную насмерть Кёзем. Она выползла из сундука и бросила горсть монет янычарам. Те бросились к ней, сорвали золотые серьги с ушей, стащили браслеты и перстни с рук и закололи ударами кинжалов.

Сына султана Солимана, которого янычары должны были доставить живым к Нур Али, не обнаружили ни здесь, ни в детской. Вдруг в стене открылась потайная дверь, и в гарем валиде вошла Тургана-шекер, ведя за руку семилетнего сына. Ее красивое лицо было усеяно

морщинами, когда-то пленительные глаза, понравившиеся щедрому султану, грозно взирали на обезумевших янычар. Сын плакал, напуганный криком, но властная мать не обращала внимания на плач ребенка.

— На колени, рабы, перед султаном великой Порты Магометом Четвертым! — приказала она, и вмиг угас пыл вершителей судеб трона.

Янычары опустили ятаганы и пали ниц к стопам его светлости.

Первая орта готовилась к встрече нового султана, который завтра будет ехать из мечети Эюба, опоясанный мечом Османа. Чорбаджи Алим вспомнил, с каким волнением и надеждой он выносил из казармы чашу шербета для Ибрагима десять лет тому назад. Теперь он относился ко всему равнодушно. При Ибрагиме он ни на ступеньку не продвинулся по службе, хотя был примерным янычаром. Звание чорбаджи получил за убийство украинской пленницы в Багдаде, а за жестокую казнь турка Кер-оглы его даже не похвалили. Теперь братья по крови просили турок стать их союзниками. События в мире развивались не так, как хотел того Алим. Перемены, происходившие в Османской империи, тоже были не на руку. Валиде Кёзем отменила набор в янычарский корпус иностранных детей. Корпус все больше и больше пополнялся турецкими подростками, которые, становясь взрослыми, остальных янычар называли презрительно — чужеземец, казак, Байда. Турция, которой Алим верно служил, не признала его своим.

Алим был готов ко всему: подать чашу шербета новому султану или шелковый шнур свергнутому. Что прикажут, что доверят? Бунт в душе утих, воля сломлена, возвращаться некуда, а жить как-то надо.

Поздно вечером к Алиму пришел Мурах-баба. Шейх янычарских дервишей с минуту проницательно смотрел на черноусого богатыря, потом заговорщически произнес:

— Око за око, зуб за зуб — гласит коран. Шейх-уль-ислам жаждет смерти Ибрагима. Святой отец милостиво вспомнил о тебе. Ты исполнишь приговор.

— Рука дающая всегда выше той, которая принимает, — холодно ответил Алим. Ни один мускул не дрогнул на лице.

«Такой хладнокровный убийца может удивить даже Османов!» — подумал Мурах-баба и указал Алиму на выход.

Медленно, словно тень, двигались по темным улицам четверо: чорбаджи и дервиш впереди, два палача сзади. Остановились возле дворцовой тюрьмы. Из темницы доносилось рыдание Ибрагима. Палач подал Алиму ключ. Мурах-баба кивнул головой. Какое-то время Алим стоял неподвижно, потом решительно шагнул к двери. Заскрежетал замок, рыдание Ибрагима оборвалось.

При свете факела чорбаджи увидел человека, которому обещал когда-то, что встретится с ним в стране золотого яблока. Встретились... В безумном страхе, который лишает речи, заставляет цепенеть, смотрел на него Ибрагим, и только глаза молили о пощаде.

Чувство, похожее на то, что родилось на мгновение тогда, в Багдаде, когда незнакомая девушка прошептала: «Казаче, соколик», — вспыхнуло в душе.

...Тогда он начинал службу, теперь должен удержать то, что заработал; тогда хотел заслужить ласку властелинов, убивая рабыню, теперь — убивая правителя. Ибрагим стал ему таким же ненужным, как когда-то любовь Нафисы и вера в христианского бога. Но нет, оказывается, он еще нужен.

Чорбаджи первой султанской орты, приученный убивать, легко пронзил кинжалом горло своему бывшему покровителю.

Возвращались молча: впереди Мурах-баба с Алимом, следом за ним два палача. Вдруг Алима охватило чувство неуверенности, тревоги. Он оглянулся — придворные палачи шли, понуря головы. Алим замедлил шаг, чтобы поравняться с ними, но палачи снова отстали. Мурах-баба свернул с дороги в ворота, которые вели в комнату палачей. Чорбаджи резко повернулся, схватившись за палаш, на котором еще не застыла султанская кровь, но ему вмиг скрутили руки и заткнули рот куском сукна.

При свете факела, который освещал последние минуты жизни Ибрагима, палач зачитал приговор, написанный рукой шейх-уль-ислама Регеля, очень довольного местью:

«Султан убит, но род Османов священный. Чужеземец, обагривший руки кровью государя Порты, должен умереть. Турецкая кровь смывается лишь кровью».

В последний раз пронзило мозг слово «чужеземец», и это было страшнее смертного приговора. Всю жизнь он хотел сравняться с турками — и напрасно.

Когда шею уже стягивала холодная петля, в памяти Алима возникла проклятая им самим степь и ее высокая

ковыльная трава... а в небе — белые облака... и резвые кони скачут к чужому черному небу над Босфором.

В эту ночь возле Мраморного моря в рыбачьем доме, приютившемся у южной стены Биюк-сарая, зажегся огонь. Рыбаки опускали в воду мешок с телом первенца казацкого полковника Самойла — янычара Алима.

К утру следы мятежа на Софийской площади были устранены. Народ собирался к дворцу сопровождать в мечеть Эюба нового султана.

Дервиши бежали впереди, выкрикивая осанну императору, более ревностные вскрывали себе вены в знак того, что всегда готовы пролить кровь за падишаха, толпа шумела, волновалась, прорывалась к процессии, чтобы лобызать следы копыт султанского коня.

Великий визирь Нур Али придерживал рукой семилетнего властелина империи, чтобы он не упал с коня. Магомет Четвертый плакал, потому что еще никогда не сидел на коне, крик повелителя трех континентов и пяти морей разносился над напыщенной Портой, вызывая чувство тоскливо-беспокойного страха.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Як запродав гетьман
У ярмо християн,
Нас послав поганяти,
По своїй по землі
Свою кров розлили
І зарізали брата...

Т. Шевченко

Весной 1649 года над Крымом снова нависла зловещая тень голода и смерти. С гнилого Сиваша распространилась эпидемия чумы и косила ногайские юрты одну за другой, в небе ни облачка, саранча сожрала всю траву в Буджацкой степи — ногаи охотно собирались на войну с Ляхистаном.

Ислам-Гирей послал гонцов к беям. Откликнулись все, кроме ширинского бея Алтана. С тех пор как Тугай пошел на открытый сговор с ханом и вернул в Бахчисарай ненавистного Сефера Гази, он замкнулся в своей резиденции на окраине Старого Крыма и, потеряв политический вес при дворе, старался утешить себя мирскими хлопотами — перестраивал дворец, с таким размахом, чтобы он был величественнее ханского.

Однако тут веяло запустением, зарастали спорышем когда-то оживленные дороги, не радовали путников возвышавшиеся вокруг усадьбы тополя, посаженные потомками ширинского рода.

Можно было видеть, как каждое утро бейские слуги выводили к большому деревянному кругу в усадьбе пятьдесят ухоженных арабских жеребцов; в заезжем дворе весь день плясали цыгане; стены гарема выросли выше деревьев в саду, виднелись они с берега Индола, но все напрасно, не приезжали высокие гости во дворец Алтана, ничего уже не значило его богатство, и старокрымский властитель тревожился, что его гордость может навлечь гнев хана. Но на поклон идти не мог. Как?! Идти смирным, покорным туда, где его предки и он сам всегда чувствовали себя владыками? Разве до недавнего времени не открывались перед ширинскими беями ворота настежь, сам хан не выходил ему навстречу, а бейские сыновья не врывались в гарем и не выбирали себе самых красивых ханских наложниц? Ширины! Что осталось от них при крутом Исламе? Проклятый Тугай... Какую победу помог одержать Хмелю, а паче — Ислам-Гирею!

Удивление и страх охватили Алтана, когда он из окна дворца увидел, как пали ниц стражники на мосту перед тремя всадниками, в одном из которых он узнал самого хана. Наспех набросил на себя меховую шубу, натянул на голову тюрбан и вмиг выбежал к воротам.

— Не идет гора к Магомету, Магомет идет к горе, — насмешливо промолвил Ислам, слезая с коня. — Что же ты стоишь, не приветствуешь меня и не зовешь слуг, чтобы отвели моего аргамака, и не подносишь чаш с шербетом? Или, может, думаешь, как бы схватить хана, чтобы передать великому визирю, старому Кепрюли, опекуну желторотого султана?

Алтан-бей вытаращил глаза, молнией вспыхнула догадка: не за поддержкой приехал к нему Ислам-Гирей, когда пятихвостый бунчук перешел в руки Мухаммед-паши Кепрюли. О, это не выскочка Нур Али и не спокойный Аззем-паша. Друг кардинала Ришелье, он подговаривал когда-то Амурата выступить на стороне Франции против Габсбургов; будучи анатолийским кадиаскером, Кепрюли бесцеремонно и воинственно вмешивался в дела двора и за это был сослан в далекую Конью. Что теперь запоет Ислам-Гирей?

— Кепрюли? — переспросил бей, и хан спокойно под-

твердил кивком головы. Он торжественно посмотрел на Алтана и сказал твердым голосом:

— Это пришел умный и опытный маг, чтобы спасти Порту, которую пропил Ибрагим. Он бросил флот на Венецию, он пригрозил мне гневом, если я не окажу помощи Хмельницкому, и сам обещал гетману выставить шесть тысяч румелийских янычар. Спешит помочь Хмельницкому, чтобы упредить царя Руси. Ха-ха! Покойный Ибрагим обещал мне шелковый шнур за мой союз с Ихмелиски, этот же — наоборот!

Алтан-бей не понял, почему хан противится политике Порты в отношении к Польше.

— Ты же сам добился этого, Ислам.

— Ширинский бей, — ответил хан, — не желает осчастливить своим присутствием заседание совета дивана, и дипломатические тонкости стали недоступны для него. В этой войне мне не нужны турки. Для победы над Ляхистаном достаточно моих и казацких войск. Хмельницкий сейчас ведет двойную игру и не думает о том, что этим может навлечь на себя мой гнев. С Москвой договаривается! Но пойдем! Не к лицу нам при слугах говорить о государственных делах, бей. И гляди, не вздумай дурить, мои сеймены расположились возле Индола.

— Да сохранит твою жизнь аллах, хан, — сложил руки на груди Алтан-бей. — Заходи в мой диванный зал. Когда-то в нем собирались на совет сильные мужи Крыма, теперь же, при тебе, опустел мой двор...

— Собирались на совет и для заговора, — бросил Ислам-Гирей, идя рядом с беем. — И поэтому я вынужден был ограничить ваше бейское своеволие. А если, Алтан, ты отныне будешь перечить мне, берегись, могу уничтожить. И не питай больше надежд на Кепрюли, и не слишком радуйся тому, что Тугай-бея призвал к себе ангел смерти Азраил.

— Вот это новость! — воскликнул Алтан. — Я не знал об этом... — И радость, вызванная смертью удачливого соперника, зажглась в глазах Алтана. — Черные вести приносишь мне, хан... Да возрадуются в могиле кости ногайского храбреца.

Ислам-Гирей ехидно улыбнулся:

— Не печалься, Алтан. На его место я назначил Карачи-бея, он не хуже Тугай-бея. Тебя же я хочу спросить, почему ты думаешь только о собственном благополучии? Разве ты не видишь, что сегодня каждый шаг,

каждое наше слово определяют судьбы Крымского улуса, в котором и тебе, и твоим наследникам придется жить?

Ширинский бей не ответил, слова хана угнетали его, он еще не мог смириться с утратой своей власти.

Диванный зал Алтана был не менее пышен, чем ханский. Потолок выложен самшитовыми клиньями с позолотой, стены расписаны вязью, миндеры оклеены золотистой парчой, под потолком — люстра с сотнями свечей.

— Присаживайся, хан, — указал бей рукой на обитое оранжевым сукном высокое кресло с золотым полумесяцем на спинке. Сам сел на дубовый массивный табурет. — Я слушаю тебя. Что теперь собирается делать киевский триумфатор Хмель?

Ислам-Гирей долго молчал, рассматривая инкрустированный перламутром чубук Алтановой трубки. Он сам не курил, только задумчиво наблюдал за кольцами дыма, которые поднимались из чубука.

«Киевский триумфатор... Да, действительно, о таком триумфе не мечтал и Владислав Четвертый, когда ему уже казалось, что он одной ногой стал на подмостки московского престола; а можно ли сравнивать торжественный въезд багдадского победителя в Стамбул с въездом в Киев победителя под Желтыми Водами и Корсунем? Амурата IV отравили, а под копыта гетманского коня в стольном граде Украины народ разостлал вышитые рушники, тянувшиеся от Золотых Ворот до Софийского собора, и сам патриарх Паисий благословил гетмана Украины Хмельницкого *.

Но разве ради почестей вернулся Хмельницкий из-под Замостья? О нет! О другом думал этот барс с умом змеи. Он бросил клич посполитому лядскому люду, и в Татрах уже поднялись горцы, взяли топоры, и еще день-другой — и чернь Ляхистана пойдет к Хмельницкому. Нужен ли будет тогда гетману союз с нами? Иной союз задумал заключить он, возвращаясь в Киев, — с Москвой.

А шли до сих пор вместе...»

И вот мимо Белой Церкви и Бердичева, после позорного поражения польской шляхты под Пилявкой, через опустевший Збараж без остановки наступали казацкие полки на Львов, а рядом, не теряя зря воинов, не отставал Тугай-бей, чтобы под городом Льва скорее получить плату — золотом. Предводитель ногаев собственноручно отсчитал двести тысяч червонных злотых, которые при-

несли львовские шляхтичи в качестве выкупа, и татарские кони поскакали дальше по выжженным польским селам и местечкам — ногайцы были уверены, что теперь без боев достигнут Вислы и с неисчислимыми богатствами вернутся в Ногайскую степь, которая еще не оправилась от голода. И тогда...

Тогда Ислам-Гирей будет знать, что делать, имея за плечами такую силу, как Украина. Хан, словно приготовившийся к прыжку лев, устремил свой взор к Стамбулу. Дворцовый переворот освободил его от необходимости дипломатничать. С султаном-ребенком он не хотел разговаривать — ведь конь Хмельницкого топтал копытами землю над Вепром вблизи Замостья! Смелые планы рождались в голове Ислам-Гирея, и он поспешно принялся формировать татарские войска. Их надо было собрать тысячи: одни — бросить на Кафу, другие — привести на Украину, чтобы показать победителю Хмельницкому, когда тот остановится возле Вислы. Чтобы увидел силу Ислам-Гирея и считался с волей южного союзника.

А когда уже можно было осуществить этот замысел и Ислам-Гирей благодарил аллаха за то, что надоумил его вступить в союз с казацким гетманом, кто? — бог православный или же сам шайтан — подсказал гетману вернуться в Киев и начать переговоры с московскими людьми — послами царя Алексея Михайловича. Неверный тянется к неверному — поэтому надо быть настороже.

А за это время шляхта немного оправилась после поражений. Не начать ли переговоры с ней?

— Хмельницкий проиграл время, — промолвил наконец хан, не веря в правоту своих слов (зачем ширинскому бею знать о его намерениях), — но война идет, и мы не выходим из игры. Где прошло переднее колесо арбы, там пройдет и заднее. Я хочу, Алтан, получить от тебя тридцать тысяч отборных воинов. Мне нужно такое войско, которое превосходило бы польское и казацкое, вместе взятые. Чтобы я мог диктовать условия любой стороне. Ты должен привести их к Карасубазару не позже чем через две недели. И не злоупотребляй моим терпением, бей. Я заплачу тебе сполна — за добро или за зло.

В конце мая Хмельницкий, оставив под Бердичевом семнадцать отборных полков, отправился в сопровождении кропивенского полковника Филона Джеджалия и миргородского Матвея Гладкого и нескольких сотен казаков навстречу хану — за Умань, к Черному лесу.

Ислам-Гирей уже ждал гетмана со стотысячным войском, прибыв сюда с Перекопа по давно знакомому Черному шляху. Через Ингулец, Ингул, Синюху шли буджанцкие и джамбуйлуцкие ногаи в вывернутых бараньих тулупах и шапках, горцы в пестрых кафтанах, с сагайдаками за плечами, длинноволосые, похожие на казаков черкесы в высоких белых папахах и тысячи румелийских янычар. Шли по проторенным дорогам, не сворачивая в близлежащие села, — железной была рука хана, который спешил со своими войсками на соединение с гетманом, в надежде получить хороший ясырь.

Два дня отдыхали, ожидая гетманской свиты.

Загрохотали тамбурины, зазвенели гусли, запищали зурны — из лагеря выехал хан, одетый по-боевому: в шлеме с острым наконечником и в кольчуге. Рядом с ним по бокам — Крым-Гирей и Кази-Гирей, а позади конный отряд сейменов.

Ударили в литавры, заиграли сурмы — к хану направился Хмельницкий в горностаевой мантии, держа в руке булаву, усыпанную драгоценными камнями. Рядом — полковники.

Гетман поклонился, хан милостиво опустил веки, но ненадолго хватило высокомерия. Привыкший к седлу и состязавшийся в поединке не изысканными фразами, а мечом и делом, он мрачно спросил:

— Что получат мои воины?

— Крым заселишь шляхтой, — кратко ответил Хмельницкий.

В этом ответе было столько уверенности в победе, столько силы прозвучало в голосе гетмана, что хан вздрогнул, и восхищение, а вместе с тем какое-то чувство страха овладело им. Он исподлобья взглянул на гетмана: перед ним стоял не тот Хмельницкий, который просил у него помощи в Бахчисарае, — малоизвестный сотник и капитан низовых сечевиков в Дюнкерке. Представитель великого государства, которое вдруг выросло на развалинах обобранной шляхтой Речи Посполитой, всеми признанный победитель не о помощи просит теперь, а предлагает плату за союз. На миг представил себе казацкого богатыря, который одним плечом коснулся Московии, а другим Пруссии, упершись спиной к Швецию, давит мощной грудью на Причерноморье, вытесняет из Диких степей Джамбуйлуцкую и Буджацкую орды и протягивает руку к Перекопу. Рушатся замки Оркапу, и вот тянется рука, чтобы зажать Крым...

Прищурив глаза, Ислам резко спросил:

— А если не достанешь ляхов, чем заплатишь?

— Нет такой силы теперь в мире, чтобы могла устоять перед нашей, хан, — ответил Хмельницкий и в этот момент перехватил пламенный взгляд белокурого ханского воина.

Пламя пылало в его глазах, лицо светилось восхищением, воин всем телом подался вперед, словно решился преодолеть пространство между ханской и гетманской свитой. Хмельницкий скупо улыбнулся из-под усов, и сеймен покраснел.

Хан повернул коня и отправился в лагерь.

Джеджалий наклонился к гетману:

— Гетман, ты, вижу, заметил белокурого парубка. Я помню его по Бахчисараю, это из нашего рода. Он может пригодиться нам.

— Это рыцарь, Филон. По глазам прочел, что рыцарь. Такие двум панам не служат.

Невиданный поход тянулся через Бердичев по берегам реки Случь на Староконстантинов. Впереди брацлавский полк Данила Нечая, пятнадцать полков двигались с Хмельницким, позади Матвей Гладкий, а на флангах татары. Стонала земля, и туманилось солнце, и все десять ночей на небе светилась комета. Шляхта бежала в Збараж, где укрылась в замке накануне праздника Петра и Павла.

Бились день, бились другой... Ой, будет ли теперь твоей, Хмельницкий, Украина или тебя постигнет позор?

...Зловеще тиха августовская ночь, непривычно тиха после дневного сражения. Чуть слышно плещется Стрипа, ударяясь об илистый берег, при лунном сиянии чернеют развалины сожженной Млыновки, шумит недалеко обреченный Зборов, и костелы шпилями тянутся в небо, словно моля у него о спасении.

В нескольких верстах на восток доживает последние часы Збаражская крепость после месячной осады, а в Зборове, осажденном казаками, не спит король Ян Казимир. С факелом в руке ходит он среди поределых гусарских хоругвей, призывая охрипшим голосом: «Панове, наберитесь мужества, не губите отчизны... Король с вами...»

Тихо в ханском шатре. Вдали дымятся костры, татары жарят на вертелах кебаб и отдыхают после битвы.

Завтра, когда начнется последнее наступление, они будут стоять в стороне.

В ханском шатре мерцает свет. Ислам-Гирей не спит. Сеймен Селим охраняет его.

Пахнет вытоптанной пшеницей — ее удивительный запах нельзя сравнить ни с каким другим, и чувствует его Селим уже второй месяц, следуя по украинской земле за Хмельницким. Вдали за Стрипой вырисовываются на небосклоне очертания дремучей дубравы, она гулко шумит и стонет — ее шум совсем иной, чем в лесу над Качей. Приятно пахнут травы в затонах реки, печально кричит очеретянка, с луга доносится аромат полыни, нехворощи и ромашки. И земля под ногами мягкая, как постель.

«Неужели я отсюда?»

Хан не спит. О чем думает Ислам-Гирей? Ныне он уже не может сердиться на Хмельницкого, как там, под Збаражем. Сегодня гетман не оробел — победил. Польское войско почти разгромлено, и завтра на рассвете король Ляхистана будет стоять перед ханом, как год тому назад стояли перед ним польские гетманы во дворе бахчисарайского дворца.

Тогда Селим возвратится домой. И не услышит больше душистого запаха украинского зерна и печального гула дубрав, под его ногами опять будет земля жесткая, в колючках и дерезе.

И не увидит он больше украинского богатыря, у которого орлиный взгляд и демоническая сила, заставляющая идти на смерть. Что-то неуловимо привлекательное есть в его движении булавой, — кажется, возвысился он своим могучим телом над всей землей и видит всю ее, от края до края, уверенно ведет народ к цели, которую видит только он один.

И что-то неуловимо близкое есть в этих людях, которые самоотверженно идут за ним. Их отвага и презрение к смерти удивляют, их тело, кажется, не чувствует боли, ибо не слышал Селим никогда ни стона их, ни вопля, разве только крик в бою, а стон — в их печальных песнях, что льются иногда во время передышки, ровные, как степь, протяжные, как потоки в буераках, и мягкие, как молодая трава.

«Неужели я тут родился?»

Хан не спит. Он все время мрачный — хан думает. Над чем? Почему он приказал, завтра не вступать в бой?

А что, если Селим, когда придет смена, на часок про-

берется в казацкий лагерь и посидит там с казаками? Какие они? Прикоснулся бы к их рукам, чубам, взлетающим над головами, словно змеи, когда скачут они на конях, послушал бы их речь... Послушал бы песни, прикоснулся к струнам бандуры. На часок только, а потом вернется, ведь он служит хану...

Спят татары возле костров... А где теперь Тимош? Тимош недобрый, жестокий...

А разве Селим виноват, что он другой? Почему Тимош тогда не сказал ему ни единого доброго слова, не окинул ласковым взглядом? Как та женщина, мать-ханым... Кто она? Почему смотрела на него с такой нежностью и печалью? Так хорошо на сердце от ее взгляда...

«Кто я?»

Хан еще не спит... Идет смена охраны.

Нет, это не часовые идут ему на смену. Освещенная бледным сиянием луны, показалась фигура человека, а за ней еще несколько воинов с мушкетами на плечах.

— Стой! Кто идет!

— Посол его милости короля к хану великой орды Ислам-Гирею, — услышал он тихий, вкрадчивый голос, и тотчас, словно из-под земли, вынырнули сеймены и стали вокруг ханского шатра.

...В шатре Ислам-Гирея тихо шел совет с вечера и далеко за полночь.

— Боюсь, Ислам, что между двумя мечетями ты без намаза останешься, — качал головой Сефер Гази, когда хан изложил ему свой замысел.

— Полгода тому назад я не знал другого союзника, кроме Хмельницкого, — словно оправдывался перед учителем Ислам-Гирей. Но знал Сефер, что хану теперь не нужны советы бывшего воспитателя. Гирей чувствовал свою силу, а после того, как подчинил себе ширинского бея, ни с кем больше не советуется. — Я ждал от него государственных послов, — продолжал хан. — Но государства он не создал, хотя и мог. Именно под Замостьем он назвал себя слугой Речи Посполитой. К лицу ли хану, который вышел своей собственной персоной на королевские земли, вести переговоры с подданными короля? Тогда короля поддержит Генрих Французский, прусский Фердинанд, Филипп испанский, и папа Иннокентий Десятый благословит христианскую коалицию.

Сефер Гази сжал в кулаке бороду. Он вспомнил, как когда-то Ислам не устрашился подписать ему, учителю,

смертный приговор. Как же можно требовать от него верности Хмельницкому?

— Гетман становится слишком сильным. Я боюсь его, Сефер. Мне нужен слабый король, у которого служит сильный казацкий гетман. Я измотаю силы обоих, чтобы и не были до конца разбиты, но и подняться не могли.

— Ты забываешь, что Хмельницкий всегда найдет себе союзника на Востоке. Если ты изменишь ему, он тотчас осуществит это. Московский царь уже помогает гетману не только грамотой, но и людьми: к нему уже пришли казаки с Дона.

— Я знаю об этом и не забываю. Поэтому и хочу договориться с королем, пока сибирский медведь не успел еще зализать свои раны после ливонских войн и польских распрей, пока он еще дремлет.

— Не играй с огнем, Ислам. Когда этот медведь проснется, — да и дремлет ли он, подумай, — то рев его услышат не только в Европе.

Ислам-Гирей задумался. В этот момент в шатер вошел Селим. Хан не поднял головы. Сефер Гази, казалось, дремал сидя, только по черным зрачкам, блестевшим сквозь неплотно сомкнутые веки, можно было догадаться о том, что он не спит.

— Великий хан, — докладывал Селим, — посол от короля к тебе.

Сефер Гази широко открыл глаза.

— Ты, Ислам, разговаривал со мной уже после совершенного тобой дела.

— Нет, — ответил хан, — видимо, на нашем совете присутствовал сам аллах. Пригласи посла! — бодро бросил хан Селиму, довольный исходом Зборовского сражения.

В шатер вошел шляхтич в кармазиновом жупане. Поклонившись, он подал хану свиток. Ислам развернул его, и чем дальше вчитывался в текст послания, тем больше багровело его темно-серое лицо. Дочитав, он вскочил с подушки, воскликнув:

— Король напоминает мне о плене и ласковом отношении со стороны Владислава Четвертого?! Что же, передай ясновельможному Яну Казимиру, что я не забуду благодеяний его брата и, чтобы отблагодарить, помещу нынешнего властелина Речи Посполитой в самом лучшем каземате в Чуфут-кале. Он получит там все, кроме птичьего молока!

Хан был сердит, в гневе топал ногами. Сефер Гази еще не видел Гирея таким и готов был успокоить его, но несдержанность хана была кстати — пускай завтрашний бой решит исход сложной дипломатической игры.

Но хан вдруг остыл. Повернувшись спиной к послу, он пренебрежительно бросил через плечо:

— Я жду сейчас же, сию минуту канцлера Осолинского в своем шатре!

...На рассвете, когда с небосклона уходила на запад короткая ночь, в казацком лагере поднялся шум — наступал последний час для Речи Посполитой. Казацкие полки стремительно обрушились на королевские войска, однако польская конница пыталась сдержать наступление казаков. А войско хана стояло, не двигаясь с места, на левом берегу Стрипы, наблюдая за битвой. Хмельницкий послал гонца к хану с приказом немедленно вступать в бой и стал ждать ответа.

Гонец не задержался. На взмыленном коне он подскакал к гетманскому шатру и крикнул, подавая письмо:

— Хан отказался выступить!

У Хмельницкого высоко взметнулись брови, побелели сухие губы, он нервно разорвал печать, развернул письмо и побледнел.

«Гетман, — писал хан, — почему ты хочешь до конца уничтожить короля, своего господина, государство которого и так достаточно разорено. Надо иметь милосердие, и поэтому я, как родовитый монарх, хочу примирить тебя с твоим монархом, которому ты до сих пор подчинялся. Я жду тебя в своем шатре. Если же не послушаешься, выступлю против тебя».

— Коня! — крикнул Хмельницкий. — Генерального писаря Выговского ко мне!

...Несколько сот сейменов стояли полумесяцем против ханского шатра. Напротив входа сидел на персидских коврах Ислам-Гирей в собольей шубе, рядом с ним Сефер Гази. А в отдалении на бугорке, покрытом парчой, сидел... нет, это не сон, не может этого быть!.. сидел король Ян Казимир. Но темно-карие глаза презрительно смотрели на гетмана-победителя, черные курчавые волосы парика по-патрициански спадали на плечи, черный атласный кафтан, отороченный вокруг шеи белым мехом, придавал королю кардинальскую величавость. Рядом с королем стоял великий канцлер Ежи Осолинский, морщинистый, с глубоко сидящими глазами, с коротко подстриженной бородкой — тот самый, который, еще до наступ-

ления на Замостье, тайно приходил к Хмельницкому просить согласия на избрание Яна Казимира.

Хмельницкий до боли сомкнул веки от кипевшей в нем ярости, словно хотел прогнать дурное видение, хотя уже понимал весь позор поражения. Неслыханное, чудовищное коварство!

Рука сжала эфес сабли и тут же опустилась. Побежденный король милостиво протянул для поцелуя руку, а великий канцлер промолвил:

— По врожденной доброте своей король был далек от того, чтобы жаждать крови подданных. Он прощает тебя, Хмельницкий, за тяжкое преступление в надежде, что ты загладишь вину верностью и доблестью своей.

Казалось, под ногами разверзлась земля от такого кощунства и обмана. Гетман с ненавистью посмотрел на хана, Сефера Гази, который стоял неподвижно с закрытыми глазами, и повернул голову к Выговскому. Генеральный писарь потупил глаза, боясь взгляда Хмельницкого. И вдруг он упал на колени, прошептав:

— Милосердия и прощения просим у вашего королевского величества.

«Гад!» — чуть не закричал Хмельницкий. Еще миг, и гневный клич всколыхнул бы воздух над зборовскими полями, и ринулись бы казацкие полки на верную смерть за честь гетмана.

Гетман овладел собой. Помощи ждать неоткуда. Он должен снести это надругательство над собой *. Снял шапку, сжал ее в руке, даже перья поломал и прикусил длинный ус. Настороженно следили за гетманом глаза хана, в узких щелях бегали блестящие зрачки Сефера Гази — Хмельницкий медленно шел к королю. Потемнело августовское небо, черными казались фигуры короля и хана; шел с победами от Желтых Вод через Пилявку и Вепрь королевский вассал, чтобы уже над Стрипой почувствовать себя народным вождем. Поздно... Действительно ли поздно? Чудилось — вдруг зазвонили киевские колокола и умолкли в отчаянии, в удивлении подняла голову Европа, послышался хохот — разочарованный, насмешливый...

Согнулось одно колено, второе... Хмельницкий опустился на землю, не доходя до короля.

В этот момент глухой крик раздался в рядах сейменов, но его не услышал Богдан, не увидел потемневшего лица рыцаря, который с таким восхищением недавно смотрел на казацкого гетмана.

Сефер Гази монотонным голосом зачитывал побежденным ханские условия, слова молотом стучали по голове Хмельницкого, которая, казалось, разрывалась на части от унизительной милости хана.

— Сорок тысяч реестра... а все остальные казаки должны вернуться к своим панам... Киевское, Брацлавское и Черниговское воеводство — Хмельницкому. Король должен уплатить хану двести тысяч злотых наличными, а в дальнейшем ежегодно по девяносто тысяч...

Торговля, базар... За двести тысяч злотых — Украину. Как дешево... Сколько бы он потребовал за голову гетмана?

— С этой поры между королем Речи Посполитой Яном Казимиром и его наследниками, с одной стороны, и великим хаканом Крыма и его наследниками, с другой, утверждается вечная дружба.

Имя подданного не было упомянуто...

Пошли ляхи по трем шляхам, казаки — по четырем, чтоб их кони отдохнули... А татары — по всей степи...

Чем будешь расплачиваться, Хмельницкий, за помощь татарам: валахами, или шляхтой, или же своими казаками?

Теперь ненасытной ордой по Черному шляху возвращались татары на юг. Сгорели Межибож, и Ямполь, и Заслав, грабили хутора и села, уводили людей в плен.

Поседела гетманская голова от такого немыслимого предательства. В ушах звучали страшные слова песни невольников: и рука в отчаянном гневе сжимала булаву: вот поднимет ее — и ринутся казаки на орду. И снова взял себя в руки Богдан: не время сейчас брать меч в руки, но оно придет, будут и силы... Будет еще праздник, и очистится от скверны истоптанная земля, и помчатся кони по вольной степи от Орели до Буга, от Дона до Стрипы...

Ордынцы гнали ясырь с Украины, а к Днепру и дальше на север, в Москву, скакали гонцы гетмана, обходя Черный шлях.

Идут хлопцы, выкрикивая, а девчата — напевая, а молодые молодцы — старого гетмана проклиная:

Бодай того Хмельницького
Та перша куля не минула...

Почему так тошно на душе у Селима? Почему не пахнет больше степь хлебом, трава малиной, лес не звенит печальным перезвоном, а в сердце тускнеют образы

двух мужей, которых одинаково любил, — Ислама и Хмеля?

Над Черным шляхом клубилась пыль, взбитая ногами пленников, и оседала на вытоптанные поля пшеницы, на помятую траву, — по ним идти пленникам, а не победителям; молча смотрела Украина на свой позор; черночубые казаки сопровождали сестер и братьев в татарский край.

«Нет, не моя это земля, не моя!» — беззвучно кричал Селим, скача по пожелтевшей степи.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Нас тут триста, як скло,
Товариства лягло...

Т. Шевченко

Каземат, в котором почти два года томились, ожидая выкупа, гетманы Польского войска, был хорошо оборудован, и знатные пленники не испытывали ни голода, ни холода. Да и свободы им было достаточно. Во всяком случае, Калиновский наладил хорошую связь с миром через иезуитов на Армянской улице. Только слишком уж надоели бывшие властители Речи Посполитой друг другу: взаимная неприязнь и ежедневные споры досаждали им больше, чем неволя.

А король не торопился выкупать их.

Заметно состарился Николай Потоцкий. Лицо осунулось, седые усы опустились вниз, а большие, точно стеклянные глаза болезненно горели — в них затаилась ненависть ко всем, о ком он вспоминал: Хмельницкого он хотел видеть корчащимся на колу в предсмертных муках, иначе он думать о нем не мог. Сознание того, что казацкий гетман после Зборовского сражения получил сорок тысяч реестрового казачества и три воеводства, что он протягивает руки к Молдавии, а в Чигирине принимает с дарами турецких послов, приводило его в бешенство, и он кричал Калиновскому, ожиревшему от безделья:

— Дожились, вашмость! С холопами, которых надо приучать к послушанию только саблей и нагайкой, ясновельможный круль подписывает соглашения!

Каждое слово Потоцкого раздражало Калиновского, он до сих пор не мог простить ему того, что тот недооценил силы Хмельницкого и послал к Желтым Водам

своего недалекого сына — нагайками разгонять холопов. Получая вести из Польши, Калиновский ломал голову над тем, как бы, используя положение под Зборовом, договориться наконец с ханом. Знал, что можно договориться, и поэтому сердился, видя, что Потоцкий и думать об этом не хочет, ослепленный жаждой мести казакам.

— Вашмость, пан... коронный тратит слишком много энергии на бессильную злость, — язвительно ответил Калиновский. — Так было и под Корсунем. Пан очень легко впадает в амбицию, а она мешает оценить реальные силы противника.

— Дайте мне только свободу, и я уничтожу казацких ребелизантов, как двадцать лет тому назад!

— Бросьте бахвалиться этим, пан... коронный, — Калиновский не мог скрыть иронии, когда произносил титул Потоцкого. — Вы же сами убедились, что это за ребелизанты. Хмельницкий — политик и, если он захочет, натравит на нас Швецию, и Москва всегда готова его поддержать. Нам надо добиться аудиенции у хана. Он, мне кажется, боится победы Хмельницкого. Но если преждевременно произойдет этот разрыв, Речь Посполитая погибнет. Гетман найдет союзников на севере и востоке. Нужно еще одно сражение, подобное Зборовскому...

— Цо пан муви? * — даже вскочил Потоцкий. — Еще одно соглашение, еще сорок тысяч реестровых казаков, еще три воеводства? Даже думать об этом — предательство!

— Все это пышные фразы, пан... кгм... коронный. Я же говорю вашмости: нужна еще одна баталия и еще одна... измена хана. Разве не может этого понять вашмость, что Ислам-Гирей просто-напросто предал Хмельницкого под Зборовом. Если бы не так, то мы имели бы здесь, в Чуфут-кале, еще одного знатного компаньона — ясновельможного круля Речи Посполитой.

Наверное, впервые за два года их совместной жизни в неволе Потоцкий согласился с Калиновским. Он немедленно сел к столу и начал составлять послание хану, чтобы сегодня же передать его стражам во дворец.

Мария стояла, как когда-то давно, в клубах пыли у дороги, которая вела из Бахчисарая к Ак-мечети. Она внимательно присматривалась к татарским воинам, вглядываясь в их лица. Крымские войска снова выступили в

поход — на Украину. Тревога сжимала сердце — разное сказывали люди в Мангуше: говорят, хан пригнал в Перекоп тысячи пленных, возвращаясь с Украины, и в Кафе посадили на галеры казацких сыновей. Мальву ослепила любовь, она не могла поверить этому. А какая-то доля правды в этом есть... Какая судьба уготована нынче многострадальной Украине?

В шапках, кожанках, на густогривых конях, такие же, как те, что вели ее с Соломией на привязи когда-то, больше десяти лет тому назад, шли отряд за отрядом. Это страшная сила, и каким надо обладать мужеством и как надо верить в грядущую победу, чтобы пережить присутствие неверного соседа в родном краю...

Прошли первые отряды, осела пыль, и на горизонте показались силуэты всадников в остроносых шлемах — это приближался ханский эскорт под зеленым знаменем. Посреди сам... зять на коне. Издали видно его мрачное, жестокое лицо. Как это Мальва могла?.. Впереди везут на арбах пушки, воины, закованные в панцири, тяжело бряцают саблями и щитами, и частокол пик как будто вонзается в синее небо.

Увидит ли она любимого ханского сеймена, которого почему-то нарекла своим сыном? Не ошиблось ли материнское сердце? Но все равно, оно уже приняло пускай и чужого сына, болит и тоскует: два года не видела его, еще с тех пор, как уходили на Зборов. Может, погиб?

Войско приближается... Хан свысока посматривает на мать жены, теплее становится его взгляд. Мария решается, подходит ближе. Всматривается пристально в лица ханской охраны. Где же белокурый сеймен? Один ряд, второй и третий, вот и на нее устремляются голубые глаза, из души Марии вырывается тихий, сдавленный крик:

— Мен-оглу! Сыночек...

Селим придержал коня, не сводя глаз с женщины, которая назвала его сыном, двинулся дальше.

Она шла рядом, подбегая ближе, чтобы присмотреться к нему еще раз. Нет, не обманывает материнское сердце — это он!

— Кто я тебе? — спросил Селим тихо, но кони шли все быстрее и быстрее, хан спешил на Украину.

— Сыночек! — закричала ему вслед, и он услышал ее голос, снова остановил коня на миг. — Сынок, пожалей свою землю!

В конце июня 1651 года Хмельницкий расположился лагерем у реки Пляшивки, которая впадает в Стырь возле Берестечка, и ждал хана. Весть о том, что Ислам-Гирей, не взяв выкупа, освободил Потоцкого и Калиновского без ведома Хмельницкого, не предвещала ничего хорошего. Союз с ханом ненадежный, а московский царь уже принял послов Хмельницкого.

В полдень вестовые доложили гетману, что из Сокаля в Берестечко направляется король с гусарами, драгунами, рейтарами, со всем посполитым ополчением. Войсками снова командуют Потоцкий и Калиновский. В этот же день прибыли и татары, занявшие позиции на левом крыле казацких боевых порядков.

Был первый день байрама, ордынцы праздновали. Забирали в окрестных селах Солонево и Остров овец и коров, варили в котлах бараний суп и опивались айраном.

Хмельницкий весь день молился в островской церкви святого Михаила и исповедовался перед боем.

К вечеру густой туман повис над Стырем, Берестечко скрылось в тревожной мгле. Утром из молочно-белой туманной пелены вдруг вынырнуло польское войско под расшитыми золотом хоругвями, забряцали железными крыльями королевские гусары и разместились, как фигуры на шахматной доске, вышли панцирные хоругви в стальных кольчугах, за ними рейтары в шапках со страусовыми перьями и пестрое посполитое ополчение.

Два дня прошли в мелких стычках, король ждал наступления казаков и татар. Ислам-Гирей почему-то выжидал, татары с тревогой перешептывались о князе Вишневецком, который не раз громил их.

На третий день в татарский лагерь прибыл полковник Джеджалий с приказом гетмана немедленно ударить на поляков с обоих флангов.

Хан был в дурном настроении, мрачный и сердитый. Минувшей ночью он снова разговаривал с Сефером Гази. Сефер решительно требовал, чтобы Гирей выступил против королевских войск. Ислам-Гирей слушал его насупившись, а в памяти звучали мольбы Мальвы. Что-то знакомое услышал он в ее просьбе и требованиях Сефера. В душу хана закралось подозрение, в приступе гнева он прогнал учителя из шатра.

Джеджалий ждал ответа. Ислам-Гирей пренебрежительно посмотрел на полковника:

— Ну что, одумался твой Хмельницкий, который ввел

меня в заблуждение своими баснями о слабости войска польского?

Не успел Джеджалий передать хану приказ гетмана, как с польской стороны ухнула пушка и вблизи шатра упало ядро.

Ислам-Гирей вздрогнул и, брызгая слюной, закричал на Джеджалия:

— Видишь? Видишь, как рискует хан, угождая прихотям твоего гетмана? Он заигрывает с султаном, так пусть и просит у него войска, а не пытается выиграть победу моими руками.

С татарской стороны выскочило несколько всадников на поединок. Хан настороженно наблюдал за сражающимися и вдруг ахнул, увидев, как один из сейменов рухнул с коня — ногами к татарскому лагерю.

— Плохой это знак, полковник, — указал он рукой на сражающихся. — Боюсь я начинать битву.

Джеджалий побледнел. И тут из ханской свиты выехал вперед белокурый сеймен и, глядя в упор на своего повелителя, резко сказал:

— Разреши мне, хан, выйти на поединок. Или выйду победителем, или лягу головой к твоим стопам. Не отказывайся второй раз от боя.

Наглость молчаливого верного слуги ошеломила хана. Ислам-Гирей прошипел:

— Как ты смеешь, раб!

В этот момент в польском лагере заиграли трубы, ударили барабаны, пошли в атаку на татарский фланг двадцать панцирных хоругвей, следом за ними двинулись гусары. Впереди скакал на коне, размахивая обнаженной саблей, Ярема Вишневецкий — без шапки, в бархатном красном кунтуше.

Джеджалий помчался к Хмельницкому.

В предрассветной суете кто-то из татар панически завопил:

— Ярема! Ярема!

Отряды татар попятились назад, Ислам-Гирей повернул коня и поскакал впереди них. Татары, сбрасывая с себя епанчи, куртки, оружие, с гиком и ревом бросились вслед за ханом.

С правого фланга наперерез хану скакал Хмельницкий — безжалостно стегал нагайкой своего белого жеребца. За ним — два десятка казаков.

Гетман догнал хана Ислам-Гирея только к вечеру на дубновской дороге.

— Это так ты выполняешь свой договор со мной, хан! — закричал он в отчаянии. — Почему позорно бежишь с поля боя?

Хан прищурил глаза. Сейчас он впервые почувствовал, что больше не боится Хмельницкого. С этого часа Ихмелиски будет ему послушен. После боя он направит к королю послов: пускай помирится с казацким сердаром и движется на Турцию.

Хан ответил спокойно, с чуть заметной насмешкой:

— Сам не могу понять, гетман, почему такой страх напал на мое храброе войско? Не наслали ли поляки на нас дьявола? Ты же, Ихмелиски, непочтительно разговариваешь со мной. Как это — я, хан Ислам-Гирей, убегаю с поля боя? Ты должен знать, что я хотел возвратить испуганное войско. Но теперь уже поздно возвращаться, поэтому и тебе, гетман, не следует идти на верную смерть. Я ценю твою доблесть, мы еще повоюем. А под Берестечком — какая уж им будет суждена фортуна. Сказал же пророк: ни единый волос не упадет с головы без воли аллаха...

— Хан, ты играешь с огнем! — вскипел Хмельницкий. — Дьявол тебя надоумил второй раз изменить мне, поэтому я разрываю союз с тобой и...

Гетман не закончил. Из рядов ханских сейменов вылетел пришпоренный конь, белокурый всадник осадил его на задние ноги перед самим ханом, и из уст верного стража вырвался крик, от которого оторопел и хан, и его свита, да и Хмельницкий с удивлением посмотрел на воина.

— Шайтан шелудивый! Изменник!

Еще хан не пришел в себя, а Селим ударил коня и скрылся в вечерней мгле.

...В июле хлынули ливни. Гнилая Пляшивка разлилась по равнине. Из двенадцати тысяч казацкого войска, которое не успело переправиться с Богуном через болото, осталось триста самых отчаянных казаков на острове Журавлиха.

Потоцкий лично командовал наступлением на неприступную твердыню.

Пушки казаков уже не стреляли, не было пороха. Осажденные брали ядра в руки и бросали их на головы драгун и наемных рейтаров, которые ползли по болоту к острову. Изредка стреляли гаковницы, но и те вскоре умолкли, казаки защищались копьями и саблями.

Среди казаков выделялся молодой воин, закованный в

татарские латы. Он бил железным цепом — боевой долбней — по вражеским головам.

— Шайтан! Шайтан! — повторял он после каждого удара, и трупами покрывалось болото.

Потоцкий с восхищением смотрел на героев.

— Эй, хлопцы! — крикнул драгунский хорунжий. — Его милость коронный гетман обещает вам жизнь и волю. Как знаменитый рыцарь он уважает вашу храбрость. Сдавайтесь!

— Нам лучше умереть, чем получить жизнь, подаренную кровавыми руками Потоцкого! — ответил с берега рыжеусый казак, воевавший косой, прикрепленной торчком к рукоятке.

Хромая на одну ногу, он спустился к берегу, сел в челн. Оттолкнулся изо всех сил и врезался в гущу драгун, увязших в трясине. С сатанинской силой косил рыжеусый вражеские головы, обагрилась вода свежей кровью. Подойти к нему никто не мог.

А на острове людей становилось все меньше и меньше, отделение рейтаров прорвалось на берег. В последнем ожесточенном бою пали один за другим казаки, и разорвалась боевая цепь в руках воина, закованного в татарские латы. Теперь он дрался кулаками, выкрикивая проклятия, и наконец упал лицом вниз, распластав руки, он обнял родную землю, вернулся к ней. И простонала она, окровавленная, голосом матери Мальвы-ханым: «Пожалей меня, сыночек...»

Остался только рыжеусый казак с косой на челне, которого взять живым не могли. Окружили его со всех сторон и подняли на копьях.

Так погиб мастер на все руки Стратон — основатель казацкого поселения в Мангуше, верный друг Марии, янычарской матери.

ЭПИЛОГ

Мир — это море. Плыть
желаешь?
Построй корабль из добрых дел.

Рудаки

— Скажите, остался ли еще кто-нибудь на Украине? — спрашивали новых пленников старые невольники в Кафе, Карасубазаре, в Скутарии и Галате — гребцы на турецких галерах.

— Можно ли найти там хоть клочок зеленой степи?

— Вьют ли там птицы себе гнезда?

...Разбежались круты бережочки, ой, да по раздолью, загрустили казаченьки, ой, да и в неволе...

— Ну что скажешь, дочь, где твоя надежда на свою большую любовь к палачу моего края? Иди погляди, невольница ханской постели, на рынок невольников у подножия горы Топ-кая. Уже не в Кафе, нет, — в самой столице продает хан своих союзников — да все за дукаты, да все за талеры. Сегодня день обрезания внука. Да разве это мой внук? Лучше бы я задушила его — и хоть половину своей вины смыла бы янычарской кровью, потому что тебя убить не могла... Оставайся, дочь, у палача, а я пойду сына искать. Идти ли мне в Турцию или в Румелию? Нет, я пойду на Украину, где мой Семен остался. И отыщу тот клочок земли, который прикрыл его кости. Его прокляли в мечети, зато, может быть, кто-нибудь ему крест поставит. А ты оставайся и плоди врагов-змеенышей...

— Не проклинай меня, мама. Зачем в детстве татарочкой называла? Зачем, мама?

— Кто ты и куда идешь, седая женщина с открытым лицом?

— Отпустите меня, янычары, отпустите свою мать за Перекопские стены, у меня есть грамота от хана. Заработала я ее тяжким трудом: все распродала, чтоб ее купить: бога своего, детей своих и здоровье. Я должна умереть на той земле, где конопля до потолка, а лен до колен, где мальвы выше подсолнухов растут — белые, голубые, красные...

...На холме слобода, там жила вдова с маленькими детками. На тихих водах, в краю веселом, где ярко светят звезды...

«Хану Крымского улуса Ислам-Гирею. Просили вы нас помочь вам начать великое дело. Ничего решить сам не могу, надо подождать до начала заседания сейма. Негоже вашей милости, подданному султана, идти супротив своего господина, да еще и меня, родовитого монарха, в такое дело впутывать. А вместе с этим еще сообщаем, что дани больше платить не будем, потому что наш народ сам голодает после войн.

Ян Казимир».

«Неверный раб великого султана, царя мира, перед которым ты прах и тлен. По наущению самого Иблиса ты осмелился замыслить заговор против своего повелителя. Велю тебе явиться в Высокий Порог.

Магомет IV».

«Милостивый крымский царь! Войска твоей царской милости, возвращаясь с Украины, причинили нам большие и непоправимые беды, и казачество тебе больше не верит. Что же касается Москвы, с которой мы вступили в дружбу, так это совершено по желанию моего войска и меня. Православная Русь не предаст нас...

Богдан Хмельницкий».

— Почему ты не весел, мой хан, в день обрезания нашего сына — твоего наследника? Он уже спит... Очень крепко спит. А ты выпей за его спокойный сон. И за меня — третью, но первую твою ханым. И за свой покой выпей... Правда, хорошего вина я сварила для тебя?

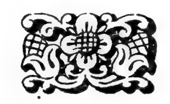
...И за кровь, которую ты проливал напрасно по миру, и за измену чужим и своим, и за то, что свой ум, которым наградил тебя бог для свершения добрых дел, продал дьяволу коварства, и за...

— На развалинах мира ты была розой и завяла. О вечный боже, прими ее в цветник рая... — рыдал пастух Ахмет над свежей могилой, вынесенной за стены бахчисарайского дворца.

Авторизованный
перевод с украинского
К. Трофимова

СТРАНА КАЗАКОВ

Воспоминания современников и документы



Богдан Хмелницкий, гетман з войском его кор. мил. запорозким

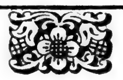
Ознаймуем сим писанем нашим атаманови и всему то-
вариству нашему войска его кр. мил. запорозкого

[illegible]

Богдан Хмелницкий

рукою власною

Один из универсалов Б. Хмельницкого (1652 г.).



ВВЕДЕНИЕ

Французский инженер Г. Левассер де Боплан, оставшийся неизвестным казацкий летописец (Самовидец), арабский путешественник Павел Халебский рассказали, каждый по-своему, о положении «страны казаков» — Украины в XVII веке, о жизни и освободительной борьбе ее народа.

«Описание Украины» Гийома Левассера де Боплана — один из выдающихся памятников французской мемуарной литературы и в то же время ценный исторический источник. Автор произведения родился в 1600 году в Нормандии. Его настоящее имя и фамилия — Гийом Левассер, де Бопланом он стал именоваться по одному из своих владений. В 1630—1647 годах капитан артиллерии Левассер де Боплан служил по найму в стоявшем на Украине польском войске. Под его руководством были сооружены укрепления либо крепости в Бродах, Баре, Саврани, Новгороде-Северском и Кодаке на Днепре, совместно с Андреа дель Аква Боплан построил чудесный ренессансный замок-дворец в Подгорцах (Львовская область).

Проживая на Украине, французский специалист проводил топографические измерения, собирал материалы для картографических работ. Им были созданы «Украинская географическая карта», «Генеральная карта Украины», 12 карт отдельных частей Украины и, наконец, первая в истории мировой картографии военная топографическая карта целой страны — «Специальный и подробный план Украины вместе с принадлежащими ей воеводствами, округами и провинциями» (в масштабе 1 : 463 000).

Первоначально задуманное как своего рода пояснительный текст к картам, «Описание Украины» превратилось в развернутое произведение, написанное на основе личных впечатлений и воспоминаний автора. Хотя оно оставалось неоконченным, Бо-

план решил его опубликовать: это было связано с повышением интереса к Украине после побед крестьянско-казацкого войска, коренным образом повлиявших на международную обстановку в Европе. Книга была напечатана в 1651 году в Руане, там же в 1660 году вышло дополненное издание, озаглавленное «Описание Украины, то есть провинций Королевства Польского, протянувшихся от границ Московии до пределов Трансильвании. Вместе с их обычаями, образом жизни и способом ведения войны».

На содержании «Описания» не могло не отразиться пребывание Боплана на службе в шляхетском войске. Он строил крепости, которые стали опорными пунктами господства на Украине польских магнатов. Непосредственным начальником французского инженера являлся великий коронный гетман польского войска Станислав Конецпольский, кроваво подавлявший крестьянско-казацкие восстания. Естественно, что на страницы книги Боплана проникли и утверждения, отражавшие взгляды и предрассудки шляхетского окружения автора.

И все же в целом Боплан не стал апологетом шляхетско-магнатского режима. Иногда это объясняют тем, что ему как человеку умственного труда тоже пришлось претерпевать обиды и унижения от тех, для кого специалист-инженер был только квалифицированным слугой. Однако, к чести автора «Описания», следует напомнить, что такие же унижения были уделом и других интеллигентов того времени, и все же одни из них бездумно повторяли взгляды, общепринятые в верхах общества, другие сознательно и цинично извращали истину в угоду власть имущим. В отличие от них Боплан сохранил человеческое достоинство, стремление к правдивости и справедливости. Вот почему он заклеймил жестокость панов-крепостников, с симпатией отнесся к угнетенным и эксплуатируемым крестьянам. Весь ход рассказа Боплана показывает несостоятельность утверждений шляхтичей о том, что они несли на восток «достижения цивилизации». С уважением отзывается французский писатель о мужестве казаков, об их военном мастерстве. Хотя он недостаточно четко различает запорожское и реестровое казачество, все же приводит ценные материалы о социальном расслоении казаков, о возвышении старшины и тяжелых условиях жизни казацких низов. Весьма интересен и его рассказ о народных обычаях.

Рассказом об Освободительной войне украинского народа начинается летопись анонимного автора, условно именуемого Самовидцем — очевидцем описываемых событий. Памятник этот рас-

differentiated пространялся на Украине в списках, сохранившихся до наших дней. Писалась летопись с 1672 по 1703 год. Начальная ее часть, в том числе и рассказ об Освободительной войне, составлена на основании воспоминаний самого автора, а также народных сказаний и отдельных письменных источников. Начиная с 1672 года автор ежегодно пополнял свое произведение описанием текущих событий.

Украинские историки В. Модзалевский, В. Романовский, Н. Петровский собрали ряд аргументов в пользу того, что летопись написал Роман Ракушка (Ракушка — Романовский, Ракущенко), который в 1658—1663 годах был нежинским сотником, а в 1663—1668 годах — генеральным подскарбием, то есть руководителем финансового ведомства гетманской администрации Украины. Хотя эта гипотеза окончательно не доказана, она более правдоподобна, чем все остальные.

Так или иначе, автор летописи — выразитель взглядов той части казацкой старшины, которая примкнула к Освободительной войне, сочувственно относясь к борьбе против национально-религиозного угнетения, особенно в борьбе против турецко-татарской агрессии, в то же время оставаясь откровенно враждебной по отношению к антифеодальному движению крестьян и казацких низов.

В целом Самовидец характеризует войну 1648—1654 годов как справедливую, освободительную, положительно оценивает ее результат — воссоединение Украины с Россией. Особого внимания заслуживает сообщение летописца о всенародной поддержке исторического акта воссоединения: «по усiй Украине увесь народ з охотою тое учинил... и немалая радость межи народом стала». Достаточно объективно описан ряд сражений, приводятся факты, свидетельствующие о полководческом мастерстве гетмана Богдана Хмельницкого. Очень ценно то, что среди причин войны летописец указывает не только национально-религиозные притеснения, но и социальное угнетение казаков и крестьян. Правда, он не столько осуждает самих феодалов, как управителей их имений и арендаторов. Весьма примечательны приводимые Самовидцем факты о массовом «показаченье» крестьян, городских низов. Из его изложения видно, что размах движению придало именно участие в нем народных масс: многие из «значительных людей» примкнули к казацкому войску только под давлением низов.

Пожалуй, сам Самовидец тоже принадлежал к тем, кто присоединился к повстанческому войску поневоле, только частично разделяя взгляды его руководителей, особенно на начальном этапе войны. «Наругание от простых людей», причиняемое «людям значительным», возмущает летописца больше, чем угнете-

ние народных масс польскими феодалами накануне войны, и даже в большей степени, чем кровавые расправы польско-шляхетского войска над восставшим народом. Сдержанное, порой противоречивое отношение Самовидца к Богдану Хмельницкому можно объяснить тем, что гетман достиг блистательных успехов, опираясь на поддержку народных масс, понимая необходимость считаться с их интересами.

Противоречивость взглядов Самовидца не снижает ценности его летописи как исторического источника. Наоборот, понимание классовых мотивов его оценок помогает нам уяснить всю сложность ситуации на Украине, осмыслить сущность потрясавших ее тогда социальных конфликтов.

«Летопись Самовидца» написана на украинском книжно-литературном языке того времени, но в ней широко использованы и разговорные обороты, народные пословицы и меткие сравнения.

Автор следующего из публикуемых памятников происходил из Сирии, из древнего города Халеба, который европейцы раньше называли Алеппо. По названию родного города Павлом Халебским либо Алеппским (по арабски Булос аль-Халаби) именуют арабского путешественника и писателя середины XVII века архидиакона Павла, оставившего чрезвычайно ценное описание стран Восточной Европы. Оно содержится в его путевых записках, являющихся не только историческим источником, но и важным памятником культурных связей арабов со славянскими странами.

Павел, родившийся около 1627—1628 годов, был сыном антиохийского патриарха Макария. Получив хорошее по тем временам образование, он стал секретарем и ближайшим помощником своего отца, неоднократно сопровождал его в путешествиях, в том числе и во время посещения Украины и России в 1654—1656 годах. 21 июня 1654 года в городе Богуславе автор встретился с гетманом Украины Богданом Хмельницким. Второй раз архидиакон Павел побывал в России после 1664 года. Возвращаясь на родину, он скончался в Грузии в 1669 году.

Взгляды Павла Халебского в значительной степени были обусловлены его принадлежностью к православной церкви, близостью к ее иерархии. В Византийской империи антиохийский патриарх был одним из четырех православных вселенских патриархов, возглавлявших могущественную церковную администрацию Византии и связанных с ней стран. Однако после падения Византийской империи и утверждения на Ближнем Востоке мусульманства христианское население в этом регионе очутилось

в меньшинстве. Особенно ухудшилось положение антиохийских патриархов после захвата Сирии в начале XVI века османской Турцией. Естественно, что патриархи стали искать помощи у своих единоверцев. В 1585—1586 годах в Молдавии, на Украине и в России побывал антиохийский патриарх Иоаким IV Доу. Во Львове он оказал поддержку горожанам, задумавшим основать братство и школу при нем, в Москве принял участие в торжествах по случаю учреждения новой православной патриархии — московской. Но главной целью этого путешествия был сбор пожертвований на церковные нужды.

С такой же целью отправился на Украину и в Россию один из преемников Иоакима — Макарий. Несмотря на чисто практические мотивы визита, его путешествие способствовало и укреплению культурных взаимосвязей славянских народов с народами Ближнего Востока. Яркий тому пример — путевые записки сопровождавшего Макария Павла Халебского. Побывав на Украине вскоре после ее воссоединения с Россией, Павел отнесся с пониманием и симпатией к целям освободительной войны украинского народа. Он ярко и непосредственно рассказал, сколь благотворные последствия для украинского населения имело освобождение из-под польско-шляхетского владычества.

В частности, из произведения Павла Халебского видно, что ликвидация в ходе Освободительной войны национально-религиозного угнетения, складывание элементов украинской государственности благотворно сказались на состоянии народного просвещения и искусства. Арабский путешественник восхищался красотой архитектурных построек, мастерством живописцев, изяществом хорового пения в «стране казаков» (так он называл Украину). Он подчеркивал, что количество грамотных на Украине очень возросло со времени ее освобождения и что умеющих читать можно было встретить не только среди мужчин, но и среди женщин.

Современный читатель по достоинству оценит и то, что арабский путешественник с сочувствием отзывается о героизме и стойкости крестьянско-казацкой армии. С большим уважением он характеризует гетмана Богдана Хмельницкого как мудрого государственного деятеля и выдающегося полководца, подчеркивает его заслуги перед украинским народом.

Павел Халебский с воодушевлением рассказывает о том, как Украина была очищена войсками «гетмана Хмеля» от иезуитов и католиков-поляков, «еретиков» — армян и евреев. Его чувства в данном случае совпадали с настроениями широких православных крестьянско-казацких масс, для которых борьба за религию своих предков означала на деле борьбу за национальную независимость и ликвидацию социального гнета. Не случайно автор

«Путевых записок», основываясь на свидетельствах очевидцев, рассказывает о попытках Польши закрепить свое господство на землях Украины насильственным введением католичества, а под «иноверцами» понимает людей богатых, представителей имущих классов, безжалостно эксплуатирующих украинский народ. Произведение Павла Халебского является в этом отношении ценным источником, позволяющим понять восприятие современниками такого рода конфликтов, неизбежно принимавших в средние века религиозную окраску.

Кругом интересов Павла Халебского как духовного лица объясняются и частые в его произведении подробные описания церквей, монастырей, религиозных церемоний и обрядов. Интересные для историков культуры, они могут показаться скучными читателю-непрофессионалу, а потому в настоящем издании значительно сокращены.

Если описания быта, культуры, искусства достоверны у Павла Халебского как свидетельства вдумчивого и доброжелательного очевидца, то сведения о политических событиях, в частности о военных действиях, даются из вторых рук, на основании информации собеседников, которых путешественник не всегда хорошо понимал. Этим объясняются отдельные фактические неточности, частично оговоренные в наших комментариях.

Путевые записки, летописи, мемуары и им подобные памятники историки называют повествовательными. Столь же драгоценными свидетельствами о прошлом являются и архивные документальные материалы. Многочисленные документы об Освободительной войне украинского народа в середине XVII века сохранились в архивах, отделах древних рукописей библиотек и музеев Киева, Львова, Москвы, Варшавы и других городов. Некоторые из них публикуются в заключительном разделе нашего тома.

Историкам удалось собрать около 400 документов, составленных в канцелярии гетмана Богдана Хмельницкого, — как в копиях, так и в скрепленных его подписью и печатью подлинниках. Среди них листы (послания) правительствам и отдельным должностным лицам Польши, России, Швеции, Турции, Трансильвании, Молдавии, частные письма, универсалы (распоряжения и манифесты) гетманской власти. Интересным документом, отражающим требования казачества на первом этапе Освободительной войны, является публикуемая инструкция Богдана Хмельницкого послам, направленным к польскому правительству.

К числу наиболее содержательных источников относятся отписки (сообщения), посылавшиеся русскому правительству воеводами пограничных городов России. Эти сообщения составлялись на основе рассказов купцов, дипломатических курьеров и

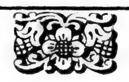
других людей, прибывавших из-за рубежа. Весьма подробно в них излагались известия об экономическом и политическом положении на Украине, настроениях населения, а также о ходе боевых действий между украинской крестьянско-казацкой и польско-шляхетской армиями.

Сведения о дипломатических взаимоотношениях русского правительства с Богданом Хмельницким и генеральной старшиной содержатся в официальных отчетах руководителей посольств. Документы такого типа именовались статейными списками, поскольку делились на статьи (разделы) в соответствии с пунктами указаний, дававшихся послам перед отправкой за границу. Кроме подробного описания церемониала приема и изложения хода переговоров, руководители посольств включали в свои отчеты сведения об обстановке на Украине и о международных связях гетманской администрации. До наших дней сохранились тексты восьми статейных списков русских посольств на Украину за 1649-й — начало 1654 года: Г. Унковского, Г. Неронова, А. Суханова, В. Унковского, А. Матвеева, Р. Стрешнева, В. Бутурлина. Особенно ценным источником является статейный список Бутурлина о его переговорах с Б. Хмельницким и казацкой старшиной в январе 1654 года и об исторической Переяславской раде, провозгласившей воссоединение Украины с Россией. Точка зрения русского правительства по этому вопросу изложена в решении Земского собора 1(10) сентября 1653 года.

Разносторонние данные о ходе событий Освободительной войны украинского народа имеются также в диариушах (дневниках) и письмах участвовавших в ней польских шляхтичей, в донесениях дипломатов разных стран, которые вели переговоры с Б. Хмельницким и казацкой старшиной. Знакомясь с этими документами, следует учитывать, что их составители смотрели на события сквозь призму своих классовых и национальных взглядов и предрассудков. Лишь всестороннее изучение сохранившихся источников с учетом обстоятельств их написания дает возможность иметь должное представление о действительном ходе событий.

В публикуемой подборке представлены характерные образцы отечественных и зарубежных документов разного типа. Язык русских документов XVII века достаточно близок к современному и должен быть понятен читателю. Источники на других языках даются в переводе.

Я. Д. ИСАЕВИЧ



БОПЛАН. ОПИСАНИЕ УКРАИНЫ

Описание Украины и реки Борисфена, в просторечье именуемого Непр или Днепр, от Киева до моря, в которое эта река впадает

Киев, именовавшийся некогда Кисовией, был одним из древнейших городов Европы, как о том свидетельствуют остатки древностей, высота и ширина городских укреплений, глубина оборонных рвов, развалины храмов и старинные гробницы многих князей. Из его храмов сохранились в целости только два — Софийский и Михайловский *, от всех прочих остались одни развалины, как, например, от церкви святого Василия, от которой еще виднеются остатки стен *, высотой пяти-шести футов, с греческими надписями на штукатурке. Надписи эти, которым более 1400 лет, почти стерлись из-за своей древности. В развалинах храмов до наших дней сохранились гробницы многих князей Руси.

Софийский и Михайловский храмы восстановлены в их древнем виде. Первый из них имеет прекрасный фасад и красивый вид отовсюду, с какой бы стороны на него ни смотреть. На стенах его многочисленные изображения князей и исторических событий, выполненные мозаикой, то есть из очень маленьких разноцветных камешков, сияющих как стекло и столь тщательно подобранных, что тяжело отличить, живопись ли это или ткачество. Купол сделан из глиняных сосудов, наполненных гипсом и им же скрепленных между собой. В храме сохранились памятники нескольких князей *, при нем находится и резиденция архимандрита.

Михайловский храм называется золотоверхим, так как крыша его сделана из позолоченных пластин. Здесь

показывают мощи святой Варвары, перенесенные, как говорят, из Никомидии во время какой-то войны.

Этот древний город расположен на плато, составляющем вершину горы, которая господствует, с одной стороны, над всей окрестной равниной, а с другой — над Днепром, омывающим подножье этой возвышенности. А между горой и рекой расположен новый Киев, город ныне довольно слабозаселенный, имеющий не более пяти-шести тысяч жителей. Вдоль Днепра город растянулся примерно на четыре тысячи шагов, ширина его — от Днепра до горы — около трех тысяч шагов. Город, окруженный труднопроходимым рвом шириной 25 футов, имеет форму треугольника и защищен также деревянной оборонительной стеной и такими же башнями. Замок расположен на горе, господствующей над нижним городом (Подолом), однако над ним, в свою очередь, возвышается Старокиевская гора.

Католики в этом городе имеют четыре храма: кафедральный, доминиканский на рыночной площади, бернардинский под горой и — с недавнего времени — иезуитский, находящийся между бернардинским храмом и рекой. Православные имеют около десяти храмов, которые они называют церквами. Одна из них стоит при ратуше *, при ней находится также университет или академия *. Этот храм они называют братской церковью. Другой храм, стоящий у подножья замка, называется, если память мне не изменяет, церковью святого Николы. Остальные церкви расположены в разных частях города, но я сейчас не могу припомнить их названий.

Город имеет только три красивые улицы, остальные же не прямые и не дугообразны, а извилисты наподобие лабиринта. Город считается разделенным на две части. Из них одна, где находится кафедральный собор, называется епископским городом, другая, где стоят остальные три католических храма и все православные, именуется магистратским городом *. Город является значительным торговым центром, основные товары, которыми здесь торгуют, — зерно, меха, воск, мед, сало, соленая рыба и прочее.

В Киеве имеются епископ, воевода, каштелян, староста, городничий; город делится на четыре части, подчиненные юрисдикциям: первая суду епископа, вторая — воеводы или старосты (что одно и то же), третья — войта, четвертая — лавников или консулов.

Дома здесь строятся на манер московских, все на

одном уровне, довольно низкие и редко выше одного этажа. Жители пользуются светильниками из просмоленных щепок; они столь дешевы, что за два денария * можно купить больше, чем нужно для освещения в самую длинную зимнюю ночь. Печные трубы продаются на базарах, что у нас могло бы вызвать смех, как и местный способ приготовления мясных кушаний, их свадьбы и другие обряды, о которых будет речь ниже. Тем не менее именно отсюда взял начало тот благородный народ, который ныне именуется запорожскими казаками и рассеян исстари в разных местностях по берегам Днепра и в сопредельных краях. Число их в настоящее время доходит до 120 тысяч людей, привычных к войне, способных менее чем за неделю собраться в поход на королевскую службу. Это люди, которые часто, почти ежегодно, совершают набеги на Эвксинский Понт * и приносят большой урон туркам. Они не раз опустошали Крым, принадлежащий к Татарии, производили разрушения в

Казак и казачка. Рисунок на полях карты Украины Г. Боплана. XVII в.

Анатолии, брали приступом Трапезунд и даже достигали устья Черного моря в трех милях от Константинополя, где, предав все огню и мечу, возвращались затем с богатыми трофеями и некоторым количеством пленных, преимущественно детей. Они оставляют их у себя для различных услуг, взрослых же они редко берут в плен, разве только в том случае, если считают их достаточно богатыми, чтобы можно было получить за них выкуп.

В такие походы собирается не более шести-десяти тысяч человек, которые чудесным образом переплывают море в своих малых, собственного изделия челнах. Форму этих судов и способ их постройки я опишу несколько далее.

О ремеслах, которыми занимаются казаки

Описав доблесть казаков, нелишне будет рассказать также об их нравах и занятиях. Да будет известно, что среди этих казаков встречаются вообще люди опытные

Казацкая старшина. Рисунок на полях карты Украины Г. Боплана. XVII в.

во всех ремеслах, необходимых в человеческой жизни: плотники, умеющие строить дома и суда, тележные мастера, кузнецы, оружейники, кожевники, шорники, сапожники, бондари, портные и прочие. Они очень искусны в приготовлении селитры, в изобилии добываемой в этом крае; из нее они делают превосходный порох. Женщины у них занимаются пряжей льна и шерсти, из которых делают полотно и ткани для повседневного употребления. Все они умеют хорошо возделывать землю, сеять, жать, выпекать хлеб, приготовлять всяческие мясные изделия, варить пиво, делать хмельной мед, брагу, водку и т. д. <...>

Вообще, следует признать, что все они способны к различным ремеслам. И хотя одни более искусны в каких-то одних ремеслах, другие — в других, встречаются между ними люди, имеющие более разнообразные знания, чем большинство остальных. Одним словом, все они достаточно развиты, но в первую очередь занимаются именно тем, что необходимо и полезно в деревенской жизни.

Земля их весьма плодородна, и зерна собирают столько, что иногда не знают, что с ним делать, тем более что у них нет судоходных рек, впадающих в море, за исключением Днепра, который в 50 милях ниже Киева прегражден тринадцатью порогами, последний из которых отстоит от первого на семь больших миль, что составляет целый день пути, как видно на карте. Эта преграда препятствует им сплавлять свой хлеб в Константинополь.

Они исповедуют греческую веру, которую называют русской. Свято почитают праздничные дни и соблюдают посты, продолжающиеся у них восемь или девять месяцев года: в это время они воздерживаются от мясных блюд. Формальность эту они соблюдают с упорством, так как убеждены, что от изменения еды зависит спасение души. Зато, мне кажется, нет народа, который сравнялся бы с ними в способности пить: они никогда не бывают настолько пьяны, чтобы не иметь возможности начать пить сначала, — по крайней мере, так здесь говорят, — но так может бывать только на досуге. Зато во время войны либо тогда, когда задумают какое-либо важное дело, придерживаются чрезвычайной трезвости. И у них нет ничего грубого, кроме разве одежды. Они быстроумны и проницательны, весьма остроумны и щедры, не стремятся к большим богатствам, зато больше всего дорожат своей свободой, без которой не хотели бы

жить. Во имя ее они поднимают восстания и бунты против знатных панов, поэтому редко когда проходит более семи или восьми лет без того, чтобы они не восстали против вельмож. Впрочем, это люди вероломные и коварные, которым довериться можно лишь при благоприятных обстоятельствах. Они чрезвычайно крепкого телосложения, легко переносят холод и зной, голод и жажду, неутомимы на войне, мужественны и часто столь дерзки, что не дорожат своей жизнью. Больше всего умения и мастерства они проявляют, когда сражаются в таборе *, то есть под прикрытием телег (так как очень метко стреляют из ружей, которые являются их главным вооружением), а также при обороне своих позиций. Хорошо воюют также на море, но верхом на лошадях они не настолько искусны. Мне приходилось видеть, как двести польских всадников обращали в бегство 2000 их лучших воинов. Однако правда и то, что под прикрытием табора сотня этих же казаков не побоится тысячи поляков или даже тысячи татар. Если бы верхом они были столь искусны, как в пехоте, то, думаю, могли бы считаться непобедимыми. Казаки высоки ростом, сильны и

Украинский крестьянин. Украинская крестьянка. По Ригельману.

проворны, любят хорошо одеваться. <...> Они пользуются от природы крепким здоровьем, даже не подвержены той распространенной в целой Польше болезни, которую врачи называют колтуном (plica). У больных волосы спутываются и сбиваются в какой-то сплошной ком; туземцы называют это заболевание «гостець». Казаки редко умирают от какой-либо болезни, разве только в глубокой старости: большинство их слагают головы на поле славы. <...>

Каковы повинности крестьян к их господам

Крестьяне здесь в чрезвычайно тяжелом положении, так как принуждены работать па господ три дня в неделю своими лошадьми и трудом своих рук. Кроме того, должны соответственно размеру своих наделов давать определенное количество зерна, множество каплунов,

---

Пан и крепостные. Гравюры из «Евангелия учительного» (Киев, 1637).

кур, гусей, цыплят к пасхе, троицыну дню и рождеству, сверх того, возят господам дрова и отбывают тысячи других повинностей, которых не должны были бы исполнять без платы. Кроме того, помещики требуют от них денежных оплат, а также десятину от баранов, поросят, меда, всех плодов и третьего вола каждый третий год. Словом, они вынуждены отдавать своему господину все, что тому вздумается потребовать. Неудивительно, что в таких условиях этим несчастным людям не удается скопить что-либо для себя.

Но это еще не все: господа пользуются безграничной властью не только над их имуществом, но также над их жизнью. Столь велика свобода польской шляхты, которая живет словно в раю, а крестьяне пребывают словно в чистилище! Поэтому, если случится таким несчастным крестьянам попасть под иго злых господ, их положение бывает гораздо хуже, чем каторжников на галерах. Именно такое рабство является главной причиной многочисленных побегов крестьян; наиболее отважные из них уходят на Запорожье, которое является местом убежища казаков на Днепре. Прожив здесь некоторое время и приняв участие в морском походе, они считаются запорожскими казаками. Подобными побегами постоянно увеличиваются казацкие легионы. Это с достаточной очевидностью доказывается и настоящим восстанием *, так как, разбив поляков, эти казаки поднялись в количестве 200 000 вооруженных людей, которые, выдержав кампанию, стали хозяевами края размером более 120 миль в длину и 60 миль в ширину. Мы забыли упомянуть, что обычными занятиями казаков в мирное время являются охота и рыбная ловля. Вот все, что мы хотели сказать вообще и как бы мимоходом относительно нравов и занятий этого народа.

Описание Днепра

Возвращаемся к нашему рассказу. Утверждают, что в то время, когда древний Киев находился в апогее своего величия, морской пролив, проходящий мимо Константинополя, не был еще открыт. Имеются доказательства, осмелюсь предположить, весьма надежные, что равнины по другую сторону Днепра, простирающиеся до самой Московии, были некогда сплошь покрыты водой. Подтверждением тому служат якори, найденные несколько лет тому назад на реке Суле в окрестностях Лохвицы, и не-

которые другие указания. Кроме того, все города, которые расположены на этих равнинах, кажется, не особенно древнего происхождения и выстроены всего несколько сот лет тому назад. Я поинтересовался ознакомиться с историей Руси, чтобы узнать что-либо о древности этих краев, однако тщетно: на мои вопросы даже лучшие из их ученых отвечали только, что большие и разрушительные войны, опустошавшие страну из конца в конец, не пощадили их библиотек, которые прежде всего предавались огню; что они, однако, припоминают старинное предание, по которому море покрывало некогда все эти равнины, как мы уже упоминали, и что это было приблизительно 2000 лет тому назад *. Говорили они также, что примерно 900 лет тому назад древний Киев был совершенно разрушен *, за исключением двух упоминавшихся нами выше храмов. Далее, в доказательство того, что море простиралось вплоть до Московии, приводят еще один весьма существенный довод, а именно, что все развалины старинных замков и древних городов, встречаемые в этих местах, всегда находятся на самых больших возвышенностях и нет ни одного, расположенного на равнине. Это обстоятельство заставляет предполагать, что в древности равнина была затоплена. К этому следует прибавить, что в некоторых из упомянутых развалин погреба наполнены старыми медными монетами с таким изображением *.

Как бы там ни было, скажу только, что вся равнина, простирающаяся от Днепра до Московии и еще дальше, представляет собой страну очень низменную и песчаную, за исключением берегов реки Сулы на севере и берегов рек Ворсклы и Псёла, что лучше можно увидеть на карте. Вы должны еще при этом обратить внимание, что сила течения этих рек почти незаметна, как будто это были стоячие воды. Если же вы сопоставите все эти доводы с быстрым и стремительным течением вод черноморского пролива, который, проходя мимо Константинополя, впадает затем в Белое море *, то легко убедитесь в том, что эти места были некогда покрыты морскими водами.

Продолжая далее описание нашего Днепра, укажем, что на расстоянии мили выше Киева, но с противоположной стороны впадает в Днепр река Десна, берущая начало в краях, недалеких от Москвы, и имеющая более ста миль в длину.

В полумиле ниже Киева виднеется селение, называ-

емое Печерск, в котором находится большой монастырь, обычная резиденция митрополита или патриарха *. В ближайшей к этому монастырю горе имеется множество пещер, т. е. подземных ходов, похожих на шахтные. Они наполнены многочисленными человеческими телами, которые сохраняются здесь более 1500 лет и похожи на египетские мумии. Рассказывают, что первые христианские отшельники устроили себе эти подземные пристанища, чтобы тайно совершать здесь богослужения и спокойно проживать в пещерах во время гонений от язычников. Там показывают некого святого Иоанна, который обращает на себя внимание тем, что закопан в землю по пояс. Здешние монахи рассказывали мне, что этот святой, чувствуя приближение смерти, сам приготовил себе могилу, но не в длину, как обыкновенно принято, а в глубину. Когда пришло время умирать, к чему он давно готовился, Иоанн простился с братией и сам опустился в землю, но, по воле господа, вошел в нее только до половины, хотя яма была достаточна глубока. Там можно видеть также святую Елену, которая в большом почитании среди народа, и железную цепь, которой, по преданию, дьявол бичевал святого Антония и которая имеет силу изгонять злых духов из тех лиц, которых к ней приковывают. Имеются там также на блюдах три человеческие головы, из которых постоянно сочится масло, очень помогающее при некоторых болезнях. Здесь покоятся останки некоторых замечательных людей, в том числе двенадцати каменщиков, соорудивших монастырский храм. Их сохраняют как драгоценную реликвию, показываемую посетителям. Когда мне пришлось однажды жить в Киеве на зимних квартирах, я часто посещал пещеры и имел возможность узнать вышеприведенные достопримечательности. Что касается моего мнения, то я не нахожу, как уже об этом сказал, существенной разницы между этими мощами и египетскими мумиями, исключая то, что они не настолько черны и тверды. Полагаю, что причина сохранения их нетленными столь продолжительное время заключается в свойствах этих пещер, которые вырыты в каменистом песке, а потому зимой в них тепло и сухо, летом сухо и прохладно, без малейших признаков сырости.

В этом монастыре имеется много монахов, здесь же резиденция упоминавшегося митрополита всея Руси, который зависит только от константинопольского патриарха.

Перед этим монастырем находится другой, в котором живет много монахинь, числом до сотни. Они занимаются шитьем и изготовляют множество прекрасных вышивок на красивых платках для продажи посетителям монастыря. Они могут свободно выходить когда угодно и для прогулок обыкновенно отправляются в Киев, отстоящий в полумиле от их монастыря; все они носят черную одежду и ходят всегда попарно, подобно большинству католических монахинь; среди них мне случалось видеть такие красивые лица, какие едва ли можно отыскать в целой Польше.

Между Киевом и Печерском, на горе над Днепром, стоит русский мужской монастырь св. Николая, расположенный в прекрасной местности; монахи в нем употребляют в пищу только рыбу, но пользуются правом выходить когда угодно для прогулки и посещать знакомых.

Ниже Печерска в долине лежит селение, называемое Трипольем. Еще ниже на вершине горы виден старинный город Стайки; там находится паром для перевоза через Днепр. Далее следует Ржищев, также расположенный на горе; это важный пункт, который следовало бы укрепить, так как в этом месте переправа через реку очень удобна. Дальше вниз по Днепру находится Трахтемиров, православный монастырь *, на возвышенности, окруженной оврагами и неприступными скалами. В этом монастыре

Печать запорожского войска. Реконструкция.

казаки хранят все свои драгоценности; здесь также есть для переправы паром.

На противоположном берегу, в расстоянии одной мили отсюда, расположен Переяслав, город, выстроенный на низменном месте и потому, вероятно, менее древний *; он имеет очень серьезное значение благодаря своему местоположению, укрепленному самой природой. Здесь легко было бы выстроить очень важную цитадель, которая служила бы арсеналом против москвитян и казаков. В Переяславе есть до 6000 дворов, казаки имеют здесь отдельный полк. Ниже Переяслава на русском берегу стоит Канев, очень древний город * с замком, в котором всегда находится казацкий полк, составляющий гарнизон; здесь также существует переправа и ходит паром. На левой стороне Днепра несколько ниже виднеется Бубновка, а за нею Домонтов; оба поселения незначительные.

Еще ниже на русской стороне * расположены Черкасы, очень старый город, который легко укрепить благодаря его прекрасному положению. Я видел этот город в период его расцвета, когда он служил центром для казаков и резиденцией их начальника; но мы сожгли его 18 декабря 1637 года, два дня спустя после одержанной над казаками победы *, во время войны с ними. Здесь также есть казацкий полк и существует паром.

Ниже находятся: Боровица, Бужин, Вороновка, а на

Печать Коша Войска Запорожского. XVII в.

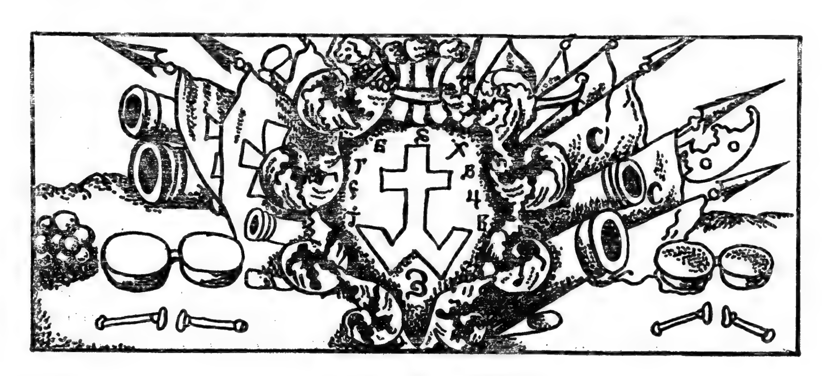
другой стороне Чигирин-Дуброва в расстоянии около четверти мили от берега, равно как и Крылов, расположенный уже на русской стороне в одной миле от Днепра на реке Тясьмине.

Несколько ниже на московской стороне виден Кременчуг; там существуют развалины древнего здания, на месте которого я заложил замок в 1635 году; местность прекрасная и удобная для поселения. Это последний город на Днепре, ибо далее к югу тянется незаселенный край.

В миле расстояния ниже устье Псёла, реки очень рыбной, еще несколько ниже на русской стороне впадает в Днепр маленькая речка Омельник, изобилующая раками, а дальше, по той же стороне, протекает другая такая же речка, называемая Другой Омельник, подобно первому переполненная раками. Прямо против нее впадает в Днепр довольно большая и чрезвычайно рыбная река Ворскла и еще дальше по той же стороне река Орель, еще более обильная рыбой, чем все предыдущие. Я сам видел, как на устье этой реки, забросив сети, в один раз вытащили более 2000 штук рыбы, из которой самые мелкие достигали около фута в длину.

На противоположной, русской стороне находится несколько озер, переполненных рыбой в таком огромном количестве, что она гибнет от тесноты, разлагается и заражает воду; это место называется Самоткань. Вокруг озер я видел карликовые вишневые деревья *, около двух с половиной футов высотой, дающие очень сладкие вишни, величиной в сливу, но созревающие только в начале августа. Встречаются целые леса этих вишен, чрезвычайно

Герб Богдана Хмельницкого. Из летописи С. Величко.



густые, занимающие иногда более полумили в длину, но не более двухсот или трехсот шагов в ширину. Нужно признать, что в это время года вид этих вишневых рощ, довольно многочисленных в полях и еще более в глубине долин, представляет весьма приятное зрелище. Там встречаются также в большом количестве карликовые миндальные деревья, но это не больше как дички с чрезвычайно горькими плодами; они не растут такими многочисленными группами, чтобы составлять рощи подобно вишневым деревьям, дающим плоды не хуже культивированных. Признаюсь, что любопытство побудило меня пересадить несколько вишневых и миндальных деревьев в Бар, мое обычное местожительство; плоды сделались оттого более сочными и крупными, но благоприятные условия увеличили в то же время и самый рост дерева.

Дальше на юг встречается маленькая речка Демоткань, изобилующая раками, которые достигают более девяти дюймов в длину; на ней собирают также водяные орехи, напоминающие формой чеснок, они очень вкусны в вареном виде.

Спускаясь вниз по реке, вы встречаете Романов, большой холм, куда время от времени казаки сходятся для совещания и сбора войска. Это очень удобное место для постройки города.

Несколько ниже находится остров в полмили длиной и 150 шагов шириной, называемый также Романовым; весной он заливается водой; здесь в большом количестве пристают рыболовы, приходящие из Киева и других мест. У нижнего конца этого острова течение реки ничем не преграждается во всю ее ширину; вот почему татары предпочитают переправляться в этом месте, не опасаясь засады, которая могла бы скрываться выше острова.

Дальше вниз на русской стороне есть местность, называемая Таренский Рог; это одно из самых лучших мест для поселения, какие я встречал когда-либо, и одно из наиболее пригодных для сооружения крепости, которая могла бы господствовать над рекой, так как последняя в этом месте течет в одном русле не более 200 шагов в ширину; помнится, мне случалось перестреливать из карабина с одного берега на другой. Противоположный берег несколько возвышеннее и называется Высока гора. Ко всем удобствам местоположения можно прибавить еще, что Таренский Рог весь окружен чрезвычайно обильными рыбой проливами и протоками между островами.

Еще ниже встречается остров Монастырский, возвы-

шенный и скалистый, со всех сторон спускающийся к реке обрывами более 25 или 30 футов вышиной, за исключением одного конца, где скалы ниже; вследствие этого остров никогда не затопляется водой. Некогда здесь стоял монастырь, от которого остров получил название, но в настоящее время от него не сохранилось и следа. Это было бы прекрасное место для поселения, если бы над ним не господствовали возвышенности материка. Остров тянется шагов на тысячу в длину и восемьдесят или сто в ширину; на нем водятся во множестве ужи и разные змеи.

Дальше следует Конский Остров около 3/4 мили длиной и 1/4 мили шириной; в верхней части он покрыт лесами и болотами и весной заливается. Здесь проживает множество рыбаков, которые за неимением соли сохраняют рыбу в золе, а также сушат ее в большом количестве. Рыбная ловля производится при устье реки Самары, впадающей в Днепр слева напротив Конского Острова. Река эта весьма замечательна как по обилию рыбы, так и по тому, что орошаемая ею местность богаче всех других воском, медом, дичью и строевым лесом. Отсюда получался весь лес, послуживший для постройки Кодака, о котором сейчас будем говорить. Течение реки чрезвычайно медленно по причине ее извилин. Казаки называют ее святой рекой, вероятно, благодаря ее природным богатствам; я видел, что весной здесь ловятся сельди и осетры, которые не встречаются в другое время.

Ниже Конского Острова находится Княжий Остров, небольшой скалистый островок, от 500 до 600 шагов в длину и 100 в ширину, не заливаемый в половодье, равно как и расположенный еще дальше Казацкий остров, также состоящий из одних скал, безлесный, но кишащий змеями.

В расстоянии пушечного выстрела вниз по Днепру расположен первый порог, Кодацкий. Порогом называется ряд скал, протянувшихся поперек реки с одного берега на другой и составляющий препятствие для судоходства. Здесь существует замок, заложенный мною в июле 1635 года *; но в следующем месяце, августе, вскоре после моего отъезда, некто Сулима, предводитель восставших казаков, возвращался из морского похода и, заметив замок, затруднявший ему возврат на родину, овладел им врасплох и перебил весь гарнизон, состоявший примерно из 200 человек под начальством полковника Мариона, родом француза. Затем, разграбив укрепление, Сулима с казаками возвратился на Запорожье. Однако

они недолго владели этой крепостью; вскоре они были осаждены и разбиты другими верными казаками по приказанию великого Конецпольского, краковского каштеляна. Наконец, предводитель восстания был взят в плен вместе со всеми соучастниками и отвезен в Варшаву, где их четвертовали. После этого поляки оставили без внимания этот замок, что усилило дерзость казаков и открыло им новый путь к восстанию, которое не замедлило вспыхнуть в 1637 году.

16 декабря того года около полудня мы встретили под Кумейками их табор, в котором числилось не менее 18 000 человек, и, хотя наше войско не превышало 4000 человек, мы атаковали их и одержали победу. Сражение продолжалось до полуночи; со стороны неприятеля осталось на месте около 6000 человек и пять пушек; прочие спаслись бегством *, очистив поле сражения под покровом очень темной ночи. Мы потеряли около ста человек убитыми и около тысячи ранеными, в том числе многих начальников. Пали в битве: г. де Морюель, французский дворянин, бывший подполковником, со своим хорунжим, капитан Жолкевский, лейтенант ла Кротад и еще несколько иностранцев. После этого поражения война с казаками тянулась еще до октября следующего года. По заключении мира знаменитый и великий Конецпольский лично отправился в Кодак с четырехтысячным войском и оставался там около месяца, пока не были восстановлены укрепления. Затем он удалился, взяв с собой 2000 солдат, а мне поручил с отрядом войска и с пушками сделать разведки до последнего порога и на обратном пути приказал подняться вверх по реке в лодках вместе с великим шамбеланом Остророгом *, что доставило мне случай видеть все тринадцать порогов и нанести их на карту, как вы можете видеть.

В этих местностях сто и даже тысяча человек не бывают вполне безопасны; даже целое войско должно идти не иначе как в строгом порядке, ибо степи составляют кочевье татар, которые, не имея оседлости, бродят то туда, то сюда в этих обширных степях ордами от пяти до шести, иногда до десяти тысяч человек. Дальше я опишу их нравы, управление и военные приемы; теперь же скажу только, что я видел и посетил все тринадцать порогов, проехал все водопады вверх против течения в простой лодке, что на первый взгляд покажется делом невозможным, так как некоторые из порогов имеют от 7 до 8 футов падения; судите поэтому, как хорошо нужно

Днепровские пороги, острова Хортица и Томаковка. Из карты Украины Г. Боплана.

было владеть веслом. Никто не может быть принят в казацкую общину, пока не пройдет в лодке вверх через пороги; следовательно, по их обычаям я вполне могу быть казаком — честь, которую я заслужил в это путешествие.

Чтобы точно определить вам, что такое пороги, я скажу, что это русское слово, означающее скалу; эти пороги представляют как бы цепь скал, протянутую через реку; некоторые скрыты под водой, другие видны на поверхности; иные достигают более 8 или 10 футов в вышину и величиной в дом; притом они расположены так близко друг к другу, что представляют как бы плотину, задерживающую воду, которая, прорываясь, стремительно падает с высоты пяти-шести футов в некоторых местах, в других от шести до семи, смотря по уровню воды. Весной во время таяния снегов все пороги покрываются водой, за исключением седьмого, называемого Ненасытец, который один затрудняет тогда судоходство. Летом же и осенью, когда уровень воды стоит очень низко, скалы достигают иногда от 10 до 15 футов в высоту; но из всех 13 порогов только между десятым, Будиловским, и одиннадцатым, Таволжанским, татары могут переходить реку вплавь, так как берега здесь более доступны. На всем протяжении от первого до последнего порога я заметил всего два острова, не затопленные водой. Первый, называемый Стрильчим, лежит между третьим и четвертым порогами; это каменная скала около 30 футов в вышину, с отвесными краями. Остров имеет около 500 шагов в длину и 70 или 80 в ширину. Не знаю, есть ли на нем вода, ибо никто не посещает его, кроме птиц; впрочем, весь он по краям густо порос диким виноградом. Другой остров, значительно больше первого, около 2000 шагов в длину и 150 в ширину, также скалистый, но менее обрывистый, представляет место, от природы укрепленное и удобное для поселения; здесь в большом количестве растет таволга, красное растение, жесткое, как букс, которое действует на лошадей как мочегонное. Остров называется Таволжаный подобно одиннадцатому порогу, как мы уже видели; Тринадцатый порог называется Вольный, местность здесь очень удобная для сооружения города или замка.

В расстоянии пушечного выстрела ниже по Днепру встречается скальный островок, называемый у казаков Кашеварница, что значит «варить просо», словно они желали выразить этим радость, что благополучно прошли пороги и хотят отпраздновать это пиршеством на этом

островке; нужно знать, что они питаются пшеном во время своих походов.

Вниз от Кашеварницы до Кичкаса встречается много прекрасных мест для поселения. Кичкас — это маленька речка, впадающая в Днепр с татарской стороны; она дает название длинному песчаному мысу, который вре-

---

Герб запорожского реестрового войска. Гравюра из книги К. Саковича «Вирши на жалосный погреб Петра Конашевича-Сагайдачного» (Киев, 1622).

На Гербъ Силного Войска Е. К. М. Запорозкого.

Кгды шляхетства Запорозцы своє доказали,
Тогды за Гербъ такого и ихъ рыцера дали.
Который ото готовъ Отчизне служити,
За волность єй и свой животъ положити.
И тысъ треба землею яко тыжъ водою:
Выслякш онъ способный и прудкій до бою.

зывается в Днепр; его края представляют ряд неприступных обрывов, как это видно на карте. Доступ сюда открывается только со стороны материка через низменный перешеек около 2000 шагов длиной. Стоит только преградить это место, и можно было бы иметь прекрасно укрепленный город. Правда, поверхность почвы здесь не ровная, покрытая буграми, из которых одни господствуют над татарским берегом, над другими же господствуют отдельные возвышенности этого последнего. Вообще местность очень возвышенная, русло реки открытое, свобод-

---

Портрет гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Гравюра из книги К. Саковича «Вирши...» (Киев, 1622).

ное от преград, очень неширокое и суживающееся к югу; на карте обозначены точками те места, где река показалась мне наиболее сжатой. Мне случалось видеть, как поляки стреляли из лука с одного берега на другой, причем стрелы падали больше чем на сто шагов дальше противоположного берега. Это самая главная и удобная из татарских переправ, так как в том месте русло имеет не больше 150 шагов в ширину, берега весьма доступны и местность открыта, так что нельзя опасаться засады. Эта переправа также называется Кичкас.

В расстоянии полумили вниз по течению начинается остров Хортица, но так как я не заходил дальше в ту сторону, то могу сообщить лишь сведения, заимствованные из рассказов других лиц, не вполне ручаясь за их достоверность. Говорят, что этот остров довольно значителен и возвышен, берега почти повсюду обрывисты и потому малодоступны; он занимает не менее двух миль в длину и полумили в ширину, особенно в верхней своей части, так как весь он постепенно суживается и понижается по направлению к западу. Он никогда не подвергается наводнениям, покрыт дубовым лесом и представляет прекрасное место для поселения, которое могло бы служить сторожевым укреплением против татар. Книзу от Хортицы русло реки сильно расширяется.

Дальше встречается Великий остров до двух миль в длину, совершенно голый; он мало имеет значения, потому что весной заливается почти целиком, за исключением середины, где остается сухое пространство около 1500 или 2000 шагов в диаметре. Против этого острова впадает в Днепр с татарской стороны очень быстрая речка, называемая Конская вода; она имеет отдельное от Днепра русло вдоль татарского берега на всем его протяжении с руслом Днепра, но затем снова отделяется от него большими песчаными отмелями.

Томаковка * представляет остров около трети мили в диаметре, почти круглый и возвышенный в виде полушария, весь покрытый лесом; с вершины его видно все течение Днепра от Хортицы до Тавани. В общем, остров очень красив, но я мог ознакомиться только с его берегами; расположен он ближе к русской, нежели к татарской, стороне. Хмельницкий избрал его местом убежища, когда ему угрожал арест; здесь начали собираться казаки, готовясь к восстанию в мае 1648 года, и отсюда выступили в поход, кончившийся 26 мая их победой у Корсуня.

Несколько ниже реки Чертомлыка посреди Днепра находится довольно обширный остров, на котором находятся какие-то развалины; его окружают в различных направлениях более 10 000 других островов, больших и малых, расположенных самым беспорядочным образом; некоторые из них сухи, другие болотисты, но все сплошь поросли тростником толщиной в пику, который маскирует разделяющие их протоки. Этот лабиринт служит для казаков убежищем, которое они называют Войсковой Скарбницей, т. е. войсковой казной. Все эти острова заливаются весной, сухим остается только то место, на котором стоят развалины. Река в этом месте имеет более мили в ширину, и все силы турок ничего здесь не могут поделать. Здесь погибло немало турецких галер, которые преследовали казаков, возвращавшихся из морских походов. Запутавшись между островами, турки не могли отыскать дороги, между тем как казаки в своих лодках искусно этим воспользовались и безнаказанно стреляли по ним из тростников. С этого времени галеры не заходят в Днепр дальше 4—5 миль от устья. Рассказывают, что в Войсковой Скарбнице скрыто казаками в протоках множество пушек, и никто из поляков не знает этого места, ибо они никогда не бывают здесь, а казаки, в свою очередь, держат это в тайне, которую знают только немногие из них. Они опускают на дно все пушки, отнятые у турков, а также свои деньги, которые и достают оттуда по мере надобности. Каждый из них имеет свой отдельный тайник; возвратившись после каждого похода, они собираются здесь для дележа взятой у турок добычи, после чего каждый прячет под водой свою часть, т. е. такие вещи, которые не портятся от воды. Здесь же они строят свои челны, т. е. лодки, в которых отправляются в море. <...>

[Об украинских казаках]

Нам остается еще согласно обещанию рассказать о том, каким образом казаки избирают своего начальника, и описать их походы на Черное море, в которых они достигают до Анатолии и нападают здесь на турок.

Вот как происходит избрание предводителя: собираются все старые полковники и старики, пользующиеся уважением среди казаков, каждый подает голос в пользу того, кого считает наиболее способным, и получивший наибольшее количество голосов признается избранным.

Если тот, на кого пал выбор, неохотно принимает эту должность, отговариваясь неспособностью и недостойностью или ссылаясь на недостаток опытности или старость, это нимало ему не помогает; ему отвечают, что, по-видимому, он действительно не достоин такой чести, и тотчас убивают его на месте * как изменника, между тем как поступают изменнически в данном случае они сами. Вы припомните то, что я говорил вначале, рассказывая об их нравах и обычных изменах. Если же избранный казак принимает звание начальника, он благодарит собрание за оказанную ему честь, хотя сам он и признает себя недостойным ее и неспособным к занятию такой высокой должности; тем не менее он обещает, что своими трудами и заботами постарается сделаться достойным чести служить всем вообще и каждому в частности и что жизнь его всегда будет посвящена служению своим братьям (так называют они друг друга). При этих словах все аплодируют ему с криками: Vivat! Vivat! Затем каждый подходит в порядке занимаемых должностей и отдает ему поклон, а начальник пожимает ему руку, что составляет обычное между ними приветствие.

Таков обряд выборов начальника, происходящих нередко среди пустынных степей. Начальник этот, которому они беспрекословно подчиняются, называется на их языке гетманом; власть его неограниченна, он имеет право рубить головы и сажать на кол всех непокорных. Вообще он поступает с большой строгостью, но в делах общественных ничего не может предпринять без военного совета, называемого радой. Отправляясь на войну, гетман должен быть чрезвычайно осторожен и предусмотрителен, чтобы не потерпеть неудачи; в случае неблагоприятной схватки он должен обнаружить находчивость и отвагу, иначе при малейшей трусости казаки убивают его как изменника, после чего немедленно приступают к избранию нового гетмана обычным порядком, как было сказано выше. Должность предводителя и начальника в походах составляет обязанность, сопряженную с большими трудностями в случае неудачи. В течение 17 лет, которые я провел на службе в этой стране, все лица, избранные для занятия этой должности, несчастливо окончили жизнь.

Намереваясь предпринять морской поход, казаки берут разрешение от своего гетмана, а не от короля, собирают раду, на которой избирают атамана — предводителя похода с соблюдением тех же форм, какие на-

блюдаются при выборах гетмана, с той лишь разницей, что это лицо получает власть только на время похода. Затем они направляются в Войсковую Скарбницу, их сборный пункт, и начинают строить суда около 60 футов в длину, 10 или 12 в ширину и до 12 футов в глубину. Судно строится без кормы, в основание берется лодка из вербы или липового дерева длиной около 45 футов, борты и дно покрываются рядами досок от 10 до 12 футов длиной и около фута шириной, которые прикрепляются гвоздями, причем каждый ряд выпускается над предыдущим, как на речных лодках, пока судно не достигнет 12 футов в вышину и 60 в длину, постепенно расширяясь кверху. Это лучше поясняется прилагаемым рисунком, который я наскоро набросал карандашом. Здесь видна обкладка из тростника, связанного пучками толщиной в бочонок, которые скрепляются конец с концом, окаймляя всю лодку; они крепко привязаны к бортам веревками из липового и черешневого лыка. Казаки строят свои челны подобно нашим плотникам, с перегородками и поперечными скамьями, затем осмаливают их. Челны снабжены двумя рулями по одному на каждом конце, как это видно на рисунке, так как вследствие значительной длины судна потребовалось бы слишком много времени при поворотах, чем сильно затруднялась бы свобода и быстрота движений в случае отступления. Эти суда имеют от десяти до пятнадцати весел с каждой стороны и на ходу быстрее турецких гребных галер; сверх того на каждом есть мачта, на которой подымают довольно плохой парус, но только в хорошую погоду, в ветреную же казаки предпочитают идти на веслах. Челны их не имеют палубы, если же и заливаются водой, то окружающий их тростник поддерживает судно на поверхности воды, не давая ему затонуть. Походные припасы казаков состоят из сухарей, которые сохраняют в длинных бочках, около десяти футов в длину и четырех в диаметре, крепко увязанных, откуда их достают через отверстие в бочке; затем из бочонка вареного пшена и другого с жидким тестом, которое они едят в виде лакомства, смешивая с пшеном; это кушанье служит в одно время и пищей, и питьем, оно кисловатого вкуса и называется саламаха, т. е. лакомая пища. Что до меня касается, то я не находил в ней изысканного вкуса, и если употреблял во время путешествий, то исключительно за неимением ничего лучшего. Казаки отличаются большой трезвостью во время походов и военных экспедиций; то-

гда им строго запрещается брать с собой водку или какие-нибудь крепкие напитки, если же случится между ними пьяный, начальник приказывает выбросить его за борт.

Намереваясь предпринять поход против татар с целью отомстить им за набеги и грабежи, казаки обыкновенно выбирают для этого осеннее время; прежде всего посылают на Запорожье все необходимое для похода и сооружения судов и вообще все, в чем, по их мнению, может встретиться потребность. Затем выступают в количестве пяти или шести тысяч человек добрых казаков, хорошо вооруженных воинов, приходят на Запорожье и приступают к постройке челнов. Каждую лодку строят 60 человек и оканчивают ее в две недели, ибо, как я сказал, они знают все ремесла; в течение двух-трех недель они изготовляют от 80 до 100 судов описанной выше конструкции. В лодке помещается от 4 до 6 фальконетов и 50—70 человек, вооруженных каждый двумя ружьями и саблей и снабженных достаточным количеством продовольствия; сверх того полагается по шести фунтов пушечного пороха и свинца, сколько нужно на человека, а также запас ядер для фальконетов. Одежду их составляют две перемены белья, сорочек и шаровар, плохой кафтан и шапка; сверх того каждый имеет часы. Таков летучий казацкий отряд на Черном море, способный помериться силами с лучшими городами Анатолии.

Окончив все приготовления, казаки спускаются вниз по Днепру. На лодке походного атамана * установлен его флаг, прикрепленный к мачте примерно на уровне трети ее высоты. Лодки держатся так близко друг друга, что почти касаются веслами.

Обыкновенно турки заранее предупреждены о походе и держат наготове при устье Днепра несколько галер, чтобы помешать казакам выйти в море; но те оказываются хитрее и в ожидании темной ночи перед новолунием держатся в речных тростниках, покрывающих днепровский лиман, за три или четыре мили вверх от устья, куда галеры не отваживаются заходить, так как уже неоднократно находили там гибель. Поэтому турки довольствуются тем, что стерегут выход и всегда бывают застигнуты врасплох, но и казаки, в свою очередь, никогда не могут проскользнуть незамеченными. Тогда тревога распространяется по всей стране до самого Константинополя. Султан рассылает гонцов во все концы Анатолии, Болгарии и Румелии, чтобы предупредить жите-

лей, что казаки на море и чтобы все держались настороже.

Но все эти меры напрасны: казаки гребут не переставая и, пользуясь благоприятным временем года, в продолжение 36 или 40 часов достигают берегов Анатолии, выходят на землю с ружьями в руках, оставляя по два взрослых и по два мальчика стеречь каждую лодку. Затем устремляются на прибрежные города, берут их приступом, опустошают и жгут; иногда заходят около мили в глубь страны, но тотчас же возвращаются, отчаливают с добычей и плывут дальше, чтобы попытать счастья в другом месте. Если случается на пути что-нибудь подходящее, они производят нападение, в противном случае возвращаются с добычей на родину. Если попадаются навстречу турецкие галеры или другого рода корабли, казаки преследуют их, атакуют и берут приступом. При этом они употребляют следующий прием: так как их челны возвышаются не более $2^1/_2$ фута над поверхностью воды, то казаки замечают неприятельский ко-

---

Взятие Кафы запорожцами. Гравюра из книги К. Саковича «Вирши...» (Киев, 1622).

рабль или галеру гораздо раньше, нежели будут замечены сами; они тотчас убирают мачты, справляются с направлением ветра и стараются держаться за солнцем до вечера. За час до солнечного захода они начинают усиленно грести в направлении галеры, пока не подойдут на расстояние мили, чтобы не потерять судна из виду, и держатся на этом расстоянии до полуночи; тогда казаки по данному сигналу принимаются грести изо всех сил, между тем как половина их держатся совершенно готовыми к битве и ожидают только абордажа, чтобы проникнуть на корабль, экипаж которого поражен недоумением, видя себя окруженным сотней лодок и судно свое наполненным вооруженным неприятелем, который за первым приступом овладевает им. После того казаки забирают все найденные деньги, товары малого объема, которые не портятся от воды, пушки и все, что, по их мнению, может им пригодиться, затем пускают ко дну корабль вместе с людьми. Так поступают казаки; они забрали бы и самый корабль или галеру, если бы умели управлять ими, но не знают необходимых для этого приемов. После победы нужно возвращаться в свою страну; при устьях Днепра их ожидает теперь удвоенная стража, чтобы наказать за погром, но казаки смеются над этим, хотя силы их и ослаблены, ибо невозможно, чтобы многие из них не погибли в сражениях и чтобы море не поглотило нескольких лодок, так как не все могут быть настолько прочны, чтобы выдержать экспедицию.

Они входят в залив, находящийся в трех или четырех милях к востоку от Очакова; здесь к морю примыкает очень глубокая балка около трех миль длиной, которая тянется по направлению к Днепру и во время прилива наполняется водой на полфута в высоту на протяжении четверти мили. Здесь казаки сходят на берег и принимаются, по 200 и 300 человек за раз, перетаскивать волоком свои челны один за другим и в течение двух, много трех дней переходят в Днепр со всей добычей. Там они уже в безопасности от погони, избегнув таким образом встречи с галерами, охраняющими вход в лиман против Очакова, и наконец возвращаются в свою Скарбницу, где происходит дележ добычи, как было уже сказано выше. Есть у казаков и другой путь для возврата: иногда они проходят через пролив между Таманью и Керчью в донской лиман, входят в реку Миус и подымаются вверх по ней до тех пор, пока она может поднять их лодки.

Верховья Миуса отстоят всего в одной миле от истоков речки Тачаводы, впадающей в Самару, которая, в свою очередь, впадает в Днепр в расстоянии одной мили выше Кодака, как это можно видеть на карте. Впрочем, казаки редко возвращаются на Запорожье этим путем, так как он значительно длиннее, но иногда они избирают его для выхода в море, если при устье Днепра сосредоточены значительные турецкие силы, преграждающие им путь, или же если сами они имеют не более 20—25 лодок.

Если галеры встречают казаков днем в открытом море, то разгоняют их своими пушками как стаю скворцов, затопляют несколько челнов и приводят неприятеля в такое смятение, что все уцелевшие спешат рассеяться в разные стороны. Но, раз вступив в битву с галерами, казаки бывают непоколебимы, никто не двигается со своей скамьи, весла привязываются к кочетам посредством перевязи из лозы и в то время, как одни стреляют из ружей, их товарищи заряжают и передают им другие на перемену, так что пальба, весьма меткая, не прекращается ни на минуту. Между тем галера может вступить в рукопашный бой с одной только лодкой за раз, зато сильно вредит им своими пушками, так что в подобных встречах казаки обыкновенно теряют две трети своих сил; изредка только удается им возвратиться с половиной экипажа, но во всяком случае они приносят богатую добычу: испанские реалы, арабские секины, ковры, золотую парчу, бумажные и шелковые материи и другие ценные товары. <...>

ЛЕТОПИСЬ САМОВИДЦА

О начале войны Хмельницкого

Началом и причиной войны Хмельницкого были единственно гонения ляхов на православие и казакам отягощение. Ведь у них тогда отобраны были все вольности, не желавших делать барщину (чего не было у них в обычае) превращали в служителей при замках, которых посылали с письмами в дорогу, поручали чистить коней у старост, топить печи в усадьбах, за собаками глядеть, дворы подметать и к другим невыносимым работам приставляли. Которые становились реестровыми казаками, над теми коронный гетман ставил полковниками панов-шляхтичей, а они с вольностями казаков совершенно не считались и, как могли, их усмиряли и унижали. Плату, по 30 злотых в год, установленную для казаков королем и Речью Посполитой, забирали себе и делились с сотниками. Сотников же не казаки избирали и ставили, а полковники по своему желанию и от себя, чтоб только те были им послушными. Полковники принуждали также казаков к всякой непривычной для них работе по хозяйству. Если же, выйдя в поле, какой казак добыл от татар коня доброго, его отбирали. Могли послать бедного казака из Запорожья в города через Дикое поле с подарком какому-нибудь пану — соколом, ястребом либо гончей собакой, — не жалея казака, если бы даже погиб от татар. Но, однако, хотя бы казаки и захватили татарского языка, то с ним к коронному гетману полковник высылал кого-либо из своих солдат, к кому благоволил, казацкую же отвагу замалчивали... Кто из казаков ходил ловить рыбу за порогами, от тех на Кодаке отбирали для комиссара десятую рыбу. А полковникам отдельно надо

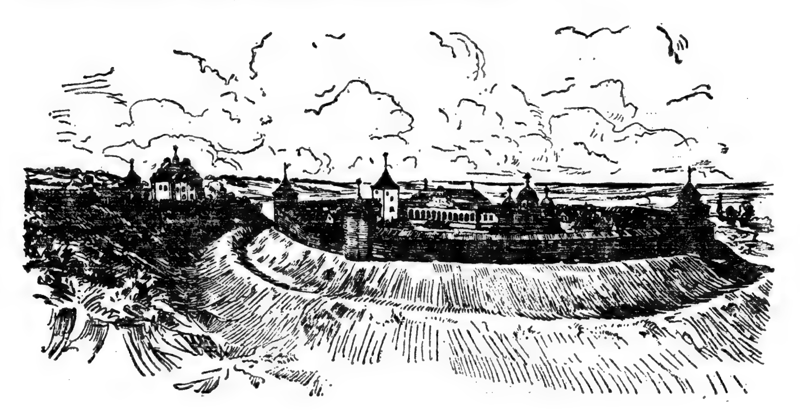
было давать, и сотникам, и есаулу, и писарю. И так казачество очень обеднело, причем количество казаков было установлено не более шести тысяч *. Даже сын казацкий должен был делать барщину и платить денежный оброк. Все это казаки терпели.

А крестьяне, хотя было изобилие хлеба, скота, пасек, страдали от непривычного на Украине произвола старост, наместников, арендаторов. Сами держатели имений не жили на Украине, только пользовались должностями, поэтому мало знали о притеснении простых людей. А если и знали, то их ублажали подарками старосты и евреи-арендаторы, и те не понимали, что их кожу смазывают их же собственным салом: содрав с их крепостных, им дарили то, что непосредственно сам пан мог взять у своего крепостного, и не так жаль тому было бы. А то ведь любой негодяй, любой арендатор обогащался, справлял себе по нескольку выездных упряжек лошадей, незаконно вводил большие оброки, дани от волов, от хлеба, оплаты за жернова, за свадьбы и всякие другие, отнимал усадьбы. Однако напали на такого человека, что, отняв у него пасеку, наделали беды всей польской стране. А было это так.

В городе Чигирине жил сотник Богдан Хмельницкий, хорошо знавший казацкое военное дело и в письме умелый, часто бывавший посланцем на королевский двор. И вот будучи у короля вместе с видным казаком Иваном Илляшем * (а к тому Илляшу его милость король благо-

---

Замок в Суботове во времена Богдана Хмельницкого. Реконструкция искусствоведа Г. Н. Логвина.



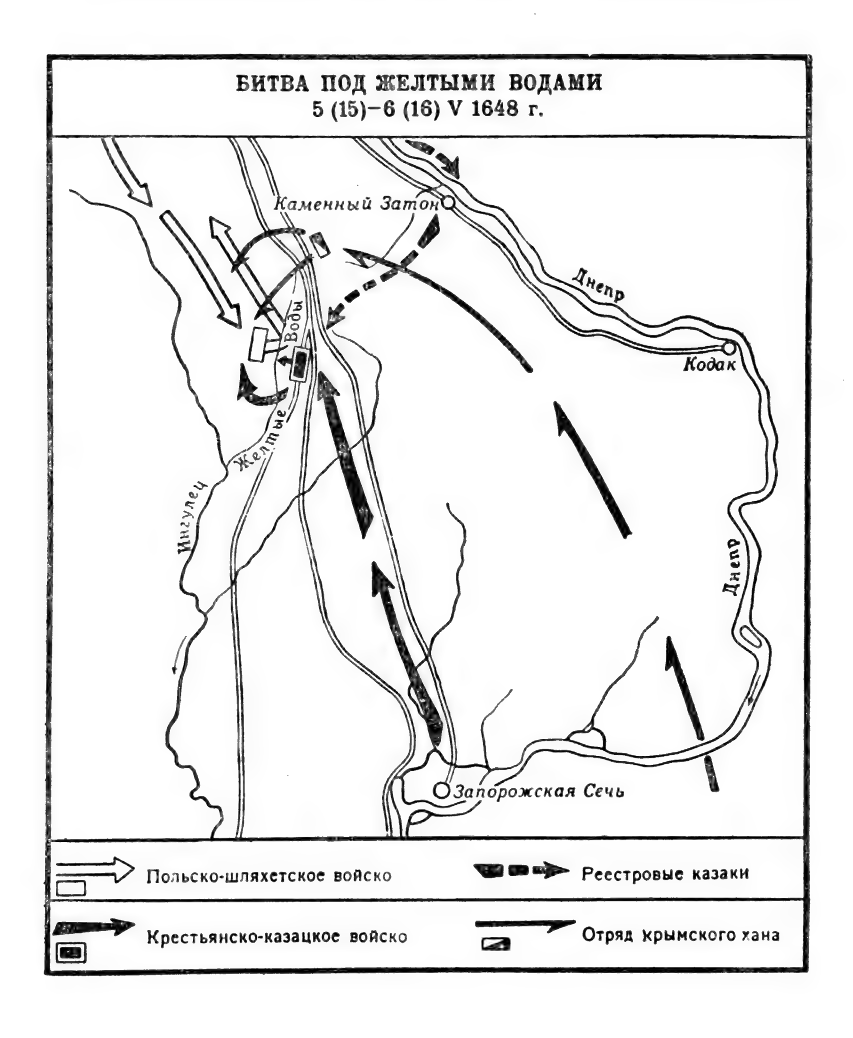
волил), добились получения, без ведома коронных гетманов, грамоты или привилегии с разрешением делать лодки для похода на море. И, получив ее, скрывали от полковников в Переяславе. А в то время Чаплинский, бывший чигиринским подстаростой от имени Конецпольского, отнял у вышеупомянутого Хмельницкого хутор * с пасекой и мельницей в урочище Суботове, в полтора милях от Чигирина, и из-за этого хутора возникла ссора Хмельницкого с подстаростой. Хмельницкий, когда у него насилием отобрали наследственное имение, попытался хитростью получить королевскую привилегию казакам на изготовление лодок. Это удалось, когда был в гостях у него тот Илляш, армянин переяславский. Узнав у него, где прятали грамоту, напоил его, взял ключ и послал своего гонца, который и привез грамоту за подписью короля Владислава Четвертого. И с той грамотой Хмельницкий отправился за Пороги и казакам заявил, что имеет привилегию его милости короля на вольности казацкие. И много казацкого войска стало собираться вокруг него. Но так как на Запорожье он не мог оставаться из-за гарнизона, который тогда там пребывал вместе с ляшскими полковниками и солдатами, пошел на Низ * к морю, на поля к Лиману *. Туда к нему войско сходилось, убегая от ляшских полковников. В те поля полковники посылали своих людей, чтобы Хмельницкого разгромили и схватили, но он всех посланных ляхами разбил, а казачество пристало к нему. И так Хмельницкий, видя, что уже поссорился с ляхами, и жалея своего имущества и земель, отправил посланцев к хану крымскому, предлагая договор и союз, чтобы они ему помогали громить ляшские войска. На это крымский хан со своими солтанами * и ордами согласился с радостью и послал своих знатных мурз на Низ, где обе стороны взаимно присягнули. Сразу же хан послал Тугай-бея с большой ордой * к Хмельницкому. С этой ордой Хмельницкий подступил к Запорожью *, и к нему перешло все бывшее там войско, и Хмельницкого приняли себе за старшего.

Сама война 1648 года

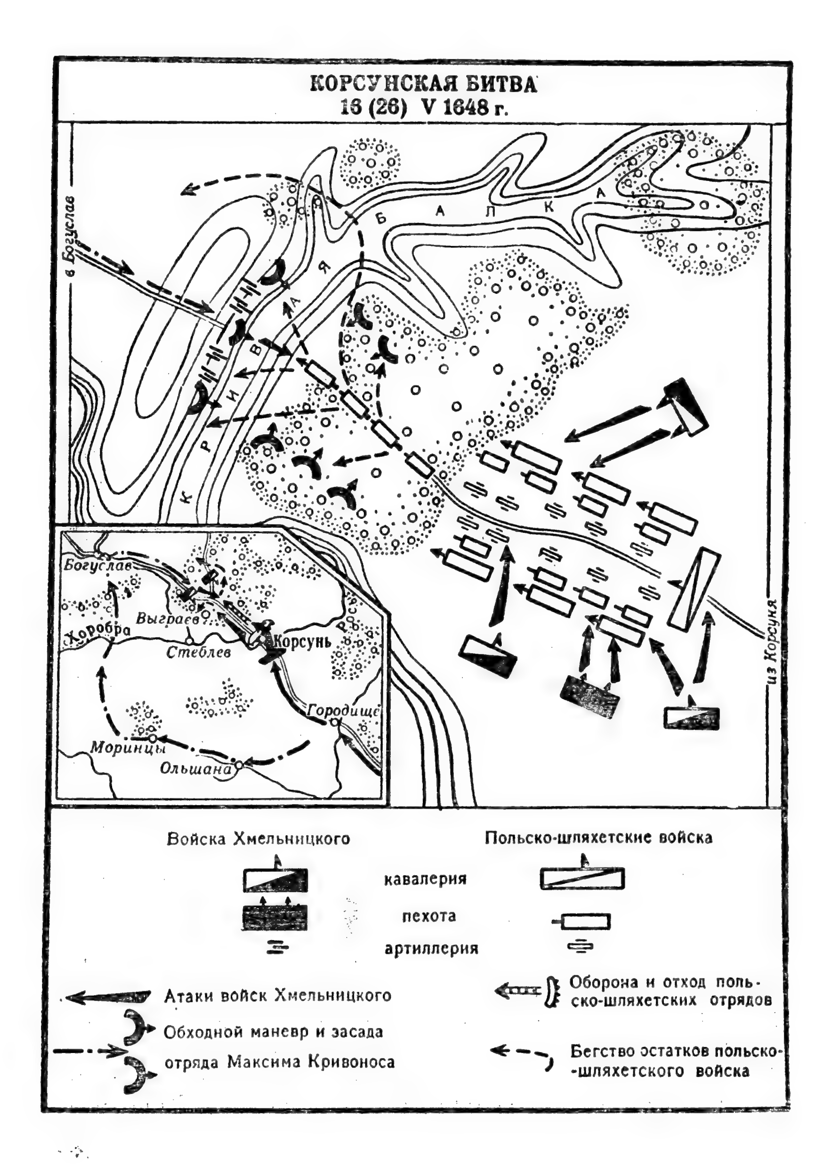
В начале того же года гетман коронный * Миколай Потоцкий и гетман польный * Калиновский, получив известие от казацкого комиссара *, что уже немалое количество войска пристало к Хмельницкому и собралось на Запорожье, сразу со всем коронным войском прибыли на

Украину к городу Черкасам и, проведя там праздник воскресения Христова, собрали все казацкое войско с их полковниками и велели казакам присягнуть, что не изменят своим полковникам и не пристанут к Хмельницкому. Тотчас после пасхи коронные гетманы выслали немало войска по Днепру в лодках, посадив вместе с казаками и немецкую пехоту. А по суше, полем гетман Потоцкий послал сына своего Стефана с казацким комиссаром, а с ними коронного войска шесть тысяч. А казацкого вой-

---



ска — тех, что отправились лодками, и тех, что были при комиссаре, вместе было тоже шесть тысяч. Им было приказано идти прямо на Запорожье, к Сечи, разгромить Хмельницкого либо осадить его войско. И сами гетманы



с коронными войсками, военным обозом и пехотой медленно двинулись вслед за ними. Хмельницкий, получив известие о движении коронных войск, не дожидался, пока придут на Запорожье, а, переправившись вместе с немалым татарским войском, пошел им навстречу. И, встретив в полях, у урочища Желтые Воды *, окружил каштелянича Стефана Потоцкого и казацкого комиссара с их войсками. А войска, которые шли по Днепру в лодках, миновав города, но не дойдя еще до порогов, бывших при них старшин и немецкую пехоту перекололи и побросали в Днепр. И отправили своих посланцев к Хмельницкому, и тот послал за ними своих людей и орду, а ордынцы, взяв их на своих коней, привезли на Желтые Воды, где все вместе воевали с коронным войском. Казацкое войско, бывшее при том коронном войске, увидев, что уже и то войско, которое шло водой, действует вместе с Хмельницким и ордой, также само пристало к Хмельницкому и орде и начало биться с польскими солдатами. Бой длился беспрерывно несколько дней *, и войско, окруженное в степи, не смогло выдержать и, обороняясь, двинулось табором к Княжьим Байракам, отступая к городам. Но в отступлении их постигла неудача, так как, не допустив к Княжьим Байракам, орда и казаки начали разрывать их табор. А в Княжьи Байраки вошла пехота казачьего войска, выкопала рвы, подойдя к которым табор польского войска смешался, и там все то войско было разбито, забрано в татарскую неволю. И комиссар казацкий был взят, и каштелянич Стефан Потоцкий, который молодым кончил свою жизнь на Запорожье: Хмельницкий, не отдавая его орде, отослал на Запорожскую Сечь, и там тот умер от ран. Другие же господа пошли в татарскую неволю. А коронные гетманы, великий и польный, со всей большой их силой, шли на Чигирин вслед за тем войском ему на подкрепление. Но после разгрома польского войска у Княжьих Байраков некоторые, убежавшие с того погрома, сообщили, что уже некому идти на помощь, так как войско уничтожено полностью. Тогда коронный гетман, краковский каштелян * Миколай Потоцкий и гетман польный Калиновский со своими войсками пошли обратно к городам, не на Чигирин, а прямой дорогой назад к городу Корсуню. Наступая на них, следовал Хмельницкий с немалой ордой. Гетманы, переправившись через реку Рось в Корсуни и опустошив окраины города, миновали Корсунь. Настигнув их сразу же, Хмельницкий дал бой за Корсунем,

гетманы, обороняясь, стали отступать к полям у Росавы. Пришлось им продвигаться лесами на расстоянии мили от Корсуня, но Хмельницкий приказал направить в те перелески пехоту — корсунских казаков, которые перекопали дорогу и засели там, не допуская прохода ляшского войска. А Хмельницкий, наступив с войсками и ордой с тыла и флангов, разгромил, с божьего допущенья, это войско. Гетманов обоих — великого коронного и польного — взяли в неволю и все войско уничтожили так, что мало кому удалось уйти от того разгрома. Там орда взяла несметную добычу: коней, сбрую, больше же всего невольников — знатных господ и простых солдат. А казаки настолько обогатились за счет польского обоза и магнатов, что серебро продавали по дешевой цене. Это сражение под Корсунем было на следующей неделе после троицына дня *.

Пошел слух по всей Украине о похвальбе шляхтичей, что после усмирения своевольников во главе с Хмельницким будут опустошать Украину и большую часть заселять немецкими и польскими людьми. Также русская вера * много страдала от униатов и ксендзов. Не только в Литве и на Волыни, но и на Украине начала брать верх уния. В Чернигове архимандриты следовали один за другим *, в других городах запечатывали церкви с помощью шляхтичей, администрации и ксендзов: на Украине к тому времени что ни город, то и костел уже был. Также и в Киеве немалое притеснение древним божьим церквам творили бывший тогда киевским воеводой Тышкевич *, а также иезуиты, доминиканцы, бернардинцы и другие монашеские ордена. Они притесняли митрополита нападениями и судебными тяжбами, запрещали просвещение и школы, христианскую веру считая не лучше языческой: больше уважали любого плохого еврея, чем самого видного христианина-русина. Больше же всего насмешек и притеснений терпел русский народ от тех, кто перешел из русской веры в римскую.

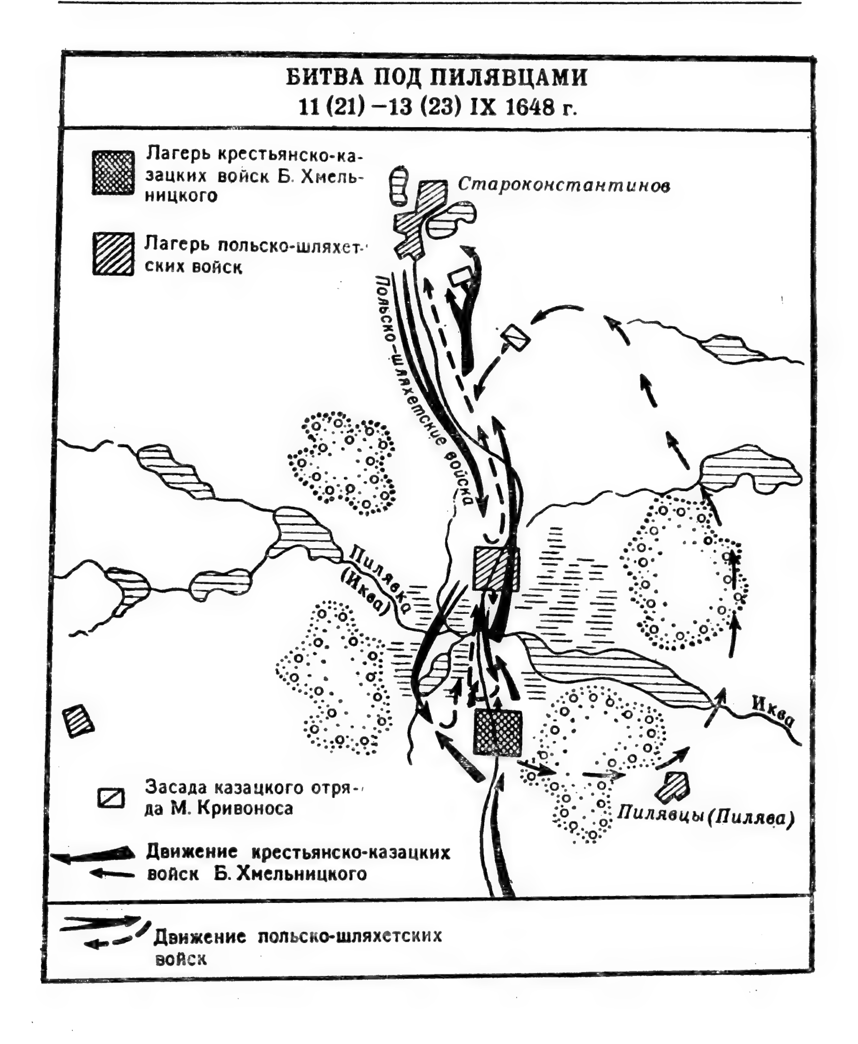
Простые люди на Украине, прослышав о разгроме коронных войск во главе с гетманами, сразу же начали собираться в полки, не только те, которые бывали казаками, но и те, кто никогда не знал казачества. Видя это, держатели имений на Украине, не только бывшие по городам старосты, но и сам князь Вишневецкий, которому подвластно было почти все Заднепровье* и который имел при себе от десяти до двадцати тысяч наемного войска, кроме драгунов и солдат-выбранцев (их он множество

установил по городам из числа своих подданных), должен был бежать и уходить из Украины, из своих городов вместе с княгиней и сыном Михаилом, который впоследствии стал польским королем.

Хмельницкий уже после разгрома коронных войск официально принял звание гетмана по просьбе всего казацкого войска. До того он гетманом себя не именовал, пока не взял в свои руки войсковые знаки обоих коронных гетманов — булавы и бунчуки. Его поставило гетманом все войско и упросило принять этот чин. Сразу же казаки разошлись по разным городам, установив себе полковников и сотников. Где только нашлись шляхтичи, замковые слуги, евреи, городские власти — везде их убивали, не жалея жен и детей, грабили имения, жгли и разрушали костелы, опустошали шляхетские замки и усадьбы, еврейские дворы, не оставляя ни одного. Редко кто тогда не обагрил рук кровью и не принимал участия в грабежах имений. И в то время значительным людям всех сословий была печаль великая и наругание от простых людей и больше всего от своевольников, то есть от работников пивоварен, винокурен, селитренных и поташных промыслов, от наймитов, пастухов. Если кто-либо из людей значительных и не хотел приставать к тому казацкому войску, все же был вынужден это делать, чтобы избежать надругательств и нестерпимых бедствий — побоев, лишений в напитках и еде. И им приходилось идти в войско к тому казачеству. Осаждали шляхтичей, закрывшихся в замках в городах Нежине, Чернигове, Стародубе, Гомеле. А взяв замки, вырубили шляхтичей, — сначала они, устрашившись, повыдавали евреев с их имуществом, а потом и самих шляхтичей похватали и вырубили. И многие из евреев в то время, боясь смерти, приняли христианскую веру, но потом, выждав время и убежав в Польшу, остались иудеями, и редко кто из них остался христианином. И так на Украине не осталось ни одного иудея, а шляхетские жены стали женами казацкими. Также и по той стороне Днепра, по самый Днестр было такое же опустошение замков, костелов, усадеб шляхетских и дворов еврейских. Городских властей и шляхтичей — везде их погубили. Больше всего евреев пропало в Немирове и Тульчине — несметное множество.

Ордынцы, обогатившись значительным ясырем из того коронного войска и взяв обоих гетманов, оставив небольшую часть орды, возвратилась в Крым, уводя гетманов Потоцкого и Калиновского и множество знатных панов,

плененных при том разгроме. А Хмельницкий, сосредоточив войско, пошел из Украины по направлению к польским городам. Прибыв под Пилявцы, не доходя Константинова Великого, встретился с коронным войском под командованием князя Доминика Острожского и пана Сенюты*, которого было неисчислимое множество. Также и казацкого войска при гетмане Хмельницком было более ста тысяч, и их коронное войско сдерживало, так что чуть ли не в осаде оказались казаки. Но Хмельницкий



нисколько не беспокоился, так как послал за помощью в орду. И как только орда прибыла в большой силе, сразу же потревожили коронное войско, и так орда с казаками то войско разгромили, что пришлось ему бежать к Великому Константинову, оставив обоз, с одними боевыми телегами. Как и ранее, также это досталось в руки казаков и татар, так как они рубили тех, кого догнали по дороге, а которые пришли к Константинову, проложили мост под самым городом, но, утратив переправу, должны были там погибать. А и те, кто вошел в Константинов, там не удержались, и в Польшу ушли разрозненные остатки разгромленного войска. А многие из панов и шляхтичей попали в неволю, многих же вырубили, так как орда не брала в плен, чтобы не отягощаться.

И так Хмельницкий со своими войсками и татарами, то есть с большой ордой, пошел прямо ко Львову, опустошая все города. И, подступив под Львов, опустошили окрестности, только сам город Львов дал выкуп за себя * орде и Хмельницкому. Оттуда же Хмельницкий со всеми своими силами двинулся под Замостье, и, стоя там, орда с казаками по самую Вислу воевали, также на Волыни взяли крупные города: Острог Великий, Заслав, Луцк, Владимир, Кобрин и даже Брест Литовский. <...> И такое опустошение в тот год продолжалось от Петрова поста до Филиппова поста, пока Хмельницкий оставался под Замостьем. Ведь господь бог за грехи покарал ту страну такой тяжелой войной, отнял у нее счастливо правившего короля Владислава, который умер в начале этой несчастной войны, выехав из Вильнюса в Мерече. И не смогли паны сенаторы предотвратить раздор соглашением, но, прибегнув к войне, сами стали ее жертвой. Только увидев столь большие потери шляхтичей, крупных панов, войска и подданных, начали думать о короле для себя и избрали на польское королевство Яна Казимира, родного брата умершего короля Владислава. Он, став королем, послал гетману Хмельницкому письмо, убеждая его, чтобы перестал опустошать государство. В ответ на письмо королевское Хмельницкий возвратился на зиму на Украину * к Чигирину. <...>

В тот год была очень большая саранча по всей Украине, она принесла огромный урон, поедала хлеба и травы так, что не было где косить сено. А зима была очень суровая, и не было чем кормить скот. Саранча эта осталась на зиму на Украине, и с ее икры весной наплодилась новая; все это привело к большой дороговизне.

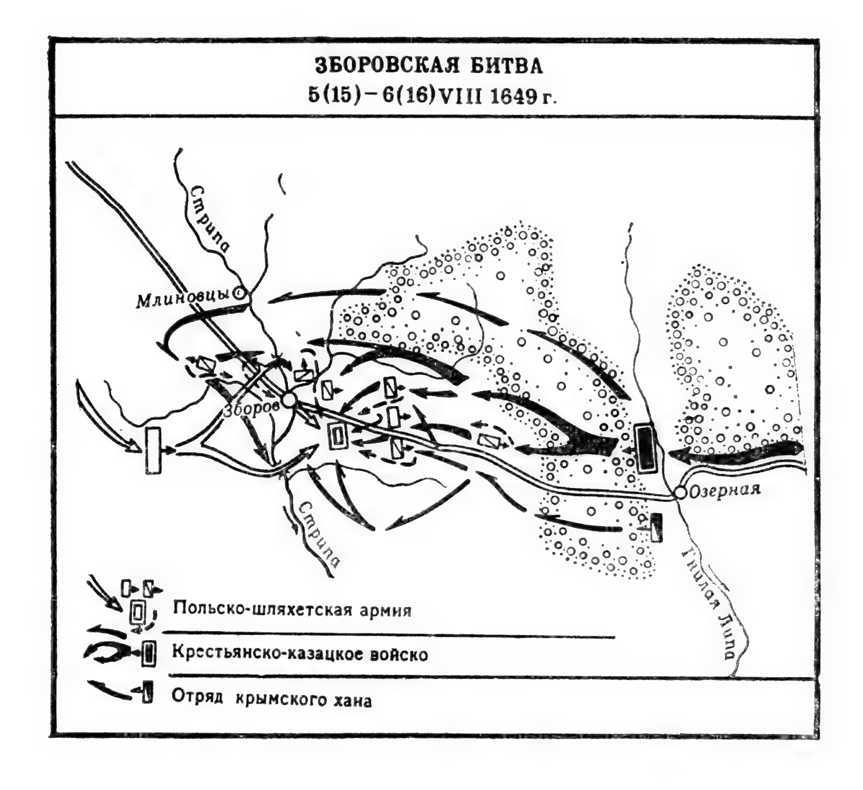
В начале 1649 года

На рождество Христово послал его милость король своих великих послов — князя Четвертинского и воеводу киевского Адама Киселя, благочестивых панов, вместе с другими панами к гетману Хмельницкому и всему войску запорожскому. По причине их прибытия созвал гетман Хмельницкий раду в Переяславе и приехал туда после рождества Христова со всеми полковниками и сотниками. И там, в Переяславе, на той раде передали паны послы грамоту на вольности, и булаву, и бунчук, и знамя, и бубны, и войсковые знаки от его милости короля, желая утихомирить ту войну. Там же и послы короля венгерского были на той раде: быстро по всем землям пошла слава о казаках и Хмельницком, так что разные монархи предложили дружбу и подарки присылали— послы от его царского величества из Москвы, от господарей Молдавии и Валахии стали прибывать с большими дарами. Это гетмана Хмельницкого побуждало к большему ожесточению и к гордыне, и поэтому не пошел он на справедливое соглашение с польским монархом как своим господином, а, приняв от великих послов его милости короля те войсковые клейноды * и большие подарки, отправил послов с честью, обещая все сделать по желанию его милости короля и ту войну оставить, только лишь чтобы оставаться при старинных своих казацких вольностях. Но сразу же отправил своих послов в Крым, приглашая самого хана со всеми ордами. <...>

Начинается Збаражский поход 1649 года

Уже весной Хмельницкий, отменив дружбу и договор с польским королем, привлек самого хана с великой силой татарской и собрал свое несметное казацкое войско. Были в том войске полки: полк Чигиринский, полк Черкасский, полк Корсунский, полк Каневский, полк Лисянский, полк Белоцерковский, полк Паволочский, полк Уманский, полк Кальницкий, полк Могилевский, полк Животовский. Даже за Днестром, около Галича, тоже причисляли себя к казакам, и там они брали штурмом замки, в том числе Пневский замок за Надворной. А в здешних краях показачились все волости и города, кроме одного только Каменца-Подольского. За Старым Константиновом было казачество в Шульжинцах, Грицеве, Чорторые; в Овруче был отдельный полковник, которому

было подвластно все Полесье. А из Заднепровья прибыли к гетману Хмельницкому такие полки: полк Переяславский, полк Нежинский, полк Черниговский со всей Северью по Гомель, Дроков и Мглин, полк Прилуцкий, полк Ичнянский, полк Лубенский, полк Ирклиевский, полк Полтавский, полк Зиньковский. Все эти полки были с гетманом Хмельницким, а в них — несметное количество войска: некоторые полки имели казаков более двадцати тысяч. Что село, то и свой сотник, а в иных сотнях было и по тысяче людей. Так все живое поднялось в казачество, вряд ли можно было в любом селе найти человека, который не пошел в войско сам либо сын его, а если сам недомогал, то слугу посылал. А часто все шли со двора, сколько их было, так что трудно было найти батрака. <...> Даже в городах присяжные, бургомистры и советники оставляли свои должности, брили бороды и



шли в то войско: там считали бесчестием, если бы кто был небритым в войске. Так дьявол подшутил над степенными людьми.

И вот Хмельницкий в начале поста святых апостолов Петра и Павла собрал на Черном шляхе, за Животовом, эти полки и, соединившись с крымским ханом, двинулся под Межибож, где польское войско осаждало казаков. Солдаты, узнав о столь больших казацких и татарских силах, оставили Межибож, бежали (но орда их догнала) и вошли в Збараж. Гетман Хмельницкий со всеми силами двигался прямо на стоявшее под Збаражем обозом многочисленное коронное войско, которым командовал князь Иеремия Вишневецкий. Когда Хмельницкий прибыл к Чолганскому Камению, то, оставив обоз идти медленно, вместе с ханом двинулся верхом. Польское войско у Збаража взяли в осаду в сам день святых апостолов Петра и Павла. Когда подошел обоз, стали штурмовать польское войско, которое было вынуждено, оставив окопы, занять позиции непосредственно вокруг замка и в городе. Их держали в осаде до Успенья Богородицы, но город не был взят. А было там весьма тяжело, пришлось есть падаль, мало того, собак и кошек поели.

А его милость король Ян Казимир стоял с сенаторами под Топоровом и, собрав посполитое рушенье *, двинулся со всеми своими силами на помощь войску, оставшемуся в осаде в Збараже. Получив об этом надежное известие, гетман Хмельницкий, оставив в осаде збаражское войско, отправился с конницей и ханом напротив его милости короля, и встретились они под Зборовом — к тому времени вышло из Зборова войско и сам король. И когда войско встретилось с войском, большой урон нанесли ордынцы коронному войску, так что оно еле удержалось и отступило обратно в Зборов. И там осадили его милость короля, и без малого до того не дошло, что могли захватить его, так как уже не было откуда ожидать помощи; можно было если не приступом, то голодом их одолеть. Однако и гетман Хмельницкий того не желал, чтобы христианский монарх попал в неволю и в руки басурман *. И так между собой начали переговоры и за два дня пришли к соглашению, что за Случью на Украине не должно быть польских солдат. <...> И после того трактата, взяв в залог в свое войско крупных панов, Хмельницкий побывал сам у его милости короля в Зборове, где ему оказали почести, вручили да-

ры и на следующий день отпустили к войску. И так его милость король повернул обратно к Львову, а Хмельницкий прибыв под Збараж, приказал войскам выйти из окопов и уже не воевать с коронным войском. И от его милости короля прибыли посланцы к князю Вишневецкому и при гетмане Хмельницком всему тому войску, оставшемуся в осаде в Збараже, объявили о том договоре. <...>

В 1651 году

Зимой польские солдаты начали провоцировать войну, так как стали нападать на казацкие гарнизоны и собирать войска. Узнав об этом, Хмельницкий приказал полкам сосредоточиться, а сам после рождества Христова прибыл в Ставища, войска же стали в разных городах в ближних уездах, около реки Бога. И так оставались до весны, пока не прибыл из Крыма хан с ордами. А как только хан явился, тогда Хмельницкий со всей силой пошел против его милости короля. А король стоял под Берестечком, и там же были все его войска и посполитое рушенье. Прибыв туда, Хмельницкий в первую неделю Петрова поста дал крепкий бой королевскому войску *. Но как пристало дружить волку с бараном, так и христианину с басурманом. Хан крымский пришел к какому-то согласию с его милостью королем, и, когда войска вступили в бой, сразу же хан ушел с ордами, оставив одних казаков. Видя это, Хмельницкий с писарем бросились к хану, уговаривая его, но это не удалось — тот ушел прямо под Ожоговцы, более десятка миль, и там остановился. Поскольку сам хан не захотел возвращаться, по просьбе Хмельницкого он дал в помощь казацкому войску более десяти тысяч ордынцев во главе с мурзами. С ними пошел и сам Хмельницкий. Но это была неискренняя дружба: татары только подошли к реке Пляшевой, на расстояние более мили от войска, и возвратились. С ними пришлось уйти и Хмельницкому, оставив войско, все знаки войсковые и орудия, так что при Хмельницком было не более тридцати конных казаков. А хан ушел в свою землю, оставив только около двадцати тысяч ордынцев с мурзами. Не доходя до Старого Константинова, Хмельницкий с малым числом людей повернул к Грицеву и на Любар. При нем всего оставалось казаков, ушедших от ханской орды, семьдесят человек.

Так он пришел к несчастью после столь большого счастья. Больше всего ему повредила враждебность татар, и, чтобы избежать опасности, сам Хмельницкий не доверял татарам. Отходя от Любара и проезжая различные города, многих казаков заставал там в гарнизонах, в том числе тех, которые оставались в городах, так как, опасаясь татар, не смогли дойти до войска, а также горожан, назвавших себя казаками. Всем им пришлось отступать с Хмельницким на Украину, опасаясь своих панов и польских солдат. И все они сходились к гетману Хмельницкому, а он, прибыв к Паволочи, опять начал собирать войско и приказал выгонять оставшихся в городах. А то войско, которое осталось под Берестечком, на протяжении всего поста Петрова день за днем само, без ордынцев, сражалось с коронным войском. И видя, что уже не дает им орда подкрепления и что впредь не будут они иметь помощи, перестали обращать внимание на приказы своих старших, а, снявшись и оставив орудия, пошли прямо через переправы * на Икве и Пляшеве. На тех переправах много казаков погибло. И так то войско без обоза пришло на Украину и, прибыв к Хмельницкому, стало табором под Белой Церковью. <...> А коронное войско с гетманами польным и коронным пошло вслед за казацким войском на Украину и, прибыв под Трилисы, взяли тот город и людей вырубили. А литовское войско со своим гетманом, князем Радзивиллом, прибыв под Лоев, имело сражение со стоявшим там на заставе немалым казацким войском — полками Черниговским и Нежинским. Но они были беспечны, больше пьянствовали, чем стояли на страже, считая себя уже непобедимыми. А когда охрана дала весть, что литовское войско переправляется через Днепр, старший над казаками черниговский полковник Небаба бросился без должного порядка на их регулярное войско, и сразу же то литовское войско его сломило, многих казаков порубили, а самого Небабу, небрежного полковника, казнили. Остальное казацкое войско под командованием нежинского полковника отступило к Чернигову, а за ними князь Радзивилл подступил к Чернигову. Но там он уже ничего не добился, повернул обратно к Любечу и, оставив в городе Любече своих солдат, двинулся на Киев. Прибыв туда, город на Подоле застал он почти пустым, так как вместе с казаками и киевские горожане ушли на судах вниз по Днепру к Переяславу, Черкасам и другим днепровским городам, куда могли пройти байдаками и другими судами.

А киевский митрополит Сильвестр Косов не ушел от кафедры, а оставался при церкви святой Софии, также архимандрит печерский Иосиф Тризна и братия с опасностью для жизни оставались в Печерском монастыре, который сильно пострадал. Произведя опустошения в Киеве, литовское войско пошло под Белую Церковь, где, соединившись с коронным войском, напали на войско гетмана Хмельницкого. Но гетман не растерялся: дал крепкий бой обоим тем войскам, коронному и литовскому, так что много их погибло; казаки им затруднили снабжение водой, а татары — фуражом для коней. И так простояв две недели, приступили к переговорам. <...>

Богдан Хмельницкий. Портрет неизвестного художника по гравюре В. Гондиуса. 1651 г.

В 1652 году

Польские солдаты, пребывавшие на Украине на зимних квартирах, рассчитывая на миролюбие и терпеливость гетмана Хмельницкого, чинили населению большие притеснения и беды по своему солдатскому обычаю: обирали людей, а тех, кто стали казаками, обрекали на смерть. Об этом к Хмельницкому доходили со всех сторон многие жалобы. Увидев, что солдаты относятся к людям все более жестоко, вызвал хана с его ордами. И, не объявляя этого всему войску, взял с собой только полки, находившиеся поблизости Чигирина, и двинулся в степи навстречу орде. А гетман Калиновский, получив известие, что орда уже находится в степях, свои войска, бывшие близ рек Днестра и Бога, собрал и стал за Ладыжином на реке Батоге. К тому же сообщил войску, стоявшему под командованием его брата в Нежине и других заднепровских городах, чтобы как можно скорее поспешили к нему в лагерь. И они быстро двинулись из Заднепровья, совершая немалые притеснения людям, и пошли на киевские перевозы, где перешли Днепр спокойно (так как в Киеве был вместе со своей женой воевода киевский Адам Кисель, который с теми солдатами ушел из Киева. Говорят, что ему посоветовал уйти гетман Хмельницкий, живший с ним как паном благочестивой веры в согласии). Но войско, ушедшее из Заднепровья, не пришло к обозу своего коронного гетмана на Батог, так как Хмельницкий, встретившись в степях с ханом (казацкое войско шло за ним вдогонку), прямо по степям двинулся к коронному войску. И, напав на него с ордой, взял лагерь и войско уничтожил *, там же отрубили гетману Калиновскому голову, которую Хмельницкому принес татарин. Из лагеря польского войска мало кто ушел: те, кто уходили на добрых конях либо лесами пробирались, еще до того пока их татары догнали, уничтожались простыми людьми, не имевшими к ним жалости, за их тиранство и грабительство. <...>

И в том году опять по городам погибло много панов, которые было понаехали в свои имения. Их убивали простые люди, а казаки, ушедшие из своих усадеб, возвращались. <...>

В 1653 году

Когда уже подросла трава, польский король Ян Казимир собрал коронные войска и стал обозом под Ка-

менцем-Подольским. Проведав об этом, Хмельницкий послал за ордой, с которой пошел в поход и хан. И гетман Хмельницкий собрал казацкое войско вместе с ордой и двинулся навстречу королю, оставив под Черниговом часть войска — полки Нежинский, Переяславский, Черниговский — против литовского войска, стоявшего обозом под Речицей. И придал часть орды под командованием нескольких мурз Ивану Золотаренко, своему шурину, бывшему нежинским полковником. А сам гетман Хмельницкий с казацкими войсками и ордами двинулся против короля, которого застал под Каменцем-Подольским *. Когда они там столкнулись, старался польский король всеми силами оторвать от Хмельницкого орду и разорвать их дружбу, давал большие подарки и обещал давать дань хану, только чтобы отступились от казаков. И поскольку тот враг христианской веры рад был бы всех христиан искоренить, начал склоняться к согласию с королем и Речью Посполитой. Увидев это, Хмельницкий отправил своего посла Григория Гуляницкого к его царскому величеству в Москву *, прося дружбы. И, увидев враждебность к себе хана и орды, осторожно отступил от Каменца и Гусятина с войском и без потерь возвратился на Украину, а хан с ордами ушел в свою землю. А Хмельницкий отправил своих послов царскому величеству в Москву, искренне ему подчиняясь.

Начинается война его царского величества. В 1654 году

В начале того года его царское пресветлое величество Алексей Михайлович, всей России самодержец, прислал ближнего боярина и дворецкого Василия Васильевича Бутурлина, с другими боярами и многими стольниками и дворянами, к гетману Хмельницкому великим послом, согласно желанию Хмельницкого и всего войска Запорожского, для принятия решения о пребывании под высокодержавной его царского величества рукой. И в связи с прибытием этих великих послов его царского величества гетман Хмельницкий, созвал в Переяславе съезд всех полковников, сотников и атаманов и сам приехал в Переяслав на день Богоявления Господня *. И там была рада, где все полковники и сотники с бывшим при них товариществом постановили быть под высокодержавною его царского величества рукой, не желая больше никоим образом быть подданными польского короля и бывших

панов и отказываясь принимать к себе татар. О чем на той раде тогда в январе и присягу приняли гетман Хмельницкий с полковниками, сотниками, атаманами и всей войсковой старшиной и получили большое жалованье его царского величества соболями. И сразу по всем полкам разослали стольников в сопровождении казаков, чтобы как казаки, так и войты со всеми людьми дали присягу на вечное подданство его царскому величеству, что и совершил с охотой весь народ по всей Украине. А боярин и дворецкий Василий Васильевич Бутурлин возвратился в Москву к его царскому величеству, и немалая радость настала в народе.

В том же году, сразу весной, его царское величество, оповестив своими послами его милости королю о своих обидах и об угнетении православной веры введением римской веры и больше всего притеснением христиан унией, объявил, что идет войной на короля польского и сам своей персоной царской двинулся из столицы с многими войсками, направляясь под Смоленск, а боярина Василия Васильевича Бутурлина с многими войсками выслал к гетману Хмельницкому. А гетман Хмельницкий послал своего войска полки Нежинский и Черниговский, с которыми пошло добровольно немало казаков других полков, так что из них получилось восемь полков, над которыми вручил наказное гетманство Ивану Золотаренко, дав ему булаву и бунчук. И тот, взяв с собой немало орудий, пошел прямо на Гомель. Застав там большое количество литовских солдат, осадил город и стоял под ним, не имея возможности взять, немалое время. А его царское величество подступил прямо под Смоленск и брал его разными способами. Туда, к его царскому величеству под Смоленск, пришло и казаков много под командованием брата Ивана Золотаренко. И отважно действовали в приступах, по лестницам поднимались наверх на смоленские стены, обронявшиеся немцами; многие казаки, ворвавшись в город, погибли. Видя их отвагу, его царское величество очень их полюбил. А польские солдаты во главе со смоленским воеводой Глебовичем, видя такую большую силу его царского величества и постоянный — днем и ночью — натиск, потеряли надежду и стали просить у его царского величества милосердия, чтобы им оставил жизнь, на что получили согласие. И так сдали город Смоленск, поклонившись, и были в целости отпущены в Литву. А его царское величество поставил в Смоленске своих воевод и ратных людей и,

пересвятив костелы на церкви, освятил также городские стены; при этом освящении его царское величество сам ходил по стенам. И оттуда его царское величество послал ратных людей под Витебск и Полоцк, и они взяли те города по самую границу Курляндии; также и в Друе был поставлен царский воевода. В то же время были взяты Дубровна, Орша, Шклов, Копысь (Могилев же поддался его царскому величеству и там был поставлен воевода, а также полковник Поклонский) и иные многие литовские города — вся Белая Русь. С тех пор в царский титул были добавлены слова: «и Белыя России».

А Золотаренко держал Гомель немалое время в осаде, так что солдаты увидели, что им уже трудно отсидеться, и сдали город Золотаренко. А он, поставив там своих людей, направился под Быхов, присоединяя себе окрестные города. И все присоединились и подчинились ему, только Старый Быхов не сдавался и держался. А Золотаренко во время стояния в Новом Быхове ездил с немалым числом своих казаков к его царскому величеству в Смоленск. Так как наступила осень, его царское величество возвратился во Вязьму и там зимовал, а в Москве был великий мор. А казаки с Золотаренко зимовали в Новом Быхове, а в Старый Быхов пришел с войском гетман литовский Радзивилл и ходил брать Могилев, но, ничего не добившись, возвратился под Новый Быхов сражаться с Золотаренко и казаками. Но и там ничего не добившись, с большими потерями отошел и, поставив крепкий гарнизон в Старом Быхове, возвратился в Литву. А гетман Хмельницкий в том году стоял с войсками, своими и царского величества, под Фастовом, и от его царского величества казакам выплачивали жалованье золотыми копейками весом в полталера. В то же время и медные копейки появились, которые ценой отличались от серебряных. Чеканный талер выпускался с царским знаком, за него брали по шесть злотых.

В том же году очень менялось солнце в среду первой недели Спасова поста. В том же году швед напал на Польшу и забрал многие города, а польский король ушел из Польши в цесарскую землю *.

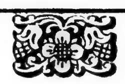
В начале 1655 года

Коронные гетманы после отхода шведского короля на зиму послали в Крым и уговорили хана с ордой, чтобы шел им на помощь истреблять Украину, особенно зимой.

Орда охотно согласилась и пошла большой силой. Также все коронные войска, собравшись, двинулись прямо на Украину со стороны Каменца-Подольского. Получив об этом известие, Хмельницкий сосредоточил казацкие полки и поставил по городам от Умани, а сам с другими полками и войсками его царского величества, над которыми старшим был боярин Василий Борисович Шереметев, с немалым войском стал в Ставищах. Когда же узнал, что польские солдаты и орда приближаются, двинулся из Ставищ к Умани и там, за Пятигорами на Дрижиполе, в степях встретился с ордой и теми коронными войсками, и началась крепкая битва *. Казацкое войско не сосредоточилось, и орда не давала сосредоточиться, осадив гетмана Хмельницкого в степях. И так наступали на Хмельницкого солдаты, что за грудами их трупов казаки устроили лагерь и не только днем, но и ночью бились врукопашную. А когда в казацко-московский лагерь ворвались драгуны, их стали избивать не так стрельбой, как оглоблями от саней; побили многих, мало кто ушел. Хмельницкий после столь сильного трехдневного натиска приказал своему лагерю двигаться и идти прямо на коронный обоз, расставив на свои места пушки и пехоту. Ввиду этого польские солдаты вынуждены были отступать, также и орда, и много погибло татар, за которыми вслед шел Хмельницкий с войском и, прогнав их, стал в Умани. А коронные войска отступили за реку Бог, а другие повернули в Польшу. Основная часть коронного войска держалась на Подгорье. Весной того же года его царское величество с большой силой вышел из Вязьмы и пошел прямо к Вильнюсу и завоевал всю Литву, взял Вильнюс и все города, кроме Слуцка и Быхова. Там, при его царском величестве, были и казаки с Золотаренко, и взяли они очень большую добычу.

А гетман Хмельницкий с войсками своими и его царского величества ходил под Львов и, осадив Львов, взял разные города и Люблин взял *. <...>

А Иван Золотаренко, возвратившись от его царского величества из Литвы, подошел с казацкими войсками под Старый Быхов и держал его в осаде. Там в бою во время стычки его ранили из мушкета в ногу, и от этой раны он умер под Быховом. И вскоре после его смерти, когда тело везли в Нежин, взбунтовалось казачество: чернь восстала на своих старших, желая старшину избить; но старшина, собравшись, многих из черни обезглавила. <...>



ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ ПАВЛА ХАЛЕБСКОГО (АЛЕППСКОГО)

На другой день поутру, в субботу 10 июня (1654 г.), мы подъехали к берегу великой реки Днестра, которая составляет крайний предел страны молдавской и начало границы страны казаков *. Мы переправились через реку на судах. Наш владыка патриарх был одет в мантию и держал в правой руке крест, ибо, по существующему в странах казацкой и московской обычаю, благословлять можно не иначе как только с крестом. В левой руке он держал серебряный посох. Накануне этого дня, по принятому обычаю, наш владыка патриарх известил письмом о своем прибытии. Высадившись на берег, мы подняли деревянный позолоченный крест, заказанный нами в Молдавии, на высоком красном шесте; его нес один из священников, по принятому в стране казаков обычаю; здесь только пред патриархом носят крест на шесте. Навстречу ему вышли тысячи народа, в несметном множестве (бог да благословит и умножит их!). То были жители города по имени Рашков. Это очень большой город, построенный на берегу упомянутой реки; в нем есть крепость и деревянный замок с пушками. В числе встречавших были: во-первых, семь священников в фелонях с крестами, ибо в городе семь церквей, затем дьяконы со многими хоругвями и свечами, потом сотник, то есть начальник крепости и города, войсковой атаман, войско и певчие, которые, как бы из одних уст, пели стихиры приятным напевом. Все пали ниц перед патриархом и стояли на коленях до тех пор, пока не ввели его в церковь. В городе никого не оставалось, даже малых детей: все выходили ему навстречу. Нас поместили в доме одного знатного человека.

Накануне четвертого воскресенья по пятидесятнице *

мы отстояли у них вечерню, также утреню поутру, а затем обедню, затянувшуюся до полудня. Тут-то впервые настало для нас время пота и труда, ибо во всех казацких церквах до земли московитов вовсе нет сидений, даже для архиереев. Представь себе, читатель: они стоят от начала службы до конца неподвижно, как камни, беспрестанно кладут земные поклоны и все вместе, как бы из одних уст, поют молитвы; и всего удивительнее, что во всем этом принимают участие и маленькие дети. Усердие их приводило нас в изумление. О боже, боже! как долго тянутся у них молитвы, пение и литургия! Но ничто так не удивляло нас, как красота маленьких мальчиков и их пение, исполняемое от всего сердца, в гармонии со старшими.

Начиная с этого города и по всей земле русов, то есть казаков, мы заметили возбудившую наше удивление прекрасную черту: все они, за исключением немногих, даже большинство их жен и дочерей, умеют читать и знают порядок служб и церковные напевы; кроме того, священники обучают сирот и не оставляют их шататься по улицам невеждами.

Как мы приметили, в этой стране, то есть у казаков, бесчисленное множество вдов и сирот, ибо со времени появления гетмана Хмеля * и до настоящей поры не прекращались страшные войны. В течение всего года, по вечерам, начиная с заката солнца, эти сироты ходят по всем домам просить милостыню, распевая хором гимны пресвятой деве приятным, восхищающим душу напевом; их громкое пение слышно на большом расстоянии. Окончив пение, они получают из того дома, где пели, милостыню деньгами, хлебом, кушаньем или иным подобным, пригодным для поддержания их существования, пока они не кончат ученья. Вот причина, почему большинство из них грамотно. Число грамотных особенно увеличилось со времени появления Хмеля (дай бог ему долго жить!), который освободил эти страны и избавил эти миллионы бесчисленных православных от ига врагов веры, проклятых ляхов.

А почему я называю их проклятыми? Потому что они выказали себя гнуснее и злее, чем лживые идолопоклонники, мучая своих христиан, думая этим уничтожить самое имя православных. Да увековечит бог царство турок во веки веков! Ибо они берут харадж * и не вмешиваются в дела веры, будет ли она христианская или нусайритская, еврейская или самарянская *. Но эти проклятые не до-

вольствовались хараджем и десятиной с братьев Христа, которых они держали в рабстве, а отдавали их во власть врагов Христа, жестоких евреев, как мы впоследствии об этом расскажем по достоверным данным. Они не только препятствовали им строить храмы и удаляли священников, знающих тайны веры, но даже совершали насилие над их благочестивыми и непорочными женами и дочерьми. Бог, видя их надменность, коварство и жестокость к их братьям христианам, послал на них своего верного служителя и раба Хмеля, который отмстил им, нанес решительный удар их кичливой гордости и их несчастием порадовал врагов их, подверг их унижению и презрению, как мы впоследствии расскажем обо всем, их касающемся.

Возвращаемся к рассказу. По их исчислению, нам предстояло проехать от этого Рашкова, границы государства казаков, до Путивля, начала пределов московских, около 80 больших казацких миль. В этих странах длина дорог измеряется милями, а миля у них тянется на расстояние более трех часов быстрой езды верхом или в экипаже со скоростью, большей скорости гонца. Так мы всегда и ездили, по принятому у них обычаю. Польская, или казацкая, миля равняется пяти малым милям нашей страны. Эти 80 миль составляют протяжение земли казаков от юга к северу, как мы это впоследствии объясним.

Мы выехали из Рашкова в упомянутое воскресенье после полудня с десятью казаками, назначенными нас проводить. Сделав около двух больших миль, к вечеру прибыли в другой город, по имени Дмитрашевка. Мы спустились по склону в большую долину, где встретила нас немалая толпа людей из города, которые помогли нашим экипажам подняться на гору, на которой расположен город. Тысячи тысяч его жителей (да благословит и умножит их бог!) вышли нам навстречу; тут были, во-первых, семь священников семи церквей города с хоругвями и свечами, затем старейшины города и войско. <...> Когда процессия к нам подошла, наш владыка патриарх, из благоговения к крестам и иконам, вышел из экипажа. По обыкновению, мы надели на него мантию и собрались все вокруг него, поддерживая его полы. После того как он, приложившись к иконам и крестам, преподал всем благословение, они пошли впереди него, при звучном хоровом пении, которое — а всего более пение мальчиков — колебало гору и долину. Когда мы поднялись в го-

ру и, войдя в ворота городской стены, пошли по улицам города, то увидали многие тысячи мужчин, женщин и детей в таком несметном количестве, что пришли в изумление от их множества (бог да благословит и умножит их!). В то время как наш владыка патриарх проходил мимо них, все падали ниц перед ним на землю и оставались в таком положении, пока он не прошел, и тогда только поднимались. Умы наши поражались изумлением при виде огромного множества детей всех возрастов, которые сыпались как песок. Мы заметили в этом благословенном народе набожность, богобоязненность и благочестие, приводящие ум в изумление. Так мы дошли до церкви св. Димитрия, в которую нас ввели. Протоиерей вошел в алтарь и возгласил: «помилуй нас боже» и пр., поминая имя христолюбивого царя Алексея, царицы Марии и детей их; потом имя патриарха антиохийского и своего митрополита Сильвестра. При каждом возгласе все в церкви присутствовавшие пели хором трижды: «Господи помилуй!» Протоиерей окончил молебствие. Нашему владыке патриарху поднесли святую воду, и он окропил ею церковь и предстоящих, а потом брызнул и на всех остальных. С пением и свечами они пошли впереди нас и проводили до дома протоиерея, где нас поместили. Вечером дети-сироты, по обыкновению, ходили по домам, воспевая гимны; восхищающий и радующий душу напев и приятные голосы их приводили нас в изумление.

Что касается упоминания в молитвах во всех этих землях русов, то есть казаков, московского царя Алексея, то причина этому та, что в нынешнем году казаки, в согласии с гетманом Хмелем, присягнули царю и подчинили ему свою землю *.

До сего времени хан и татары были в союзе с гетманом Хмелем и действовали с ним заодно в войне против ляхов. Во время праздников прошлого Богоявления у ляхов было в сборе до 200 000 войска, а у гетмана Хмеля было более 300 000, да хан имел более 120 000. Союзники напали на ляхов и с божией помощью одержали победу *. Окружив их со всех сторон и замкнув в средине, они отрезали подвоз к ним съестных припасов. Говорят, что только от голода умерло их около сорока тысяч. Затем казаки и татары со всех сторон ринулись на них, смяли их полчища и действовали мечом до тех пор, пока не устали и не надоело им. Огромная добыча досталась обоим союзникам, а татары сверх того захватили бесчисленное множество в плен живьем. Никто из ляхов

не спасся, кроме тех, кому суждено было долго жить, и эти вместе со своим кралем, то есть государем, бежали в свою столицу, называемую Краков, построенную из камня и окруженную семью стенами, где и укрепились. Хмель с ханом преследовал и осадил их. Рассказывают, что король и польские вельможи, видя, что положение их безнадежно и что они, восемь лет воюя с Хмелем, не имеют сил и средств его одолеть, решились послать к хану и обещали ему и татарам 200 тысяч динаров, только бы он оставил Хмеля и, вместо того чтобы быть с ним заодно, стал против него. Хан, получив такое предложение, согласился, и татары, отделившись от Хмеля, ушли в свою землю, уведя с собою в плен из земли казаков до 10 000 человек. Когда Хмель удостоверился в случившемся, то пришел в сильное негодование и, не видя другого прибежища, кроме московского царя, послал к нему некоторых из своих вельмож, прося и умоляя его, из любви к православной вере, принять его под свою руку и не дать врагам издеваться над ним. С самого начала своей деятельности гетман обнаруживал храбрость и ум, имел чин сотника и по наследству от предков пользовался для своего пропитания доходами одного города. Прежний польский король питал к нему сильную любовь и, кроме собственнаго его имени Зиновий, назвал его еще Хмелем, что на их языке значит ловкий *.

Вся эта страна, называемая Малой Русью, с давних пор и по настоящее время управлялась своими государями. По свидетельству истории, жители ее в правление греческого императора Василия Македонянина были обращены через него в христианство. Государем их в то время был Владимир, а столицей город Киев, и они составляли независимое государство. Но так как ни одному народу невозможно вечно сохранять свою независимость, всеславный творец отдавал один народ во власть другому для его искоренения, как это происходит с древних времен и по настоящее время. Рассказывают, что этот народ, то есть ляхи, вышел из земель франкских и завоевал все эти страны; доказательство этому ясное: лях по-латыни значит лев (а имя страны ляхов на латинском языке Полония). По этой причине печать их короля, а равно и печати их страны носят изображение льва и, кроме того, орла. Оттого же они чеканят монету «грош собачий» с изображением льва в соответствие сво-

ему имени, и свой злотый с изображением двукрылого орла. Они хвастают этим, говоря: «мы сыны Александра и его потомков», и еще по настоящее время украшают себя и своих коней крыльями больших птиц *. Все это происходит от их заносчивости, кичливости и гордости, ибо нет на всей земле народа, равного им по гордости, надменности и высокомерию, как впоследствии это разъяснится из того, что мы расскажем из их истории, если богу будет угодно.

Завоевав эти страны, ляхи, по непомерной своей гордости, не захотели поставить им царя, который бы властвовал над ними, но каждый из них, завоевав и покорив какую-либо землю, становился ее правителем, и так шло от отцов и дедов до сего времени. Над собою они поставили чужестранца и назвали его кралем, то есть большим беем, назначив ему земли для прокормления. Положение его таково, что он не может вершить никаких дел, ни важных, ни малых, кроме как по их совету и приказу. Когда захотят, смещают его и ставят другого по своей воле, но не из своего народа, а чужестранца, дабы он не мог утвердить у них свой род. Такое положение продолжается с того времени доселе.

Потом ляхи овладели множеством городов, увеличив ими свое государство, ибо все окраины его отвоеваны ими от чужих государств. Произошло это потому, что вследствие своего чрезвычайного высокомерия и своей храбрости они победили всех окрестных правителей, навели на них страх и при их помощи завладели частью земель германского государя — он же государь Австрии, именуемый цесарем, — с большим числом городов и крепостей, овладели, как говорят, пятнадцатью городами государства шведского, что близ государств французского и немецкого, частью земли венгерской и вторглись во владения молдавские. Тридцать лет тому назад они завоевали большой город во владениях московского царя, по имени Смоленск, коего область славится своею неприступностью, и покорили его не мечом, а хитростью. Дело произошло так: дед царя, которого иерусалимский патриарх Феофан в свое время рукоположил патриархом над Москвой и который назывался Федором и был переименован Филаретом *, раньше этого поехал к ляхам послом для заключения дружбы от своего сына, царя Михаила; но как ляхи всегда были вероломны и клятва для них ничего не значит, то они держали его у себя заложником до тех пор, пока обе стороны не согласились меж-

ду собою на том, чтобы город этот отдать им, ляхам, и таким средством его избавили от их рук. Словом сказать, они были врагами всем окрестным государям, из которых ни один никогда не нападал на них и не воевал с ними.

Покорив всю страну казаков, они не довольствовались хараджем и десятиной с них, но стали отдавать их во власть евреям и армянам и под конец дошли до насилий над их женами и дочерьми, так что казаки, быв государями и властелинами, сделались рабами проклятых евреев. Это первое. Вторым было то, что издревле у ляхов существовало установление обращать 40 000 казаков в войско, дабы они стерегли их от татар. Однако дело дошло до того, что ляхи совершенно отменили это установние, дабы не оставлять у казаков силы. Затем они все увеличивали свое тиранство, и наконец к заки должны были слушать обращенные к ним речи священников-иезуитов, вернее, езидов *, которые стремились всех православных искоренить и сделать подобно им, франкам, последователями папы. Сорок лет тому назад они дошли до того, что разрушили все их церкви и прекратили у них священство, и довели свое безбожие и тиранство до такой степени, что сожгли митрополита земли казаков вместе с одиннадцатью его епископами и священниками, изжарив их в огне на железных прутьях *, думая этим устрашить и запугать казаков, — нечестие и ужасы, каких не совершали в свое время идолопоклонники.

В эту пору наши братья казаки терпели великие страдания, и смельчаки из них бежали из-под власти ляхов на остров в устье великой реки Днепра, впадающей в Черное море. Тут они построили большую неприступную крепость, в которой стали поселяться и храбрые юноши из чужеземцев, но без женщин, и теперь их собралось около 50 тысяч. Они называются по-турецки тонун-казаки *. Своим промыслом они сделали разбой и грабежи на Черном море.

Между тем все казаки терпеливо сносили притеснения и обиды ляхов и испытывали от них тиранство, подобно перенесенному в свое время мученикам, но не роптали и не обращали на них внимания, в терпении покоряясь определению всевышнего бога.

Лет тридцать тому назад среди казаков появились три брата в одно время * и, поднявшись на ляхов, воевали с ними и разбили их наголову, хотя против братьев собралось множество войска. Они поселились в городе Киеве и построили монастырь. Когда покойный патриарх

иерусалимский Феофан вознамерился ехать в эту страну, они выслали до 5000 казаков, чтобы провести его из Молдавии, и привели к себе с великим почетом и уважением. Он рукоположил тогда для них митрополита, епископов * и множество священников, после чего они отправили его в Московию. Ляхи, не имея силы одолеть этих трех братьев, стали вести с ними дружбу с хитростью и вероломством, пока не подослали отравить всех троих ядом, и, умертвив их, пришли и овладели тем, что захватили у них братья, истребив их войско всякого рода гнусными убийствами. Они превзошли меру в тиранстве и насилии над своими подданными и угнетали их до последней степени. На покойного Феофана, находившегося в Москве, они пылали гневом, и потому он, узнав об этом, отправился по дороге через страну татар и тем спасся от ляхов.

Вскоре затем султан Осман появился более чем с семьюстами тысячами, чтобы отвоевать у ляхов крепость Хотин, которая находится в стороне Молдавии, и известную крепость Каменец, лежащую напротив. Тогда ляхи смирились пред казаками и просили их, обещая жалованье, оказать им помощь и отразить от них султана. Казаки охотно стали воевать с ним, ибо они мощны в битвах, и заставили его уйти назад * с небольшим числом людей, как это хорошо известно. Под конец войско умертвило его. Между ляхами и турками установилась дружба, и последние отдали им крепость Хотин, которой должен владеть господарь Молдавии, но наложили на них ежегодную дань в 70 000 грошей и в 30 000 голов крупного и мелкого скота. Но ляхи этого не выполнили.

За добро, оказанное им казаками, ляхи отплатили еще большими гонениями, рассчитывая этим разрушить их единение. Бог, видя их высокомерие, гордость и клятвопреступление, разгневался на них и воздвиг верного раба своего Хмеля для отмщения им и освобождения избранного своего народа от рабства и неволи ляхам, даровал ему мощь и помог уничтожить их всех мечом и пленением, как сказано: «когда народ превозносится, бог даст над ним власть другому, чтобы искоренить его».

Когда Зиновий, которого король ляхов назвал Хмелем, явился и возымел ревность к вере, но не имел ни силы, ни помощника, ни опоры, то сначала послал просить Василия, господаря молдавского, и Матвея, господаря валашского, помочь ему избавить православных казаков от порабощения евреями и проклятыми армянами.

Вместе того чтобы пособить и поревновать ему во имя веры, они отплатили ему злом, ибо Василий отослал его собственное письмо к своим друзьям ляхам в доказательство верности своей дружбы и вражды к ним Хмеля; а Матвей немедленно отправил к своим друзьям туркам известие о содержании его письма. Хмель, обманувшись в своих надеждах на обоих, неоднократно посылал просить помощи у царя московского Алексея*, но последний не захотел внять его просьбе, ибо Хмель был бунтовщиком. Таков обычай государей. Когда его надежды на всех рушились, творец устроил его дело удивительным образом. Именно, его друг король условился с ним втайне, что Хмель поднимет восстание, и он, король, будет помогать ему войском, дабы истребить всех вельмож ляшской земли и ему сделаться государем самодержавным, править самому, а не быть управляему ими. Как мы сказали, вельмож было много и каждый владел большою областью по наследству от отцов и предков. Были среди них такие, которые имели свыше ста тысяч войска и менее — до десяти тысяч. Но в своих стремлениях они не были согласны между собой и каждый действовал самостоятельно, а потому они и погибли один за другим.

Что же сделал Хмель? Взяв с собою своего сына Тимофея, он, лет восемь тому назад, отправился к казакам, живущим на острове*, и сговорился с ними. Они обрадовались и отправили его к хану татарскому, чтобы также вступить с ним в соглашение. Прибыв к татарам, он обещал им много добычи, но они ему не верили и опасались его. Тогда он оставил у них своего сына заложником, и они заключили с ним клятвенный договор и, став заодно, послали с ним около двадцати тысяч человек; да из казаков острова к нему примкнуло около пятисот, ибо остальные еще боялись. Союзники совершили нападение на пределы ляшской земли. Правитель той области, узнав об этом, выслал против них около сорока тысяч войска. С помощью божьей казаки напали на них и одержали победу, причем взяли в плен большую часть и захватили много добычи. При виде этого татары чрезвычайно обрадовались, отослали пленных в свою страну и пошли воевать с этим же правителем, который относился к ним с пренебрежением. И бог даровал казакам победу над ним. Они завладели всей его землей по прежде состоявшемуся уговору между ними и татарами: «земли и добыча нам, а пленники вам». Так как все под-

данные были казаки, страдавшие под гнетом тирании и рабства, то они восстали вместе с Хмелем и захватили множество городов. У Хмеля стало до пяти тысяч человек. К нему присоединилось много тысяч татар, когда они увидели большую добычу. Они завоевывали все новые и новые города, избивая их правителей, пока не выступил против них великий гетман, или визирь, называемый на их языке комиссар, то есть мирахор короля, более чем с 200 тысячами войска, исполненный надменности, высокомерия и гордыни.

Рассказывают, что ляхи очистили все свои жилища и отправились на войну с Хмелем. Раскинув табор и палатки, они вели себя так, как будто вышли на веселую прогулку, послав сказать Хмелю: «вот мы вышли к тебе навстречу со своими женами и детьми и со всею пышностью, золотом, серебром, экипажами, лошадьми, со всеми нашими сокровищами и с теми, что есть в наших жилищах». Это было справедливо, потому что они сидели в своих палатках, ели, пили, пьянствовали и смеялись и хохотали над своим холопом Хмелем, говоря: «Мы все предстали пред тобою, пожалуй к нам и забери сундуки с золотом: вот они все тут». Бог, видя их гордыню и тщеславие, внушил Хмелю хитрость, которую он и привел в исполнение. Именно, в одну ночь казаки отправились туда, где паслись польские кони, и, перебив слуг, захватили всех лошадей. Затем удалились и наделали знамен по числу своих коней, то есть у каждого всадника в руке было по знамени, а всего до 5000 знамен и еще до 50 000 маленьких барабанов. Так они пошли и напали на врагов при утренней заре, когда те спали, считая себя в безопасности. Казаки крикнули среди них и забили во все барабаны; ляхи проснулись, увидали, что со всех сторон их окружают знамена, бросились искать коней, но слуги сообщили им о случившемся. Тогда они потеряли всякую надежду на спасение, и гнев божий постиг их, ибо они стали избивать друг друга. Казаки докончили истребление, всех уничтожили и захватили их имущество и богатство. Военачальник польский спрятался под телегу, и слуги прикрыли его навозом. Но он не скрылся от казаков: они отрыли его и разрубили на куски, насмехаясь над ним стихами и говоря: «Вчера ты смеялся над нами и упрашивал нас завладеть твоим имуществом и богатством, а ныне ты зарыт в навозе, несчастный! Встань, воссядь на троне, великий наш государь! да не горюй!»

Таким образом казаки завладели всей страной и возвратили ее себе, искоренив в ней весь род ляхов, армян и евреев*, и Хмель по отношению к ним проявил такие примеры храбрости и воинской хитрости, каких никто не совершил, кроме него. Бог даровал ему силу и вспомоществовал его делу с начала до конца его деятельности и своим мечом сокрушил их великую гордыню и упрямство.

Как мы упомянули, каждый вельможа был самостоятельным и оборонял свою землю сам по себе, не желая, чтобы кто-либо из прочих владетелей помогал ему своими войсками: в их глазах это считалось позором, и никто на это не соглашался. При таких обстоятельствах они прибегли к обману и были покинуты без помощи; иначе, если бы все они заодно соединились с своим королем, как это делается у царей и как они сделали раньше при нападении турок на Каменец, совокупив все свои силы, никто бы не сровнялся с ними в могуществе, кроме одного бога.

Король их был втайне другом Хмеля*, посылал к нему, одобрял и подкреплял его намерения, имея целью уничтожить всех своих вельмож. Прознав наконец об этом, они перехитрили его, опоили ядом, и он умер. Увы! как жаль его! На его место посадили его брата. Когда ляхи под конец убедились, что бессильны сладить с Хмелем, то заключили с ним дружеский договор, с целью обмануть его и отравить; но не могли. Пробовали всякие ухищрения, чтобы умертвить его, но тщетно, ибо бог был с ним.

В таких отношениях он находится к ним и по сие время. Когда татары увлеклись жадностью и отделились от Хмеля, последний послал изъявить свою покорность царю московскому. Наконец дело было слажено при посредстве патриарха и по причине ревности московитов к православной вере. Царь прислал Хмелю и всем его вельможам царские кафтаны и пожаловал его в князья по важности его государства. Потом он отправил двух воевод, т. е. министров, с 60 тысячами войска в город Киев. Они построили вокруг него крепость, вооружили и утвердились в ней, чтобы отражать от казаков врагов их ляхов. Царь записал на службу 40 000 казаков* с ежегодным жалованьем от казны, присоединив их к своему войску. Между царем и ляхами и их королем была большая дружба, а потому он отправил своего посла сказать им так: «Да будет вам известно, что я требую от вас

трех вещей, если желаете, чтобы старая дружба сохранилась между нами: во-первых, так как земля русов, т. е. казаков, стала моею, то вы более не ходите на них войной и не причиняйте им никакой обиды, и как у вас есть татары и — имеют мечети, евреи — и имеют молельни, армяне — и имеют церкви, то наравне с ними считайте и братьев Христа казаков, которые, подобно мне, православные; во-вторых, вы должны именовать меня царем Великой и Малой России; в-третьих, вы должны возвратить мне город моих предков Смоленск со всеми в нем находящимися пушками, военным снаряжением и оружием. Если вы согласны на это, прежняя дружба между нами и вами останется; в противном случае знайте, что я пойду на вас войной».

Рассказывают, что ляхи, выслушав это, воспротивились, в особенности один, по имени Радзивилл, зять Василя, господаря Молдавии *, который был великим гетманом и независимым в той стране, а также и многие другие. Говорят, что король давал свое согласие, да те не захотели.

Смотри же, что сделали эти негодяи, не имеющие над собою главы. В нынешнем году на пасхе, именно в ночь на великую пятницу, в светлую субботу и на пасху, они пришли и напали неожиданно на 70—80 местечек в стране казаков, зная, что жители их заняты молитвами в своих церквах и что казаки никогда не берутся за оружие в великий пост. Ляхи сделали это главным образом с целью досадить царю, к которому казаки прибегли под защиту. При этом нападении они избили мечом всех, кого застигли, даже грудных младенцев, распарывали животы у беременных женщин и убежали. Услыхав об этом, Хмель послал за ними войско, но их не настигли, а разбили их арьергард, который был весь истреблен вместе с одним из иезуитов, их подстрекавшим. Потом казаки напали на некоторые ляшские города, перебили всех, кого там нашли, и предали огню, в возмездие за то, что те с ними сделали.

Рассказывают, что царь, уведав впоследствии об этом, чрезвычайно разгневался и снарядился в поход против ляхов, ибо кровь мучеников, ими избиенных, смешавшаяся с кровью Христа, их господа, накануне его честного распятия, вопияла об них к богу. Христолюбивому царю было внушено идти на ляхов войной более чем с 600 тысячами. Он вышел из своей столицы, города Москвы, в понедельник, в который было начало Петрова поста, имен-

но в тот самый день, в который мы выехали из Валахии, как мы в этом удостоверились впоследствии. Он пошел на Смоленск и осадил его, послав Хмелю 90 000 ратников, а одного из своих визирей со 100 000 всадников отправил к границам татарской земли, чтобы стеречь тамошние места и не допускать татар выйти на помощь ляхам. Но хан татарский, растратив большие богатства, взятые у ляхов, послал к ним с извинением: «Я не имею возможности выступить из своей земли к вам на помощь по причине множества московитов, которые стоят настороже». Вскоре он умер, и на место него стал ханом другой *. Вот что произошло.

Возвращаемся к рассказу. Мы выехали из упомянутого Димитрашкова через его знаменитую деревянную крепость и мосты. Проехав полторы мили, прибыли в другой городок, по имени Горячковка. <...>

Проехав еще две мили, мы прибыли в другой городок, по имени Мясковка, который имеет деревянную стену и крепость. Теперь копают рвы вокруг этих городов из опасения того, что сделали ляхи в ночь перед пасхой. Навстречу нам также вышли все жители этого города, священники, в облачениях с хоругвями и свечами, при пении детей, и полковник Михаил, который стоял вне города с 12 000 войска для надзора за границей страны ляхов, Молдавии и страны татар. Нас ввели в церковь во имя Владычицы. В городе есть еще другая церковь во имя св. Николая. В нем мы переночевали. Рано поутру все вышли нас провожать и снарядили с нами нескольких ратников.

Проехав две мили, мы прибыли в другой городок, окруженный укреплениями и имеющий внутри деревянную крепость; имя его Жабокричь. <...>

Наш путь в этот день и далее шел лесом. Ляхи во время своего владычества имели в нем свою силу, пользуясь им для постройки крепостей, городов и жилищ. Казаки, овладев страной, разделили земли между собою, и теперь этот лес рубят, выжигают корни и засевают землю зерном.

Всякий город и местечко в земле казаков изобилуют жителями, в особенности маленькими детьми. В каждом городе множество детей, и все умеют читать, даже сироты. Вдов и сирот в этой стране очень много, их мужья были убиты в беспрерывных войнах. Но у них есть хо-

роший обычай: они женят своих детей юными, и по этой причине они многочисленнее звезд небесных и песка морского.

Вблизи каждого города или селения непременно бывает большой пруд, образуемый дождевой водой или текущими реками, для рыбы. Посредине он имеет деревянную плотину, на которой лежат связки хвороста, покрытые навозом и соломой; под нею текут протоки, которые вертят мельницы, так что жители имеют вместе и воду, и рыбу, и мельницы и ни в чем не нуждаются. Все это есть непременно в каждом городе и маленьком селении. Приспособления, употребляемые ими для вращения мельниц, изумительны, ибо мы видели мельницу, которая приводилась в движение горстью воды.

Знай, что начиная с Валахии и Молдавии в стране казаков и земле московской все дороги проходят через средину городов и деревень, причем путешественник вступает в одни ворота и выезжает в другие, а потайных дорог мимо городов вовсе нет. Это способствует безопасности движения.

Мы выехали из Жабокрича, после того как священники в облачениях с хоругвями проводили нас за город по своему всегдашнему обыкновению. По дороге мы переезжали через большую реку, на которой в каждой преграде сделан шлюз для собирания рыбы и для мельниц, так что мы приходили в изумление: в своей стране мы называем друзов удерживающими землю *, а эти казаки задерживают воду. Проехав две мили, мы прибыли в базар, или вернее город, больше и лучше пройденных нами; имя его Ободовка. В нем есть большое высокое укрепление. Мы въехали таким же образом, как уже рассказывали, по мосту, что над прудом посредине города. Навстречу нам вышли, по обыкновению, священники в облачениях, с крестами и хоругвями, а также правители города и все его население, не исключая детей и женщин. В городе две деревянные церкви: во имя Успения Богородицы и св. Михаила, величественные и высокие, с куполами и открытыми высокими колокольнями, которые мы видели издалека. Нам случалось посещать величественные церкви зимние и летние, с многочисленными, сердце веселящими, стеклянными окнами; все они выстроены недавно, со времени правления гетмана Зиновия Хмеля (да продлит господь жизнь его!). Имена у казаков, мужчин и женщин, все даются в честь самых уважаемых святых.

Священники их имеют особый знак: они носят колпаки из черного сукна с черной меховой опушкой, не отличающиеся от бархатных. У богатых из них колпаки из черного бархата с собольим мехом. Протопоп носит суконную шляпу с крестом; богатые — черную бархатную. Пред архиереями они стоят с открытой головой, равно и в церкви.

Мы отправились отсюда в среду утром 14 июня и ехали между многочисленными садами, которым нет счета, и реками справа и слева. Виднелись разнородные посевы вышиною в рост человека, подобны огромному морю по длине и ширине. Проехав одну милю, мы прибыли к довольно большому городу с деревянною обширною крепостью, со стенами кругом, со рвами и пушками; имя его Балановка. Вокруг каждого города, т. е. за крайними домами, бывает деревянная стена, а внутри другая. Над крепостными воротами стоит высокий деревянный брус с изображением распятого Христа (да будет прославлено имя его!) и орудий его распятия, т. е. молотка, клещей, гвоздей, лестницы и пр. Распятие существует со времен ляхов. И здесь также вышли нам навстречу. Через час мы выехали отсюда и, проехав еще милю, достигли трех других местечек, лежащих рядом на берегу реки, с тремя деревянными укреплениями и тремя рвами; имя их Сумовка. Нас повели в церковь в честь св. Параскевы.

Знай, что на дверях каждой из церквей казацких бывает железная цепь, вроде той цепи, которую налагают на шею пленникам. Мы спросили об ней, и нам сказали, что всякому, кто не приходит в церковь на рассвете после звона, вешают эту цепь на шею на целый день и он остается распятым на дверном створе, не имея возможности шевельнуться. Это его епитимия.

Через час мы выехали и переправились на судах близ этого города через упомянутую широкую реку, называемую Буг. Затем мы проехали еще две мили и вечером прибыли к двум городкам с укреплениями, рвами и высокими крепостями внутри. Они называются Соболевка. В одной из крепостей есть одна церковь во имя господа Христа, в другой — две величественные церкви во имя св. Николая и св. Михаила. Поблизости находятся два больших озера. Ради нас устроили большой крестный ход с хоругвями. Утром в четверг мы встали рано. Проехав менее двух миль, мы достигли другого местечка. Оно возвышенное, с укреплениями и прудами вокруг и называется Мочулка. В нем две высокие церкви во имя

Успения и св. Николая. Проехали еще милю и прибыли к трем другим большим местечкам, которые имеют укрепления, каждое отдельно; имя их Степановка; в каждом из них есть хорошая церковь: одна — во имя Владычицы, другие — св. Михаила и св. Николая. Но они пострадали от огня, ибо эти местечки из числа тех, на которые напали ляхи в пасхальные дни, перебили жителей и сожгли. Вслед за тем мы прибыли к другому местечку неподалеку от тех, с хорошим укреплением, по имени Важна. Подле упомянутых местечек находятся пруды, на истоках которых стоят мельницы. Тут есть прекрасная церковь во имя св. Николая. Проехав еще милю, мы прибыли в другое местечко с укреплением и церковью во имя св. Николая. Оно называется Янов. Тут мы ночевали.

Все эти городки лежат в недалеком друг от друга расстоянии: и так по всей земле казаков. О, какая это благословенная страна! Не успеешь пройти расстояние, равное расстоянию между Алеппо и ханом Туман *, как встретишь по дороге десять, восемь или пять селений. Так на больших дорогах, а что справа и слева от них, то бессчетно. Каждый город непременно имеет три деревянные стены, содержимые в исправности: внешняя связана из отдельных частей, чтобы конница не могла ворваться; две другие, со рвами между ними, находятся внутри города. Непременно бывает крепость с пушками, так что, в случае если жители будут побеждены неприятелем, который проникнет через все три стены, то они могут уйти в крепость и в ней обороняться. Подле городской стены находится большое озеро воды наподобие огромного рва, и дорога проходит через него по узкому мосту. При великой опасности мост разрушают и потому не боятся врага.

Большая часть этих укреплений была построена только из опасения татар, которые появляются в этой стране неожиданно. Обыкновенно, выступая из своей страны, они не сообщают своим ратникам, куда идут, чтобы весть о том не распространилась. Они проходят расстояние пяти, шести дней пути в один день конными отрядами. У каждого всадника четыре, пять заводных лошадей, и, когда какая-нибудь из них устанет, он садится на другую. Пройдя таким образом на расстояние месячного пути, они прячутся в горах и степях, ночью неожиданно нападают и убегают, ибо вовсе не имеют силы для войны. Таковы их действия в этой стране. Когда она находилась в руках ляхов, то каждые двадцать, тридцать, со-

рок или пятьдесят селений были во власти одного пана, а казаки были его подданными, вернее, рабами: их заставляли работать днем и ночью над сооружением этих укреплений, копаньем рвов и прудов для воды, очищением земель и прочим. Когда же овладел правлением гетман Зиновий Хмель (дай бог ему долго жить!), то они получили все права и власть над тем самым, над чем в работе томились и страдали: враги обманулись в своих расчетах.

Встав утром в пятницу, мы проехали одну милю и прибыли в местечко по имени Обозовка. Оно окружено прудами воды с мельницами. В нем есть красивая церковь. Крепость же и все стены сгорели, ибо это местечко из числа тех, которые были сожжены безбожными ляхами в ночь перед пасхой. Так как этот город был хорошо укреплен, то жители соседних селений бежали в него. Неверные осадили их, и как люди были не готовы к обороне, то враги одолели их, набросились на них и всех избили мечом; таким образом, они сделались соучастниками господа их Христа в страданиях. Их было тысячи. Вокруг этого города есть еще четыре селения, с которыми было поступлено так же.

Не останавливаясь, мы проехали еще одну малую милю и прибыли в местечко по имени Талалаевка, с которым было сделано то же. Вскоре затем мы достигли другого селения, вблизи первого, по имени Орадовка. Укрепление его сожжено, но в нем осталось небольшое число людей. Наши сердца разрывались за них и по причине случившегося. Однако они вышли нас встретить по обычаю и привели нас в великую церковь во имя св. Михаила. До сих пор мы не видели в земле казаков подобной ей по высоте и величественности ее пяти куполов. Решетка галереи, окружающей церковь, вся точеная, и колокольня над ее вратами также имеет решетку. Церковь эта новая, но жителям не удалось порадоваться ею. Все мы много плакали по тем тысячам мучеников, которых убили враги веры и обманщики в этих сорока или пятидесяти местечках, в числе, может быть, семидесяти, восьмидесяти тысяч душ. О, неверные! О, нечистые люди! О, жестокие сердца! Что сделали женщины, девицы, дети и младенцы, чтобы их убивать? Если у вас есть мужество, идите воевать со старцем (да продлится его жизнь!), который сделал вас посмешищем мира, избил

ваших вельмож и князей, истребил ваших храбрецов и отважных мужей и обратил вас в предмет презрения и посмеяния смотрящего. Его имя Хмель. Какое это прекрасное имя: ловкий! Сами ляхи назвали его Хмелем, а слово «хмель» у них значит: ловкий. Так его назвал король. Они применили к нему это прозвище «Хмель» по имени растения, которое у них произрастает; оно похоже на фасоль цветами и листьями, но вьется по деревьям. Его они сеют во всей этой стране в своих огородах и садах, где оно вьется по длинным жердям, которые они ставят для сей цели. Его плоды собирают после увядания цветов, которые испещрены зелеными пятнами, и кладут их в кипящую жидкость, которую они обращают в спиртной напиток, именно кладут в отвар ржи (семени, похожего на пшеницу), из которого выгоняется крепкий спирт. Зимой оно обыкновенно засыхает и служит топливом, а когда наступает весна на пасхе, оно дает росток и поднимается. Поэтому они и сравнивали с ним Хмеля, ибо во время поста он прекращает войну и битвы, слагает меч и ведет мирную жизнь у себя дома. Тогда являются те, у которых нет ни главы, ни веры, жгут, разоряют и убивают вплоть до пасхи, а он сидит спокойно. Но когда наступит светлая пасха (с ее цветами), он поднимается, и к нему собирается 500 000 бойцов *, воителей за веру православную, ратующих до самопожертвования по любви к господу их, а не из желания получать содержание или иные выгоды. Хмель теперь может гордиться этим перед царями всей земли, ибо у него более 500 000 ратников, которые служат без всякого содержания. По его зову они являются к нему на помощь со своим запасом съестного и всего им необходимого. И они все, и он от праздника пасхи до великого поста обитают в степях, в разлуке с женами и детьми, в целомудрии и совершенной чистоте. В таком положении они находятся из года в год до сих пор, вот уже восемь лет. Какой это благословенный народ! Как он многочислен! Какая строго православная вера! Как она велика! Столько тысяч их убито в сражениях или при неожиданном нападении, столько тысяч татары увели в плен, и все-таки они теперь насчитывают такое огромное множество войска (да будет благословен их творец!).

Но сколько ляхов перебили казаки! Сотни тысяч с женами и детьми, не оставляя из них ни единого. Мы рассматривали дворцы их вельмож и правителей, находящиеся внутри крепостей, с большого расстояния, по

той причине, что их высота с куполами и решетками громадна. Кто их осматривает и входит туда, восхищается их изяществом и устройством, а также их печами, которые много выше кипарисов; это места для огня, который разводят зимой. Теперь эти дворцы в развалинах, безлюдны и служат убежищем собакам и свиньям. Что касается породы евреев и армян, то их вконец истребили. Красивые дома, лавки и постоялые дворы, им принадлежавшие, теперь сделались логовищем для диких зверей, ибо Хмель (да будет долга его жизнь!), завладев этими многочисленными городами, истребил в них целиком все чужие народы, и теперь эта страна занята чисто православными казаками.

Возвращаемся к рассказу. Жители упомянутого города просили нашего владыку патриарха освятить их церковь, ибо проклятые ляхи в нее входили, разбили образа и осквернили ее. От пасхи по сию пору в ней не служили, ожидая проезда через город архиерея, который бы освятил ее для них. Наш владыка патриарх совершил водосвятие и освятил церковь.

Тотчас после этого мы выехали и, сделав еще две большие мили, прибыли в большой город, разделенный на три крепости, из них каждая на одной стороне. Третье из этих укреплений представляет огромную деревянную цитадель на возвышении, которую в настоящее время строят вновь: копают рвы, укрепляют прочными башнями и снабжают пушками. Имя города Умань. Все по обыкновению вышли встретить нас с хоругвями и свечами, священники и дьяконы в облачениях, вместе с полковником Симеоном и его войском. Он стоял вне этого города со своим многочисленным отрядом для надзора за границей татар и ляхов.

Нас привели в величественную высокую церковь с железным куполом красивого зеленого цвета. Она очень обширна, вся расписана и построена из дерева. Ее серебряные лампады со свечами прекрасного зеленого цвета многочисленны. Над притвором красивая звонница. В нем есть высокая решетка, обращенная к хоросу; за ней стоят певчие и поют по своим нотным книгам с органом; голоса их раздаются подобно грому. Этот город есть первый большой город в стране казаков; его дома высоки и красивы, большая часть принадлежала ляхам, евреям и армянам; они с многими круглыми окнами из разноцветного стекла, над которыми висят иконы. Горожане одеты в очень хорошее платье. В городе девять великолеп-

ных церквей с высокими куполами: во имя Воскресения, Вознесения, св. Троицы, Рождества Богородицы, Успения, св. Михаила, св. Николая, Воздвижения Креста, а также в честь пасхи; ибо этот город был центром округи при ляхах и заключает много их величественных дворцов. <...>

Мы выехали из Умани. Полковник проводил нас за город и назначил нам отряд, как раньше. Мы сделали одну милю и прибыли в другой город с укреплениями и цитаделью по имени Краснополка. По обыкновению нам была устроена встреча; ибо всякий раз, как мы уезжали из какого-нибудь города, один из ратников, нас сопровождавших, опережал нас, везя письмо от полковника ко всем его подчиненным с оповещением им, чтобы они приготовили помещение, кушанья и напитки в количестве, достаточном для всех наших спутников, — нас было около сорока человек: мы и наши служители, наши спутники, игумены монастырей, и их слуги, — а также приготовили бы лошадей для наших экипажей и накосили свежей травы для лошадей, ибо, как мы упомянули, в этой стране во все лето до октября бывает зелень и цветы, и мы чрезвычайно удивлялись весенним цветам в летнее время.

Нас обыкновенно встречали за городом, по их обычаю с хлебом ради его изобилия; также когда мы садились за стол, прежде всего клали хлеб. Жители города вышли нам навстречу на некоторое расстояние за город, как мы уже рассказывали. Бывало, когда приближались хоругви и кресты, наш владыка патриарх из благоговения к ним выходил из повозки по своему всегдашнему обыкновению и шел в мантии на большое расстояние, пока не входили в церковь, откуда мы таким же образом шли до приготовленного нам помещения, у ворот которого водружался крест на шесте.

Посетив церковь св. Михаила, мы тотчас уехали и, сделав еще милю, вечером в пятое воскресенье по пятидесятнице прибыли в большой город с тремя линиями укреплений и тремя замками по имени Маньковка. Он имеет четыре больших пруда; дома его великолепны, красивы; они принадлежали евреям и армянам. В нем четыре церкви: во имя Преображения господня, св. Михаила, владычицы и св. Николая. За городом есть монастырь, который теперь строят вновь.

Мы были встречены по обычаю за городом священниками и дьяконами с хоругвями, крестами и многочисленными свечами. Нас ввели в церковь с пением, которое продолжалось, пока протопоп не сказал ектению, поминая имя нашего владыки патриарха антиохийского, их митрополита Сильвестра, гетмана Зиновия и царя Алексея по всегдашнему обыкновению. Они вышли впереди нас в облачениях со свечами и пением, пока не поместили нас в приготовленном для нас доме. Наш владыка патриарх благословил их, и они ушли.

Знай, что в этой земле казаков нет вина, но взамен его пьют отвар ячменя, очень приятный на вкус. Мы пили его вместо вина: что же было делать? Но этот ячменный отвар прохладителен для желудка, особенно в летнее время. Что касается меда, который также варят, то он опьяняет. Варится еще водка, которая делается из ржи, походящей на зерна пшеничного плевела; она дешева и в большом изобилии.

Встав поутру в это воскресенье, мы отстояли у них утреню, а потом обедню. Затем я пошел осматривать дворец правителя этого города, которого звали Калиновский. Он был из числа значительных правителей страны ляхов. Главных между ними было четверо: один назывался Потоцкий, второй — комиссар; это тот самый, о котором мы рассказывали, как он был убит в начале правления казаков; он имел 200 000 войска. Третий — этот Калиновский. От города Умани до Рашкова, включая этот последний, все с другими городами в значительном числе принадлежало ему и составляло его владение. Он имел сорок голов лучших ценных турецких коней и двадцать тысяч собственных храбрецов, одетых все в дорогие платья, да, кроме них, у него было много тысяч войска. Когда пришел Хмель и воевал с ним и он был разбит, татары взяли его пленником в свою страну вместе с Потоцким. Тогда молдавский господарь Василий поручился за них, пока они не откупились, каждый восемьюдесятью тысячами золотых. Четвертый вельможа назывался Вишневецкий. Он был третьим правителем по ту сторону реки Днепра.

Василий, освобождая их, имел в виду сделать им доброе дело, чтобы потом они воздали ему лучшим. И точно, они воздали, ибо именно ляхи послали помощь его врагу Стефану-воеводе, когда тот шел войной под крепость Сучаву, попали, стреляя из пушек, в Тимофея, сына Хмеля, его зятя, и убили его, как мы о том расска-

зывали. Василий обманулся в своих предположениях, да и Хмель за это сильно разгневался на него, ибо те двое, вернувшись в свою страну, возобновили войну с Хмелем и казаками, но храбрый Тимофей выступил против них, сразился с ними и, убив обоих своим мечом, стер память их с лица земли.

Что касается палат Калиновского, то они находятся на краю города и видны с большого расстояния по причине своей высоты. Между ними и городом большая река и огромный пруд с мостом. Палаты представляют крепость на вершине высокого холма; вокруг них большой ров и деревянная стена; наружная связана из кольев против нападения конницы, а другая, внутренняя, сплошная. Перед воротами стоят большие пушки, а над воротными столбами с обеих сторон малые пушки. По окружности крепости устроены прочные деревянные башни. Внутри двора есть обширная площадка, в передней стороне которой возвышается великолепное здание — дворец, весь из крепкого, несгораемого дерева, гладко обтесанного с четырех сторон, отполированного и совершенно сплошного, так что незаметно склейки, а подумаешь, что весь дом или стена из одного куска в длину и ширину. Длина каждой доски или четырехугольного бруса пятьдесят локтей и более по нашему измерению, а в ширину четыре локтя. По всему громадному дворцу с каждой стороны четыре таких бруса лежат вдоль один на другом до потолка. В этом здании множество помещений, над которыми еще есть комнаты этажами, один на другом. Что касается очагов и печей, то есть мест для огня в зимнее время, то они громадны и по высоте много больше кипарисов, проникают до самого верхнего этажа и весьма широки. Близ этого дворца есть огромные конюшни. Мы поднялись по нескольким лестницам на самый верх другого верхнего дворца, что над воротами крепости. Это целые дворцы, один над другим, имеющие множество окон со всех сторон. Они походят на постройки горы св. Симеона у нас и округа Маарра; весьма красивы и изукрашены резьбой. Сидящему в верхнем этаже видно, может быть, на расстояние одного дня пути и более всех, кто направляется сюда из разных мест и по разным дорогам. Теперь эти палаты в развалинах, никем не обитаемы и будто плачут по своим прежним владельцам. <...>

Равно и все дома этого города красивы, и дерево их гладко обтесано и отполировано, ибо, как мы упомянули,

они принадлежали армянам и евреям, коих казаки стерли с лица земли, завладев их добром и богатством, их домами, имуществом, садами и землями. Они стоят того, ибо в дни ляхов они были правителями и господами, заведовали таможнями и вконец поработили казаков. Когда творец даровал власть этим последним, то они стерли и самую память о них с лица земли. О какой это благословенный народ! И какая это благословенная страна! Великое достоинство ее в том, что нет в ней совершенно ни одного чужого иной веры, а только чисто православные, верные и набожные. Какая ревность, свойственная святой душе и чистой вере, поистине православной! Блаженны глаза наши за то, что они видели, уши наши за то, что они слышали, и сердца наши за испытанную ими радость и восхищение. Быв в плену и рабстве, казаки теперь живут в радости, веселье и свободе; построили соборные церкви, соорудили благолепные иконы, честные и божественные иконостасы. Как мы заметили, церкви одна другой благолепнее, лучше, прекраснее, выше и больше; иконостасы и иконы одни других красивее и превосходнее; даже сельские церкви одна лучше другой. Люди начали громогласно исповедовать свою веру с новым рвением и предались с большой страстью учению, чтению и церковному пению приятным напевом. И они достойны этого, ибо живут, довольствуясь весьма малым, едят что случится и одеваются во что придется.

Встав поутру в понедельник 19 июня, мы проехали две мили и прибыли в другой большой городок, находящийся между горами, с укреплениями и цитаделью, устроенной из обрыва одной из гор, с большим озером, протекающим в долине, на плотине которого стоят четыре мельницы с удивительными двигательными снарядами, как и во всех других мельницах этих стран: поток воды низвергается сверху и приводит во вращение наружные колеса, а их ось вертит мельницы для размельчения пшеницы. Есть также снаряды, которые приводят в действие толчеи для ржи и ячменя, причем песты то поднимаются, то опускаются в ступы. Рожь употребляют истолченной и размельченной для выкуривания водки, а ячмень варят и извлекают сок. Имеются еще толчеи для льна, который сеют для изготовления из него сорочек. Между колесами снаружи находятся большие деревянные чаны, в которых во времена ляхов валяли сук-

на, после того как вода протекала по ним в течение многих дней. <...>

С того времени как мы вступили в землю казаков и до нашего выезда из нее мы, по их обычаю, безвозмездно пользовались телегами и лошадьми на подмогу для перевозки нашей клади из города в город, ибо наши лошади выбились из сил на этом долгом пути.

Немедля мы выехали из этого города и сделали четыре мили. Весь наш путь лежал по громадному лесу. Деревья рубили, выжигали корни, вспахивали землю и делали на месте их посевы. Так поступали жители во всей этой стране; а в дни владычества ляхов, как нам рассказывали, путешественник не мог видеть солнца: так были громадны и густы леса, потому что ляхи очень заботились о них и выращивали как сады (о чем нами упомянуто), нуждаясь в лесе для постройки городских стен, укреплений и домов. Казаки же, завладев лесом, разделили землю на участки, устроили изгороди и межи и рубят его ночью и днем.

Вечером мы прибыли в большой город также с укреплением, водами и садами, ибо эта благословенная страна подобна гранату по своей величине и цветущему положению. Имя города Лисянка. В нем четыре церкви. <...>

Из этого города мы отправили к богом хранимому Хмелю, гетману Зиновию, письмо, в котором извещали его, по обычаю, о своем прибытии, ибо он с войском своим стоял на расстоянии четырех больших миль от этого города.

Во вторник, выехав из города, мы проехали одну большую милю и прибыли в другой город с укреплением, новым рвом и прудом по имени Медвин. В нем три церкви: во имя владычицы, св. Николая и св. Георгия. Тут бывает ярмарка для купли и продажи в праздник рождества Иоанна Крестителя 24 июня.

Выступив отсюда, мы проехали еще две большие мили по обширному лесу между двумя городами, дорогой узкой и трудной, идущей по долине. Через небольшие промежутки дорога перегорожена связанными бревнами для воспрепятствования нападению конницы. С правой и с левой стороны находятся благоустроенные дома, числом около трехсот. На дне долины у них идут один за другим до десяти прудов для рыбы; вода течет из одного пруда в другой, т. е. из протока плотины первого ко

второму, от второго к третьему... На прудах мельницы; плотины обсажены многочисленными ветлами.

Заметь, что по озерам всех этих стран растет обыкновенно во множестве желтый цветок ненуфар, а также двойной белый.

Ничто так не удивляло нас, как изобилие у них запасов и птиц, именно: кур, гусей, уток, индюшек, которые во множестве гуляют в полях и лесах, кормясь вдали от городов и деревень. Они кладут свои яйца среди леса и в скрытых местах, потому что некому их разыскивать по причине их множества. В этой стране нет и не знают ни хорьков, ни орлов, ни пресмыкающихся; а если изредка и попадаются змеи, как мы видели одну по пути из Валахии до столицы Московии и убили ее, то они безвредны. Нет у них ни воров, ни грабителей.

Знай, что в домах этой страны мы видали людей, животных и птиц и весьма удивлялись изобилию у них всяких благ. Ты увидишь, читатель, в доме каждого человека по десяти и более детей с белыми волосами на голове; за большую белизну мы называли их старцами. Они погодки и идут лесенкой один за другим, что еще больше увеличивало наше удивление. Дети выходили из домов посмотреть на нас, но больше мы на них любовались: ты увидел бы, что больший стоит с краю, подле него пониже его на пядь, и так все ниже и ниже до самого маленького с другого края. Да будет благословен их творец! Что нам сказать об этом благословенном народе? Из них убиты в эти годы во время походов сотни тысяч, и татары забрали их в плен тысячи; моровой язвы они прежде не ведали, но в эти годы она появилась у них, унеся из них сотни тысяч в сады блаженства. При всем том они многочисленны, как муравьи, и бесчетнее звезд. Можно бы подумать, что женщина у них бывает беременна и родит три, четыре раза в год и всякий раз по три, по четыре младенца. Но вернее то, как нам говорили, что в этой стране нет ни одной женщины бесплодной. Это очевидно и для всякого несомненно.

Что касается их домашних животных и скота, то ты увидишь, читатель, в доме каждого хозяина (да благословится творец!) десять родов животных: во-первых, лошади, во-вторых, коровы, в-третьих, овцы, в-четвертых, козы, похожие на газелей, в-пятых, свиньи, в-шестых, куры, в-седьмых, гуси, в-восьмых, утки, в-девятых, индюшки во множестве, у некоторых, в-десятых, голуби,

для которых есть места над потолками домов. Держат также собак.

Больше всего нас удивляли различные породы свиней разного цвета и вида. Они бывают черные, белые, красные, рыжие, желтые и синие; также черные с белыми пятнами, синие с красными пятнами, красные с желтыми пятнами, белые с рыжими пятнами; некоторые из них пестрые, а иные полосатые в разных видах. Как часто мы смотрели на их детенышей и смеялись! Нам ни разу не удавалось удержать хоть одного из них; несомненно, у них в брюхе дьяволы: они ускользают, как ртуть. Их голоса отдаются эхом на дальнее расстояние. Самки их рождают три раза в году: первый раз в своей жизни приносят одиннадцать поросят, во второй раз девять, в третий — семь, в четвертый — пять, в пятый — три, в шестой раз в своей жизни только одного, не более; затем они совершенно перестают нести и становятся бесплодными, годны только на убой. Режут обыкновенно самцов, а самок оставляют. Для них есть отдельные пастухи. Что касается кур, гусей и уток, то каждая порода держится отдельно.

Что касается их разнородных посевов, то они удивительны и многочисленны и бывают всевозможных видов. О них скажем в своем месте.

Возвращаемся к описанию трехсот домов. У жителей две церкви. Имя этого места Исайки. Каждый дом окружен садиком, изгородь которого состоит из вишни, сливы и иных деревьев. Земля в них засажена капустой, морковью, репой, петрушкой, латуком и прочим.

Весь упомянутый лес окружен изгородью, и каждая сторона его принадлежит кому-либо из жителей. Выбравшись из леса и узкой дороги, мы проехали еще одну милю — а всего четыре в этот день — и приблизились к большому городу с укреплениями и цитаделью по имени Богуслав. Мы переехали на лодках большую реку, называемую Рось. Все шестеро священников упомянутого города в это время уже ожидали нас в облачениях и с хоругвями, а также певчие с прочим народом; с войском было знамя христолюбивого, воинственного гетмана Зиновия из черной и желтой шелковой материи полосами с водруженным на нем крестом. Все они ожидали нас на берегу реки. <...>

Что касается гетмана Хмеля, то он со своими полка-

ми стоял вне этого города. Ему послали известие о нашем прибытии. В среду поздним утром пришла весть, что гетман едет приветствовать нашего владыку патриарха. Мы вышли встретить его вне нашего жилища, подле которого пролегает путь в крепость, где для гетмана было приготовлено помещение. Он подъехал от городских ворот с большой свитой, среди которой никто не мог бы его узнать: все были в красивой одежде и с дорогим оружием, а он был одет в простое короткое платье и носил малоценное оружие. Увидев нашего патриарха издали, он сошел с коня, что сделали и другие, бывшие с ним, подошел к нему, поклонился и, дважды поцеловав край его одеяния, приложился к кресту и облобызал его в голову. Где глаза ваши, господари Молдавии и Валахии? Где ваше величие и высокомерие? Каждый из вас ниже любого из полковников, его подчиненных: господь по правосудию и справедливости осыпал его дарами и наделил счастьем в мере, недостижимой царям. Он тотчас взял под руку нашего владыку патриарха и пошел с ним шаг за шагом, пока не ввел его внутрь крепости, причем плакал. Они сели за стол и вместе с ними полковники. О читатель! Ты мог бы быть свидетелем разумности его речей, его кротости, покорности, смирения и слез, ибо он был весьма рад нашему владыке патриарху, чрезвычайно его полюбил и говорил: «Благодарю бога, удостоившего меня перед смертью свиданием с твоей святостью». Он много разговаривал с ним о разных предметах, и все, о чем просил его наш патриарх, он покорно исполнил. Именно, господарь Валахии кир Константин и вельможи валашские были в большом страхе перед гетманом, ожидая, что он невзначай появится у них со своим войском по причине избиений, пленения и прочего, совершенного господарем Матвеем, когда войско его разбило казаков *; они очень просили нашего владыку патриарха ходатайствовать за них перед гетманом и прислать им от него письмо, которое успокоило бы их умы. Гетман исполнил его просьбу и послал им желаемое. Также и новый господарь Молдавии Стефан сильно его боялся по причине убийства сына его Тимофея и других гнусных убийств, которые молдаване совершили над казаками. Он их также простил и послал им письмо в ответ на их письма к нему.

Затем гетман расспрашивал нашего патриарха о многих предметах. Потом мы поднесли ему подарки на блюдах, покрытых, по их обычаю, платками: кусок камня с

кровью господа нашего Исуса Христа со святой Голгофы, сосуд со святым миром, коробка мускусного мыла, надушенное мыло, мыло алеппское, коробка леденцов, ладан, финики, абрикосы, ковер большой и ценный малый, рис, сосуд с кофейными бобами, то есть с кофе, так как он любитель его, и кассия.

Напротив него сидели его визирь и высшие из его приближенных: писарь-канцлер и десятеро из его полковников. Все они, по их обычаю, с бритыми бородами. Таково значение имени «казак», то есть имеющий бритую бороду и щеголяющий усами, а значение имени «полковник» то же, что паша или эмир.

Этот Хмель муж преклонных лет, но в изобилии наделен дарами счастия: безхитростный, спокойный, молчаливый, не отстраняющийся от людей; всеми делами занимается лично, умерен в еде, питье и одежде, подражая в образе жизни великому из царей Василию Македонянину *, как о нем повествует история. Всякий, кто увидит его, подивится на него и скажет: «Так вот он, этот Хмель, коего слава и имя разнеслись по всему миру». Как нам передавали, во франкских землях сочиняли в похвалу ему поэмы и оды на его походы, войны с врагами веры и завоевания. Пусть его наружность невзрачна, но с ним бог, а это великая вещь. Молдавский господарь Василий был высок ростом, сурового, внушительного вида, слово его исполнялось беспрекословно, он славился во всем свете и обладал большим именем и богатством, но все это не помогло ему, и как в первый свой поход, так и во второй и третий и много раз он обращал тыл. Какой контраст, Хмель, между твоим громким именем и деяниями и твоим внешним видом! Поистине бог с тобою, он, который поставил тебя, чтобы избавить свой избранный народ от рабства язы́кам, как древле Моисей избавил израильтян от порабощения фараону; тот потопил египтян в Красном море, а ты уничтожил и истребил ляхов, кои сквернее египтян, своим острым мечом. Хвала богу, совершившему через тебя все эти великие дела!

Если, случалось, кто-нибудь приходил к нему с жалобой во время стола или обращался к нему с речью, то он говорил обыкновенно потихоньку, чтобы никто не слыхал: таков всегдашний их обычай. Что касается того, как он сидел за столом, то он сел ниже, а нашего владыку патриарха посадил на первом месте, согласно почету, который ему приличествует в собраниях: не так,

как господари Валахии и Молдавии, которые сами занимали первые места, а архиерея сажали ниже себя.

Затем подали к столу миски с водкой, которую пили ковшами еще горячей. Гетману поставили высший сорт водки в серебряном кубке. Он сначала предлагал пить нашему владыке патриарху, а потом сам пил и угощал каждого из нас, так как мы стояли перед ним. Воззри на эту душу от праха земного! Да продлит бог ее существование! У него нет виночерпиев, ни особых людей для подачи ему кушаний и питья, как это водится у царей и правителей. Затем были поданы на стол расписные глиняные блюда с соленой рыбой в вареном виде и с иным в малом количестве. Не было ни серебряных блюд и кубков, ни серебряных ложек, ни иного подобного, хотя у каждого из слуг его есть по нескольку сундуков, наполненных блюдами, чашами, ложками и сокровищами ляхов из серебра и золота. Но они всем этим пренебрегают, находясь в походе; когда же бывают дома, на родине, тогда иное дело.

Перед закатом солнца гетман простился с нашим владыкой патриархом, проводив его за крепостные ворота, и сел в свой экипаж, запряженный в одну только лошадь. Не было царских карет, украшенных драгоценными тканями и запряженных большим числом отличных лошадей, хотя у гетмана таких тысячи. Он тотчас уехал под проливным дождем, направляясь к своему войску. На нем был белый дождевой плащ. Он удалился, прислав нам денег на дорогу с извинением, а также дал письмо во все подвластные ему города для получения пищи и питья, даровых лошадей и повозок и еще письма к царю московскому и к воеводе Путивля. Вот что произошло.

Знай, что государство ляхов состояло из трех частей: одна часть — та, которую отнял у них и захватил гетман Зиновий; она имеет протяжение на месяц пути в длину и столько же в ширину, вся полна жителями, крепостями и укреплениями, как гранат семенами; вторая часть — та, которая остается в их руках теперь; третья часть — средняя, которую гетман совершенно опустошил: сжег ее города и селения, перебил там мужчин, причем большая часть жителей сделались пленниками татар, и обратил ее в пустую степь, границу между ним и ляхами на протяжении нескольких дней.

Знай, что у Хмеля теперь восемнадцать полковников, то есть пашей, из коих каждый правит многими городами и крепостями с несметным числом жителей. Между ними есть четверо, пятеро, из коих каждый имеет под своей властью сорок, пятьдесят и шестьдесят городов; войска, обязанного службой, у них 60, 50, 40 тысяч; наименьший из них имеет под своей властью тридцать, сорок городов, а войска 30, 20 тысяч. Те, что пониже их чином, имеют под властью каждый по двадцати городков и меньше, а войска по 20 тысяч и менее. Все эти тысячи войска собираются у Хмеля при походе, составляя 500 тысяч. Они в совершенстве обучены знанию различных военных хитростей. В настоящее время у гетмана оказывается около ста тысяч храбрых молодых людей, искусных в верховой езде и джигитовке. Прежде эти войска были просто крестьяне, не обладавшие никакой опытностью в войне, но постепенно обучались. Упомянутые же молодые люди все обучались с малых лет наездничеству, храбрости, стрельбе из ружей и метанию стрел. Заметь, что все эти воины не получают содержания, но сеют хлеб, сколько пожелают, затем жнут его и убирают в свои дома. Никто не берет с них ни десятины, ни иного подобного: они от всего этого свободны; и в таком положении находятся все подданные страны казаков: не знают ни налогов, ни хараджа, ни десятины *. Но Хмель отдает на откуп весь таможенный сбор с купцов на границах своего государства, а также доходы с меда, пива и водки за сто тысяч динаров содержателям таможен. Этого хватает ему на расходы на целый год. Кроме того, он ничего не берет.

Эти сведения о Хмеле и казаках, которые мы передали подробно, старательно и в точном изложении, после многих расспросов и проверки, я собрал с трудом и усилиями, удостоверяясь в их правдивости. Сколько ночей я просиживал над записыванием, не заботясь об отдыхе!

Что касается упомянутой крепости Богуслава, то она очень сильна, окружена двумя стенами и двумя рвами, одна внутри другой. Башни ее многочисленны, и с южной стороны она тянется по окраине горы. Под ней протекает вышеупомянутая река города, в которой выдаются огромные скалы. В крепости есть высокие и великолепные дворцы, принадлежавшие ляхам, и вблизи них церковь, также им принадлежавшая. Наш владыка патриарх дал разрешение освятить ее и служить в ней, ибо казаки раньше разрушали все церкви ляхов и сровняли

их с землей, думая этим искоренить самую память о ляхах; по этой же причине они оставили на произвол судьбы их постройки и их величественные жилища (нет настоящей вражды, кроме вражды религиозной), сделав их даже местом для нечистот.

Мы выехали из Богуслава в четверг 22 июня. Путь наш приходился среди табора войска казаков и Хмеля. Они было уже выступили все в поход, но гетман послал пригласить к себе нашего владыку патриарха, отложив по этой причине свое выступление. Мы въехали в средину войска. Ты мог бы видеть тогда, читатель, как тысячи и сотни тысяч их, стараясь опередить друг друга, спешили толпами, чтобы приложиться к деснице и кресту нашего владыки патриарха, бросались на землю, так что лошади экипажа остановились, и мы были этим недовольны и раздосадованы по причине их многочисленности, но наконец доехали до палатки гетмана Хмеля, маленькой и невзрачной. Он вышел навстречу нашему владыке патриарху и сделал ему земной поклон. Тогда наш владыка патриарх прочел над ним молитву о войне и победе, призывая благословение божие на него и его войско. Гетман, поддерживая патриарха под руку, ввел в свою палатку, где не было дорогих ковров, а простой половик. Он раньше сидел за столом, на котором стояло кушанье, и обедал: перед ним не было ничего, кроме блюда с вареным укропом, хотя в то же время мы видели, что служители из его войска и ратники ловили для себя рыбу в близлежащих прудах. Смотри же, какова воздержанность! Затем он попотчевал нас водкой, мы встали, и он вышел с нашим патриархом, чтобы опять проводить его. Мы отправились.

Ратники не имеют палаток, но ставят кругом себя деревья или ветви наподобие шатра, покрывая их своими плащами для защиты себя от дождя; они довольствуются чрезвычайно малым. Да будет над ними благословение божие!

В этот день (четверг, 22 июня) мы проехали еще 4 большие мили по низменной местности, покрытой высокой густой травой, и вечером прибыли в деревню по имени Кагарлык. Прежде она имела укрепление, но оно разрушено во время войн. В пятницу мы выехали отсюда, проехали через две большие деревни и, сделав три мили, прибыли в большой город, называемый Триполье,

ибо он состоит из трех городов с укреплениями. Прежде чем подъедешь к нему, видишь табор, состоящий из трех земляных холмов с очень узкими проходами, в которые можно входить не иначе как поодиночке. Жители вышли нас встретить. Город представляет большую неприступную крепость на вершине горы, с двумя стенами и двумя рвами. <...>

Близ церкви находится вторая крепость, очень обширная, красивая и в высшей степени сильная; внутри ее есть царский дворец, который уже наружным видом своим радует душу смотрящего, еще прежде чем войдешь в него. Высокая куполообразная надстройка дворца над воротами крепости очень красива и величественна; над ней другая надстройка с куполом — услада для взоров зрителя! — с изящной решеткой вокруг; стоящий там видит на расстоянии одного дня пути. Дворец этот много лучше сооружений Калиновского. Перед ним расположены дома ляхов и евреев, их лавки и красивые постоялые дворы, ныне заброшенные. <...>

Нам рассказывали, что в одном городе... казаки избили 70 тысяч евреев, так как неверные не довольствовались угнетением их, но совершали насилия над их женами и дочерьми. По этой причине прогневался бог на них и на ляхов, давших им власть.

Мы спрашивали еврея Яки (Янаки, который нашел убежище в Молдавии), что сделал Хмель с евреями в стране ляхов, и тот отвечал, что он больше причинил им зла и больше совершил избиений среди них, чем в древности Веспасиан. На это мы рассмеялись.

Перед описанной церковью, внутри другой крепости, есть благолепная церковь во имя св. Николая.

Что касается великой реки Днепра, то она протекает поблизости этого города, и здесь на ней строятся суда, ходящие в Черное море.

Выехав из этого города в субботу 24 июня, мы проехали одну милю и прибыли в другое большое селение, называемое Обухов, также с высоким укреплением. В нем две церкви; в одной из них мы отстояли литургию праздника Крестителя; любовались на ярмарку, то есть на куплю и продажу, которая бывает ежегодно в этот праздник. Церкви — одна в честь Воскресения, другая — св. Михаила. Выехав из города, сделали еще милю и прибыли в разрушенное укрепление с церковью во имя свя-

тителя Николая. Проехав третью милю, прибыли в другое селение, по имени Хомока (?), близ которого протекает большая широкая река. На нашем пути в этот день встречались в изобилии сосновые деревья. Изгороди садов и полей все состоят из ивы, ибо ее очень много в этой стране, так же как и греческой ивы; она переплетена кругом ветвями других растений, служащих для изгородей. Мы проехали четвертую милю и, быв встречены сотником с 50 всадниками, прибыли к городу, называемому Васильков, которому действительно приличествует такое имя, ибо он велик и крепок и составляет не один, а три больших города с цитаделями и укреплениями, один внутри другого, на вершине неприступной горы. Но все они пусты, потому что два года тому назад появилась моровая язва и истребила их жителей. Нас встретили за городом священники и народ с хоругвями, поднялись с нами к самому высокому месту города и привели нас в благолепную церковь, внутри третьей крепости, во имя св. Антония и Феодосия Великих, двух святых страны казаков *; эти два святые были первыми, которые ввели у них монашескую, ангельскую жизнь, именно, устроили кельи и пещеры для отшельников, монашество и монастыри, и потому они у них в большом уважении.

Это церковь красивая, высокая; иконостас ее очень велик, подобно иконостасам греческим, но икона владычицы там, большая, великолепная, поражает удивлением умы; подобной мы и раньше не видывали и после никогда не видали. Богоматерь так прекрасно написана, что как будто говорит; риза ее как бы темно-красный блестящий бархат, — мы никогда не видывали подобного изделия — фон темный, а складки светлые, как складки настоящего бархата. Что касается убруса, который покрывает ее чело и ниспадает вниз, то тебе кажется, как будто он переливается и колеблется. Ее лик и уста приводят в изумление своей прелестью: нам не хватает только слова. Мир божий над ними! Господь, сидящий на ее лоне, прекрасен в высшей степени: он как будто говорит. Как уже упомянуто, я много видал икон, начиная с греческих стран до сих мест и отсюда до Москвы, но нигде не видал подобного или равного этой. Казацкие живописцы заимствовали красоты живописи лиц и цвета одежд от франкских и ляшских живописцев-художников и теперь пишут православные образа, будучи обученными и искусными. Они обладают большой ловкостью в изображении человеческих лиц с совершенным

сходством, как мы видели это на портретах Феофана, патриарха иерусалимского, и других.

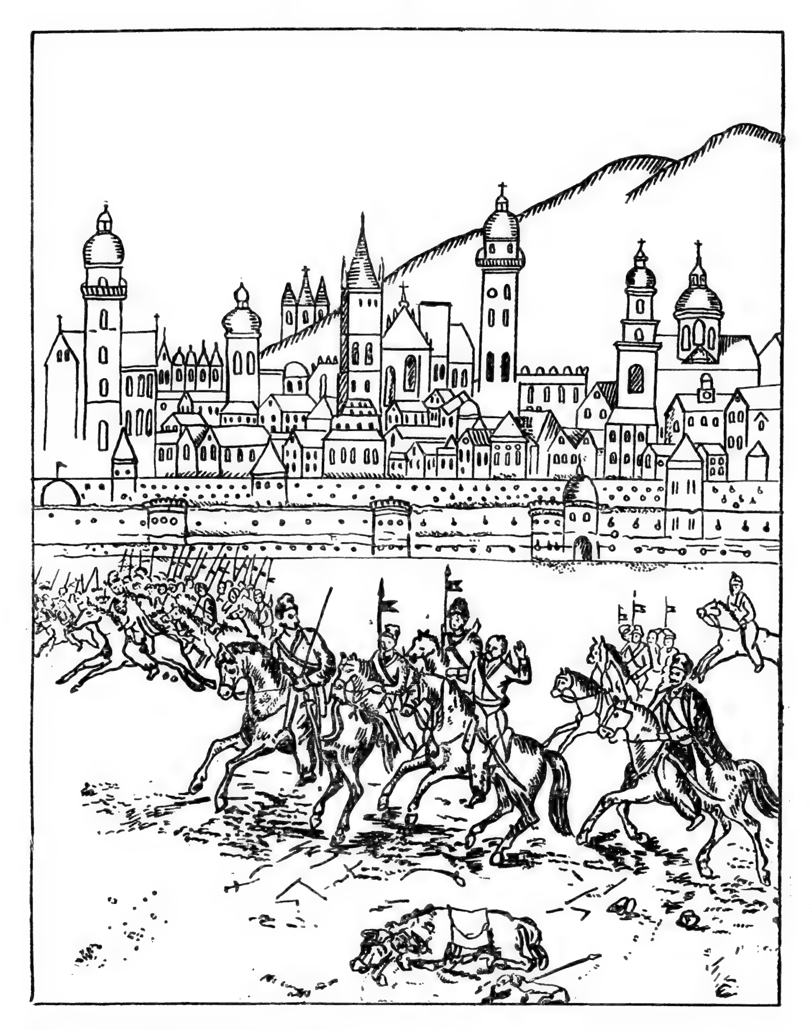
Нас поместили в подворье, принадлежащем монастырю Печер, то есть монастырю в честь Успения Богородицы вне Киева. Имя его знаменито во всем мире, он — слава земли казаков, как мы увидели это впоследствии. Весь этот город вместе с сотней таких же составляет издревле владение упомянутого монастыря. Нам рассказывал позже архимандрит этого великого монастыря, что его угодья составляют теперь тридцать больших многолюдных городов, о которых мы упоминали, и четыреста благоустроенных селений, даже в стране ляхов по сие время, ибо эти последние очень почитают обитель и имеют к ней большую веру. Из-за этого монастыря произошло то, что постигло ляхов от злых деяний иезуитов, или, вернее, езидов, которые стремились отнять его у православных, и он стал причиной их гибели и конечного рассеяния.

В этом городе Василькове есть еще две церкви: во имя входа господня во храм и св. Николая. В вышеупомянутой церкви мы отстояли службу вечером накануне 6-го воскресенья по пятидесятнице *, а рано поутру утреню и затем обедню, после чего вышли в близлежащий сад этой церкви, где в изобилии растут вишни, сливы, ореховые деревья и виноградные лозы, которых мы не видели от самой Молдавии, а также рута и европейский темно-красный левкой.

В понедельник, вставши рано поутру, мы проехали пять больших миль. Упомянутый сотник и его отряд провожали нас с знаменами. Мы проезжали по дорогам трудным и узким и через большой лес и приблизились к пруду и к мельницам, составляющим угодье упомянутого монастыря. Еще не доезжая до этого места, мы издали видели блестевшие куполы монастыря и церкви св. Софии. Когда мы поднялись на склон горы, нашего владыку патриарха встретил игумен этого монастыря, именуемый у них архимандритом, ибо таков обычай касательно настоятелей монастырей в этой стране до Московии, что их называют не иначе как архимандритами. С ним был епископ, проживавший в его монастыре, и монахи. Патриарха посадили в монастырский экипаж, имеющий вид царского, покрытый позолотой, а внутри весь обитый красным бархатом, и нас повезли по направлению к мо-

настырю. Мы ехали среди бесчисленных садов, где были несметные тысячи ореховых и шелковичных деревьев и множество виноградных лоз. В каждом саду находится жилище его владельца; всего около 4—5 тысяч домов с 4—5 тысячами садов, и все они составляют владение упомянутого монастыря. Затем мы прибыли к большому го-

Казацкая конница под Львовом. По рисунку XVII в.



роду со стеною, рвом * и множеством садов и, въехав в царскую, широкую улицу, проезжали сначала мимо монастыря для монахинь из благородных семейств, потом подъехали к огромной, высокой каменной башне, выбеленной известью, — то были ворота монастыря; над ними как бы висит церковь, со многими округлыми окошками и высоким граненым куполом; она в честь св. Троицы, ибо внутри ее есть изображение трапезы ангелов и Авраама.

Тут высадили из экипажа нашего владыку патриарха, из уважения к святой обители, ибо, если даже царь приедет, то сходит и отсюда идет пешком. Здесь крепкие железные ворота и стоят привратники. В предшествии встречавших нас мы вступили в великий монастырь Успения Богоматери, известный на их языке под именем Печерский, что значит «монастырь пещер», ибо святые Антоний и Феодосий, соорудившие его, ранее обитали в пещерах и подземельях, служивших убежищем затворников и кельями отшельников. Слева от входящего в эти ворота находится вышеупомянутая церковь Троицы, куда поднимаются по высокой лестнице. На одной двери их изображен Иоанн Милостивый, патриарх александрийский: он стоит одетый в мантию, с клобуком на голове (какой обычно носит в этой стране патриарх; и мы возили с собой клобук, сделанный из черного бархата, но наш владыка отказался надевать его, хотя в этом не было ничего дурного и он был, может быть, наиболее подходящим головным убором), святого окружают нищие, бедняки и больные, которым он бросает монеты правой рукой, а в левой держит пустой кошелек. На второй двери изображение богатого и Лазаря: богатый сидит за столом, окруженный друзьями и разряженными женами; они пьют вино; Лазарь стоит у дверей, прося милостыню, его отталкивают и прогоняют; он идет и садится внизу напротив них в воротах, и собаки лижут его раны; тут же ангел смерти с ужасным видом. Между этими двумя дверями стоит пустой внутри деревянный столб, обитый железом, с замком, дабы всякий входящий, у которого сердце жестоко, при виде этих двух изображений бросил туда милостыню для бедных.

Отсюда идет далее широкая великолепная дорога к тому месту, где стоит церковь; справа и слева многочисленные, красивые и чистенькие кельи монахов с прекрасными стеклянными окнами, которые дают обильный свет со всех четырех сторон и выходят на дорогу, в па-

лисадники и сады, в которых расположены кельи. Каждая келья содержит три комнаты с тремя дверями, которые крепко запираются удивительными железными замками. Кельи разрисованы и расписаны красками и украшены всякими картинами и превосходными изображениями, снабжены столами и длинными скамьями, печами, то есть очагами, с красиво расписанными изразцами. При них находятся прекрасные комнаты с уважаемыми, драгоценными книгами. Каждая келья изукрашена всякого рода убранством, красива, изящна, опрятна, так что веселит душу входящего в нее и прибавляет жизни своим обитателям. С наружной стороны у келий прекрасные палисадники с цветами, окруженные изящными решетками.

Два года тому назад в этом монастыре было около пятисот монахов, но в упомянутую моровую язву из них умерло до трехсот и осталось теперь двести. <...>

Нас повели в трапезную, где помещаются прекрасные и благополучные кельи настоятеля. Сначала подали сласти и варенья, именно: варенье из зеленых сладких грецких орехов, цельных, в обертке, варенье из вишен и иные сорта со многими пряностями, которых мы не видывали в своей стране; еще подавали хлеб на меду с пряностями и водку. Потом это убрали и подали обед, состоящий из постных блюд, ибо это было в понедельник, в который они не едят рыбы, так же как и по средам и пятницам. Подавали постные кушанья с шафраном и многими пряностями всякого сорта и вида, печенные из теста в масле блины, сухие грибы и пр. Для питья подавали сначала мед, потом пиво, затем отличное красное вино из собственных виноградников.

Сначала ставили на стол по нескольку блюд разного кушанья, затем отодвигали их понемногу и приносили другие; так продолжали делать до конца, по обычаю турок, а не молдаван и валахов, которые оставляют блюда одно на другом до вечера. Каждое подаваемое блюдо ставили сначала перед нашим владыкой патриархом и оставляли, пока он не поест с него немного, затем его двигали дальше по столу до самого конца стола, где его снимали. Всякий раз, как поднесут ему блюдо, подают его потом другому, так что он ел с блюд первым, раньше всех, а присутствующие после. Убрав кушанья, подали разнообразные фрукты, царскую вишню сладкую и кислую, сладкие кисти, похожие на лисий виноград, как бы кораллы, вроде апрельских семечек, и другой сорт, по-

добный незрелому винограду, по имени икрист, и иное.

В таком порядке и виде бывает у них трапеза. Все приборы: тарелки, кубки, ложки, которые клали перед нами, как в этом монастыре, так и в других, всегда были из серебра.

Мы встали из-за стола и возвратились в свое помещение.

Знай, что вокруг этого монастыря есть двадцать три церкви, где служат монахи; из них те, которые находятся среди садов, назначены для мирян. <...>

Что касается келий архимандрита, то они представляют большой великолепный дом. Кельи, где он помещается, находятся в верхнем этаже и имеют высокий купол; вокруг него красивая решетка, выходящая на великую реку Днепр, которая течет внизу монастырских садов.

Нас водили в сады архимандрита, куда мы спустились из его келий по лестнице. Входят в сад дверью в виде высокой арки с куполом. С боков она вся состоит из решетки, сплетенной из тонких ветвей внутри и снаружи, и имеет один локоть в толщину. Внутри ее какое-то растение с зелеными ветками и многочисленными шипами, похожее на желтый жасмин или ветви жасмина Хамы; поднимаясь из земли, оно проникает в это удивительное произведение и наполняет решетку. Всякую веточку, как только она выступит наружу из решетки, обрезают ножницами. Из того же растения сделаны изгороди питомников этого сада. Ты видишь, что его стволы, выходя из земли, бывают шириной в локоть, поднимаются над землей не более как на два локтя и в своей совокупности образуют по ширине как бы стену. Растение приносит плоды. Мы их ели: они похожи на незрелый виноград, зеленые и сладкие. Его называют икрист. Столь искусное устройство есть дело рук садовников, которые подрезают и выращивают это растение, делая его таким красивым. В этом саду есть абрикосовые деревья и очень много шелковичных. Говорят, что прежний митрополит казаков * разводил на них шелковичных червей и получался отличный шелк. Есть множество больших ореховых деревьев и еще более виноградных лоз; вино из них темно-красное; его разносят из этого монастыря по всем церквам земли казаков.

Знай, что здесь во всяком большом монастыре, у митрополита казаков и у всех его епископов есть служилые люди из важных сановников; из них каждый чином

равеп полковнику. Их зовут монастырскими слугами. Когда митрополит, или епископ, или архимандрит монастыря едет в своем экипаже, они скачут впереди и позади него на отличных дорогих конях, в пышных одеждах и в полном драгоценном вооружении. Такой у них обычай.

Знай, что во всех кельях: у митрополита, епископа, архимандрита, у дьякона или монаха — имеется бессчетное множество дорогого оружия, именно: малые алжирские и черкесские ружья, сабли, пистолеты, луки со стрелами и пр.

За вратами великой церкви две колокольни, одна напротив другой, с западной стороны. Они деревянные, высокие, четырехугольные. Одна из них очень высокая, и подъем на нее равняется всходу на минарет Исы в Дамаске. Она громадна и имеет много камор внутри; наверх ведет большая витая лестница. Наверху висят на деревянных брусьях пять больших и малых колоколов; там же находятся скрытые в каморе большие железные часы, бой которых слышен на большом расстоянии. Они возвещают каждую четверть часа одним ударом в малый колокол, когда пройдет час, они ударяют четыре раза тихо, потом бьют известное число часов в большой колокол. В то время, 24 июня, они били до вечера 24 часа, таким образом день имел $17^1/_2$ часов, а ночь $6^1/_2$. У них есть извне, на стене колокольни, круг для солнечных часов. Другие часы висят снаружи каменной колокольни церкви Троицы, о которой мы упоминали. Когда большие часы вечером пробьют 24 часа, эти ударяют много раз в железную доску с сильным боем, чтобы слышали находящиеся вне монастыря, вошли и заперли ворота. Другая колокольня, напротив, ниже первой. На ней висит огромный колокол, подобного которому мы еще не видывали: он величиной с небольшой шатер и весит около 50 алеппских кинтаров. <...>

В среду перед праздником апостолов приехала игуменья женского монастыря в честь вознесения и пригласила нашего владыку патриарха присутствовать у них на литургии. <...>

Монахини пели и читали молитвы приятным напевом и нежными голосами, разрывающими сердце и исторгающими слезы: это было пение трогательное, хватающее за душу, много лучше пения мужчин. Мы были восхище-

ны приятностью голосов и пения, в особенности девиц взрослых и маленьких. Все они умеют читать, знакомы с философией, логикой и занимаются сочинениями. <...>

Близ великой церкви есть превосходный, знаменитый печатный дом *, служащий для этой страны. Из него выходят все их церковные книги удивительной печатью разного вида и цвета, а также рисунки на больших листах, достопримечательности, иконы святых, ученые исследования и пр. По обычаю патриархов, мы напечатали в нем множество разрешительных грамот с именем нашего патриарха на их языке красными буквами и с изображением св. ап. Петра. Грамоты были трех родов: в целый лист для вельмож, средние — для народа и маленькие — для женщин.

В этот день Сильвестр *, митрополит Киева и всей земли казаков, что есть Малая Россия, приехал к нашему владыке патриарху в экипаже, обитом красным сукном. С ним были двое епископов и настоятели монастырей. У всех них висели на груди золотые кресты на цепочках, и они были одеты в свои всегдашние мантии. Его сопровождали обязанные к тому служилые люди, впереди и позади, на прекрасных конях, в дорогих одеждах и оружии. Когда они приветствовали нашего владыку патриарха, мы возложили ему на шею крест по их обычаю. <...>

В монастыре наше пребывание длилось с понедельника до субботы. Архимандрит посадил владыку с собой в свой экипаж, а служилые люди следовали впереди и позади, пока мы не прибыли в монастырь церкви Софии, которая является кафедрой митрополии Киевской и всей страны казаков и Малой Руси. Архимандрит простился с ним и вернулся к себе. Наш переезд продолжался с полчаса, ибо расстояние очень коротко.

Нас встретил митрополит Сильвестр со своими епископами и настоятелями монастырей. Мы остановились у него. Нас ждали, дабы мы присутствовали у них на литургии. В то время как ударяли в большой колокол, мы вышли посмотреть на него и увидели нечто изумительное. Он гораздо больше колокола Печерского монастыря, в семь, восемь раз: наверно, он будет с большой шатер. Железный язык его весит около $1^1/_2$ алеппского кинтара; двенадцать юношей с большим трудом могли его раскачать, и без того, чтобы кто-нибудь не раскачивал его внутри, он не мог бы дойти до краев колокола по причине его ширины. Когда ударяли в него, наши уши

были оглушены его сильным, громоподобным звоном: я говорил своему спутнику громким голосом, и он не слышал. Прочная, высокая деревянная колокольня, которая больше всех, виденных нами, шаталась и дрожала. Но звук колокола монастыря Печерского резче и выше, а звук этого колокола мягче и ниже; по-видимому, он из эмесского сплава. <...>

Знай, что древний город Киев был здесь, и доселе заметны следы его ворот, земляных валов и рвов. До сих пор целы в нем большие ворота с каменной башней, называемые Золотыми *, ибо они были позолочены. Их сожгли татары в последнее время, когда напали на этот город невзначай и зажгли его. Город был великолепен. Печерский монастырь находился вне стен его, а эта церковь св. Софии — посредине его вместе с Михайловским монастырем, что напротив нее, которого купол еще покрыт позолотой, и вокруг них обоих было множество благолепных церквей, так как этот город в древности был столицей царства здешних стран, как они сами нам рассказывали.

Когда воссиял свет веры во Христа во дни упомянутого царя Василия, по счислению, 651 год тому назад, как это обозначено на вратах здешних церквей и монастырей, и Владимир, царь Руси, женился на сестре царя Василия, по имени Ольга *, после того как прибывшие с ней митрополит и епископы окрестили царя и всех жителей его страны, которые были огромным народом, как повествуют летописи, не принадлежали никакому закону и не исповедовали никакой веры, тогда царица соорудила у них много церквей и монастырей, строителями которых были мастера из Константинополя. По этой причине все надписи сделаны на греческом языке. В то время племена, окружавшие область Киевскую, были язычники, неверные, именно: ляхи, московиты, татары и иные, и постоянно воевали с царицей, но она их победила, пока через нее не воссиял на них свет веры во Христа, и они уверовали (за исключением татар). Митрополит Киева имел тогда под своей духовной властью также страну московитов, но 60 лет тому назад Иеремия Константинопольский, прибыв, сделал архиепископа московитов патриархом, дабы править самостоятельно, ни от кого не завися, ибо вся эта страна подчинена Константинопольскому патриарху, и они поминают имя его в определенных случаях, говоря: «Из Константинополя вос-

сиял к нам свет веры во Христа, оттуда мы приняли обряды». Константинопольский патриарх всегда присылает к ним, т. е. в страну казаков, экзарха, и они дают

План Киево-Печерской лавры и ее окрестностей.
Из книги А. Кальнофойского «Тератургима» (Киев, 1638).

ему милостыню. Он имеет точные сведения об их монастырях, как нам рассказывали.

Мы нашли у архимандрита Печерского монастыря древние грамоты прежних патриархов константинопольских, почти за 500 лет назад, на пергаменте; содержание их в том, что монастырь независим. Мы нашли также у него грамоту покойного Феофана, патриарха Иерусалимского, и позднейшую — теперешнего Паисия. Была также написана для него грамота на их языке, к которой наш владыка патриарх приложил свою подпись и печать; содержание грамоты в том, что архимандрит действует по закону, что монастырь этот независим и пр.

Среди этих настоятелей монастырей есть люди ученые: законоведы, ораторы, знающие логику и философию и занимающиеся глубокими вопросами. <...>

К нашему владыке патриарху в этом городе Киеве, который мы опишем, явился священник, на которого возложено важное поручение, грек родом, живущий в городе Париже *, во Франции. Мы с большим удовольствием с ним встретились. Он в настоящее время прибыл послом от царицы великого шведского народа *, девственницы, к гетману Хмелю. Она еще раньше, давно отправляла к нему двух послов, кроме этого, и так как ее страна смежна со страною ляхов, то эти узнали их и схватили. Тогда она послала этого священника в Константинополь, откуда он прибыл в страну казаков к Хмелю с посланием от царицы к нему в похвалу его подвигов, прославление его деяний и того, что он сделал ее врагам ляхам, ибо, как мы упоминали раньше, они завоевали многие из ее городов и владений. Она писала ему: «Да будет тебе несомненно известно, что я снаряжу из пограничных моих областей 60 тысяч воинов тебе на помощь, дабы ты сокрушил моих врагов». После того как тот священник повидался с гетманом, последний также отправил с ним посла от себя с письмом в ответ ей. Тогда упомянутый священник с послом Хмеля поехал к московскому царю также с письмом к нему от нее, опять по той причине, что граница ее страны близка от границы московитов и между нею и царем большая дружба. В ее стране много подданных из московитов.

Невольно мне приходится сказать: «Кто ты, о Хмель, носящий лапти, как о тебе говорят твои враги ляхи, что цари и царицы присылают к тебе послов и великие дары? Слава единому богу, который воздвиг тебя и покорил врагов твоих под ноги твои!» <...>

Возвращаемся к тому, на чем мы остановились, к известиям о Киеве. Церковь Софии построена по плану подлинной знаменитой константинопольской Софии: такие же, как в той, арки, окружность и крыша. Ум человеческий не в силах обнять ее по причине разнообразия цветов ее мрамора и их сочетаний, симметричного расположения частей ее строения, большого числа и высоты ее колонн, возвышенности ее куполов, ее обширности, многочисленности ее портиков и притворов. То была св. София по имени и в подлинности, а эта по имени и по подобию.

Здание ее четырехугольное и все сводчатое, из камня, кирпича и извести внутри и снаружи. Но со стороны западного нартекса она наполовину в развалинах. Рассказывали, что татары в давнее время ее разрушили и сожгли и она оставалась в разрушении около ста лет, убежищем для скота и вьючных животных. Потом она была отстроена, но ее разрушили униаты, т. е. русские последователи папы: они выломали все плиты ее пола и мозаику и поместили в своих церквах. Нам рассказывали, что церковь со всеми своими притворами и галереями вверху и внизу была украшена мозаикой. Говорят, в ней было семьдесят алтарей вверху и внизу. Когда ее разрушили упомянутые ляхи, она оставалась в развалинах около 70 лет, пока не появился вечной памяти Петр, по прозванию Могила, брат Моисея, господаря Молдавии. Сделавшись митрополитом Руси, он постарался по силе возможности реставрировать ее и привести в ее теперешний вид. Бог да помилует его! <...>

Стена и рвы крепости проходят подле этого монастыря и врат св. Софии. Ее только что выстроил богохранимый царь Алексей. Она укреплена деревянными стенами, рвами и крепкими башнями. Московиты обладают светлым умом, подобно франкам, ибо они изобрели такие приспособления для укрепления этой крепости, каких мы не видели в их стране. Они поставили кругом рва бревна вроде длинной оси водяного колеса, очень большие, и переплели их жердями, заостренными наподобие кинжалов и копий, торчащими с четырех сторон оси в виде креста, как вóроты наших колодцев. Бревна эти положены в два яруса, будучи протянуты над землей на высоте около полутора роста. Если неприятель нападет, то не найдет пути ни по земле, ни сверху, и если повиснет на верхних бревнах, то от этого погибнет, потому что упадет на заостренные нижние колья, которые вонзятся

в его тело и члены, и могила станет его обиталищем. Мосты при воротах этого города и крепости поднимаются на цепях. Вся земля вокруг них имеет подземные ходы, наполненные большим количеством пороха. На каждых воротах висит большой колокол: если что-нибудь случится, то в него ударяют, чтобы дать знать всем находящимся в крепости. То же во всех крепостях московитов. В этой крепости много пушек, одни над другими, вверху и внизу. В ней двое воевод, уполномоченные от царя. У них 60 тысяч войска, из которого одна часть стоит под ружьем днем, а другая ночью.

Древний город Киев доходил до сего места. Когда его покорили враги, то с течением времени он разрушился, и его перенесли в долину на низменность на берегу великой реки Днепра. Путь к нему таков: ты входишь в одни ворота крепости и выходишь в другие, затем с трудом съезжаешь в город по крутому и узкому спуску, где дорога весьма затруднительна и дает место только одной лошади с экипажем. Крепость же, теперь вновь построенная, стоит наверху горы, откуда виден весь город, расстилающийся внизу у ее подножья. <...>

Во вторник 3 июля мы простились с митрополитом и съехали в город Киев, после того как митрополит раньше посылал туда известие и нам приготовили большое помещение. По обычаю, он послал перед нами своих людей, вельмож и сановников, на конях и вооруженных. Когда мы спустились в город, нас встретили его многочисленные священники и дьяконы в облачениях, с хоругвями и свечами. Нас ввели в благолепную каменную церковь, что среди рынка, с пятью куполами, крестообразно расположенными, во имя Успения Богородицы *. Затем они пошли впереди нас в обширное жилище, где мы поместились.

В этом городе Киеве вельможи также носят в руках разновидные толстые трости, бамбуковые и иные. В городе много людей знатных, почтенных, господ и богачей. Нам привозили мед и пиво в больших бочках на телегах. Водки много. Хлеб доставляли возами, а рыбу кинтарами по причине изобилия всего этого у них. Рыба дешева и обильна на удивление, всяких сортов и видов, ибо великая река Днепр, как мы упоминали, находится близ них, и по ней ходит много кораблей. Что касается вида судов, плавающих по этой реке, то они огромны, ибо мы измерили по длине, от одного конца до другого, один кусок дерева в 150 пядей. На этой реке много судов дли-

ной в 10 локтей, выдолбленных из одного огромного куска; на них ездят в Черное море, как мы сказали выше.

Дома в этом городе великолепны, высоки и построены из бревен, выстроганных снутри и снаружи. При каждом доме, как при дворцах, имеется большой сад, где есть все плодовые деревья, какие только у них растут: бессчетное множество больших тутовых деревьев привозных из породы аль хаззаз, с белыми и красными листьями; но их ягодами пренебрегают; есть также большие ореховые деревья; очень много в этих садах виноградных лоз. Среди своих превосходных огуречных гряд они сеют очень много крокуса, руты и гвоздики разных цветов.

Купцы привозят сюда оливковое масло, миндаль, оливки, рис, изюм, смоквы, табак, красный сафьян, шафран, пряности, персидские материи и хлопчатобумажные ткани — в большом количестве из турецких земель, на расстояние 40 дней пути. Но все это очень дорого. Женщины продают на красивых базарах и в отличных лавках все необходимое из материй, соболей и пр.; они нарядно одеты, заняты своим делом, и никто не бросает на них нахальных взглядов.

Нам рассказывали, что в этой стране казаков, когда захватят в прелюбодеянии мужчину или женщину, тотчас собираются на них, раздевают и ставят целью для ружей. Таков у них закон, которого никто никогда не может избегнуть.

В этом городе среди казацких живописцев есть много искусных мастеров, которые обладают большой изобретательностью ума в изображении людей, как они есть, также в изображении всех страстей господних с их подробностями, как об этом будет сказано.

Сколько вздохов и скорби, сколько стонов в сердцах ляхов, вельмож и простолюдинов, об этом городе Киеве, ибо он был престольным городом их монарха и большой столицей, был весь занят жилищами их вельмож! Все эти прекрасные дворцы, великолепные дома и сады принадлежали им и богатым евреям. <...>

В этих двух церквах города и в его окрестностях было несколько тысяч иезуитов, вернее, езидских священников. Когда появился в этой земле Хмель и, обходя по всем направлениям страну, избивал из них всех попадавшихся ему в руки, то оставшиеся в живых бежали сюда, говоря: «Для нас нет спасения, кроме как здесь», ибо этот город представляет осаждающим трудности и для стоянки, и для передвижений и окружен крепостями и

горами. Но Хмель и казаки проникли к ним, связали их веревками, которыми они были опоясаны, и побросали в реку Днепр для потопления, подвергнув их сначала сильнейшим истязаниям; тела их были съедены псами.

Иезуиты не довольствовались тем, что уже имели ляхи, но хотели уничтожить весь род казаков, отнять Печерский монастырь и Софию и обратить их в свои церкви. Тогда Хмель возревновал, подобно пророку Илье, отомстил им, избавил избранный народ божий из рук неверных и мерзких людей, у которых много голов, но нет главы, и освободил его от порабощения безбожными евреями и от власти злых армян-еретиков. О неверные! О враги истинной веры! Вы ставите врагов веры господами над христианами, правителями над избранными, божественным народом православным, дабы, угнетая их, насильно притянуть к своей вере, дабы, поработив их и мучая через их врагов, заставить принять вашу религию. Почему вы не проповедуете безбожным евреям и не крестите их в свою веру, чтобы обратить их на истинный путь и сделать их христианами посредством проповеди и учения? Армян-еретиков вы принимаете к себе в сообщество. Вы принуждаете казаков, которые христиане, к молитве с вами в ваших церквах. Но апостолы в древности проповедовали только народам заблудшим и неверным и израильтянам; вы же поступали тогда вопреки проповеди святых апостолов и дали врагам божьим, еретикам, возобладать над православными, так что господь возревновал о них и истребил многие тысячи из вас, дав силу каждому из них обращать в бегство сотни вас, а сотням — тысячи, а вас, надменных, подверг презрению и уничтожению, как обещал устами древних своих пророков. Он избавил их от рабства, и они стали лучшими, избранными сынами. Через свое терпение они напоследок сделались наследниками его царствия; вас же он сделал пищей их мечей, а в будущей жизни народом заблудших и злых, согласно с тем, как он обещал, что будет противиться горделивым и дарует свою благодать смиренным, злые же будут клевретами проклятого сатаны. <...>

Мы выехали из города Киева в понедельник и прибыли на берег знаменитого Днепра у самой окраины города. Мы переехали его на большом судне вместе со своими экипажами и лошадьми, плывя вдоль по нему около двух часов, пока не вышли на землю на другом берегу, ибо он

больше Дуная. При этом мы любовались справа от себя на монастыри и церкви, что на верху горы, именно монастыри: Михаила, Николая, Печерский с церквами, его окружающими, монастырь, построенный здесь молдавским господарем Василием, а также кельи отшельников в пещерах, следовавших одна за другой. Затем мы проехали две большие мили по узким дорогам, обильным водами и песками, и по огромному лесу, который состоит весь из сосен, подобных кипарису, поражающих ум изумлением. Вечером мы прибыли в небольшой город, называемый Бровары. В нем красивая церковь во имя Петра и Павла и есть подворье, обитаемое монахами и принадлежащее Печерскому монастырю, как его угодье. Мы поднялись отсюда во вторник, проехали две большие мили и прибыли в город с укреплением, замком и двумя рвами с проточной водой. Он называется Гоголев. В нем две церкви: одна — во имя преображения, другая — рождества богородицы. Есть также церковь для ляхов, еще недостроенная; наш владыка патриарх велел жителям освятить ее, достроить и совершать в ней службу, назвав ее во имя св. Георгия. Выехав отсюда, мы сделали еще одну милю и прибыли в селение с церковью, по имени Русанов; близ него громадное озеро и очень большие мельницы и сукновальни. Проехали еще полмили и прибыли в небольшое селение с красивой крепостью по имени Ядловка. <...>

Затем... прибыли вечером в большой благоустроенный город, называемый Прилуки, с большим укреплением. Цитадель внутри его удивительна по своей вышине, укреплениям, башням и пушкам, по своей облицовке и глубине рва с проточной водой. Она имеет на южной стороне скрытый резервуар, куда собирается для нее вода из громадного озера и текущих рек. К цитадели ведут потаенные подземные ходы. Внутри ее находится величественный и очень высокий дворец, вверху и внизу удивительный по обширности, высоте, громадности бревен и полированных внутри и снаружи досок, плотно приложенных друг к другу, по огромным, высоким печам, превышающим кипарисы. Дворец недостроен. Дата его написана на верху его горбообразной крыши, похожей на такие же крыши построек Ханана и области Маарры по резным украшениям и устройству; эта дата, написанная по-гречески, есть 1647 год; следовательно, дворец существует семь лет с того времени, как его завоевали казаки, спустя год после своего появления, ибо теперь

1654 год от рождества Христова. Этот дворец принадлежал четвертому правителю ляхов, по имени Вишневецкий. <...> Его власть простиралась от реки Днепра до реки Путивля, границы Московии. У него было под начальством 60 тысяч отборных ратников из молдаван, греков, арнаутов, немцев и многих других народов. Татары прозвали его кучук-шайтан, т. е. маленький дьявол, потому что он много раз внезапно нападал на их страну, жег и разорял, ибо граница его области близка от татарской. Когда появился Хмель и завоевал земли по ту сторону Днепра до Киева, этот правитель посылал к нему, стараясь его обмануть, и выказывал ему дружбу, между тем как вероломство скрывалось в засаде его сердца. Его намерением было, когда Хмель вступит с войском в страну ляхов и углубится в нее, двинуться за ним со своим войском и таким образом его охватили бы с двух сторон. Но Хмель, обладатель большого ума, это понял и послал к нему сказать: «Если ты желаешь мира, встань, очисти свою страну и отдай мне ее без войны, потому что я не оставлю тебя врагом позади себя». Тогда возникла война, и правитель послал свое многочисленное войско навстречу Хмелю. Старец Хмель пошел на него с тысячами своих ратников и все истребил мечом. Правителя известили об этом, но никто не хотел верить сообщению. Он сидел и пьянствовал внутри крепости в своем дворце с сорока приближенными, как вдруг показались знамена казаков. Тогда он опомнился, отрезвился от опьянения, вскочил на коня и бежал со своей гордыней, сбросив с себя царскую одежду и надев простую; но лошадь выбросила его из седла, он упал и сломал себе шею *; казаки настигли его и, отрубив ему голову, поднесли в дар Хмелю, который наткнул ее на длинный шест и поставил на верхушке его высокого дворца. Построение дворца так и осталось неоконченным, ибо по пословице он съел его голову; теперь он в запустении, служа местом для нечистот, свиней и собак. Вслед за Вишневецким бежал и наместник его, в то время как казаки уже окружили город. Он спустился через потаенную дверь, направляясь к озеру по мосту. Заметив его, казаки погнались за ним. При нем были две переметные сумки с золотом и серебром, и, когда они его настигали, он отрезал сумки в надежде, что они займутся подбиранием рассыпавшихся денег и он успеет убежать; но казаки и деньги подобрали, и его догнали на своих конях. От страха он заехал на лошади в озеро, но они захватили его и

убили; вытащив его из воды копьями, отрубили ему голову и, подняв ее на шесте, поставили рядом с головою его начальника.

В этом городе было много евреев и ляхов, которым не удалось убежать; те из них, что окрестились, избрали благую часть, а кто отказался, тех избили и отослали в лоно Сатанаила.

Возвращаемся. С южной стороны этой крепости находится озеро, огромное, как море, в которое впадает много рек. Тут в изобилии растет белая и желтая махровая кувшинка. На озере длинный мост с большим числом мельниц; при начале его находится скрытый водоем крепости. Поблизости стоит деревянный дом, служащий баней для общего пользования. Снаружи его имеется желоб из длинного бревна, над которым стоит человек и накачивает в него воду из реки хитрым снарядом, для наполнения медного котла, где она нагревается. Мужчины и женщины моются в бане вместе без передников, но каждый из них берет от банщика род метлы из древесных ветвей, которой они прикрывают свою наготу, по их обычаю. О удивление! В момент выхода из бани они погружались и плавали в холодной реке, текущей перед баней. <...>

Мы оставили этот город в понедельник утром 17 июля и, сделав полторы мили, проехали через большое благоустроенное селение по имени Ольшана, с плодовыми садами и палисадниками, с проточным озером наподобие реки. Проехав еще одну милю, достигли другого цветущего селения с большим озером. Сделали еще одну милю и прибыли в небольшой город с маленьким красивым укреплением и с очень большим озером, называемый Иванница; в нем изящная церквушка во имя св. Георгия. Все жители этих мест были в то время, с конца до сих пор, заняты жатвой. Мы поднялись отсюда во вторник утром. Сделав две с половиной мили, проехали через большое благоустроенное селение с садами по имени Крапивна; в нем церковь в честь Успения богородицы. Когда мы проехали еще милю, нас встретил сотник со знаменем и большим числом воинов. Они ехали перед нами еще две мили по многочисленным изгибам, горам и долинам, по узким и трудным дорогам, через плотины, мосты и заставы. Сколько раз приходилось нам в этой стране казаков ломать заставы на дорогах и деревянные

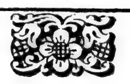
засовы по причине большой ширины наших экипажей! Мы подолгу простаивали на мостах, которые весьма узки, потому что здешние повозки маленькие.

Город, откуда прибыл сотник, находился очень близко влево от нас, но перед ним было большое, длинное, широкое озеро, все болотистое; поэтому дорога делала много поворотов, мили в две или даже более. Затем нас привезли в город, называемый Красный, с большим укреплением и цитаделью, висящей на краю горы, больше той, на вершине которой расположен город. <...>

Знай, что во всей стране казаков в каждом городе и в каждой деревне выстроены для их бедняков и сирот дома, при конце мостов или внутри города, служащие им убежищем; на них снаружи множество образов. Кто к ним заходит, дает им милостыню — не так, как в стране молдаван и валахов, где они ходят по церквам и по причине своей многочисленности мешают людям молиться, — ибо в этой стране казаков бедных так много, что один всевышний бог знает их; это большей частью осиротевшие дети, нагие, при взгляде на которых разрывается самое жестокое сердце. Всякий раз, как мы подходили к ним, они собирались вокруг нас тысячами за милостыней. Наш владыка патриарх много сострадал им. Нас удивляло, что они находятся в таком положении, живя во дни Хмеля, когда царит правосудие и справедливость: каково же было их положение во времена ляхов, которые брали с каждой души по 10 грошей в месяц! А теперь и чужестранцы оказывают им помощь — да будет благословен бог!

Знай, что город Корыбутов — последний предел земли казаков, а за ним нет населения: одни покинутые земли, развалины и необработанные поля. Отсюда до Путивля шесть больших миль. <...>

Рано утром в четверг 20 июля, в праздник пророка Ильи, ровно через два года после нашего выезда из Алеппо, мы поднялись и проехали пять миль по безлюдным степям и обширным лесам, лишенным воды. Город Путивль показывался ясно издали. Мы переехали границу земли казаков и прибыли на берег глубокой реки, называемой Сейм, которая составляет рубеж земли московской. <...>



ДОКУМЕНТЫ ОБ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ УКРАИНСКОГО НАРОДА И О ВОССОЕДИНЕНИИ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

1648 год, апрель — май

СООБЩЕНИЕ ПУТИВЛЬСКОГО ВОЕВОДЫ Н. ПЛЕЩЕЕВА О РАЗГРОМЕ Б. ХМЕЛЬНИЦКИМ ПОЛЬСКОГО ВОЙСКА ПОД ЖЕЛТЫМИ ВОДАМИ И ПОД КОРСУНЕМ

...Нынешнего, государь, 156-го году апреля в 23 день * как послал гетман корунной Миколай Потоцкой в Запороги на самовольных казаков запорожских черкас * на казацкого гетмана Хмельницкого сына своего Степана, а с ним послал польских ратных всяких людей да лестровых казаков полем тысеч с пять, да рекою Днепром в чолнах лестровых же казаков тысеч с пять же. И как де, государь, те польские ратные люди пришли з гетманским сыном с Степаном к урочищу к Желтым Водам, и тех де, государь, польских ратных людей у Жолтых Вод самовольные казаки, сложась вместе с татары, всех побили, а иных в полон поимали, а гетмансково де сына Потоцкого взяли в полон жива. А которые де, государь, лестровые казаки 5000 посланы были вниз рекою Днепром в чолнах к Кодаку городу, и ведомо де, государь, им, лестровым казаком, учинилось под Кадаком городом, что тех польских ратных людей, каторые пошли полем з гетманским сыном, самовольные запорожские казаки с татары побили и в полон поимали всех. И оне де, государь, лестровые казаки, побив на чолнах лутчих людей лестровых казаков и немец, перешли к тем же самовольным казаком и к татаром. И после де, государь, тово бою пошол обозом сам гетман корунной Миколай Потоцкой, да паны Колиновской да Синявской, а с ними де, государь, было польских и всяких ратных людей тысеч з десять и больши. И как де, государь, гетман Миколай Потоцкой, да Колиновской, да Синявской пошли с польскими ратными людьми из города Корсуня, и отошли верст з десять и будут в тесном месте

меж лесов, и в тех де, государь, местех встретили Хмельницкой с казаки и с татары майя в 15 день. И был де у них в ту пору меж себя бой небольшой, и майя ж де, государь, под 16 день в ночи, умысля Хмельницкой с казаки и татаровя, меж лесов на проходех в тесных местех выкапали рвы большие тое ж ночи. И на тех де, государь, местех во рвах и в лесах по обе стороны дороги наперед завели пехоту, запорожских казаков; и майя де, государь, в 16 день с утра рано у гетмана Миколая Потоцкого, и у Колиновского, и у Синявского с татары и с казаки был бой. И татарове де, государь, и казаки умысля, поманив небольшими людьми, бутто от тех польских ратных людей побежали, и за теми де, государь, татары и за казаки гетман Потоцкой с своим войском пошли за ними. И как будут в тех тесных местех меж лесов, а казаки де, государь, и татаровя большими людьми зашли позади гетмана и польских ратных людей со всех сторон, и гетмана де, государь, и польских ратных людей татаровя и казаки в тех тесных местех и изо рвов пехота всех побили и в полон поимали.<...>

1648 год, 2(12) июня

ИЗ ИНСТРУКЦИИ Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО ПОСЛАМ ЗАПОРОЖСКОГО ВОЙСКА К ПОЛЬСКОМУ КОРОЛЮ

Сначала жаловаться, на господ державцев * и урядников на Украине, что имея уже нас подвластными, относятся к нам не так, как следовало бы относиться к рыцарским людям и состоящим на службе у короля, а хуже, чем к невольникам. Такие издевательства и нестерпимые обиды чинят, что не распоряжаемся свободно не только своим имуществом, но и самими собой.

Хутора, сеножати, луга, нивы, пашни, пруды, мельницы, что только ни понравится какому-нибудь пану уряднику, отбирают силой, самих нас обдирают, бьют, мучают, сажают в тюрьму, убивают до смерти за наше же имущество. И таким образом многих из нашего товарищества ранили и покалечили.

Пчелиные десятины, поволовщину * берут наравне с мещанами также и у некоторых, живущих в королевских имениях.

Казацким сыновьям нельзя содержать при себе своих престарелых матерей и отцов. А выгонять старых родителей нехорошо и грех, приходится казаку за них платить чинш * и отдавать все городские повинности.

Оставшимся казацким женам даже самым старым не то что три года, но и одного года нельзя свободно посидеть без мужа, — сразу же принуждают их вместе с прочими давать налоги господам и немилосердно грабят.

А наши паны полковники ведут себя не соответственно своим обещаниям и присяге: не только нас не обороняют от чинимых урядниками обид, а, наоборот, помогают им против нас. Вместе с солдатами и драгунами, которых при себе имеют, если что кому из них понравится — конь добрый, оружие или что-нибудь другое — под видом покупки забирают за полцены. А не уступишь, тогда думай, бедный казак, о себе. Коня или корову нельзя содержать недоступно для солдатских слуг, сено в скирдах и сжатые хлеба в поле насильственно забирают, как будто это их собственное.

А если уходим на свою службу на Запорожье, то и там на Днепре паны полковники не дают нам спокойно жить. Бедный казак, не имея доступа к морской добыче, должен кормиться трудом, охотой, ловлей рыбы. Тогда от каждого, охотящегося на лис, даже если охотников 500 будет, берут по лисе. А если не поймаешь лису, забирают у казаков самопалы за лис. А кто ловит рыбу, должен ловить и на пана полковника; если нет коня, чем вывезти рыбу, доставляют по воде, под водой, на своих плечах.<...> А относительно духовенства нашей старинной греческой религии *, просим, чтобы ее оставили в покое и церкви,

---

Казацкие послы. По А. Вестерфельду.

отобранные насильно для униатов в Люблине, Красноставе и других местах, чтобы были оставлены при прежних своих вольностях.<...>

1648 год, 23 декабря (1649 год, 2 января)

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО В КИЕВЕ (ИЗ ДНЕВНИКА ВОЙЦЕХА МЯСКОВСКОГО, ЧЛЕНА ПОСОЛЬСТВА ОТ ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦКОМУ)

Сам патриарх * с тысячью всадников выезжал из города его встречать, и здешний митрополит * дал ему место в санях по правую руку от себя. Вышедший навстречу народ, вся чернь приветствовали его на поле перед городом. И академия приветствовала его речами * и восклицаниями как Моисея, избавителя, спасителя и освободителя народа от польского ига, усматривая в имени Богдан доброе знамение, названный от слов «богом данный». Патриарх титуловал его светлейшим князем. В знак триумфа стреляли из всех пушек в замке и из меньших орудий в городе.<...> На протяжении нескольких дней патриарх вел с Хмельницким тайные переговоры, после чего отправился в Москву. Однако еще раньше выехал Хмельницкий, и патриарх провожал его за город.

1649 год, март — май

ИЗ ОТЧЕТА РУССКОГО ПОСЛА ГРИГОРИЯ УНКОВСКОГО О ЕГО ПЕРЕГОВОРАХ С БОГДАНОМ ХМЕЛЬНИЦКИМ

И Григорий гетману говорил: ...в прошлом во 156-м году присылали к великому государю нашему к его царскому величеству паны рада Коруны Польские и Великого княжества Литовского, что вы, Войско Запороское, от них ис подданства отложились и войну против их всчали и многое разаренье починили, чтоб царское величество их пожаловал, учинил им, поляком и литве, на вас, Войско Запороское, своими государевыми ратными людьми помочь и царское величество для православные християнские веры на то и не помыслил, а к панам раде Коруны Польские и Великого княжества Литовского писал с нарочным своим гонцом, чтоб они с вами, Войском Запороским, войны не держали и крови християнские не проливали. Да царскому ж величеству ведомо учинилось, что у вас, в Запороской земле, хлеб не родился и сыронча поела, а соли за войною ниоткуды привозу не было, и от войны в Запороской земле многое разаренье учинилось.

И царское величество тебя, гетмана, и все Войско Запороское пожаловал, хлеб и соль и всякие товары в своих государевых городех покупать вам, и в Запороскую землю пропущать и Войска Запороского всяких чинов людем приезжати велел. А только бы великий государь вас, Запороского Войска, не пожаловал в нынешнее разаренье и в войну, и в хлебный недород хлеба и соли в своих государевых городех покупать и к вам в Запороскую землю пропускать не велел, и у вас бы в Запороском Войске многие померли з голоду и против поляков за хлебным недородом стоять было не в мочь. А как мы по указу царского величества шли к тебе вашею Запороскою землею от путивльские границы, и в городех, и в селех и в деревнех Войска Запороского всяких чинов люди за великого государя бога молят, а нам на государеве милости били челом и говорили: только бы великий государь в нынешнюю войну и в хлебный недород их не пожаловал хлеба и соли в своих государевых городех покупать и пропускать не велел, и они б померли б з голоду. Да царское ж величество тебя, гетмана, и все Войско Запороское жалует: с торговых ваших людей, которые учнут приезжати в его царского величества в порубежные городы для торгового промыслу, с товаров их пошлин в свою государеву казну имати не велел. И то великого государя его царского величества к вам, Войску Запороскому, многая милость и без ратных людей многое поможенье. И тебе б, гетману, и всему Войску Запороскому царского величества милость надобно знать и памятовать и против того воздавать своею службою и раденьем.

И гетман Григорью говорил, что он и все Войско Запороское царскому величеству на ево государеве милости, что поволил в своих государевых городех Запороскому Войску хлеб и соль и всякие товары покупать и с торговых их людей пошлин имать не велел, челом бьют. И служити ему, великому государю, со всем Войском Запороским рад, и царского величества с торговых людей, которые учнут приезжать в Запороскую землю для торгового промыслу, в Киев и в иные городы, пошлин и тамги имать не велю, и въезжать в свои городы и оберегать их велю, чтоб им нихто кривды не чинил, и о том пошлет при нем же, Григорье, в городы к начальным людем Войска Запороского листы свои.

И Григорий гетману говорил: нынешней войне у тебя, гетмана, и у всего Войска Запороского с поляки и с литвою доколе быть и впредь чем ту войну кончать хотите?

И гетман Григорью говорил: нынешней войне с поляки и с литвою конец бог ведает. И до нынешней нашей войны они, ляхи и литва, беды и разоренья нам делали и святыя божия церкви и нашу православную християнскую веру своим злодейством

сквернили, и хотели нас поневолить в свою проклятую веру. И милосердный бог призрил на наши слезы и терпение, не допустил их в конец нас погубить, подал нам победу на них за злодейство их. А изволением божиим последнему в человецех мне повелел над Войском Запороским и над Белою Русью в войне сей начальником быти и над ляхи и над литвою победу имети. И увидя к нам, православным християном, милость и помочь божию и пречистые богородицы и всех святых, ляхи и литва присылают * и пишут к нам многажды, чтобы нам попрежнему быти под властию их и имети мир с ними на том, что им святыя божия церкви почитать и православную християнскую нашу веру хранить и лядцких духовных и начальных своих людей в городех Запороского Войска и во всей Белой Русии не держать, во всем повольность нам дать, а мне, гетману, дают город Чигирин да к тому 4 города, где я хочю, да воеводство Киевское, и на том нам ляхи и литва присегают. И мы ту их прелесть знаем и преж сего, коли мы у них в повинности были, и они через присягу крови наши проливали и всякое разаренье и беды нам чинили, а за нынешнюю нашу войну нам тово они хотели, чтоб ни одна младенческая душа православных християн жива не была. И мы всю надею свою возложили на бога и на пречистую богородицу и на свою правду, писали х королю и к паном раде о том, будет они без измены хотят с нами мир имети, и они б мир с нами учинили на том, что им, ляхом и литве, до нас, Запороского Войска и до Белой Руси, дела || нет. И уступили бы мне и Войску Запороскому всей Белой Руси по тем границам, как владели благочестивые великие князи, а мы в подданстве и в неволе быти у них не хотим. А если того не учинят и у нас с ними до судеб божиих миру не будет, то дело бог всчал и совершит он же святою волею своею. А будет поляки и литва на том мир с нами учинить похотят, и нам на тот мир, кроме царского величества, кого искать — не турского царя и не неметцких королей призывать.<...>

1649 год, май

СООБЩЕНИЕ СЕВСКИХ ВОЕВОД З. ЛЕОНТЬЕВА И Н. КИРИЛЛОВА О МАССОВОМ УХОДЕ УКРАИНСКОГО ДЕРЕВЕНСКОГО И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЙСКО Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО

Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холопи твои Замятенка Леонтьев, Наумко Кирилов челом бьют.

В нынешнем, государь, в 157-м году апреля в 20 день по тво-

ему государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу посылали мы, холопи твои, из Севска в польскою и в литовскою сторону для проведованья вестей севских пушкарей Ваську Ломакина да Понтелейка Матосова. И майя, государь, в 11 день те севские пушкари Васька Ломакин да Понтелейка Матосов в Севеск приехали. А в роспросе, государь, оне перед нами холопи твоими, сказали: были де оне в польской стороне в городе в Королевце и в-ыных городех, и майя де, государь, в розных числех изо всех польских городов запороские козаки и всякие деревенские пашенные люди конные и пешие все пошли к запороскому х казачью гетману к Богдану Хмельницкому в сход. А Киеву и в польских де, государь, городех остались только самые старые люди, да самые малые, а татаровя де, государь, крымские и белогородцкие к запороскому к гетману пришли. А сказывают де, государь, что запороской гетман Богдан Хмельницкий идет на поляков, а поляки де большим собраньем идут на запороских козаков.

А с сею, государь, отпискою к тебе, государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, послали мы, холопи твои, стародубца Данила Бокшеева майя в 11 день и велели, государь, ему отписку подать в Розряде * твоим государевым думным дьяком Ивану Гавреневу да Семену Заборовскому да дьяку Григорью Ларионову.

1649 год, 30 июня (10 июля) — 6(16) августа

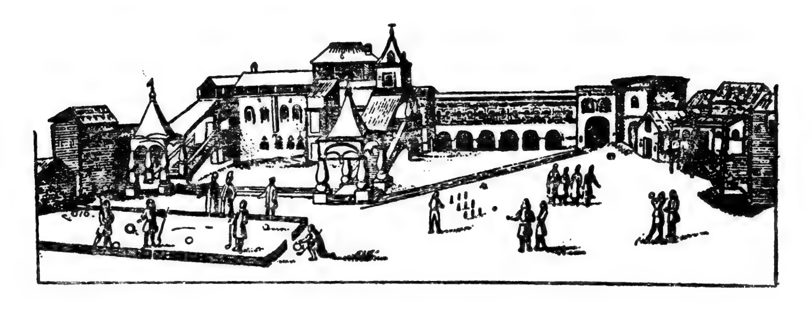
СООБЩЕНИЕ СЫНА БОЯРСКОГО Л. ЖЕДЕНЕВА И СТРЕЛЬЦА И. КОТЕЛКИНА ОБ ИХ ПОЕЗДКЕ К Б. ХМЕЛЬНИЦКОМУ И О БИТВАХ ПОД ЗБАРАЖЕМ И ЗБОРОВОМ

158-го сентября в 11 день приехав из-за рубежа из Литвы во Брянеск трубченин сын боярской Левонтей Жаденов да брянской стрелец, площадной дьячок Ивашко Котелкин, в съезжей избе воеводе князю Никифору Федоровичю Мещерскому в роспросе сказали: по государеву указу в прошлом во 157-м году июля в 7 день посланы мы были за рубеж в литовские городы и до обозу Запорожского Войска гетмана Богдана Хмельнитцкого для проведыванья вестей. И как мы приехали изо Брянска в Киев, и нас ис Киева, дав подводы и провожатых, отпустил до обозу к гетману Хмельнитцкому; и, приехав мы в обоз в осположин пост за неделю до успеньева дни пресвятей богородицы * под литовской городок под Збаруж, и под тем городом стоят запорожские черкасы, а с ними крымские и нагайские татаровя, кругом осадя. А гетмана пана Богдана Хмельницкого в то время в обозе не было, а сказали нам казаки запорожские, полковники

и сотники, что гетман пошол встречю против короля Яна Казимера, что де идет на нас король с войском, а с королем де войска 40 000. А в Збароже городе в то время сидел в осаде польской гетман пан Фирлея, а чей словет, тово не ведомо, да пан князь Вишневетцкой, а с ними польского войска и немец 20 000; а сидел в осаде 7 недель, и голод де великой был; ели собачину. И как де гетман Хмельнитцкой, послыша про короля, что идет на помочь ляхом, и поговоря с крымским царем, выбрав с собою лутчих людей, пошли встречю. И встретили короля за четыре мили от Збарожа; и был у них бой, и королевских людей казаки и татаровя побили и розбили их розно на трое. И король сам ушол в город к Збаровье и прислал к гетману Хмельнитцкому о миру говорить. И гетман де с королем сам виделся и договорился с ним, помирился на том, что х Киеву в казатцких городех по старине, как бывало, по коих мест казатцкие городы по Случь речку да по Сож реку, — от тех мест до Московского рубежа поляком дела нет, и лятцким костелом и жидовским людем в тех местех не быть. А которыми городами в тех местех и селами преж сево поляки владели, и ныне теми городы и селы владеть королю и быть державцом королевским; а паном за Случь реку и за Сож не выезжать. А как де король з гетманом мирился, и о том гетман королю говорил, чтоб наперед помирился с крымским царем; и король с крымским царем помирился: дал крымскому царю 400 000 тарелей битых. И помирясь с королем, гетман Хмельницкой под городом Збаровье пришол со всем войском в обоз под город под Збарож и стоял два дни; и поднявся со всем войском своим, пошол прочь в Запороги к себе в город Чигирин. А нас, Левонтья и Ивашка, держал у себя в стану и взял нас, велел ехать с собою дорогою для проезду от татар, и для царского величества кормил нас и поил у себя за столом, и ехали с ним до города Паволочи 2 недели. А с Па-

---

Посольский двор в Китай-городе в Москве. По Мейербергу.



волочья войско свое роспустил, а сам пошол на Белую Церковь к Чигирину, а нас отпустил с [Па]волочья с писарем своим с папом Луговским х Киеву и велел давать подводы и корм и провожатых. А крымской царь пошол из-под Збарожья к себе, а с ним гетман Хмельницкой отпустил 3-х полковников провожать. И па дороге мы слышали от козаков, что татаровя, идучи с казаками с полковником Небабою, взяли литовских 15 городов, и выжег и уезды повоевал. Да как мы, едучи з гетманом вместе и будучи у нево в шатре, слышали от нево самово, сказывал нам: «говорил де нам крымской царь, чтоб ему, гетману, с ним заодно Московское государство воевать; и я де Московского государства воевать не хочю, и крымсково царя уговорил, чтоб Московского государства не воевал».<...>

1650 год

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ АЛЬБЕРТО ВИМИНЫ, ПОСЛА ВЕНЕЦИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, К БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦКОМУ

Часть этой области, называемая Запорожьем, до такой степени плодородна, что не только может быть поставлена наряду с самыми культивированными странами Европы, но и удовлетворит требованиям самого прилежного земледельца. Страна называется Украиной, т. е. пограничьем; на ее плодородность указывает масса злаков.<...> Не меньше, чем в хлебе, замечается там изобилие в молочных продуктах, мясе и рыбе, благодаря массе пастбищ и множеству прудов.<...>

Кроме описанных выше богатств, благодатная почва доставляет жителям пренебрегаемые последними вкусные овощи и множество спаржи столь роскошной, что, на мой взгляд, она не уступит самым высоким веронским сортам, чрезвычайно вкусной и не горькой, как лесные сорта с тонкими стеблями, растущие около Рима и Неаполя.<...> Не имеется других ремесел, кроме столярного, седельного, плотницкого и сапожного, хотя большей частью сапоги употребляются с подошвами из лубка и кожи, сшитых дратвой. Одежу изготовляют из конопли и грубой шерсти, которую расчесывают деревянными гребнями.<...>

У козаков нет другой письменности, кроме народной русинской *, но лишь немногие ею занимаются. Церковный их язык — славянский, на который переведено было священное писание святым Кириллом *, и на нем же изложены учения святых отцов; говорят, что он отличается от их народного языка так же, как итальянский от латинского. Его изучают главным образом только дворяне, почему лишь немногие из духовных у казаков понимают его. Однако некоторые монахи, особенно из тех, ко-

торые состоят при митрополите, обладают достаточными познаниями в этом языке. Встречаются образованные люди, которые употребляют все усилия для поддержки их заблуждений *.

По этим заметкам легко составить себе понятие о нравах этого народа, который оставляет свою страну лишь ради войны, т. е. такой школы, которая большей частью вырабатывает людей благородных, но суровых и грубых. По внешнему виду и манерам казаки кажутся простыми, но они не глупы и не лишены живости ума. Об этом можно судить по их беседе и способу управления. Ибо обсуждение политических дел представляет собой арену, где узнаешь людей, каковы они на общественных собраниях, но в самом управлении сказывается и обнаруживается их грубость. Из этой толпы необразованного народа составляется суровый сенат *, в котором присутствует гетман. Следует иметь в виду, что народ ради войны отрывается из плуга и дел гражданского управления. В сенате казаки обсуждают дела, поддерживают свое мнение без чванства и с целью содействовать общему благу. Если признают лучшим мнение других, то не стыдятся этого, без упрямства отказываются от собственного взгляда и присоединяются к более верному.

Поэтому я сказал бы, что эта республика может уподобиться спартанской, если бы только у казаков находилась в таком же почете трезвость; однако они могут состязаться со спартанцами по суровости своего воспитания. Трудно представить себе, сколько они терпят от голода, жажды, утомления и бессонных ночей. Все это они претерпевают особенно во время морских походов, когда, по словам казаков, им не раз приходилось голодать по три дня, питаясь отвратительнейшим хлебом, чесноком и луком. Во время же сухопутных походов, в которые выступают по обычаю татарскому, казаки довольствуются небольшим количеством пшена, которое берут с собой на коня.<...>

Вообще, единственно, чем могут похвалиться казаки, это свободой; видимо, они ни во что ставят богатство, ибо довольствуются малым. Уже Сенека старался в своих сочинениях доказать — хотя и не следовал своему учению, так как копил сокровища, — что человек делается богатым не от приобретения богатства, но по мере уменьшения жадности к ним. Казаки<...> развлекаются лишь танцами, охотой и стрельбой из лука и ружья: мне случалось видеть, как они при этом пулей тушат свечку, отсекая нагар так, что можно подумать, будто это сделано при помощи щипцов... Упорно придерживаются заблуждений своей схизмы *, но правил вероучения не знают подробно и живут большей частью в вере отцов, и лишь духовные их лица понимают основные различия вер. Единственно, что всем им известно и всеми отвергается, это главенство римской церкви.<...>

Мне остается еще добавить кое-что о гетмане. По сословию своему он сын шляхтича, который подвергся изгнанию и лишен был дворянского звания. Роста он скорее высокого, нежели среднего, широк в кости и крепкого сложения. Речь его и способ управления показывают, что он обладает зрелым суждением и проницательным умом.<...> В обращении он мягок и прост, чем привлекает к себе любовь воинов, но, с другой стороны, он держит их в дисциплине строгими взысканиями. Всем, кто входит в его комнату, он пожимает руку и всех просит садиться, если они казаки. В этой комнате нет никакой роскоши, стены лишены всяких украшений, за исключением мест для сидения. В комнате находятся лишь грубые деревянные лавки, покрытые кожаными подушками; вероятно, те же лавки назывались у римлян subsellia; по словам Плутарха, их ножками были убиты Гракхи, когда задумали ввести аграрный закон. Дамасский полог протянут перед небольшой постелью гетмана; в головах ее висят лук и сабля, единственное оружие, которое он обыкновенно носит. Стол отличается не большей роскошью, чем прочая сервировка и утварь, ибо едят без салфеток и не видно другого серебра, кроме ложек и бокалов. Предусмотрительно гетман украсил таким образом свое жилище, дабы помнить о своем положении и не увлечься духом чрезмерной гордости. Быть может, в этом случае он взял пример с Агафокла, который, будучи сыном горшечника и достигши царской власти, велел устроить себе стол и постав с глиняными сосудами.<...>

Могу сказать касательно управления, что в городках существуют известные начальники *, которые чинят суд по делам гражданским и налагают легкие уголовные взыскания, так как решение важных дел принадлежит гетману, почему мне кажется, что он — настоящий самодержец *. О военных силах казаков дает понятие опыт прошлых походов. Что касается точного числа войска, какое может быть собрано, то кому оно ведомо? Сколько голов, столько, можно сказать, и воинов, ибо все они охотнее берутся за оружие, нежели за плуг.

1652 год, 22—23 мая (1—2 июня)

ПИСЬМО ШЛЯХТИЧА МИКОЛАЯ ДЛУЖЕВСКОГО, НАПИСАННОЕ 24 МАЯ (3 ИЮНЯ) 1652 ГОДА, О РАЗГРОМЕ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ ПОД БАТОГОМ

Ясновельможный и ко мне милостивый господин ксендз-канцлер *, наш благодетель! 3 июня я встретил гонца с королевской почтой, которая была послана к нам в лагерь под Батогом. Но не было уже куда ему идти. Поэтому я решился возвратить гонца

к вашей милости, чтобы как можно скорее уведомить о песчастном, неслыханном и быстром разгроме нас Хмельницким и ордой Крымской, Ногайской, Буджацкой.

Ход боев был таков. 1 июня подступило к нашему войску 16 тысяч ордынцев. Наше войско сначала действовало ретиво. Три полка отогнали орду на полмили, но туда к ордынцам пришли подкрепления. И когда наступили на наших, добились перевеса, а нашим рыцарям не обошлось без потерь. Так продолжалось до вечера.

На следующий день, 2 июня, начиная с полудня нас атаковал сам Хмельницкий с такими крупными силами, что мы не смогли сдерживать их и одного часа. Нас, окруженных со всех сторон, ордынцы рубили саблями, а казаки овладели лагерем, так что наше войско было полностью стерто с лица земли. Господин гетман * сразу же спрятался в редут, занимаемый иноземными солдатами. Но там не пробыл долго, так как враг, имевший несколько десятков пушек, окружил ими наш редут. Защитники его были убиты или взяты в плен. Сдались, так как не имели другого выхода. В таких редутах, не имеющих воды, сооруженных наспех, при штурме невозможно удержаться, а тем более при возникшем замешательстве.<...> А лагерь был такой, что и 100 тысяч вряд ли бы его оборонили. Впереди поставили только одну шеренгу, сзади не было не только арьергарда, но и вообще никого, способного к обороне. Казаки и татары легко взяли нас и проникали в лагерь, где только пожелали.

Из всей нашей хоругви * бог спас только меня и еще одного воина. Нам чудом удалось переплыть реку. А вообще уйти удалось очень немногим, так как многочисленные речные переправы и густые леса очень затрудняли отступление. При гетмане находились черниговский каштелян пан Одживольский, пан коронный обозный, сын коронного польного гетмана Калиновского, красноставский староста Марк Собеский, пан Балабан, пан Незабитовский, брацлавский подсудок пан Косаковский, пан Калинский и еще несколько ротмистров. Трудно сказать, какая их постигла участь. Сомневаюсь, удалось ли им уйти, пробиваясь сквозь густой заслон войск. Иноземцы и рейтары держались стойко, но и из них только немногие смогут в будущем послужить Речи Посполитой. Его милость пан брацлавский воевода *, который стоял недалеко от лагеря, но с нами не соединился, вероятно, смог отступить к Каменцу. Заднепровское войско, полки воеводы русского * и господ Сапег, ожидавшие в Охматове прихода Заднепровского войска, возможно, сумели сосредоточиться и сейчас осаждены казаками. Другие же утверждают, что они с боем отступают под прикрытием лесов. Каковы дальнейшие намерения врага, известно только богу. Вы должны побуждать короля и всю

Речь Посполитую наладить оборону в течение одной-двух недель ввиду опасности, что они могут двинуться в глубь страны.

Изложив все это на усмотрение вашего светлого ума, надеюсь, что недобрые вести (сообщенные не философом, а воином, избитым кистенями, с глазами, опаленными порохом) будут приняты благосклонно. Выражаю надежду, что вы не забудете бедного солдата, который служит уже двадцать с лишним лет. Полагаюсь на Вашу доброжелательность. Новоконстантинов, ночью 3 июня 1652 г. Миколай Длужевский.

1653 год, июль

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛКОВ И ПОЛКОВНИКОВ В КРЕСТЬЯНСКО-КАЗАЦКОМ ВОЙСКЕ

Да по Артамонову же и Иванову проведыванью у гетмана, и у писаря, и у иных знатных людей и концеряли *, сколько ныне у гетмана полков ратных людей учинено и хто у них полковников имяны:

Полк Чигиринской — полковник Карп Трушенко.

Полк Черкаской — полковник Ясько Пархоменко.

Полк Каневской — полковник Федор Стародуб.

Полк Корсунской — полковник Максим Нестеренко.

Полк Белоцерковской — полковник Семен Половец.

Полк Уманский — полковник Есип Глух.

Полк Бряславский — полковник Тимофей Носач.

Полк Кальницкий — полковник Иван Богун.

Полк Киевский — полковник Антон Жданович.

Полк Переяславский — полковник Павел Тетеря.

Полк Кропивенский — полковник Филон Ждалалы *.

Полк Прилуцкий — полковник Ясько Ворончеико.

Полк Миргородцкий — полковник Григорей Сахнович.

Полк Платавский /!/ — полковник Мартин Пушкарь.

Полк Черниговский — полковник Степан Побудайло.

Полк Нежинский — полковник Иван Ничипоренко.

Полк Паволоцкий — полковник Михайло Сулитич.

Всех 17 полков, а в них со 100 000 казаков.

1653, 1(11) октября

ИЗ РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБОРА В МОСКВЕ О ВОССОЕДИНЕНИИ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

В прошлом во 161-м году мая 25 по указу великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии самодержца говорено на соборех о литовском и о черкаском делех *. А в нынешнем во 162-м году октября в 1 день великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии самодержец указал о том же литовском и о черкаском делех учинити собор, а на соборе быти великому государю святейшему Никону, патриарху московскому и всеа Русии, и митрополитом, и архиепискупом, и епископу, и черным властем, и бояром, и окольничим, и думным людем, и стольником, и стряпчим, и дворяном московским, и дьяком, и дворяном, и детем боярским из городов, и гостем, и торговым и всяких чинов людем. И указал государь им объявити литовского короля и панов рад прежние и нынешние неправды, что с их стороны делаютца к нарушенью вечного докончанья, а от короля и от панов рад исправленья в том не бывало. И чтоб те их неправды его государевым Московского государства всяких чинов людем были ведомы. Также и запорожского гетмана Богдана Хмельницкого присылки объявити, что они бьют челом под государеву высокую руку в подданство. И что ныне король и паны рада при государевых великих послех по договору исправленья не учинили и отпустили их без дела.

И государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии самодержец, пришел от празника от покрова пресвятые богородицы за кресты и быв в соборной церкви, для собору был в Грановитой полате. А на соборе были: великий государь святейший Никон, патриарх московский и всеа Русии, митрополит крутицкой Селивестр, митрополит сербской Михайло, архимариты и игумны со всем освященным собором, бояре, окольничие, думные люди, стольники и стряпчие, и дворяне московские, и жильцы, и дворяне з городов, и дети боярские, гости и гостиные и суконные сотни и черных сотен, и дворцовых слобод, торговые и иных всяких чинов люди и стрельцы. <...>

А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорожском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку для православные християнские веры и святых божиих церквей, потому что паны рада и вся Речь Посполитая на

Письмо Б. Хмельницкого русскому правительству.

Спрошлом во рѯа году по указу великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии самодержца говорено на соборе о литовском и о черкасском деле.

Нынешнем во рѯв году октября в а день великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии самодержец указал о тех же о литовском и о черкасском делех учинити собор. И на соборе быти великому государю с отцом своим Никону Патриарху московскому и всеа Русии и митрополитом и архи

Решение Земского собора о воссоединении Украины с Россией (начало).

православную християнскую веру и на святые божии церкви востали и хотят их искоренить, и для того, что они, гетман Богдан Хмельницкой и все Войско Запорожское, присылали к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии бити челом многижда, чтоб он, великий государь, православные християнские веры искоренить и святых божиих церквей разорить гонителем их и клятвопреступником не дал и над ними умилосердился, велел их приняти под свою государскую высокую руку. А будет государь их не пожалует, под свою государскую высокую руку приняти не изволит, и великий бы государь для православные християнские веры и святых божиих церквей в них вступился, велел их помирити через своих великих послов, чтоб им тот мир был надежен.

И по государеву указу, а по их челобитью государевы великие послы в ответех паном раде говорили, чтоб король и паны междоусобье успокоили, и с черкасы помирились, и православную християнскую веру не гонили, и церквей божиих не отнимали, и неволи им ни в чем не чинили, а учинили б мир по Зборовскому договору.

А великий государь его царское величество для православные християнские веры Яну Казимеру королю такую поступку учинит: тем людем, которые в его государском имянованьем в прописках объявились, те их вины велит им отдать. И Ян Казимер король и паны рада и то дело поставили ни во что и в миру с черкасы отказали. Да и потому доведетца их принять: в присяге Яна Казимера короля написано, что ему в вере християнской остерегати и защищати, и никакими мерами для веры самому не теснити, и никого на то не попущати. А будет он тое своей присяги не здержит, и он подданных своих от всякия верности и послушанья чинит свободными.

И он, Ян Казимер, тое своей присяги не здержал, и на православную християнскую веру греческаго закона востал, и церкви божии многие разорил, а в-ыных унею учинил. И чтоб их не отпустить в подданство турскому салтану или крымскому хану, потому что они стали ныне присягою королевскою вольные люди.

И по тому по всему приговорили: гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами и з землями принять.

А стольники, и стряпчие, и дворяне московские, и дьяки, и жильцы, и дворяне ж и дети боярские из городов, и головы стрелецкие, и гости, и гостиные и суконные сотни, и черных сотен и дворцовых слобод тяглые люди, и стрельцы о государской чести и о приеме гетмана Богдана Хмельницкого и всего Войска Запорожского допрашиваны ж по чином, порознь.

И они говорили то ж, что за честь блаженные памяти вели-

кого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и за честь сына его государева, великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии, стояти и против литовского короля война весть. А они, служилые люди, за их государскую честь учнут с литовским королем битися, не щадя голов своих, и ради помереть за их государскую честь. А торговые всяких чинов люди вспоможеньем и за их государскую честь головами ж своими ради помереть.

А гетмана Богдана Хмельницкого для православные християнские веры и святых божиих церквей пожаловал бы великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии по их челобитью, велел их приняти под свою государскую высокую руку. <...>

1653 год, 22 июня (2 июля)

ГРАМОТА ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦКОМУ О РЕШЕНИИ ВОССОЕДИНИТЬ УКРАИНУ С РОССИЕЙ, О ПОДГОТОВКЕ К ВОЙНЕ С ПОЛЬШЕЙ И ОБ ОТПРАВКЕ К ГЕТМАНУ ПОСЛА Ф. ЛОДЫЖЕНСКОГО

Божиею милостию от великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии самодержца Богдану Хмельнитцкому, гетману Войска Запорожского, и всему Войску Запорожскому нашего царского величества милостивое слово.

В нынешнем во 161-м году июня в 20 день писал к нашему царскому величеству ис Путивля окольничей наш и воевода Федор Ондреевич Хилков: посылал он к тебе, гетману, путивльцов Сергея Яцына с товарыщи и листы к тебе писал. И июня в 15 день путивльцы Сергей Яцын с товарыщи в Путивль приехали, а в роспросе сказали, что от турского салтана послы у вас были и еще полномочной посол идет, только де присяги ждет. А ты де, гетман, говорил им, Сергею с товарыщи, что ты нашие государские милости к себе и ко всему Запорожскому Войску ожидаешь и посланцев своих дожидаешься. А то де ты видишь, что нашие государские милости к себе не дождатца, не отойтить де тебе бусурманских неверных рук, и был де у тебя турского царя посол. А пишет де к тебе царь, и посол говорил, чтоб де ты с Войском Запорожским был под ево рукою и служил ему, турскому царю, и ты де ожидаешь нашие государские совершенные милости с посланцы своими, что мы, великий государь, велим тебя принять и быть под нашею царскою высокою рукою. А будет де совершенье нашие государские милости не будет, и вы де слуги и холопи турскому.

И мы, великий государь, возревновав о бозе благою ревностию и возжелев по вас, чтобы християнская вера в вас не пресеклась, но паче преисполнялась и великого пастыря христа бога стадо умножалось, яко же глаголет: и будет едино стадо и един пастырь, — изволили вас принять под нашу царского величества высокую руку, яко да не будете врагом креста в притчю и в поношение. А ратные наши люди по нашему царского величества указу збираютца и ко ополчению строятца. И для тово послали мы, великий государь, к вам стольника нашего Федора Обросимовича Лодыженского, чтоб вам, гетману, и всему Запорожскому Войску, наша государская милость была ведома. И прислали б есте к нам, великому государю к нашему царскому величеству, посланцов своих, а мы, великий государь наше царское величество, пошлем к вам наших царского величества думных людей.

Писан в государствия нашего дворе в царствующем граде Москве лета от создания миру 7161-го месяца июня 22-го дня.

1654 год, 8 (18) января

СООБЩЕНИЕ РУССКОГО ПОСЛА В. В. БУТУРЛИНА О ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ РАДЕ

...Была де у гетмана тайная рада с полковники и с судьями и с войсковыми ясаулы *; и полковники де и судьи и ясаулы под государеву высокую руку подклонилися. И по тайной раде, которую гетман имел с полковники своими, и с утра того ж дни, во вторый час дни, бито в барабан с час времяни на собрание всего народа слышати совет о деле, хотящем совершитися. И как собралося великое множество всяких чинов людей *, учинили круг пространный про гетмана и про полковников, а потом и сам гетман вышел под бунчуком, а с ним судьи и ясаулы, писарь и все полковники. И стал гетман посреди круга, а ясаул войсковой велел всем молчать. Потом, как все умолкли, начал речь гетман ко всему народу говорить:

«Панове полковники, ясаулы, сотники и все Войско Запорожское и вси православнии християне! Ведомо то вам всем, как нас бог свободил из рук врагов, гонящих церковь божию и озлобляющих все християнство нашего православия восточного. Что уже шесть лет живем без государя в нашей земле в безпрестанных бранех и кровопролитиях з гонители и враги нашими, хотящими искоренити церковь божию, дабы имя руское не помянулось в земли нашей. Что уже велми нам всем докучило, и видим, что нельзя нам жити боле без царя. Для того ныне собрали есмя ра-

ду, явную всему народу, чтоб есте себе с нами обрали государя из четырех, которого вы хощете. Первый царь есть турский, который многижды через послов своих призывал нас под свою область; вторый — хан крымский; третий — король полский, который, будет сами похочем, и теперь нас еще в прежную ласку приняти может; четвертый есть православный Великия Росии государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец восточной, которого мы уже шесть лет безпрестанными молении нашими себе просим. Тут которого хотите избирайте. Царь турский есть бусурман: всем вам ведомо, как братия наша, православнии християне, греки беду терпят и в каком суть от безбожных устеснении. Крымский хан тож басурман, которого мы по нужди и в дружбу принявши, каковыя нестерпимыя беды приняли есмя. Какое пленение, какое нещадное пролитие крови християнския от полских от панов утеснения, — никому вам сказывать ненадобеть... А православный християнский великий государь царь восточный есть с нами единого благочестия греческого закона, единого исповедания, едино есмы тело церкви православием Великия Росии, главу имуще Исуса Христа. Той великий государь християнский, зжалившися над нестерпимым озлоблением православныя церкви в нашей Малой Росии, шестьлетных наших молений безпрестанных не презривши, теперь милостивое свое царское сердце к нам склонивши, своих великих ближних людей к нам с царскою милостию своею прислати изволил, которого естьли со усердием возлюбим, кроме его царския высокия руки, благотишнейшаго пристанища не обрящем. А будет кто с нами не согласует теперь, куды хочет волная дорога».

К сим словам весь народ возопил: волим под царя восточного, православного, крепкою рукою в нашей благочестивой вере умирати, нежели ненавистнику Христову поганину достати! Потом полковник переяславской Тетеря, ходячи в кругу, на все стороны спрашивал: вси ли тако соизволяете? Рекли весь народ: вси единодушно. Потом гетман молвил: буди тако; да господь бог наш сукрепит под его царскою крепкою рукою. А народ по нем, вси единогласно, возопил: боже утверди, боже укрепи, чтоб есми во веки вси едино были!

Н. В. ГОГОЛЬ. ТАРАС БУЛЬБА

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — русский писатель. Впервые его повесть «Тарас Бульба» была опубликована в 1835 году в сборнике «Миргород»; для второго тома своих сочинений (1842) автор значительно дополнил и переработал текст. Именно эта вторая редакция стала основой последующих многочисленных переизданий, переводов на языки народов мира.

Текст повести печатается по изданию: Гоголь Н. В. Собр. соч. в семи томах, т. II. М., Художественная литература, 1984, с. 28—138.

К с. 27. *И эдак все ходят в академии?* — Имеется в виду Киевский (Киево-Могилянский) коллегиум, основанный в 1632 году видным деятелем украинской культуры митрополитом Петром Могилой и в 1701 году получивший права академии — высшего учебного заведения. Неофициально его приравнивали к академии и раньше (см. ниже, «Описание Украины» Боплана). *Бурсой* называли общежитие при школе, но иногда это название переносили и на само учебное заведение.

К с. 29. *Ка зна що* — черт знает что («ка» — от «кат», по-украински «палач»).

...битвы на Украйне за унию. — Речь идет о борьбе украинского народа против насильного навязывания церковной унии.

К с. 30. *Берестовые скамьи* — скамьи из береста (украинское название вяза).

Архимандрит — настоятель большого монастыря. В данном случае говорится о ректоре Киевской академии, бывшем одновременно настоятелем Богоявленского монастыря.

К с. 32. *...преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи.* — *Курень* — жилище казаков Сечи, а также подразделение казачьего войска во главе с куренным атаманом. *Полками* назывались не только войсковые казачьи части, но и административно-территориальные округа (округ в случае войны выставлял полк войска).

Охочекомонные — добровольцы-кавалеристы.

Броварники — работники в пивоварнях — броварах.

К с. 33. *Пошлина с дыма* — подымный налог, взимался по количеству дымов (домов).

Комиссары — представители польского правительства на переговорах с казаками. Комиссаром называли также назначенного шляхетскими властями командира реестровых казаков.

Старшины — должностные лица у казаков (полковники, есаулы, сотники, судьи и др.).

К с. 40. *...схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости...* — Под схоластикой здесь понимается курс обучения в нижних классах Киевской академии. В академической программе к числу ведущих дисциплин относились грамматика, риторика и философия (включавшая курс логики).

Адам Кисель (1580—1653) — украинский православный магнат, с 1651 года — киевский воевода. Его политическая деятельность была направлена на сохранение польско-шляхетского господства на Украине.

Ликторы — почетная стража консулов в Древнем Риме; в Киевской академии так называли учеников, которым поручалось наказывать своих провинившихся товарищей по учебе.

К с. 42. *Шемизетка* — пелеринка (от. *фр.* chemisette).

К с. 44. *Волошки* — васильки.

Корж — круглая лепешка из пресного теста.

Амбра — здесь: благоухание.

К с. 45. *Кулиш* — густой суп (обычно из пшена и с салом).

К с. 46. *...у берегов острова Хортицы, где была тогда Сечь, так часто переменявшая свое жилище.* — Хортица (у современного города Запорожья) входила в состав владений Запорожской Сечи и была ее важнейшим опорным пунктом. Однако центральные укрепления Сечи и ее старшина находились до конца XVI века на острове Томаковке (к югу от Хортицы), в 1593—1709 годах — еще ниже по Днепру, у острова Чертомлык (Базавлук).

Крамари под ятками — торговцы в будках.

...ворочал на рожнах бараньи катки... — То есть ворочал на вертелах куски баранины.

К с. 49. *Дукаты и реалы* — золотые монеты.

К с. 50. *Кошевой* (кошевой атаман) — предводитель запорожских казаков, избиравшийся сроком на один год.

Саламата (саламаха) — кушанье из заваренной на воде муки или крупы (преимущественно гречневой).

К с. 51. *Тоня* — невод с рыбой; рыба с одного заброса невода.

К с. 52. *Довбиш* — литаврист, барабанщик.

К с. 55. *Турбан* (точнее: *торбан, теорбан)* — струнный музыкальный инструмент, схожий с лютней и бандурой.

К с. 57. *Натолия* — Анатолия, провинция Османской империи на полуострове Малая Азия.

К с. 58. *...что делается на гетьманщине?* — Здесь имеются в виду приднепровские области Украины, где стояли полки реестровых казаков. Со второй половины XVII века гетьманщиной стали называть Левобережную Украину, находившуюся под управлением гетмана и генеральной старшины.

К с. 59. *...гетьман, зажаренный в медном быке...* — Согласно легенде в медном быке был сожжен предводитель крестьянско-казацкого восстания Северин Наливайко. По историческим документам, он после пыток был четвертован в Варшаве 21 апреля 1597 года.

К с. 61. *Цехин* — венецианская золотая монета.

...да козацкие чайки... — Иначе байдаки, небольшие плоскодонные деревянные суда с одной мачтой.

К с. 62. *Мазницы* — ведра для дегтя.

Китайка — шелковая ткань.

Оксамит — бархат.

К с. 64. *Городовое рушение* — городское ополчение.

К с. 67. *Межигорский киевский монастырь* — один из древнейших монастырей Киевской Руси. Был основан в 988 году в Вышгороде (севернее Киева).

К с. 68. *Картезианский монах* — монах из католического картезианского ордена.

К с. 74. *Жерардо della notte* — так называли голландского художника Геррита ван Гонтгорста. Прозвище «ночной» (по-итальянски della notte) объясняется тематикой его картин.

Киевские пещеры — имеются в виду пещеры Киево-Печерской лавры.

К с. 75. *Клирошанин* — здесь: юноша, прислуживающий ксендзу в костеле во время богослужения.

К с. 76. *Магистрат* — городское управление, а также совет старейшин городской общины, состоявший из представителей наиболее богатых купцов.

К с. 77. *Буджаки (Буджак)* — южная часть Бессарабии.

К с. 86. *Кухоль* — кружка.

К с. 87. *Сейм* — законодательный орган в Речи Посполитой, состоявший из представителей шляхты, избираемых на собраниях (сеймиках) в воеводствах и землях.

Далибуг — ей-богу *(польск.)*.

Зерцало — доспехи, защищавшие грудь и спину воина.

К с. 91. *Оселедец* — длинная прядь волос на бритой голове. По описанию византийского историка X века Льва Диакона такую прическу носил киевский князь Святослав Игоревич. Позже оселедец стал считаться характерным признаком внешности запорожских казаков.

К с. 95. *Навперейми* — наперерез.

К с. 99. *Наказной атаман* — казак, временно занимавший должность атамана (например, в походе).

К с. 100. *Заходы* — здесь: заливы.

Волошская земля — Валахия, южная часть современной Румынии.

К с. 101. *Загадались* — задумались.

К с. 104. *Облог* — несколько лет не паханное поле, перелог.

К с. 105. *...уставил в три таборы курени, обнесши их возами в виде крепостей...* — В своих выписках из византийских хроник Гоголь отметил: «Образ войны славян с телегами самый древний». Несколько рядов телег защищали укрепленный казацкий лагерь в сражениях и на марше.

К с. 107. *Семипядные пищали* — пищали (пушки) длиной в семь пядей (одна пядь равна 17,78 сантиметра).

К с. 111. *Габа* — тонкое сукно белого цвета.

Киндяк — шелковая ткань.

Покров — имеется в виду икона Покрова богородицы в Покровской церкви на Запорожской Сечи.

К с. 112. *Одесную* — справа.

К с. 121. *Корчик (корец)* — большой ковш.

К с. 127. *Левентарь* — здесь: офицер, старший (искаженное от региментарь — командующий).

К с. 128. *Гайдуки* — солдаты-пехотинцы, придворные стражники.

К с. 129. *Цурки* — дочери *(польск.);* здесь: девушки.

К с. 133. *Кунтуш* — старинная верхняя одежда зажиточного населения на Украине и в Польше (в виде кафтана, в рукавах которого были прорези для рук).

К с. 134. *Остраница* — правильнее: Остряница (Яков Острянин) — полковник реестровых казаков, впоследствии один из руководителей крестьянско-казацкого восстания 1638 года. После его поражения с частью казаков ушел на Слободу и поселился с разрешения русского правительства в Чугуевском городище (ныне Чугуев). Убит в 1641 году во время конфликта между рядовым казачеством и старшиной.

К с. 135. *Гуня* — Дмитрий (Дмитро) Тимофеевич Гуня. Принимал участие в крестьянско-казацком восстании 1637 года, был одним из руководителей восстания 1638 года. Под его началом запорожские и донские казаки совершили в 1640 году совместный поход против Турции.

Генеральный бунчужный — один из высших чинов казацкой старшины. Считался хранителем бунчука (длинное древко с шаром или острием наверху, прядями из конских волос) — одного из символов гетманской власти.

Николай (Миколай) Потоцкий (ум. в 1651 г.) — польский магнат и военачальник, великий коронный гетман. Командовал польско-шляхетским войском, разгромленным Богданом Хмельницким в 1648 году в битве под Корсунем.

К с. 138. *Архиерей* — общее название высших православных священнослужителей (епископов, архиепископов, митрополитов).

Митра — головной убор представителей высшего духовенства, надеваемый обычно на время богослужения.

Полова — мякина.

Р. И. ИВАНЫЧУК. МАЛЬВЫ

Роман Иванович Иванычук (род. в 1929 г.) — советский украинский писатель. Его повести, романы, очерки посвящены острым проблемам современности; занимается он и жанром исторической прозы. На русский язык переведены книги «У столбовой дороги» (1966), «У отчего порога» (1972), «Манускрипт с улицы Русской» (1982).

Писатель принимает активное участие в общественно-политической деятельности. В 1980 году он представлял Украинскую ССР на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Текст романа печатается с небольшими сокращениями по изданию: Иванычук Р. Сборник «Манускрипт с улицы Русской». Авторизованный перевод с украинского Константина Трофимова. М., Советский писатель, 1982.

К с. 145. *...тысяча восемнадцатого года гиджры... — Гиджра,* точнее, *хиджра (арабск.)* — переселение пророка Магомета (правильнее: Мухаммеда) и первых мусульман из Мекки в Медину в 622 году по нашему летосчислению; год хиджры принят за начало мусульманского летосчисления. Таким образом, здесь события разворачиваются в 1640 году.

...к Кафской пристани причалил небольшой турецкий фрегат. — Город Кафа или Каффа (с 1783 года — Феодосия) в Кры-

му был в 1475 году захвачен османской Турцией и вскоре стал крупнейшим рынком работорговли.

Шагин-Гирей — татарский полководец из рода Гиреев, который в 1624 году изгнал из Кафы турецких вассалов. Был разгромлен турками и татарскими беями в 1629 году.

К с. 146. *Османы* — династия турецких султанов, основателем которой считается Осман I, правивший с 1299/1300 по 1324 год.

Мубашир — сборщик, получавший дань для султана *(турец.)*.

К с. 147. *Джихад* — «священная война» мусульман против «неверных», то есть против христиан и немусульман вообще *(турец.)*.

К с. 148. *Высокий Порог* (Высокая Порта) — правительство султанской Турции.

Шииты — одно из двух (наряду с суннитами) направлений в исламе. Шиизм распространен в Иране, суннизм — в Турции, арабских странах, Средней Азии.

Хафиз — народный певец и сказитель; здесь: ученый богослов, знающий коран наизусть.

К с. 149. *Миндер* — топчан *(татар.)*.

К с. 150. *Фередж* — женская накидка поверх платья *(турец.)*.

К с. 152. *Черным, Кучманским, Покутским и Муравским шляхами...* — Названы дороги от Перекопа, которыми пользовались крымские ордынцы для набегов на Украину и в Россию. Черный шлях шел по правому берегу Днепра на Волынь. От него ответвлялся Кучманский шлях, который вел на Подолию и в район Львова. Покутский (Молдавский) шлях проходил междуречьем Днестра и Прута, Муравский — через Левобережную Украину в Россию.

Подкову замучили ляхи... — Запорожский казак Иван Подкова стал героем совместной борьбы украинского и молдавского народов против султанской Турции. Казнен в 1578 году во Львове по решению польского сейма.

...Сагайдачный умер от турецких ран... — Гетман украинского реестрового казачества Петр Конашевич-Сагайдачный был смертельно ранен в Хотинской битве 1621 года с войсками турецкого султана. Умер и похоронен в Киеве.

...внук Байды Ярема украсил дороги трупами своих братьев... — Князь Иеремия (Ярема) Вишневецкий (1612—1651) — ополячившийся украинский магнат, отличался жестокостью при подавлении крестьянско-казацких восстаний. Был внучатым племянником черкасского и каневского старосты, основателя замка на Малой Хортице Дмитрия Вишневецкого, казненного турками в 1563 году. Некоторые историки сопоставляли Д. Вишневецкого с Байдой — героем украинской народной песни.

К с. 153. *Пошел Тарас Трясило на Дон...* — Тарас Федорович (Трясило) — гетман реестровых казаков, возглавивший крестьянско-казацкое восстание на Украине в 1630 году. С частью украинских казаков в 1635 году подался на Дон.

...четвертовали Сулиму в Варшаве... — Иван Сулима — гетман нереестровых запорожских казаков. В 1635 году казаки во главе с Сулимой захватили замок Кодак — форпост Речи Посполитой на Днепре. Однако после боя реестровые казаки выдали Сулиму польским властям, и он был казнен.

...ляхи казнили Павлюка... — Павел Михайлович Бут, которого в народе называли Павлюком, в 1635 году принимал уча-

стие в штурме Кодака, а в 1637 году возглавлял крестьянско-казацкое восстание. Был взят в плен и тоже казнен в Варшаве.

К с. 154. *Хатиб* — мусульманский проповедник.

Мюрид — послушник.

Хаджи Бекташи — основатель ордена мусульманских нищенствующих монахов (дервишей-бекташей); по некоторым сведениям, эта монашеская община возникла в XII или XIII веке.

К с. 155. *Ор-капу* — Перекоп, в переводе с татарского — двери крепости.

От Борисфена до Гнилого моря... — От Днепра до Сиваша.

К с. 158. *Тимархан* — дом для сумасшедших *(татар.)*.

К с. 159. *Джавры* — пренебрежительное название христиан.

Яшмак — шарф, которым прикрывают лицо мусульманки.

К с. 162. *Спахи* (сипахи) — воины султанского кавалерийского корпуса.

К с. 164. *Диван* — верховный совет при султане или хане.

К с. 165. *...вскормленный Урханом!..* — Имеется в виду султан Урхан Гази, находившийся на престоле в XIV веке. Ему приписывалось сформирование войска янычар «йени-чери» (новое войско) из воспитанных в специальных учреждениях христианских мальчиков. Как предполагают ныне, это войско было создано в XIV веке при султане Мураде I.

...у ворот Баб-и-гамаюн... — Перед воротами султанского дворца выставляли головы казненных представителей знати.

...анатолийский и румелийский кадиаскеры... — Верховные судьи Анатолии и Румелии.

Валиде — мать султана.

К с. 168. *...думал о Веселой Русинке...* — Имеется в виду Роксолана (Настя Лисовская из украинского города Рогатина), жена султана Сулеймана II Великолепного. Она играла заметную роль в политической жизни Османской империи в 20—50-х годах XVI века.

К с. 169. *Таты* — вероотступники *(татар.)*. Так степные татары называли татар горных.

К с. 170. *Ак-мечеть* — нынешний Симферополь.

Сеймены — ханские стрельцы, татарские янычары.

К с. 171. *Григорий Черный* — гетман, под предводительством которого казаки разгромили татар под Бурштином в 1629 году.

К с. 176. *Ат-мейдан* — стамбульский ипподром.

...на Петрони... — Один из кварталов Стамбула.

К с. 177. *Селямлик* — мужская половина турецкого дома, султанского дворца.

К с. 180. *Бостанджи-баша* — начальник субашей, в их обязанности входила охрана общественного порядка в османской Турции.

К с. 182. *Орта* — янычарский полк.

Улемы — сословие богословов-законоведов, в ведении которых находились школа, право, суд.

К с. 183. *Кызыл ельмада герюшюрюз!* — Мы встретимся в стране золотого яблока! *(турец.)*.

К с. 187. *Каурма* — суп из баранины.

К с. 188. *Якши джигит, биюк бакшиш.* — Хороший юноша, большой выкуп *(татар.)*.

К с. 196. *Чаушлар* — надсмотрщик за поведением янычар в бою. Чаушлары ездили на крашеных конях, чтобы выделяться среди воинов.

К с. 201. *Моакит* — служитель, ведающий часами в мечетях.

К с. 206. *Сабаних хайр олсун!* — Доброе утро! *(татар.).*

К с. 208. *Эски-Кирим* — Старый Крым, первая столица Татарского ханства.

К с. 214. *Шекер* — конфетка, сахар.

Капиджии — охрана ворот султанского дворца.

К с. 221. *Шариат* — мусульманское право.

К с. 227. *Бешур* — мера сыпучих тел.

К с. 231. *Хизр* — покровитель путников и пастухов.

К с. 240. *Дух Кара-Язываджи и Календер-оглы не умер.* — Речь идет о вождях, восставших против османского правительства в начале XVII века.

К с. 244. *Позади тебя идет сотня верных капы-кулу...* — Сейменов, которые формировались в Крыму по образцу турецких янычар, называли капы-кулу (в переводе — дверные рабы).

К с. 249. *...уже давно не было ни пастирмы, ни баклавы...* — Блюда из баранины.

К с. 257. *Султан назначил ханом Ислам-Гирея.* — Ислам Гирей III стал ханом в 1644 году.

К с. 284. *Меным оглым, яш ярем...* — Мой сыночек, мой малютка *(татар.).*

К с. 288. *К тебе едет сам гетман войска Запорожского Богдан Хмельницкий...* — Сведения о поездке Б. Хмельницкого в Бахчисарай для переговоров с ханом Ислам-Гиреем имеются в сравнительно поздней (начала XVIII века) казацкой летописи С. Величко. Согласно другим источникам Хмельницкий отправил в Крым два посольства: первое возглавил Клыша, второе — Кондрат Бурляй.

К с. 289. *...кропивенский полковник Филон Джеджалий...* — Ф. Джалалий (Джеджалий) был накануне Освободительной войны сотником реестрового Переяславского полка. 24 апреля (4 мая) 1648 года возглавил восстание реестровых казаков в Каменном Затоне. В 1649—1654 годах являлся кропивенским полковником. Во время сражения под Берестечком (1651) казаки избрали его наказным гетманом.

Тимош Хмельницкий (1632—1653) — старший сын Б. Хмельницкого. В феврале — марте 1648 года находился в Бахчисарае в качестве заложника, гарантировавшего исполнение гетманом условий договора с Ислам-Гиреем III. Позже был чигиринским сотником, отличился во время походов 1648—1649 годов. Его браком в 1652 году с дочерью молдавского господаря Василия Лупула Роксандрой (Розандой) был скреплен союз Украины с Молдавией.

Вспоминает... бои под Дюнкерком... — В боях французских войск, которыми командовал герцог Луи II Конде, с испанцами за овладение Дюнкерком принимали участие 20 сотен казаков. По некоторым данным, одним из командиров этого отряда был Б. Хмельницкий.

...турецкую неволю. — Б. Хмельницкий был взят в плен турками в Цецорской битве 1620 года. По его словам, он «два года испытывал лютую неволю».

...он уже вел переговоры с... Плещеевым и... Леонтьевым... — Письма Б. Хмельницкого путивльскому воеводе Н. Плещееву и севскому воеводе З. Леонтьеву, как и их донесения русскому правительству, содержащие сведения о победах украинского народа и его стремлении к воссоединению с Россией, сохранились в Центральном государственном архиве древних актов СССР в

Москве. Опубликованы они во 2-м томе сборника документов и материалов «Воссоединение Украины с Россией» (М., 1954).

К с. 293. *Гетман Дорошенко не считал Шагин-Гирея изменником...* — Михаил Дорошенко, являвшийся в 1625—1628 годах гетманом реестрового казачества, поддерживал крымского хана Шагин-Гирея в борьбе с претендентом на ханский престол Кантемиром.

К с. 294. *...одного моего сына замучил изувер Чаплинский.* — В некоторых современных источниках встречаются утверждения, что сын Хмельницкого умер после избиения слугами чигиринского подстаросты шляхтича Чаплинского во время набега последнего на хутор Хмельницкого Суботов. Сам гетман писал, что сын «еле живым остался».

К с. 296. *Граф де Бреже* — французский посол в Польше во времена Хмельнитчины.

...семиградский князь Юрий Ракочи... — Юрий (Дьердь, Георгий) II Ракочи (Ракоци) был князем Трансильвании (Семиградья) с 1648 по 1660 год. Поддерживал дипломатические отношения с Б. Хмельницким, а в 1656 году подписал с гетманом договор о совместной войне против Польши.

«Желали бы мы иметь самодержца — такого хозяина своей земли, яко ваше царское величество, православный христианский царь». — Перевод слов из письма Б. Хмельницкого царю Алексею Михайловичу, отправленного из Черкасс 8 июня 1648 года. Подлинник хранится в Центральном государственном архиве древних актов СССР в Москве.

К с. 298. *Егомость пан краковский, великий коронный гетман Потоцкий и черниговский воевода польный гетман Калиновский...* — Попавшие в плен к казакам во время Корсунской битвы великий коронный гетман, краковский каштелян Миколай Потоцкий и польный коронный гетман Марцин Калиновский были переданы Б. Хмельницким «в подарок» Ислам-Гирею. В Крыму они находились до 1650 года.

К с. 303. *Гяуры слагали песни о ней...* — Имеется в виду дума о Марусе Богуславке.

К с. 307. *Я буду мудрее Сулеймана Кануни...* — Речь идет о султане Сулеймане I Великолепном, женой которого была Роксолана.

К с. 309. *Недым* — партнер султана по выпивкам, который пользовался правом приходить к нему в неприемные дни.

К с. 322. *...народ разостлал вышитые рушники... и сам патриарх Паисий благословил гетмана Украины Хмельницкого.* — 23 декабря 1648 года в Киеве у Золотых ворот и Софийского собора состоялась торжественная встреча победоносного крестьянско-казацкого войска во главе с Б. Хмельницким. Среди встречавших был и иерусалимский патриарх Паисий.

К с. 330. *Он должен снести это надругательство над собой.* — Обстоятельства подписания Зборовского договора по-разному излагаются в различных источниках. Шляхетские публицисты распространяли версию, будто Хмельницкий покорился. Однако польский канцлер Альбрехт Радзивилл, отнюдь не симпатизировавший гетману, писал, что Хмельницкий держался независимо и при подписании договора присягнул «сидя на стуле». Русский дипломат Григорий Кунаков сообщал, что Хмельницкий «вежства де и учтивости никакие против... королевских речей... ни в чом не учинил».

К с. 333. *Цо пан муви?* — Что пан говорит? *(польск.)*.

БОПЛАН. ОПИСАНИЕ УКРАИНЫ

Книга Боплана выходила в переводах на украинский, латинский, немецкий, английский, польский языки. На русском языке она издавалась трижды — в переводах Н. Г. Устрялова (Спб., 1832), Екатерины Мельник (в кн.: Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Киев, 1896, вып. 2), В. Л. Ляскоронского (в кн.: Ляскоронский В. Л. Гийом Левассер де Боплан и его историко-географические труды относительно Южной России. Киев, 1901). Для настоящего издания использованы второй и третий переводы, отдельные места уточнены по оригиналу (в издании 1660 г.).

К с. 350. *Из ...храмов сохранились в целости только два — Софийский и Михайловский...* — Софийский собор был построен при киевском князе Ярославе Мудром (1018—1054), «Золотоверхий» Михайловский собор — при Святополке Изяславиче (начало XII в.). Как и другие многочисленные памятники архитектуры, оба собора сильно пострадали во время нашествия орд Батыя в 1240 году, но впоследствии были восстановлены: Михайловский — в XIV веке, Софийский — в 30—40-х годах XVII века при митрополите Петре Могиле.

...от церкви святого Василия... еще виднеются остатки стен... — Церковь Василия (Трехсвятительская) была построена в начале 80-х годов XII века князем Святославом Васильевичем и находилась на его княжьем дворе.

В храме сохранились памятники нескольких князей... — До наших дней в киевском Софийском соборе сохранился саркофаг Ярослава Мудрого.

К с. 351. *Одна из них стоит при ратуше...* — Речь идет об Успенской церкви (упомянутой в «Слове о полку Игореве» как Богородица Пирогощая); вблизи ее позже было сооружено здание ратуши — помещение городского самоуправления.

...при ней находится также университет или академия. — Имеется в виду Киевский (Киево-Могилянский) коллегиум.

...именуется магистратским городом. — *Магистратом* называлось городское управление, состоявшее из членов совета (консулов, райцев) и судебных заседателей (лавников).

К с. 352. *Денарий* — самая мелкая разменная монета.

Эвксинский Понт (Гостеприимное море) — древнегреческое название Черного моря.

К с. 355. *...когда сражаются в таборе...* — К этому месту сам автор дал примечание: «Табор — это телеги, за которыми защищаются казаки при передвижении открытым полем».

К с. 357. *Это... доказывается и настоящим восстанием...* — Имеется в виду Освободительная война украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого.

К с. 358. *...море покрывало... все эти равнины... приблизительно 2000 лет тому назад.* — На самом деле территория Украины была покрыта морем в отдаленные геологические эпохи, десятки миллионов лет назад.

...примерно 900 лет тому назад древний Киев был совершенно разрушен... — Автор, очевидно, имел в виду разорение Киева ордами Батыя в 1240 году.

...с таким изображением. — Автор дает изображение (неточное) византийской монеты императора Юстиниана I (527—565).

Монеты этого императора и его предшественника Анастасия I (491—518) обнаружены на Замковой горе в Киеве. Эти находки современные историки считают одним из доказательств достоверности сведений летописи о контактах с Византией князя Кия, с именем которого связывают возникновение Киева и его название.

...пролива, который... впадает затем в Белое море... — Имеются в виду Босфор и Мраморное море.

К с. 359. *...большой монастырь, обычная резиденция митрополита или патриарха.* — Киево-Печерская лавра, основанная в 1051 году. Архимандрит (настоятель) лавры Петр Могила в 1632—1646 годах был одновременно киевским митрополитом и стремился получить сан патриарха.

К с. 360. *...Трахтемиров, православный монастырь...* — В Трахтемировском монастыре находился госпиталь-приют для раненых и престарелых казаков.

К с. 361. *...Переяслав, город... вероятно, менее древний...* — На самом деле Переяслав (с 1943 года — Переяслав-Хмельницкий) — один из древнейших городов Украины. В летописи впервые упомянут 906 годом. В XI—XIII веках был столицей удельного княжества.

...Канев, очень древний город... — Канев впервые встречается в летописи при описании событий 1144 года.

...на русской стороне... — Автор называет русской стороной правый берег Днепра, *московской* (далее по тексту) — левый берег. По Андрусовскому перемирию 1667 года Правобережье осталось под властью Польши, Левобережье закреплялось за Россией.

...два дня спустя после одержанной над казаками победы... — Имеется в виду сражение у селения Кумейки польско-шляхетской армии под командованием гетмана М. Потоцкого с крестьянско-казацким войском, которое возглавляли П. Павлюк и К. Скидан.

К с. 362. *...карликовые вишневые деревья...* — Вероятно, терен.

К с. 364. *...замок, заложенный мною в июле 1635 года...* — Крепость вблизи Кодацкого порога была сооружена по решению сейма, чтобы воспрепятствовать связям Запорожской Сечи с остальной Украиной.

К с. 365. *...прочие спаслись бегством...* — Часть крестьянско-казацкого войска отошла из-под Кумеек к с. Боровице. Во время переговоров с казачьей старшиной, согласившейся на капитуляцию, Павлюк и еще несколько старшин были предательски схвачены и вскоре казнены в Варшаве.

...с великим шамбеланом Остророгом... — Имеется в виду коронный подчаший Николай Остророг, впоследствии бывший одним из трех командующих польско-шляхетской армией, которая была разгромлена Б. Хмельницким в битве под Пилявцами в октябре 1648 года.

К с. 370. *Томаковка.* — На этом острове во второй половине XVI века находился кош (главная ставка) Запорожской Сечи.

К с. 372. *...убивают его на месте...* — Утверждение об убийстве за отказ от должности гетмана не соответствует действительности. Отказ носил церемониальный характер и имел целью подчеркнуть понимание, насколько ответственные обязанности берет на себя новый кошевой атаман.

К с. 374. *На лодке походного атамана...* — В оригинале: на лодке адмирала.

ЛЕТОПИСЬ САМОВИДЦА

Начальная часть «Летописи Самовидца», посвященная событиям Освободительной войны украинского народа в середине XVII века, печатается в переводе с украинского языка по изданию: Літопис Самовидця. Видання підготував Я. І. Дзира. Київ, 1971.

К с. 379. *...количество казаков было установлено не более шести тысяч.* — Численность реестровых казаков была ограничена 6 тысячами по условиям Куруковского договора 1625 года между великим коронным гетманом Станиславом Конецпольским и казацкой старшиной. Через пять лет реестр был увеличен до 8 тысяч человек, но в 1638 году снова ограничен 6 тысячами.

...будучи у короля вместе с видным казаком Иваном Илляшем... — Здесь допущена неточность, по-видимому, переписчиком летописи. В апреле 1646 года с королем вела переговоры о намечавшемся морском походе делегация реестровых казаков во главе с есаулами Иваном Барабашем и Илляшем Караимовичем. В составе делегации был и чигиринский сотник Богдан Хмельницкий.

К с. 380. *...Чаплинский... отнял у... Хмельницкого хутор...* — Чаплинский захватил Суботов летом 1646 года, видимо, с разрешения чигиринского старосты Александра Конецпольского, сына великого коренного гетмана С. Конецпольского.

Низ — земли Поднепровья ниже порогов, находившиеся под контролем запорожских (низовых) казаков.

Лиман — Днепровский лиман, залив в устье Днепра.

...со своими солтанами... — Имеются в виду беи и мурзы — вассалы крымского хана, пользовавшиеся значительной степенью самостоятельности.

...хан послал Тугай-бея с большой ордой... — На самом деле отряд Тугай-бея насчитывал 6 тысяч всадников, почти невооруженных.

С этой ордой Хмельницкий подступил к Запорожью... — Это утверждение Самовидца не соответствует действительности. Хмельницкий прибыл туда в начале января 1648 года и уже в конце месяца, то есть до прибытия отряда Тугай-бея, закрепился на Запорожской Сечи.

Коронный гетман — точнее: *великий коронный гетман.* Такой титул носил главнокомандующий войсками Королевства Польского.

Польный гетман — заместитель великого коронного гетмана.

...получив известие от казацкого комиссара... — Комиссаром реестровых казаков был тогда Яцек Шемберк.

К с. 383. *Желтые Воды* — урочище у р. Желтые Воды (Желтой), левого притока р. Ингульца.

Бой длился беспрерывно несколько дней... — Битва у Желтых Вод началась 19 апреля 1648 года и завершилась разгромом польско-шляхетского войска в урочище Княжьи Байраки 6 мая.

...краковский каштелян... — Великий коронный гетман М. Потоцкий имел одновременно почетный титул краковского каштеляна — одного из высших сановников в польском государстве.

К с. 384. *Это сражение... было на следующей неделе после троицына дня.* — Польско-шляхетская армия под командовани-

ем гетманов М. Потоцкого и Н. Калиновского была разгромлена войском Богдана Хмельницкого в урочище Горохова Дуброва близ Корсуня 16 мая 1648 года.

Русская вера — так тогда на Украине и в Белоруссии называли православие.

В Чернигове архимандриты следовали один за другим... — Имеется в виду назначение сторонников унии на должность архимандритов (настоятелей) Черниговского Елецкого монастыря.

...бывший тогда киевским воеводой Тышкевич... — Крупный украинский феодал князь Януш Тышкевич был назначен киевским воеводой около 1630 года и занимал эту должность до своей смерти в 1649 году.

...князь Вишневецкий, которому подвластно было почти все Заднепровье... — Князь Иеремия Вишневецкий был до 1648 года собственником огромных имений на Левобережной Украине; центром его владений был город Лубны.

К с. 386. *...встретился с коронным войском под командованием князя Доминика Острожского и пана Сенюты...* — В битве под Пилявцами (с 11 по 13 сентября 1648 года) польско-шляхетской армией командовал Доминик Заславский (сын Евфросиньи Острожской и наследник имений князей Острожских), Николай Остророг и Александр Конецпольский.

К с. 387. *...город Львов дал выкуп за себя...* — 14—16 октября 1648 года полк Максима Кривоноса взял штурмом львовскую крепость Высокий Замок. После этого положение гарнизона города стало безнадежным, и городская верхушка вынуждена была согласиться на уплату контрибуции в размере около полумиллиона злотых.

...Хмельницкий возвратился на зиму на Украину... — Отход крестьянско-казацкой армии на Поднепровье в конце 1648 года был вызван рядом причин: эпидемией чумы, затруднениями с доставкой продовольствия, наступлением холодов.

К с. 388. *Войсковые клейноды* — то есть атрибуты власти гетмана (знамя, бунчук, булава, войсковая печать и пр.).

К с. 390. *Посполитое рушенье* — всеобщее ополчение польской шляхты.

Однако и гетман Хмельницкий того не желал, чтобы христианский монарх попал в неволю и в руки басурман. — На самом деле Хмельницкий был вынужден вступить в переговоры с польским королем и пойти на заключение Зборовского договора с Польшей в связи с изменой хана Ислам-Гирея III. Последний, опасаясь усиления Украины, вывел свои отряды с поля боя и потребовал от гетмана подписать договор с Польшей, угрожая в противном случае сам заключить союз с польским королем.

К с. 391. *...Хмельницкий... дал крепкий бой королевскому войску.* — Битва под Берестечком началась 18 июня 1651 года.

К с. 392. *...оставив орудия, пошли прямо через переправы...*— При отступлении из-под Берестечка казацкие полки потеряли 28 орудий из 115, однако врагу не удалось разгромить основные силы крестьянско-казацкого войска.

К с. 394. *...взял лагерь и войско уничтожил...* — Битва у Батога произошла 22—23 мая 1652 года. Блестящая победа, одержанная там крестьянско-казацкой армией, значительно улучшила положение Украины — в частности, фактически утратили силу тяжелые условия Белоцерковского договора 1651 года, заключенного после битвы под Берестечком.

К с. 395. *...которого застал под Каменцем-Подольским.* — Имеется в виду осада украинским крестьянско-казацким войском и отрядами хана Ислам-Гирея польско-шляхетского войска во главе с королем Яном Казимиром у Жванца (вблизи Каменца-Подольского) осенью 1653 года. Королевское войско спаслось от разгрома, заключив сепаратное перемирие с ханом.

...Хмельницкий отправил своего посла Григория Гуляницкого к его царскому величеству в Москву... — Первое посольство в Москву было направлено Хмельницким в январе 1649 года. Для конкретного решения вопроса о воссоединении Украины с Россией в Москву направлялись в 1653 году посольства во главе с С. Мужиловским и К. Бурляем (март — апрель) и Г. Яцкевичем (август — сентябрь). Что касается упомянутого Самовидцем нежинского полковника Г. Гуляницкого, то он примкнул к той части старшины, которая враждебно относилась к воссоединению.

...созвал в Переяславе съезд всех полковников, сотников и атаманов и сам приехал в Переяслав на день Богоявления Господня. — Переяславская рада состоялась 8 января 1654 года, спустя два дня после церковного праздника богоявления.

К с. 397. *...в цесарскую землю.* — То есть во владения императора Священной Римской империи германской нации.

К с. 398. *...и началась крепкая битва.* — Имеется в виду битва русско-украинского войска с объединенными польско-татарскими войсками у Охматова, длившаяся с 19 по 22 января 1655 года.

...взял разные города и Люблин взял. — Во время пребывания русско-украинского войска у Львова были освобождены города Яворов, Немиров, Любачев и другие. Отряд под командованием Даниила Выговского, заняв Люблин, дошел до Вислы.

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ ПАВЛА ХАЛЕБСКОГО (АЛЕППСКОГО)

Книга Павла Халебского, написанная на сирийском диалекте арабского языка, в XIX — начале XX века переводилась на английский, русский, румынский и другие языки. Полный русский перевод разделов, относящихся к России и Украине, издал в 1896—1900 годах филолог-арабист Г. А. Муркос. В настоящем издании печатаются отрывки по этому переводу; отдельные места уточнены по материалам исследований А. П. Ковалевского и Я. Е. Полотнюка.

К с. 399. *...начало границы страны казаков.* — Павел Халебский называет Украину «страной казаков», а украинцев — «казаками» либо «русами», то есть русинами.

Накануне четвертого воскресенья по пятидесятнице... — В 1654 году суббота накануне «четвертого воскресенья по пятидесятнице» приходилась на 17 (27 по новому стилю) июня.

К с. 400. *...со времени появления гетмана Хмеля...* — то есть после избрания Богдана Хмельницкого гетманом в начале Освободительной войны.

Харадж — налог-дань с немусульманского населения в Османской империи.

Нусайритская вера — секта мусульман-шиитов в северо-западной части Сирии. *Самаряне (самаритяне)* — секта, отделившаяся от иудейской религии.

К с. 402. *...в нынешнем году казаки... присягнули царю и подчинили ему свою землю.* — Имеется в виду воссоединение Украины с Россией согласно решению Переяславской рады 1654 года.

Союзники... одержали победу. — Речь идет об осаде под Жванцем (Подолия) войска польского короля Яна Казимира объединенными силами крестьянско-казацкого войска и крымских татар (сентябрь — начало декабря 1653 года). В результате измены хана Ислам-Гирея, пошедшего на сговор с Польшей, шляхетское войско избежало поражения.

К с. 403. *...назвал... Хмелем, что на их языке значит ловкий.* — Это утверждение Павла Халебского ошибочно.

К с. 404. *...украшают себя и своих коней крыльями больших птиц.* — Крылья прикреплялись к седлам либо панцирям польских гусар.

...который назывался Федором и был переименован Филаретом... — Федор Никитич Романов, в монашестве Филарет (ок. 1554—1633), находился в плену в Польше с 1611 по 1619 год. Арест Филарета во время переговоров с польскими представителями под Смоленском произошел еще до избрания его сына Михаила царем.

К с. 405. *...иезуитов, вернее, езидов...* — По созвучию названий автор сближает иезуитов с езидами — курдскими племенами, в религии которых сохранились элементы язычества.

...изжарив их в огне на железных прутьях... — Утверждение о казни митрополита и епископов не соответствует действительности.

Тонун-казаки. — Очевидно, имеются в виду донские казаки, которые поддерживали тесные связи с запорожскими казаками, нередко предпринимали с ними совместные походы против турок и татар.

...среди казаков появились три брата в одно время... — Вероятно, автор плохо осмыслил услышанные им рассказы о крестьянско-казацких восстаниях разных лет под предводительством С. Наливайко и Г. Лободы (1594—1596), Жмайло (1625), Тараса Федоровича (1630), Павлюка, К. Скидана и Д. Гуни (1637).

К с. 406. *Он рукоположил тогда для них митрополита, епископов...* — По просьбе гетмана реестровых казаков Петра Сагайдачного иерусалимский патриарх Феофан, побывавший на Украине в 1620 году, поставил киевского православного митрополита и нескольких епископов. Это способствовало активизации противников унии, силы которых были обезглавлены после принятия унии прежним митрополитом и большинством епископов украинско-белорусской православной церкви.

Казаки... заставили его уйти назад... — Имеется в виду битва ход Хотином осенью 1621 года, в которой решающую роль сыграло казацкое войско во главе с гетманом П. Сагайдачным.

К с. 407. *Хмель... неоднократно посылал просить помощи у царя московского Алексея...* — Начиная с января 1649 года Богдан Хмельницкий отправил в Москву ряд посольств с просьбой решить вопрос о воссоединении Украины с Россией.

...отправился к казакам, живущим на острове... — То есть в Запорожскую Сечь, находившуюся с конца XVI до начала XVIII века на днепровском острове Чертомлык (Базавлук).

К с. 409. *...искоренив в ней весь род ляхов, армян и евреев...* — В ходе Освободительной войны до предела обострилась

классовая борьба. Народные массы с оружием выступили против феодалов, арендаторов и управителей имений, а также против эксплуататорской верхушки городского населения, независимо от национальности и религии. Притеснения всех некатоликов со стороны католических феодалов способствовали тому, что борьба против национально-религиозного угнетения проходила под лозунгом защиты православия. В то же время многочисленные документы свидетельствуют об участии в крестьянско-казацком войске представителей различных народностей, в том числе поляков.

Король их был втайне другом Хмеля... — Имеется в виду король Владислав IV, который в 1646 году вел с представителями реестровых казаков, в том числе с Богданом Хмельницким, переговоры о походе на Крым. Эти переговоры держались в тайне от магнатской верхушки. Утверждения о поддержке королем планов Хмельницкого и о последовавшем отравлении его ошибочны.

Царь записал на службу 40 000 казаков... — В результате переговоров представителей казаков и русского правительства казацкий реестр в 1654 году был установлен в количестве 60 тысяч человек.

К с. 410. *...Радзивилл, зять Василя, господаря Молдавии...* — Крупнейший литовский магнат Януш Радзивилл (1612—1655) состоял в браке с Марией, дочерью господаря Молдавии Василия Лупула. На ее сестре Роксандре (Розанде) был женат сын Богдана Хмельницкого Тимош.

К с. 411. *Вскоре он умер, и на место него стал ханом другой.* — После смерти Ислам-Гирея III в 1654 году ханом стал Мохаммед-Гирей.

К с. 412. *...мы называем друзов удерживающими землю...* — В горных селениях мусульманской секты друзов обычно имеются сады и огороды, устроенные на уступах крупных скал.

К с. 414. *...равное расстоянию между Алеппо и ханом Туман...* — Хан (постоялый двор) Туман находился в трех часах пути от Алеппо (Халеба) в Сирии.

К с. 416. *...к нему собирается 500 000 бойцов...* — По оценкам современных историков, в походах крестьянско-казацкого войска в 1648—1649 годах участвовало по 150—300 тысяч человек, из них регулярные казацкие части составляли около 60 тысяч.

К с. 425. *...когда войско его разбило казаков...* — Имеется в виду оборона молдавского города Сучавы от войск господаря Валахии Матвея Басараба, князя Трансильвании и польских феодалов украинскими казаками во главе с гетманским сыном Тимофеем Хмельницким (август —начало сентября 1653 года). В одном из боев Тимофей был смертельно ранен.

К с. 426. *...великому из царей Василию Македонянину...* — Речь идет о византийском императоре Василии II (976—1025). Его сестра Анна была женой великого князя киевского Владимира Святославича.

К с. 428. *...не знают ни налогов, ни хараджа, ни десятины.* — Это утверждение ошибочно. С крестьян и городского населения взимались налоги, которые шли главным образом на содержание армии. Кроме того, старшина стремилась занять место крупной польской шляхты и заставить крестьян выполнять прежние феодальные повинности. В целом же феодально-крепостнический гнет на Украине был сильно ослаблен.

К с. 431. *...Антония и Феодосия Великих, двух святых стра-*

ны казаков... — Антоний и Феодосий Печерские были основателями Киево-Печерской лавры.

К с. 432. *...накануне 6-го воскресенья по пятидесятнице...* — то есть 1 июля 1654 года.

К с. 434. *...прибыли к большому городу со стеною, рвом...* — Имеются в виду укрепления Киево-Печерской лавры.

К с. 436. *...прежний митрополит казаков...* — Петр Могила (1596—1647) был с 1627 года архимандритом Киево-Печерской лавры, а с 1632 года также и киевским митрополитом.

К с. 438. *...превосходный, знаменитый печатный дом...* — Типография Киево-Печерской лавры, основанная в 1616 году. В разное время ее руководителями были видные украинские писатели и ученые Елисей Плетенецкий, Захария Копыстенский, Памво Берында, Тарас Земка.

Сильвестр Косов — писатель, учитель Львовской братской школы и Киевского коллегиума, с 1647 года до своей кончины в 1657 году был киевским митрополитом.

К с. 439. *...ворота... называемые Золотыми...* — Киевские Золотые ворота, построенные в 1037 году, получили свое наименование по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе.

...сестре царя Василия, по имени Ольга... — Имя сестры императора Василия, жены Владимира Святославича, — Анна. Сам же Владимир — внук великой княгини киевской Ольги. Дальнейший рассказ о ее деятельности также неточен.

К с. 441. *...грек родом, живущий в городе Париже...* — Даниил Калугер, состоявший на дипломатической службе у Швеции, позже выполнял также важные поручения Богдана Хмельницкого. Ниже автор ошибочно именует его Ильей.

..от царицы великого шведского народа... — Королева Кристина правила в Швеции с 1633 по 1654 год.

К с. 443. *Нас ввели в благолепную каменную церковь... во имя Успения Богородицы.* — Успенская церковь на Подоле, построенная в 1132—1136 годах при Владимире Мономахе и позже неоднократно перестраивавшаяся. В «Слове о полку Игореве» названа церковью Богородицы Пирогощей.

К с. 447. *...он упал и сломал себе шею...* — Такое утверждение о гибели Иеремии Вишневецкого не соответствует действительности.

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ УКРАИНСКОГО НАРОДА И О ВОССОЕДИНЕНИИ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Большинство публикуемых здесь документов составлены вскоре после описываемых в них происшествий, однако точное время появления источников не всегда известно. Для удобства читателей перед заголовками документов указываются даты событий, о которых идет речь, по старому стилю, который был в употреблении в России, а в скобках — по новому стилю, уже тогда принятому на Украине.

Сообщение путивльского воеводы Н. Плещеева

Отписка воеводы Никифора Юрьевича Плещеева, как и другие аналогичные документы, хранится в Центральном государ-

ственном архиве древних актов СССР в Москве. Печатается по тексту, опубликованному в сборнике: Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. М., 1954, т. 2, с. 23.

К с. 450. *...Нынешнего... 156-го году апреля в 23 день...* — Здесь, как и в других написанных тогда в России документах, год указан по эре «от сотворения мира» (7156 год «от сотворения мира» соответствует 1648 году от рождества Христова), а дата — по старому стилю. Разница во времени между новым и старым стилем в XVII веке составляла 10 дней.

...на... казаков запорожских черкас... — В русских документах второй половины XVI — первой половины XVII века черкасами называли украинских казаков, а иногда и украинцев вообще. Предполагают, что это название происходит от города Черкасс, в районе которого находились многочисленные казацкие селения.

Из инструкции Б. Хмельницкого

Инструкция послам, направляемым к польскому правительству, была подписана гетманом под Белой Церковью. 7(17) июля послы войска Запорожского представили сейму, собравшемуся в Варшаве в связи с похоронами короля Владислава IV, жалобы, которые основывались на требованиях этой инструкции.

Документ печатается в переводе с польского языка по изданию: Документи Богдана Хмельницького. Упорядники І. Крип"якевич та І. Бутич. Київ, 1961, с. 36—37.

К с. 451. *...на господ державцев...* — *Державцы* — арендаторы имений, а также феодалы, которым предоставлялись в пользование государственные имения (королевщины).

Поволовщина — одна из денежных феодальных повинностей, взыскивавшихся с крестьянских и казацких усадеб.

Чинш — денежный оброк.

К с. 452. *...духовенства... греческой религии...* — То есть православного духовенства.

Торжественная встреча Богдана Хмельницкого

Польский дипломат Войцех Мясковский в феврале 1649 года вместе с киевским воеводой Адамом Киселем входил в состав польского посольства, которое вело в Переяславе переговоры с Хмельницким и казацкой старшиной. Отрывки из дневника Мясковского печатаются в переводе с польского и латинского языков по изданию: Памятники Киевской комиссии для разбора древних актов. Киев, т. 1, отд. 3, с. 322—323.

К с. 453. *...патриарх...* — Речь идет о патриархе иерусалимском Паисии.

...здешний митрополит... — киевский православный митрополит Сильвестр Косов, автор богословских и публицистических произведений. Выразитель взглядов той части украинских феодалов, которая ориентировалась на шляхетскую Польшу и враждебно относилась к Освободительной войне украинского народа.

Учитывая настроения народных масс, вынужден был оказывать Хмельницкому знаки почтения.

...академия приветствовала его речами... — Студентов Киево-Могилянской академии обучали и умению сочинять и декламировать торжественные приветственные речи (орации).

Из отчета русского посла Григория Унковского

Григорий Унковский прибыл в гетманскую резиденцию Чигирин 16(26) апреля 1649 года и сразу же передал Хмельницкому просьбу, чтобы во время приема «у него, гетмана, иных государств и послов и посланцев и гонцов никово не было». Переговоры проходили с 17(27) по 22 апреля (2 мая). Хмельницкий заявил, что воссоединение Украины не будет нарушением условий мирного договора России с поляками, поскольку казаки «волею божиею... от них стали свободны», нового польского короля они «не обирали, не коруновали и креста ему не целовали». Унковский подробно рассказал об экономической помощи, которую русское правительство оказывало Украине. Гетман подтвердил твердую решимость освободить всю территорию Украины до крайних западных пределов («как владели благочестивые великие князи» в период Киевской Руси) и выразил надежду на решающую помощь со стороны России. Полковники Запорожского войска также заявляли: «В подданстве у ляхов быть не хотим».

Отрывок из отчета (статейного списка) Григория Унковского печатается по изданию: Воссоединение Украины с Россией, т. 2, с. 152—154.

К с. 455. *...ляхи и литва присылают...* — Имеются в виду королевское посольство Я. Смяровского к Богдану Хмельницкому (ноябрь 1648 г.) и посольство во главе с А. Киселем (конец 1648 — начало 1649 г.).

Сообщение севских воевод З. Леонтьева и Н. Кириллова

Сообщение (отписка) Замятни Федоровича Леонтьева и Наума Кириллова печатается по изданию: Воссоединение Украины с Россией, т. 2, с. 201.

К с. 456. *...велели... отписку подать в Розряде...* — Разряд (Разрядный приказ) — центральное государственное учреждение Русского государства, ведавшее служилыми людьми, военным управлением, администрацией южных пограничных городов.

Сообщение сына боярского Л. Жеденева

Изложение рассказа Жеденева содержится в отписке, посланной в Разрядный приказ брянским воеводой князем Никифором Федоровичем Мещерским. Печатается по изданию: Воссоединение Украины с Россией, т. 2, с. 250—251.

К с. 456. *...за неделю до успеньева дни пресвятей богородицы...* — То есть 5(15) августа.

Из донесения Альберто Вимины

Альберто Вимина да Ченеда (подлинное имя и фамилия Микеле Бьянки, 1603—1667) — итальянский поэт и дипломат. Летом 1650 года посетил Хмельницкого в качестве посла Венецианской республики. Его записки об Украине датированы 1656 годом, однако, по всей видимости, первый их вариант составлен вскоре после посещения Чигирина.

Отрывки из записок печатаются в переводе Н. Молчановского с итальянского языка по изданию: Молчановский Н. Донесение венецианца Альберта Вимины о казаках и Б. Хмельницком. — Киевская старина, 1900, т. 68, № 1, с. 67—75.

К с. 458. *...кроме народной русинской...* — Русинскими в источниках того времени называют украинский язык и письменность.

...святым Кириллом... — Имеется в виду Кирилл-Константин Философ.

К с. 459. *...для поддержки их заблуждений.* — Для обоснования православного вероучения, к которому автор-католик относился враждебно.

Сенат — старшинская рада.

Схизма — православие.

К с. 460. *...в городках существуют... начальники...* — В итальянском оригинале: консулы.

...настоящий самодержец. — В оригинале: деспот.

Письмо шляхтича Миколая Длужевского

Печатается в переводе с польского языка по изданию: Michatowski J. Księga pamiętnicza. Kraków, 1854, s. 654—656.

К с. 460. *...господин ксендз-канцлер...* — Письмо адресовано епископу Анджею Лещинскому, являвшемуся с 1650 года великим коронным канцлером Королевства Польского.

К с. 461. *Господин гетман...* — великий коронный гетман Марцин Калиновский.

Из всей нашей хоругви... — Хоруговь (корогва) — подразделение в польской армии (чаще всего кавалерийское).

...брацлавский воевода... — Адам Кисель.

...воеводы русского... — Иеремии Вишневецкого.

Перечень полков и полковников

Данные о полках и их командирах содержатся в отчете (статейном списке) русских послов — головы московских стрельцов Артамона Матвеева и подьячего Ивана Фомина. Они вели переговоры с казацкой старшиной в июне — начале июля 1653 года. С гетманом Хмельницким встречались 4—6 (14—16) июля. Отрывок из их отчета печатается по изданию: Воссоединение Украины с Россией, т. 3, с. 316.

К с. 462. *...концеряли...* — Канцелярии.

Филон Ждалалы — правильно: Филон Джалалий (Джеджалий).

Из решения Земского собора

Печатается по изданию: Воссоединение Украины с Россией, т. 3, с. 410—414.

К с. 463. *...во 161-м году мая 25... говорено на соборех о литовском и о черкаском делех.* — Вопрос о воссоединении Украины с Россией впервые обсуждался на соборе 25 мая 1653 года. Представители сословий, принимавших участие в соборе, единодушно высказались за необходимость воссоединения. Однако окончательное решение отложили до возвращения отправившихся в Польшу послов русского правительства Б. Репнина, Б. Хитрово и А. Иванова.

Грамота царя Алексея Михайловича

Печатается по изданию: Воссоединение Украины с Россией, т. 3, с. 373.

Сообщение русского посла В. В. Бутурлина

Василий Васильевич Бутурлин с 1652 года являлся ближним боярином и дворецким царя Алексея Михайловича. В октябре 1653 года был отправлен на Украину во главе посольства, в состав которого вошли также окольничий Иван Васильевич Олферьев и думный дьяк Илларион Лопухин. Посольство вело переговоры с гетманом Хмельницким накануне Переяславской рады, принимало участие в раде, а после обсуждало с казацкой старшиной условия осуществления решений рады. Отрывок из статейного списка Бутурлина печатается по изданию: Історія України в документах і матеріалах, т. 3. Визвольна боротьба українського народу проти гніту шляшетської Польщі і приєднання України до Росії (1569—1654 роки). Київ, 1941, с. 251—252.

К с. 468. *Была де у гетмана тайная рада с полковники и с судьями и с войсковыми ясаулы...* — Имеется в виду состоявшаяся утром 8(18) января старшинская рада.

И как собралося великое множество всяких чинов людей... — На генеральной (всеобщей) раде, проведенной после старшинской рады, присутствовали представители всех полков, представители города Переяслава (войт, бурмистр, члены магистрата, писари), крестьяне окрестных сел.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Маркс К. Хронологические выписки. — Архив Маркса и Энгельса. Т. 8. М., Госполитиздат, 1946, с. 145—155.

Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу. — Полн. собр. соч., т. 24, с. 118—119, 123, 128—130.

Ленин В. И. Украина. — Полн. собр. соч., т. 32, с. 342.

Ленин В. И. Об Украине. Киев, 1978, ч. 1—2.

Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией. М., 1954.

ПУБЛИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ

Алеппский Павел. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в., описание его сыном архидиаконом П. Алеппским /Пер. с арабского Г. Муркоса. — М., 1896—1898, вып. 1—4.

Величко С. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке /Сост. Самоил Величко, бывший канцелярист Канцелярии войска Запорожского, 1720. — Киев, 1848, т. 1; Киев, 1851, т. 2; Киев, 1885, т. 3; Киев, 1864, т. 4.

Величко С. Сказание о войне казацкой с поляками. — Киев, 1926, т. 1.

Вимина Альберто. Донесение венецианца Альберто Вимины о казаках и Богдане Хмельницком (1656). — Киев, 1900.

Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы к 300-летию (1654—1954). В 3-х т. — М., 1953—1954.

Документы об Освободительной войне украинского народа (1648—1654). — Киев, 1965.

Летопись Самовидца по новооткрытым спискам. — Киев, 1878.

Памятники (издание временной комиссией для разбора древних актов). — Киев, 1845—1852, т. 1—3; 2-е изд. Киев, 1897—1898, т. 1—3.

Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной России, изданный комиссией для разбора древних актов. — Киев, 1888.

Торрес И. Донесения папского нунция Иоанна Торреса, архиепископа Андрианопольского, о событиях в Польше во время воссоединения Богдана Хмельницкого /Пер. С. В. Савченко и М. В. Лучицкой. — Киев, 1914.

Трехсотлетие воссоединения Украины с Россией: Сб. документов. — М., 1954.
Эварницкий Д. В. Источники для истории запорожских казаков. Владимир, 1903, т. 1—2.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Алекберли М. А. Борьба украинского народа против турецко-татарской агрессии во второй пол. XVI — первой пол. XVII века. — Саратов, 1961.
Апанович Е. М. Исторические места событий Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. — Киев, 1954.
Баранович А. И. Украина накануне освободительной войны середины XVII в. (социально-экономические предпосылки войны). — М., 1959.
Белецкий П. А. Украинская портретная живопись XVII—XVIII вв. — Л., 1981.
Бойко И., Голобуцкий В., Гуслистый К. Воссоединение Украины с Россией. — М., 1954.
Воссоединение Украины с Россией (1654—1954): Сб. статей /Редкол.: А. И. Баранович и др. — М., 1954.
Голобуцкий В. А. Дипломатическая история Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. — Киев, 1962.
Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. — Киев, 1957.
Греков И., Королюк В., Миллер И. Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. — М., 1954.
Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в. — М., 1981.
Исаевич Я. Д. Преемники первопечатника. — М., 1981.
История Киева. В 3-х т. — Киев, 1982, т. 1.
История Украинской ССР в 10-ти т. — Киев, 1981, 1982, т. 1—2.
Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины (XVI — первая половина XVII века). — Днепропетровск, 1977—1979.
Ковальский Н. П. Источниковедение истории украинско-русских связей (XVI — первая половина XVII в.). — Днепропетровск, 1985.
Ковальский Н. П., Мыцык Ю. А. Анализ архивных источников по истории Украины XVI—XVII вв. — Днепропетровск, 1984.
Крип"якевич І. П. Богдан Хмельницкий. — Киев, 1954.
Легкий В. И. Крестьянство Украины в начальный период Освободительной войны 1648—1654 гг. — Л., 1959.
Логвин Г. Н. Украинское искусство X—XVIII веков. — М., 1963.
Мыцык Ю. А. Анализ источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648—1654 годов. — Днепропетровск, 1983.
Мыцык Ю. А. Записки иностранцев как источник по истории Украины (вторая половина XVI — середина XVII в.). — Днепропетровск, 1981.

Мыцык Ю. А. Записки иностранцев как источник по истории Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. — Днепропетровск, 1985.

Мыцык Ю. А. Украинские летописи XVII века: Уч. пособие. — Днепропетровск, 1978.

Мохов Н. А. Очерки истории молдавско-русско-украинских связей (с древнейших времен до начала XIX в.). — Кишинев, 1961.

Немировский Е. Л. Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров. — М., 1974.

Освободительная война 1648—1654 гг. и воссоединение Украины с Россией /Редкол.: В. А. Дядиченко, А. К. Касименко, Ф. П. Шевченко. — Киев, 1954.

Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. — М., 1982.

Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков. — М.—Л., 1962.

Петровский Н. Н. Освободительная война украинского и белорусского народа против польских захватчиков. Богдан Хмельницкий. — М., 1946.

Пинчук Ю. А. Роль народных масс в Освободительной войне 1648—1654 гг. и воссоединении Украины с Россией. — Киев, 1986.

Плохий С. Н. Освободительная война украинского народа 1648—1654 гг. в латиноязычной историографии середины XVII века. — Днепропетровск, 1983.

Поршнев Б. Ф. Франция, английская революция и европейская политика в середине XVII века. — М., 1970.

Рознер И. Г. Северин Наливайко — руководитель крестьянско-казацкого восстания 1594—1596 гг. на Украине. — М., 1961.

Разин Е. А. История военного искусства. — М., 1961, т. 3.

Цапенко М. По равнинам Десны и Сейма. — 2-е изд. — М., 1970.

Швидько А. К. Социально-экономическое развитие городов Украины в XVI—XVIII вв. — Днепропетровск, 1979.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Загребельный П. А. Я, Богдан. — М., 1985.

Загребельный П. А. Роксолана. — М., 1983.

Корнейчук А. Е. Богдан Хмельницкий. Пьеса. — В кн.: Корнейчук А. Соч. В 3-х т. М., 1956, т. 1.

Ле Иван. Хмельницкий. Роман, т. 1, 2. — Киев, 1979.

Панч П. П. Клокотала Украина. — М., 1964.

Рыбак Н. С. Переяславская Рада. Роман. — М., 1979.

Старицкий М. Перед бурей. — Киев, 1965.

Старицкий М. Буря. — Киев, 1965.

Старицкий М. У пристани. — Киев, 1965.

СОДЕРЖАНИЕ

В БИБЛИОТЕКЕ
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В РОМАНАХ,
ПОВЕСТЯХ, ДОКУМЕНТАХ»,
ОТКРЫТОЙ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
В 1982 ГОДУ,
ВЫШЛИ КНИГИ:

«Откуда есть пошла Русская земля»,
в двух книгах
(века VI—X)

«Злато слово»
(век XII)

«За землю Русскую»
(век XIII)

«Государство всё нам держати»
(век XV)

«Московское государство»
(век XVI)

«Стояти заодно»
(век XVII)

«Бунташный век»
(век XVII)

«Наука побеждать»
(век XVIII)

«Жажда познания»
(век XVIII)

«Столетье безумно и мудро»
(век XVIII)

«Седой Урал»
(век XVIII)

«Горные ветры»
(века XIX—XX)

«На крутом переломе»
(век XX)

«Союз нерушимый»
(век XX)

«Коммуны будущей творцы»
(век XX)

«Обновление земли»
(век XX)

«Священная война»
(век XX)

Чтоб вовек едины были. Век XVII / Сост.,
Ч 80 предисл. и коммент. Я. Д. Исаевича. — М.: Мол. гвардия, 1987. — 493 с., ил. — (История Отечества в романах, повестях, документах).
В пер.: 1 р. 90 к. 200 000 экз.

Этот том посвящен героической борьбе украинского народа против своих поработителей в XVII веке, воссоединению Украины с Россией. Наряду с классической повестью Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и романом украинского советского писателя Р. И. Иванычука «Мальвы» в него вошли отрывки из сочинений современников и летописи, ряд документов XVII века.

Ч $\frac{4702010000-110}{078(02)-87}$ 145—87 ББК 84(2) + 63.3(2)46

ИБ № 5062

ЧТОБ ВОВЕК ЕДИНЫ БЫЛИ

*

Старший редактор Библиотеки «История Отечества в романах, повестях, документах»
С. Елисеев

Зав. редакцией
Антипина Л. А.

Редактор тома
В. Миронов

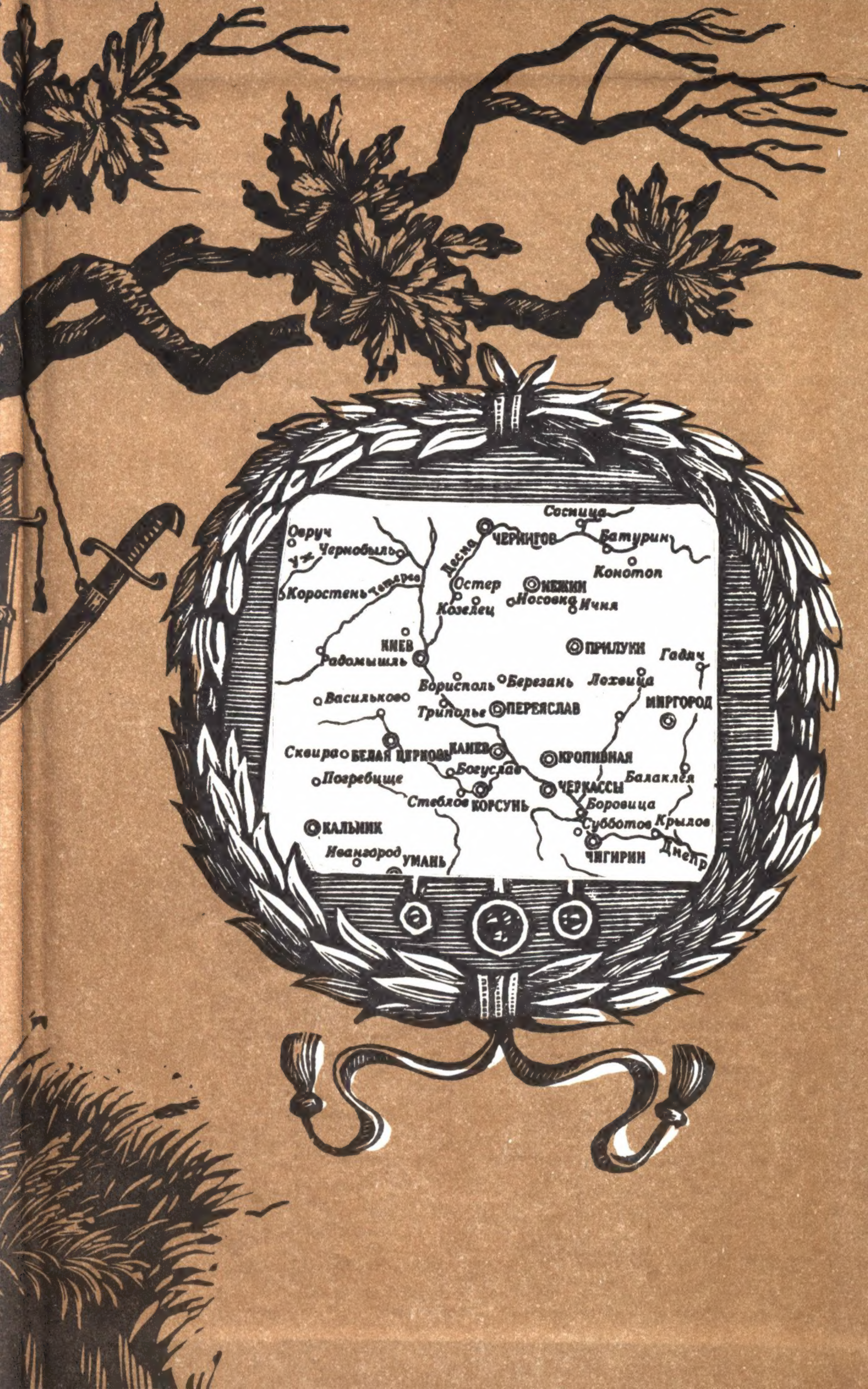
Художественный редактор
А. Романова

Технический редактор
Н. Теплякова

Корректоры
Н. Самойлова, Т. Пескова, Т. Контиевская

Сдано в набор 26.09.86. Подписано в печать 03.03.87. А01684. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,56. Учетно-изд. л. 28,5. Тираж 200 000 экз. (1-й завод 100 000 экз.). Цена 1 р. 90 к. Заказ 1713.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.


Сосница
Овруч
Чернобыль
Уж
Чернигов
Батурин
Десна
Конотоп
Коростень
Тетерев
Остер
Нежин
Носовка
Ичня
Козелец
Киев
Прилуки
Гадяч
Радомышль
Борисполь
Березань
Лохвица
Васильков
Триполье
Переяслав
Миргород
Сквира
Белая Церковь
Канев
Кропивная
Богуслав
Балаклея
Погребище
Черкассы
Стеблов
Корсунь
Боровица
Субботов
Крылов
Кальник
Ивангород
Умань
Чигирин
Днепр

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
ВЕК XVII